



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Sochineniya

Nikolai Vasilevich Gogol



Book 10.3

Handwritten text on the left margin, possibly a page number or reference.

СОЧИНЕНІЯ
Н. В. ГОГОЛЯ.
ТОМЪ I.



Грав на стали Ф. А. Брокгауза въ Лейпцигѣ.

Печ. въ арт. зав. А. Ф. Маркса въ СПБ.

1911

1912

1913

1914

СОЧИНЕНІЯ
Н. В. ГОГОЛЯ

ИЗДАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

РЕДАКЦІЯ

Н. С. Тихонравова.

Съ двумя портретами Гоголя, гравированными на стали
Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ, двумя автографами и
тремя собственноручными рисунками.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание А. Ф. МАРКСА.
1893.

Типографія А. Ф. МАРСА, Средняя Подъячская, д. № 1.

ПРЕДУВЪДОМЛЕНІЕ.

Въ 1850 году Гоголь задумалъ новое изданіе своихъ сочиненій, въ которое, кромѣ четырехъ томовъ перваго изданія (1842 г.), предполагалъ включить полный исправленный текстъ «Переписки съ друзьями», нѣсколько статей изъ «Арабесокъ» и кое-какія дотолѣ неизданныя произведенія, такъ чтобы пятый томъ заключалъ въ себѣ *«почти весь его теоретическія понятія, какія онъ имѣлъ о литературѣ и объ искусствѣ и о томъ, что должно дѣлать литературу нашу»*. Къ исполненному въ такомъ объемѣ изданію Гоголь предполагалъ присоединить «со временемъ» новый томъ и помѣстить въ немъ *«все прочее»*, подъ названіемъ «юношескихъ опытовъ» *). Поэтъ скончался, не успѣвши перепечатать и первыхъ четырехъ томовъ своихъ «Сочиненій»: подъ его наблюденіемъ отпечатано было перваго и втораго тома по девяти листовъ, третьяго тринадцать и четвертаго семь; въ текстъ этихъ листовъ авторъ внесъ небольшія стилистическія поправки **). Племянникъ Гоголя, Н. П. Трушцовскій, допечатавши первые четыре тома «Сочиненій» своего

*) Ср. настоящаго изданія, томъ второй, стр. 385—586.

**) «Сочиненія Гоголя», изд. второе (М., 1856), томъ пятый, стр. I—II.

знаменитаго дяди, издавъ, черезъ годъ послѣ появленія ихъ въ свѣтъ, два дополнительные тома, въ которыхъ, кромѣ «Переписки съ друзьями», «юношескихъ опытовъ», нѣкоторыхъ статей изъ «Арабесокъ» и «Отрывка изъ «Мертвыхъ Душъ» *), помѣстилъ и неизданныя дотолѣ произведенія: «Отрывокъ неизвѣстной повѣсти» **) и «Развязку Ревизора». Такимъ образомъ, изданіемъ Трушковскаго положено было начало осуществленію того проекта полного собранія сочиненій Гоголя, который набросанъ былъ самимъ поэтомъ въ 1850 году. Сознавая всѣ недостатки своего изданія, Трушковскій предполагалъ «при другомъ полномъ собраніи сочиненій Гоголя указать *всѣ измѣненія и передѣлки*, которыя такъ часто у него встрѣчаются». Преждевременная кончина Трушковскаго остановила его работы надъ проектированнымъ изданіемъ: большая часть приготовленныхъ имъ матеріаловъ для полного собранія сочиненій его дяди вошла въ изданіе П. А. Кулиша: «Сочиненія и письма Н. В. Гоголя» (шесть томовъ, СПб., 1857 г.); меньшая осталась въ бумагахъ автора, принадлежащихъ его наслѣдникамъ. Въ упомянутомъ изданіи Кулиша впервые сдѣлана была попытка осуществить, хотя въ нѣкоторой степени, проектъ Трушковскаго о внесеніи въ полное собраніе сочиненій Гоголя «всѣхъ измѣненій и передѣлокъ, которыя такъ часто у него встрѣчаются»: нѣкоторыя произведенія, совершенно переработанныя Гоголемъ («Тарасъ Бульба», «Портретъ», «Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ»), напечатаны здѣсь въ *двухъ* редакціяхъ: первоначальной и

*) Въ четвертомъ томѣ настоящаго изданія этотъ «Отрывокъ» напечатанъ подъ заглавіемъ: «Окончаніе IX главы въ передѣланномъ видѣ».

**) Въ первомъ томѣ настоящаго изданія (стр. 78—103) этотъ «Отрывокъ» носитъ заглавіе: «Нѣсколько главъ изъ неоконченной повѣсти».

исправленной. Заботясь о возможной полнотѣ собранія «Сочиненій Гоголя», г. Кулишъ внесъ въ свое изданіе не только начало трагедіи «Альфредъ», но и отрывки (иногда въ нѣсколько строкъ) начатыхъ повѣстей и даже «замѣтки на лоскуткахъ». Два послѣдніе тома этого изданія, заключающіе въ себѣ письма Гоголя къ разнымъ лицамъ, обогатили русскую литературу драгоценнымъ матеріаломъ для изученія жизни и сочиненій поэта. Изъ послѣдующихъ *шести* изданій «Сочиненій Гоголя», вышедшихъ въ періодъ времени съ 1862 г. по 1888 годъ, лучшимъ слѣдуетъ признать *второе изданіе наследниковъ*, вышедшее подъ редакціею О. В. Чиждова въ 1867 году, въ четырехъ томахъ. Удержавши составъ первыхъ четырехъ томовъ изданія г. Кулиша, редакторъ провѣрилъ текстъ нѣкоторыхъ произведеній Гоголя по рукописи автора: въ «Переписку съ друзьями» внесъ письма: XIX, XX, XXI, XXVI и XXVIII, непропущенныя цензурою при первомъ изданіи этой книги и во всѣхъ предшествовавшихъ изданіяхъ «Сочиненій Гоголя»; текстъ остальныхъ писемъ восполнилъ то отдѣльными выраженіями, то цѣлыми страницами, подвергшимися той же участи; въ выноскахъ ко второму тому «Мертвыхъ Душъ» приведены выдержки изъ записной книжки автора.

Позднѣйшія изданія «Сочиненій Гоголя», появившіяся, начиная съ 1873 года, въ теченіе вышеуказаннаго періода (т. е. по 1888 г. включительно) сокращаются въ составѣ, отбрасывая «юношескіе опыты».

Кромѣ неполноты, эти изданія страдаютъ другимъ важнымъ недостаткомъ — неправильностью текста. Извѣстно, что порча текста началась уже съ перваго изданія «Сочиненій Гоголя», вслѣдствіе того, что Прокоповичъ не всегда умѣлъ разбирать рукописный оригиналъ, корректуру держалъ небрежно и позволялъ себѣ дѣлать совер-

шенно ненужныя поправки въ слогѣ вѣрренныхъ ему для напечатанія произведеній. Въ пятомъ изданіи наслѣдниковъ (1881 г.) порча Гоголевскаго текста доходитъ до того, что иногда пропускаются цѣлыя строки, а отдѣльныя выраженія автора произвольно замѣняются другими.

Редактируя настоящее изданіе, мы поставили себѣ задачею устранить главные недостатки тѣхъ изданій «Сочиненій Гоголя», которыя вышли съ 1873 по 1888 годъ включительно, и потому всего болѣе заботились: 1) о полнотѣ собранія и 2) правильности печатаемаго текста.

Не отступая отъ плана, который набросанъ былъ самимъ Гоголемъ для полнаго собранія его сочиненій, мы распространили тотъ составъ, который данъ былъ изданіемъ Чиждова, внесеніемъ въ настоящее изданіе *всѣхъ* доселѣ напечатанныхъ «сочиненій» Гоголя *): ибо только при этомъ условіи можетъ быть достигнута цѣль, которую поэтъ ставилъ полному собранію своихъ произведеній — совмѣстить въ немъ «почти всѣ теоретическія понятія, какія онъ имѣлъ о литературѣ и объ искусствѣ и о томъ, что должно двигать литературу нашу». Такъ, 1) въ настоящее изданіе вошли нѣкоторыя произведенія, не напечатанныя въ изданіи Чиждова и помѣщенные въ *десятомъ* изданіи «Сочиненій Гоголя»: 1) «Классныя сочиненія», 2) «Борисъ Годуновъ, поэма Пушкина», 3) «Отрывокъ изъ утраченной драмы», 4) «1834 годъ», 5) «Рецензіи, помѣщенные въ «Современникѣ» Пушкина», 6) «Начало рецензіи, напечатанной въ «Москвитяинѣ» 1842 г.», 7) «Введеніе въ древнюю исторію» (отрывокъ), 8) «Предувѣдомленіе къ предполагавшимся изданіямъ «Ревизора» въ пользу бѣдныхъ», 9) «Письмо къ В. А. Жуковскому» и 10) «Размышленія о божественной ли-

*) Изданіе писемъ Гоголя къ разнымъ лицамъ не входило въ программу этого изданія.

тургии». Кроме того, 2) в издание одиннадцатое внесены отрывки, наброски и тексты неоконченных произведений, напечатанные нами по выходу в свет десятого издания «Сочинений Гоголя»: 1) стихотворение «Непогода», 2) «Отрывокъ изъ неоконченной повѣсти»; 3) «Начало неоконченной повѣсти», 4) «Дополнение къ «Развязкѣ Ревизора», 5) «Женихи», 6) «Выдержки изъ карманных записныхъ книжекъ» и 7) ранѣе изданное нами «Предувѣдомление для тѣхъ, которые пожелали бы сыграть, какъ слѣдуетъ, «Ревизора». 3) Сочинения, вышедшія в светъ при жизни Гоголя, напечатаны в настоящемъ изданіи, *въ окончательныхъ редакціяхъ*; тѣ изъ его *поэтическихъ* произведений *), которыя подверглись коренной, в теченіе многихъ лѣтъ, переработкѣ, помѣщены в двухъ редакціяхъ — первоначальной и окончательной. Мелкіе варианты текста, напечатанные в десятомъ изданіи «Сочинений Гоголя», в настоящее изданіе не приняты, но отдѣльныя мѣста и цѣлыя страницы, передѣланныя или по личнымъ соображеніямъ автора, или по требованію старой цензуры, помѣщены в «Примѣчаніяхъ редактора».

Текстъ сочинений Гоголя, испорченный в первыхъ девяти изданіяхъ его произведений, свѣренъ былъ нами съ собственноручными рукописями автора и первоначальными изданіями его произведений и, будучи исправленъ такимъ путемъ, напечатанъ в десятомъ изданіи «Сочинений»: этотъ текстъ буквально перепечатанъ в настоящемъ изданіи. Возстановляя подлинныя выраженія автора, нерѣдко замѣнявшіяся другими и по требованію старой цензуры **),

*) Поэтому не приняты в одиннадцатое изданіе первоначальныя редакціи статей: 1) «Объ архитектурѣ нынѣшняго времени» и 2) «Нѣсколько мыслей о преподаваніи дѣтямъ географіи».

**) Такихъ измѣненій особенно много в первомъ томѣ «Мертвыхъ Душъ»: самая характеристика Чичикова — «плутоватый человѣкъ» — принадлежитъ цензору Никитенкѣ; у Гоголя стояло слово «подлецъ».

текстъ десятаго и настоящаго изданія не всегда поэтому совпадаетъ съ текстами всѣхъ другихъ изданій.

Вошедшія въ настоящее изданіе сочиненія Гоголя не представило возможности размѣстить въ хронологическомъ порядкѣ, т. е. въ томъ порядкѣ, въ какомъ они выходили изъ-подъ пера автора: совершеннѣйшія произведенія Гоголя обрабатывались въ теченіе многихъ лѣтъ. Такъ, первый томъ «Мертвыхъ Душъ» начатъ былъ въ 1835 году и оконченъ въ первой четверти 1842 года: въ этотъ періодъ Гоголемъ выработано было *пять* редакцій этой поэмы*), изъ которыхъ три послѣднія даже вполнѣ переписаны были для печати, такъ что можно говорить только о томъ, къ какому году относится наиненѣе подвергшійся позднѣйшимъ передѣлкамъ и исправленіямъ текстъ *отдѣльныхъ главъ* перваго тома «Мертвыхъ Душъ». «Ревизоръ» начатъ въ 1834 г. и окончательно отдѣланъ въ 1842 г.: на протяженіи этого періода Гоголемъ было выработано *шесть* редакцій этой комедіи, изъ которыхъ первая поставлена была на сцену, а три позднѣйшія напечатаны при жизни автора (отдѣльными изданіями въ 1836 году и 1841 г., въ первомъ изданіи «Сочиненій»—въ 1842 г.). Достаточно сравнить съ *окончательною* редакціею «Ревизора» напечатанныя въ настоящемъ изданіи «Сцены *перваго* изданія пьесы, передѣланныя для *третьяго* изданія» (томъ III, стр. 305—342), чтобы убѣдиться, что въ послѣдней редакціи комедіи (1842 г.) четырнадцать явленій остались безъ *всякихъ перемѣнъ*, въ томъ видѣ, въ какомъ даны были первымъ печатнымъ изданіемъ «Ревизора».

*) Первая, неоконченная, редакція хранится въ Московскомъ публичномъ музеѣ, двѣ позднѣйшія находятся въ Императорской Публичной Библіотекѣ, четвертая принадлежитъ Нѣжинскому историко-филологическому институту, пятая (цензурный экземпляръ)—библіотекѣ Московскаго университета.

зора», и что, слѣдовательно, *окончательная* редакція этихъ явленій относится къ 1835—36 гг. Даты, выставленныя Гоголемъ подѣльными произведеніями и сохраненныя въ нашемъ изданіи, означаютъ болѣею частью не время выработки *послѣдней редакціи* этихъ произведеній, а только время *первыхъ* набросковъ оныхъ: напр., на заглавномъ листѣ комедіи «Женитьба» напечатано: «писано въ 1833 году». Но къ этому году относятся только первые наброски комедіи «Женихи», а «Женитьба» была окончена, послѣ многолѣтней переработки, въ 1842 г. На этомъ основаніи хронологическія даты автора не всегда совпадаютъ съ хронологіею, установленною въ «Примѣчаніяхъ» къ настоящему изданію на основаніи данныхъ, подробно изложенныхъ въ десятомъ изданіи «Сочиненій Гоголя».

При невозможности размѣстить произведенія, напечатанныя въ этомъ изданіи, въ порядкѣ ихъ *написанія*, оставалось расположить оныя въ той послѣдовательности, въ какой они выходили въ свѣтъ *при жизни автора*; сочиненія, напечатанныя по смерти Гоголя, распредѣлены по отдѣльнымъ томамъ, на основаніи хронологическихъ датъ, указанныхъ въ «Примѣчаніяхъ». Въ оглавленіи каждаго тома такія произведенія отмѣчены звѣздочками. Къ первому тому настоящаго изданія, заключающему въ себѣ произведенія 1827—1836 гг., приложена гравированная копія съ исполненнаго Венеціановымъ въ 1834 г. литографированнаго портрета Гоголя. Въ началѣ четвертаго тома, въ которомъ напечатаны «Мертвыя Души», помѣщена гравированная копія съ литографированнаго портрета, который приложенъ былъ къ первому номеру «Москвитянина» на 1843 годъ. Оригиналъ этого портрета, писанный А. А. Ивановымъ, Гоголь подарилъ Погодину, «какъ другу, по усиленной его просьбѣ». Недовольный опубли-

кованіемъ этого портрета, Гоголь, 14 декабря 1844 г., писалъ профессору С. П. Шевыреву: «тамъ я изображенъ, какъ былъ въ своей берлотъ, назадъ тому нѣсколько лѣтъ», т. е. въ то время, когда поэтъ въ своей «подвижнической Римской кельѣ» обрабатывалъ для печати первый томъ «Мертвыхъ Душъ».

Къ статьѣ «Предувѣдомленіе для тѣхъ, которые пожелаю бы сыграть, какъ слѣдуетъ, «Ревизора» (томъ III, стр. 291—301), приложенъ точный снимокъ съ рисунка послѣдней «нѣмой сцены» комедіи. Рисунокъ сдѣланъ Гоголемъ одновременно съ составленіемъ «Предувѣдомленія».

Н. Тихонравовъ.

Москва, 7 мая 1893 г.

I.

ЮНОШЕСКІЕ ОПЫТЫ.

НЕПОГОДА.

«Невесель ты?»—«Я весель былъ»,

Такъ говорю друзьямъ веселья:

«Но радость жизни пережилъ

И грусть зазвалъ на новоселье.—

Я молодъ былъ, и свѣтлый взглядъ

Былъ непечалень: съ тяжкой мукой

Не зналось (сердце);ый садъ

И голу

.

(Теперь), какъ осень, вянетъ младость:

Угрюмъ; не веселится мнѣ,

И я тоскую въ тишинѣ

Одинъ, и радость мнѣ не радость».

Смѣясь мнѣ говорятъ друзья:

«Зачѣмъ расплакался? Погода

И разгулялась, и ясна,

И не темна, какъ ты, природа».

А я въ отвѣтъ: «Мнѣ все равно,

Какъ день всѣ измѣненья года:

Свѣтло-ль, темно ли—все одно,

Когда въ семь сердцѣ непогода».



ГАНЦЪ
КЮХЕЛЬГАРТЕНЪ

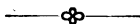
—◆—
ИДИЛЛІЯ

ВЪ КАРТИНАХЪ.

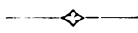
—*—
СОЧИНЕНІЕ

В. АЛОВА.

(Писано въ 1827 г.).



Предлагаемое сочинение никогда бы не увидѣло свѣта, если бы обстоятельства, важныя для одного только автора, не побудили его къ тому. Это произведение его восемнадцатилѣтней юности. Не принимаясь судить ни о достоинствѣ, ни о недостаткахъ его, и предоставляя это просвѣщенной публикѣ, скажемъ только то, что многія изъ картинъ сей идилліи, къ сожалѣнію, не уцѣлѣли; онѣ, вѣроятно, связывали болѣе нынѣ разрозненные отрывки и дорисовывали изображеніе главнаго характера. По крайней мѣрѣ мы гордимся тѣмъ, что по возможности споспѣшествовали свѣту ознакомиться съ созданьемъ юнаго таланта.



Картина I.

Свѣтаетъ. Вотъ проглянула деревня,
Дома, сады. Все видно, все свѣтло.
Вся въ золотѣ сіяетъ колокольня,
И блещетъ лучъ на старенькомъ заборѣ.
Плѣнительно оборотилось все
Внизъ головой въ серебряной водѣ:
Заборъ, и домъ, и садикъ въ ней такіе-жъ;
Все движется въ серебряной водѣ:
Синѣетъ сводъ, и волны облакъ ходятъ,
И лѣсъ живой вотъ только не шумитъ.

На берегу, далеко вшедшемъ въ море,
Подъ тѣнью липъ, стоитъ уютный домикъ
Пастора. Въ немъ давно старикъ живетъ.
Ветшааетъ онъ, и старенькая кровля
Посунулась; труба вся почернѣла;
И лѣпится давно цвѣтистый мохъ
Ужъ по стѣнамъ; и окна искосились;
Но какъ-то мило въ немъ, и ни за что
Старикъ его-бъ не отдалъ. Вотъ та липа,
Гдѣ отдыхать онъ любить, тожъ дряхлѣетъ;
Зато вокругъ ней зеленые прилавки
Изъ дерну свѣжаго. Въ дуплистыхъ норахъ
Ея гнѣздятся птички, старый домъ
И садъ веселой пѣснью оглашая.
Пасторъ всю ночь не спалъ, да предъ разсвѣтомъ
Ужъ вышелъ спать на чистый воздухъ;
И дремлетъ онъ подъ липой въ старыхъ креслахъ,

И вѣтерокъ ему свѣжить лицо,
И бѣлыя взвѣваетъ волоса.

Но кто прекрасная подходитъ,
Какъ утро свѣжее, горитъ
И на него глаза наводитъ,
Очаровательно стоитъ?
Взгляните же, какъ мило будитъ
Ея лилейная рука,
Его касаяся слегка,
И возвратиться въ міръ нашъ нудитъ.
И вотъ въ-полглаза онъ глядитъ,
И вотъ съ-просонья говоритъ:

«О дивный, дивный посѣтитель!
Ты навѣстилъ мою обитель!
Зачѣмъ же тайная тоска
Всю душу мнѣ насквозь прохѣдитъ,
И на сѣдого старика
Твой образъ дивный сдалека
Волненье странное наводитъ?
Ты посмотри: уже я хилъ,
Давно къ живущему остылъ,
Себя погребъ въ себѣ давно я,
Со дня я на день жду покоя,
О немъ и мыслить ужъ привыкъ,
О немъ и мелеть мой языкъ.
Чего-жь ты, гостыя молодая,
Къ себѣ такъ пламенно влечешь?
Или, жилища неба-рая,
Ты мнѣ надежду подаешь,
На небеса меня зовешь?
О, я готовъ, да не достоинъ.
Велики тяжкіе грѣхи:
И я былъ злой на свѣтѣ воинъ,
Меня робѣли пастухи,

Мнѣ лютыя дѣла не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя—
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повѣсть»...

Тоски, смятенія полна,
«Сказать»—подумала она—
«Онъ, Богъ знаетъ, куда зайдетъ...
Сказать ему, что онъ вѣдь бредитъ».

Но онъ въ забвеніе погруженъ;
Его объемлетъ снова сонъ.
Склонясь надъ нимъ, она чуть дышетъ.
Какъ поживаетъ! какъ онъ спитъ!
Вздохъ чуть замѣтный грудь колышетъ;
Незримымъ воздухомъ обвить,
Его архангелъ сторожить;
Улыбка райская сияетъ,
Чело святое осѣняетъ.

Вотъ онъ открылъ свои глаза:
«Луиза, ты-ль? мнѣ снилось... странно...
Ты поднялась, шалунья, рано;
Еще не высохла роса.
Сегодня, кажется, туманно».

«Нѣтъ, дѣдушка, свѣтло, сводь чистъ;
Сквозь рошу солнце свѣтитъ ярко;
Не колыхнется свѣжій листъ,
И по-утру уже все жарко.
Узнаете-ль, зачѣмъ я къ вамъ?—
У насъ сегодня будетъ праздникъ,
У насъ ужъ старый Лодельгамъ,
Скрипачъ, съ нимъ Фрицъ проказникъ;
Мы будемъ ѣздить по водамъ...
Когда бы Ганцъ...» Добросердечный

Пасторъ съ улыбкой хитрой ждётъ,
О чемъ разсказъ свой поведетъ
Младенецъ рѣзвый и безпечный.

«Вы, дѣдушка, вы можете помочь
Одни неслыханному горю:
Мой Ганцъ страхъ боленъ; день и ночь
Все ходитъ къ сумрачному морю;
Все не по немъ, всему не радъ,
Самъ говорить съ собой, къ намъ скученъ:
Спросить—отвѣтить невпопадъ,
И весь ужасно какъ измученъ.
Ему зазнаться ужъ съ тоской—
Да этакъ онъ себя погубить.
При мысли я дрожу одной:
Быть-можетъ, недоволенъ мной;
Быть-можетъ, онъ меня не любить.—
Мнѣ это—въ сердце ножъ стальной.
Я васъ просить, мой ангелъ, смѣю...»
И кинулась къ нему на шею,
Стѣсненной грудью чуть дыша,
И вся зардѣлась, вся смѣшалась
Моя красавица-душа;
Слеза на глазкахъ показалась...
Ахъ, какъ Луиза хороша!

«Не плачь, покойся, другъ мой милый!
Вѣдь стыдно плакать», наконецъ,
Духовный молвилъ ей отецъ.
«Богъ намъ даритъ терпѣнье, силы:
Съ твоей усердною мольбой,
Тебѣ ни въ чемъ онъ не откажетъ.
Повѣрь, Ганцъ дышитъ лишь тобой;
Повѣрь, онъ те тебѣ докажетъ.
Зачѣмъ же мысляю пустой
Душевный растравлять покой?»

Такъ утѣшаетъ онъ свою Луизу,
Ее къ груди дряхлѣющей прижавъ.
Вотъ старая Гертруда ставитъ кофій,
Горячій и весь свѣтлый, какъ янтарь.
Старикъ любилъ на воздухѣ пить кофій,
Держа во рту черешневый чубукъ;
Дымъ уходилъ и кольцами ложился.
И, призадумавшись, Луиза хлѣбомъ
Кормила съ рукъ своихъ кота, который
Мурлыча крался, слыша сладкій запахъ.
Старикъ привсталъ съ цвѣченыхъ старыхъ кресель,
Принесъ мольбу и руку внучкѣ подалъ.
И вотъ надѣлъ нарядный свой халатъ,
Весь изъ парчи серебряной, блестящей,
И праздничный неношенный колпакъ
— Его въ подарокъ нашему пастору
Изъ города привезъ недавно Ганцъ—
И, опираясь на плечо Луизы
Лидейное, старикъ нашъ вышелъ въ поле.
Какой же день! Веселые вились
И пѣли жавронки; ходили волны
Отъ вѣтру золотого въ полѣ хлѣба;
Стустились вотъ надъ ними дерева;
На нихъ плоды предъ солнцемъ наливались
Прозрачные; вдали темнѣли воды
Зеленныя; сквозь радужный туманъ
Неслись моря душистыхъ ароматовъ;
Пчела-работница срывала медъ
Съ живыхъ цвѣтовъ; рѣзвунья-стрекоза,
Треща, вилась; разгульная вдали
Неслася пѣснь,—то пѣснь гребцовъ удалыхъ.
Рѣдѣетъ лѣсъ, видна уже долина,
По ней мычатъ игривыя стада;
А издали видна уже и кровля
Луизина; краснѣютъ черепицы,
И ярко лучъ по краямъ ихъ скользить.

Картина II.

Волнуемъ думой непонятной,
Нашъ Ганць разсѣянно глядѣль
На мѣръ великій, необъятной,
На свой незнаемый удѣль.
Доселѣ тихій, безмятежной,
Онъ жизнью радостно игралъ;
Душой невинною и нѣжной
Въ ней горькихъ бѣдъ не прозрѣвалъ;
Земного мѣра уроженецъ,
Земныхъ губительныхъ страстей
Онъ не носилъ въ груди своей,
Безпечный, вѣтренный младенецъ;
И было весело ему.
Онъ разрѣзвался мило, живо
Въ толпѣ дѣтей; не вѣрилъ злу:
Предъ нимъ цвѣлъ мѣръ какъ бы на диво.
Его подруга съ дѣтскихъ дней
Дитя-Луиза, ангелъ свѣтлый,
Блестала прелестью рѣчей;
Сквозь кольца русыя кудрей
Лукавый взглядъ жегъ непримѣтно;
Въ зеленой юпочкѣ сама
Поетъ, танцуетъ ли она—
Все простодушно, въ ней все живо,
Все дѣтски въ ней краснорѣчиво;
На шейкѣ розовый платокъ,
Съ груди слетаетъ понемножку,
И стройно бѣлый башмачокъ
Ея охватываетъ ножку.
Въ лѣсу-ль играетъ вмѣстѣ съ нимъ—
Его обгонитъ, все проникнетъ,
Въ кустъ притаясь съ желаньемъ злымъ,
Ему вдругъ въ уши громко крикнетъ

И испугаетъ; спать ли онъ —
Ему лицо все разрисуется:
И звонкимъ смѣхомъ пробужденъ,
Онъ покидаетъ сладкій сонъ,
Шалуню рѣзвую цѣлуетъ.

Уходить за весной весна.
Кругъ дѣтскихъ игръ ихъ сталъ ужъ скромнень;
Межъ ними рѣзвость не видна;
Огонь очей его сталъ томенъ;
Она застѣнчиво-грустна.
Они понятно угадали
Васъ, рѣчи первыя любви!
Покуда сладкія печали!
Покуда радужные дни!
Чего-бъ желать съ Луизой милой?
Онъ съ ней и вечеръ, съ ней и день;
Къ ней привлеченъ онъ дивной силой,
Какъ вѣрно бродящая тѣнь.
Полны сердечнаго участя,
Не наглядятся старики
Ихъ, простодушные, на счастье
Своихъ дѣтей; и далеки
Отъ нихъ дни горя, дни сомнѣній:
Ихъ осѣняетъ мирный Геній.

Но скоро тайная печаль
Имъ овладѣла; взоръ туманень:
И часто смотреть онъ на даль,
И безпокоенъ весь, и странень.
Чего-то смѣло ищетъ умъ,
Чего-то тайно негодуетъ;
Душа, въ волненьи темныхъ думъ,
О чемъ-то, скорбная, тоскуетъ.
Онъ какъ прикованный сидитъ,
На море буйное глядитъ;

Въ мечтаньи все кого-то слышать
При стройномъ шумѣ ветхихъ водъ.

Или въ долинѣ ходить думный;
Глаза торжественно блестятъ,
Когда несется вѣтеръ шумный
И громы жарко говорятъ;
Огонь мгновенный колетъ тучи;
Дождя источники горячи
Сѣкуются звучно и шумятъ.
Иль въ часъ полночи, въ часъ мечтаній
Сидитъ за книгою преданій,
И, перевертывая листь,
Онъ ловитъ буквы въ ней нѣмыя:
— Глаголятъ въ нихъ вѣка сѣдые
И слово дивное гремитъ. —
Часъ углубясь въ раздумьи цѣлой,
Съ нея и глазъ онъ не сведетъ.
Кто мимо Ганца ни пройдетъ,
Кто ни посмотритъ, скажетъ смѣло:
Назадъ далеко онъ живетъ.
Чудесной мыслію очарованъ,
Подъ дуба сумрачную сѣнь
Идетъ онъ часто въ лѣтній день;
Къ чему-то тайному прикованъ,
Онъ видитъ тайно чью-то тѣнь,
И къ ней онъ руки простираетъ,
Ее въ забвеньи обнимаетъ. —

А простодушна, и одна
Луиза-ангелъ, что же? гдѣ же?
Ему всѣмъ сердцемъ предана,
Не знаетъ бѣдненькая сна;
Ему приноситъ ласки тѣ же:
Его ручонкой обовьетъ,
Его невинно поцѣлуетъ;

Онъ на минуту растоскуеть,
И снова то же запоеть.

Онъ прекрасны, тѣ мгновенья,
Когда прозрачною толпой
Далеко милья видѣнья
Уносятъ юношу съ собой.
Но если мѣръ души разрушень,
Забуть счастливый уголокъ,
Къ нему онъ станетъ равнодушень,
И для простыхъ людей высокъ,
Онъ ли юношу наполнять,
И сердце радостью-ль исполнять?..

Пока въ жилищѣ суеты,
Его подслушаемъ уградкой,
Доселѣ бывшія загадкой,
Разнообразныя мечты.

Картина III.

Земля классическихъ, прекрасныхъ созданій,
И славныхъ дѣлъ, и вольности земля!
Аэины! къ вамъ, въ жару чудесныхъ трепетаній,
Душой приковываюсь я!
Вотъ отъ треножниковъ до самаго Пирея
Кипитъ, волнуется торжественный народъ;
Гдѣ рѣчь Эскинова, гремя и пламенья,
Все своенравно вслѣдъ влечеть,
Какъ воды шумныя прозрачнаго Иллиса.
Великъ сей мраморный изящный Парееонъ!
Колоннъ дорическихъ онъ рядомъ обнесень;
Минерву Фидій въ немъ переселилъ рѣзцомъ,
И блещетъ кисть Парразія, Зевксиса.
Подъ портикомъ божественный мудрецъ
Ведеть высокое о дольномъ мѣрѣ слово:
Кому за доблести безсмертіе готово,

Кому позоръ, кому вѣнецъ.

Фонтановъ стройныхъ шумъ, нестройныхъ пѣсней клики;
Съ восходомъ дня толпа въ амфитеатръ валить,
Персидскій Кандисъ весь испещренный блестить,

И вьются легкія туннки.

Стихи Софокловы порывисто звучать;
Вѣнки лавровые торжественно летятъ;
Съ медоточивыхъ устъ любимца Эпикура
Архонты, воины, служители Амура
Спѣшать прекрасную науку изучить:

Какъ жизнью жить, какъ наслажденье пить.

Но вотъ Аспазія! не смѣть идохнуть
Смятенный юноша, при черныхъ глазахъ сихъ встрѣчѣ.
Какъ жарки тѣ уста! какъ пламенны тѣ рѣчи!

И, темныя какъ ночь, тѣ кудри какъ-нибудь,

Волнуясь, падаютъ на грудь,

На бѣломраморныя плечи.

Но что, при звукѣ чашъ, тимпановъ дикій вой?

Плющомъ увѣнчаны вакхическія дѣвы,

Бѣгутъ нестройною, неистой толпой

Въ священный лѣсъ; все скрылось... что вы? гдѣ вы?..

Но вы пропали, я одинъ.

Опять тоска, опять досада;

Хотя бы Фавнъ пришелъ съ долинь.

Хотя-бъ прекрасная Дріада

Мнѣ показала въ мракѣ сада.

О, какъ чудесно вы свой міръ

Мечтою, Греки, населили!

Какъ вы его обворожили!

А нашъ — и бѣденъ онъ, и сиръ,

И расквараченъ весь на мли.

И снова новыя мечты

Его, смѣясь, обнимаютъ;

Его воздушно поднимаютъ

Изъ океана суеты.

Картина IV.

Въ странѣ, гдѣ сверкаютъ живые ключи,
Гдѣ, чудно сіяя, блистаютъ лучи;
Дыханіе амры и розы ночной
Роскошно объемлетъ эфиръ голубой;
И въ воздухѣ тучи куреній висятъ;
Плоды Мангустана златые горятъ;
Луговъ Кандагарскихъ сверкаетъ коверъ;
И смѣло накинута небесный патеръ;
Роскошно валится дождь яркій цвѣтовъ,
То блещутъ, трепещутъ рои мотыльковъ;
Я вижу тамъ Пери: въ забвеньи она
Не видитъ, не внемлетъ, мечтаній полна.
Какъ солнца два; очи небесно горятъ;
Какъ Гемасагара, такъ кудри блестятъ;
Дыханіе — лилій серебряныхъ чадъ,
Когда засыпаетъ истомленный садъ
И вѣтеръ ихъ вздохи развѣетъ порой;
А голосъ, какъ звуки сиринды ночной,
Или трепетанье серебряныхъ крылъ,
Когда ими звукнетъ, рѣзвясь, Исразиль,
Иль плески Хиндары таинственныхъ струй.
А что же улыбка? А что-жь поцѣлуй?
Но вижу, какъ воздухъ, она ужъ летитъ,
Въ края поднебесны, къ родимымъ спѣшитъ.
Постой, оглянися! Не внемлетъ она.
И въ радугѣ тонетъ, и вотъ не видна.
Но воспоминанье міръ долго хранить,
И благоуханьемъ весь воздухъ обвить.

Живого юности стремленья

Такъ испестрялися мечты.

Порой, небеснаго черты,

Души прекрасной впечатлѣнья
На немъ лежали; но чего,
Въ волненьяхъ сердца своего,
Искалъ онъ думою неясной,
Чего желалъ, чего хотѣлъ,
Къ чему такъ пламенно летѣлъ
Душой и жадною, и страстной,
Какъ будто міръ желалъ объять, —
Того и самъ не могъ понять.
Ему казалось душно, пыльно
Въ сей позаброшенной странѣ,
И сердце билось сильно, сильно
По дальней, дальней сторонѣ.
Тогда когда-бъ вы повидали,
Какъ воздымалась буйно грудь,
Какъ взоры гордо трепетали,
Какъ сердце жаждало прильнуть
Къ своей мечтѣ, мечтѣ неясной;
Какой въ немъ пылъ кипѣлъ прекрасной;
Какая жаркая слеза
Живые полнила глаза!

Картина VI.

Отъ Висмара въ двухъ миляхъ та деревня,
Гдѣ ограничился лицъ нашихъ міръ.
Не знаю, какъ теперь, но Люненсдорфомъ
Она тогда, веселая, звалась.
Ужъ издали бѣлѣеть скромный домикъ
Вильгельма Бауха, мизника. — Давно,
Женившись на дочери пастора,
Его построилъ онъ. Веселой домикъ!
Онъ выкрашенъ зеленой краской, крытъ
Красивою и звонкой черепицей;
Вокругъ каштаны старые стоятъ,
Нависши вѣтвями, какъ будто въ окна

Хотят продраться; изъ-за нихъ мелькаетъ
Рѣшетка изъ прекрасныхъ лозъ, красиво
И хитро сдѣлана самимъ Вильгельмомъ;
По ней висить и змѣйкой вьется хмель;
Съ окна протянуть шесть, на немъ бѣлье
Блится бѣлое предъ солнцемъ. Вотъ
Въ проломъ на чердакъ толпится стая
Мохнатыхъ голубей; протяжно клохчуть
Индѣйки; хлопая встрѣчаетъ день
Крикунъ-пѣтухъ и по двору вотъ важно,
Межъ пестрыхъ куръ, онъ кучи разгребааетъ
Зернистыя; гуляютъ тутъ же двѣ
Ручныя козы и рѣзвяся щиплютъ
Душистую траву. Давно курился
Ужъ дымъ изъ бѣлыхъ трубъ, курчаво онъ
Вился и облака приумножалъ.
Съ той стороны, гдѣ съ стѣнъ валилась краска
И сѣрые торчали кирпичи,
Гдѣ древніе каштаны стали тѣнь,
Которую перебѣгало солнце,
Когда вершину ихъ вѣтръ рѣзво колыхалъ, —
Подъ тѣнью тѣхъ деревьевъ, вѣчно милыхъ,
Стоялъ съ утра дубовый столъ, весь чистой
Покрытый скатертью и весь уставленъ
Душистой яствой: желтый вкусный сыръ,
Редисъ и масло въ фарфоровой уткѣ,
И пиво, и вино, и сладкій бишефъ,
И сахаръ, и коричневая вафли;
Въ корзинѣ спѣлые, блестящіе плоды:
Прозрачный гроздь, душистая малина,
И, какъ янтарь, желтѣющія груши,
И сливы синія, и яркій персикъ,
Въ затѣливомъ видѣлось все порядкѣ.
Сегодня праздновалъ живой Вильгельмъ
Рожденье дорогой своей супруги,
Съ пасторомъ и драгими дочерьми:

Луизой старшей и меньшою Фанни.
Но Фанни нѣтъ, она давно пошла
Звать Ганца и не возвращалась. Вѣрно,
Онъ гдѣ-нибудь опять въ раздумьи бродить.
А милая Луиза все глядитъ
Внимательно на темное окно
Сосѣда Ганца. Два шага всего вѣдь
Къ нему; но не пошла моя Луиза:
Чтобъ не замѣтилъ онъ въ ея лицѣ
Тоски докучливой, чтобъ не прочелъ
Въ ея глазахъ онъ ѣдкаго упрека.
Вотъ говорить Вильгельмъ, отецъ, Луизѣ:
«Смотри ты, Ганца пожури порядкомъ:
Зачѣмъ онъ къ намъ такъ долго не идетъ?
Вѣдь ты его сама избаловала».
И вотъ дитя-Луиза такъ въ отвѣтъ:
«Боюсь журить прекраснаго я Ганца:
И безъ того онъ боленъ, блѣденъ, худъ...»
«Что за болѣзнь?» сказала мать,
Живая Берга: «не болѣзнь, тоска
Незванная къ нему сама пристала;
Вотъ женится, и отпадетъ тоска.
Такъ молодой побѣгъ, совсѣмъ пригложшій,
Опрыснутый дождемъ, вмигъ зацвѣтетъ.
И что-жъ жена, какъ не веселье мужа?»
«Рѣчь умная», сѣдой пасторъ примолвилъ:
«Все, вѣрь, пройдетъ, когда захочетъ Богъ,
И будь во всемъ Его святая воля!»
Уже два раза онъ изъ трубки выбивалъ
Золу, и въ споръ вступалъ съ Вильгельмомъ,
Разговорясь про новости газетъ,
Про злой неурожай, про Грековъ и про Турокъ,
Про Мисолунги, про дѣла войны,
Про славнаго вождя Колокотрони,
Про Канинга, про парламентъ,
Про бѣдствія и мятежи въ Мадритѣ.

Какъ вдругъ Луиза вскрикнула и мигомъ,
Увидя Ганца, бросилась къ нему.
Воздушный станъ ея обнявши стройный,
Съ волненьемъ юноша ее поцѣловалъ.
Оборотясь къ нему, вотъ молвить пасторъ:
«Эхъ, стыдно, Ганцъ, забыть своего друга!
Да что, коли уже забылъ Луизу,
Объ насъ ли старикахъ и думать?» — «Полно
Тебѣ все Ганца, папенька, журить!»
Сказала Берта: «лучше сядемъ мы
Теперь за столъ, не то — простынетъ все:
И каша съ рисомъ и виномъ душистымъ,
И сахарный горохъ, кашлунъ горячій,
Зажаренный съ изюмомъ въ маслѣ». Вотъ
За столъ они садятся мирно;
И скоро вмигъ вино все оживило
И, свѣтлое, смѣхъ въ душу пролило.
Старикъ-скрипачъ и Фрицъ на звонкой флейтѣ
Согласно грянули хозяйкѣ въ честь.
Всѣ понеслись и закружились въ вальсѣ:
Развеселясь, румяный нашъ Вильгельмъ
Пустился самъ съ своей женой, какъ съ павой;
Какъ вихорь, несся Ганцъ съ своей Луизой
Въ бурливомъ вальсѣ; и предъ ними мѣръ
Вертѣлся весь въ чудесномъ, шумномъ строѣ.
А милая Луиза нидохнуть,
Ни посмотрѣть вокругъ не можетъ: вся
Въ движеніи потерялась. Ими
Не налюбуясь, говорить пасторъ:
«Любезная, прекрасная чета!
Мила моя веселая Луиза,
Прекрасенъ и уменъ, и скромнъ Ганцъ; —
Сотворены они ужъ другъ для друга,
И счастливо свою жизнь проведутъ.
Благодарю Тебя, о Боже милосердый!
Что ниспослалъ на старость благодать,

Мои продлиль дряхлѣющія силы —
Чтобы узрѣть такихъ прекрасныхъ виучать,
Чтобы сказать, прощаясь съ ветхимъ тѣломъ:
Прекрасное я видѣлъ на землѣ».

Картина VII.

Съ прохладою, спокойный тихій вечеръ
Спускается; прощальные лучи
Цѣлуютъ гдѣ-гдѣ сумрачное море;
И искрами живыми, золотыми
Деревья тронуты; и вдалекѣ
Виднѣются, сквозь туманъ морской, утесы,
Всѣ разноцвѣтные. Спокойно все.
Пастушьихъ лишь рожковъ унывный голосъ
Несется вдалѣ съ веселыхъ береговъ,
Да тихій шумъ въ водѣ всплеснувшей рыбы
Чуть пробѣжить и вздернетъ море рябью,
Да ласточка, крыломъ черпнувши моря,
Круги по воздуху скользя даетъ.
Вотъ заблестѣль вдали, какъ точка, катеръ;
А кто же въ немъ, въ томъ катерѣ, сидитъ?
Сидитъ пасторъ, нашъ старецъ сѣдовласый,
И съ дорогой супругою Вильгельмъ;
А рѣзвая всегда шалунья Фанни,
Съ удой въ рукахъ и свѣсившись съ перилъ,
Смѣясь, ручонкою болтала волны;
Возлѣ кормы съ Луизой милой Ганцъ.
И долго всѣ въ молчаньи любовались:
Какъ за кормой широкая ходила
Волна и въ брызгахъ огнецвѣтныхъ, вдругъ
Весломъ разорванная, трепетала;
Какъ разъяснялась розовая дальность
И южный вѣтръ дыханье навѣвалъ.
И вотъ пасторъ, исполненъ умиленья,
Проговорилъ: «Какъ милъ сей Божій вечеръ!

Прекрасенъ, тихъ онъ, какъ благая жизнь
Безгрѣшнаго: она вѣдь такъ же мирно
Кончаетъ путь, и слезы умиленья
Священный прахъ, прекрасныя, кропятъ.
Пора и мнѣ ужъ; срокъ назначенъ,
И скоро, скоро я не буду вашъ,
Но этакъ ли прекрасно опочію?...»
Всѣ прослезились. Ганцъ, который пѣсню
Наигрывалъ на сладостномъ гобоѣ,
Задумался и выронилъ гобой;
И снова сонъ какой-то осѣнилъ
Его чело; далеко мчались мысли,
И чудное на душу натекло.
И вотъ ему такъ говорить Луиза:
«Скажи мнѣ, Ганцъ, когда еще ты любишь
Меня, когда я пробудить могу
Хоть жалость, хоть живое состраданье
Въ душѣ твоей, не мучь меня, скажи:
Зачѣмъ одинъ съ какой-то книгой
Ты ночь сидишь? (мнѣ видно все,
И окнами вѣдь другъ мы противъ друга).
Зачѣмъ дичишься всѣхъ? зачѣмъ грустишь?
О, какъ меня твой грустный видъ тревожить!
О, какъ меня печаль твоя печалитъ!»
И, тронутый, смутился Ганцъ,
Ее къ груди съ тоскою прижимаетъ,
И брызнула невольная слеза.
«Не спрашивай меня, моя Луиза,
И безпокойствомъ симъ тоски не множь.
Когда-жъ кажусь погруженъ въ мысли—
Вѣрь, занять и тогда тобой одною,
И думаю я, какъ бы отвратить
Всѣ отъ тебя печальныя сомнѣнья,
Какъ радостью твое наполнить сердце,
Какъ бы души твоей хранить покой,
Оберегать твой дѣтскій сонъ невинный:

Чтобы недоброе не приближалось,
Чтобы и тѣнь тоски не прикасалась,
Чтобъ счастье твое всегда цвѣло».
Спустиася къ нему головою на грудь,
Въ избыткѣ чувствъ, въ признательности сердца,
Ни слова вымолвить она не можетъ. —
По берегу неслася лодка плавно
И вдругъ причалила. Всѣ вышли
Вмигъ изъ нея. «Ну! берегитесь, дѣти»,
Сказалъ Вильгельмъ: «здѣсь сыро и роса,
Чтобъ не нажить несноснаго вамъ кашля». —
Дорогой Ганцъ нашъ мыслить: «что же будетъ,
Когда услышитъ то, чего и знать бы
Не должно ей?» И на нее глядитъ
И чувствуетъ онъ въ сердцѣ укоризну:
Какъ будто бы недоброе что сдѣлалъ,
Какъ будто бы предъ Богомъ лицемѣрилъ.

Картина VIII.

На башнѣ бьетъ часъ полуночный.
Такъ, это часъ, часъ думъ урочный,
Какъ Ганцъ одинъ всегда сидитъ!
Свѣтъ лампы передъ нимъ дрожитъ
И блѣдно сумракъ освѣщаетъ,
Какъ бы сомнѣнья разливаешь.
Все спитъ. Ничей блудящій взоръ
На полъ никого не встрѣтитъ;
И, какъ далекій разговоръ,
Волна шумитъ, а мѣсяцъ свѣтитъ.
Все тихо, дышитъ ночь одна.
Теперь его глубокихъ думъ
Не потревожитъ дневный шумъ:
Надъ нимъ такая-жъ тишина. —

А что-жъ она? — Встаетъ она,
Садится прямо у окна:

«Онъ не посмотритъ, не примѣтитъ,
А насмотрюсь я на него;
Не спать для счастья моего!...
Благослови, Господь, его!»

Волна шумитъ, а мѣсяць свѣтитъ;
И вотъ надъ нею вьется сонъ
И голову невольно клонитъ.
Но Ганць все такъ же въ мысляхъ тонетъ,
Въ глубь ихъ далеко погруженъ.

1.

Все рѣшено. Теперь ужели
Мнѣ здѣсь душою погибать?
И не узнать иной мнѣ цѣли?
И цѣли лучшей не сыскать?
Себя обречь безславью въ жертву?
При жизни быть для міра мертву!

2.

Душой ли, славу полюбившей,
Ничтожность въ мірѣ полюбить?
Душой ли, къ счастью неостывшей,
Волненья міра не испытать?
И въ немъ прекраснаго не встрѣтить?
Существованья не отмѣтить?

3.

Зачѣмъ влечете такъ къ себѣ вы,
Земли роскошные края?
И день и ночь, какъ птицъ напѣвы,
Призывный голосъ слышу я;
И день и ночь мечтами скованъ,
Я вами, вами очарованъ.

4.

Я вашъ! я вашъ! изъ сей пустыни
Виду я въ райскія мѣста;
Какъ пилигримъ бредеть къ святынь,

Корабль пойдетъ, забрызжутъ волны,
Имъ чувства вслѣдъ веселья полны.

5.

И онъ спадетъ, покровъ неясный,
Подъ коимъ знала васъ мечта,
И міръ прекрасный, міръ прекрасный
Отворитъ дивныя врата,
Привѣтитъ юношу готовый
И въ наслажденьяхъ вѣчно новый.

6.

Творцы чудесныхъ впечатлѣній!
Рѣзецъ вашъ, кисть увижу я,
И вашихъ пламенныхъ твореній
Душа исполнится моя.
Шуми-жь, мой океанъ широкій!
Неси корабль мой одинокій!

7.

А ты прости, мой уголь тѣсный,
И лѣсъ, и поле! лугъ, прости!
Кропи васъ чаще дождь небесный,
И дай Богъ долѣе цвѣсти!
По васъ душа какъ будто страдаетъ,
Въ послѣдній разъ обнять васъ жаждетъ.

8.

Прости, мой ангелъ безмятежный!
Чела слезами не кропи!
Не предавайсь тоскѣ мятежной
И Ганца бѣднаго прости!
Не плачь, не плачь, я скоро буду,
Я возвращусь — тебя-ль забуду?...

Картина IX.

Кто это поздною порой
Ступаетъ тихо, осторожно?

Видна котомка за спиной,
Посохъ за поясомъ дорожній.
Направо домикъ передъ нимъ,
Налѣво дальняя дорога,
Итти путемъ онъ хочетъ симъ
И просить твердости у Бога.
Но мукой тайною томимъ,
Назадъ онъ ноги обращаетъ
И въ домикъ тотъ онъ послѣшаетъ.

Одно окно открыто въ немъ;
Облокотясь предъ тѣмъ окномъ,
Краса-дѣвица почиваетъ,
И, вѣя вѣтръ надъ ней крыломъ,
Ей сны чудесные внушаетъ;
И, ими милая полна,
Вотъ улыбается она.
Съ душеволненьемъ къ ней подходитъ...
Стѣснилась грудь; дрожить слеза...
И на прекрасную наводитъ
Свои блестящіе глаза.
Онъ наклонился къ ней, пылаетъ,
Ее цѣлуетъ и стелаетъ.

И, вздрогнувъ, быстро онъ бѣжить
Опять дорогою далекой;
Но мраченъ неспокойный видъ,
Но грустно въ сей душѣ глубокой.
Вотъ оглянулся онъ назадъ;
Но ужъ туманъ окрестность кроетъ,
И пуще юноши грудь ноетъ,
Прощальный посылая взглядъ.
Вѣтръ, пробудившись, суровой
Качнулъ зеленою дубровой;
Исчезло все въ дали пустой.
Сквозь сонъ лишь смутною порой

Готлибъ-привратникъ будто слышалъ,
Что изъ калитки кто-то вышелъ,
Да вѣрный песь, какъ бы въ укоръ,
Пролаялъ звучно на весь дворъ.

Картина X.

Не всходить долго свѣтлый вождь.
Ненастно утро; на поляны
Валятся сѣрые туманы;
Звенить по кровлямъ частый дождь.
Съ зарей красавица проснулась;
Сама дивится, что она
Проспала ночь всю у окна.
Поправивъ кудри, улыбнулась,
Но, противъ воли, взоръ живой
Блеснула досадною слезой.
«Что Ганць такъ долго не приходитъ?
Онъ обѣщалъ мнѣ быть чуть свѣтъ.
Какой же день! тоску наводитъ:
Туманъ густой по полю ходить,
И вѣтръ свистить; а Ганца нѣтъ.»

Полна живого нетерпѣнья,
Глядитъ на милое окно:
Не отворяется оно.
Ганць, вѣрно, спитъ, и сновидѣнья
Ему творять любой предметъ;
Но день давно ужъ. Рвутъ долины
Ручьи дождя; дубовъ вершины
Шумять; а Ганца нѣтъ, какъ нѣтъ.

Ужъ скоро полдень. Непримѣтно
Туманъ уходитъ; лѣсъ молчить;
Громъ въ размысленіи гремитъ
Вдали... Дугою семицвѣтной

Горить на небѣ райскій свѣтъ;
Унизанъ искрами дубъ древній;
И пѣсни звонкія съ деревни
Звучать; а Ганца нѣтъ, какъ нѣтъ.

Что-бъ это значило?... находить
Злодѣйка-грусть; слухъ утомленъ
Считать часы... Вотъ кто-то входитъ...
И въ дверь... Онь! онь!... ахъ, нѣтъ, не онь!
Въ халатѣ розовомъ покойномъ,
Въ цвѣтномъ передникѣ съ каймой,
Приходитъ Берга: «Ангель мой!
Скажи, что сдѣлалось съ тобой?
Ты ночь всю спала безпокойно;
Ты вся томна, ты вся блѣдна.
Не дождь ли помѣшалъ шумливый,
Или ревущая волна?
Или пѣтухъ, буянь крикливый,
Всю ночь не вѣдающій сна?
Иль потревожилъ духъ нечистый
Во снѣ покой дѣвицы чистой,
Навѣялъ черную печаль?
Скажи: тебя всѣмъ сердцемъ жаль!»—

«Нѣтъ, не мѣшалъ мнѣ дождь шумливый,
И ни ревущая волна,
И ни пѣтухъ, буянь крикливый,
Всю ночь не вѣдающій сна;
Не эти сны, не тѣ печали
Мнѣ грудь младую взволновали,
Не ими духъ мой возмущенъ:
Иной мнѣ снился дивный сонъ.

«Мнѣ снилось: въ темной я пустынѣ,
Вокругъ меня туманъ и глушь;
И на болотистой равнинѣ

Нѣтъ мѣста, гдѣ была бы сушь.
Тяжелый запахъ; топко, вязко;
Что шагъ, то бездна подо мной:
Боюся я ступить ногой;
И вдругъ мнѣ сдѣлалось такъ тяжело,
Такъ тяжело, что нельзя сказать...
Гдѣ ни возмись Ганцъ дикій, странный,
— Бѣжала кровь, струясь изъ раны —
Вдругъ началъ надо мной рыдать;
Но, вмѣсто слезъ, лились потоки
Какой-то мутныя воды...
Проснулась я: на грудь, на щеки,
На кудри русой головы,
Бѣжалъ ручьями дождь досадной;
И было сердцу не отрадно.
Меня предчувствіе беретъ...
И я кудрей не выжимала;
И я все утро тосковала:
Гдѣ онъ? и что съ нимъ? что неидетъ?»

Стоитъ, качаетъ головою,
Разумная, предъ нею, мать:
«Ну, дочка! мнѣ съ твоей бѣдою,
Не знаю, какъ ужъ совладать.
Пойдемъ къ нему, узнаемъ сами,
Да будь святая сила съ нами!»

Вотъ входятъ въ комнату онѣ;
Но въ ней все пусто. Въ сторонѣ
Лежить, въ густой пыли, томъ давній,
Платонъ и Шиллеръ своенравный,
Петрарка, Тикъ, Аристофанъ
Да позабытый Винкельманъ;
Куски изодранной бумаги;
На полѣхъ—свѣжіе цвѣты;
Перо, которымъ, полнъ отваги,

Передавалъ свои мечты.
Но на столѣ *мелькнуло* что-то...
Занеска!... съ трепетомъ взяла
Луиза въ руки. Отъ кого-то?
Къ кому?... И что жъ она прочла?...
Языкъ лепечеть странно пени...
И вдругъ упала на колѣни;
Ее кручина давить, жжетъ,
Гробовый холодъ въ ней течетъ.

Картина XI.

Ты посмотри, тиранъ жестокий,
На грусть убитыя души!
Какъ вянетъ цвѣтъ сей одинокій,
Забутый въ пасмурной глуши!
Вглядись, взгляди въ свое творенье:
Ее ты счастья лишилъ,
И жизни радость претворилъ
Въ тоску ей, въ адское мученье,
Въ гнѣздо разоренныхъ могилъ.
О, какъ она тебя любила!
Съ какимъ восторгомъ чувствъ живымъ
Простыя рѣчи говорила!
И какъ внималъ рѣчамъ ты симъ!
Какъ пламенень и какъ невинень
Былъ этотъ блескъ ея очей!
Какъ часто ей, въ тоскѣ своей,
Тотъ день казался скучень, длинень,
Когда, раздумью предана,
Тебя не видѣла она!
И ты-ль, и ты-ль ее оставилъ?
Ты-ль отвернулся отъ всего?
Въ страну чужую путь направилъ,
И для кого? и для чего?
Но посмотри, тиранъ жестокий:

Она все такъ же, подъ окномъ,
Сидитъ и ждетъ, въ тоскѣ глубокой,
Не промелькнетъ (ли) милый въ немъ?
Ужъ гаснетъ день; сіяетъ вечеръ;
На все наброшенъ дивный блескъ;
Прохладный вьется въ небѣ вѣтеръ;
Волны чуть слышенъ дальній плескъ.
Уже ночь тѣни насталяетъ;
Но западъ все еще сіяетъ.
Свирѣль чуть льется; а она
Сидитъ недвижно у окна.

Ночныя видѣнія.

Темнѣетъ, тухнетъ вечеръ красный;
Спать въ упоеніи земля;
И вотъ на наши ужъ поля
Выходитъ важно мѣсяцъ ясный.
И все прозрачно, все свѣтло;
Сверкаетъ море, какъ стекло.—

Въ небѣ чудныя вотъ тѣни
Развились и свились,
И чудесно понеслись
На небесныя ступени.
Прояснилось: двѣ свѣчи;
Двое рыцарей косматыхъ;
Два зубчатые мечи
И чекаленные латы;
Что-то ищутъ; стали въ рядъ;
И зачѣмъ-то переходятъ,
И дерутся, и блестятъ,
И чего-то не находятъ...
Все пропало, слилось съ тьмой;
Свѣтитъ мѣсяцъ надъ водой.

Влистательно всю рощу оглашает
Царь-соловей. Звукъ тихо разнесень.
Чуть дышитъ ночь; земля сквозь сонъ
Мечтательно пѣвцу внимаеть.
Лѣсъ не колышется; все спитъ,
Лишь вдохновенна пѣснь звучитъ.

Показался дивной феи
Слитый съ воздуха дворець,
И въ окнѣ поетъ пѣвецъ
Вдохновенныя затѣи.
На серебряномъ коврѣ,
Весъ затканнй облаками,
Чудный духъ летитъ въ огнѣ;
Сѣверь, югъ покрылъ крылами.
Видитъ: фея спитъ въ плѣну
За рѣшеткою коральной;
Перламутрную стѣну
Рушитъ онъ слезой хрустальной.
Обнялись... слилися съ тьмой...
Свѣтитъ мѣсяцъ надъ водой.

Сквозь паръ окрестность чуть сверкаетъ.
Какую кучу тайныхъ думъ
Наводитъ моря странный шумъ!
Огромный китъ сбиной мелькаетъ;
Рыбакъ закутался и спитъ;
А море все шумитъ, шумитъ.

Вотъ изъ моря молодья,
Дѣвы чудныя плывутъ;
Голубья, огневья,
Волны бѣлыя гребутъ.
Призадумавшись, колышетъ
Грудь лилейную вода,
И красавица чуть дышетъ...

И роскошная нога
Стелеть брызги въ два ряда...
Улыбается, хохочетъ,
Страстно манить и зоветь,
И задумчиво плыветь,
Будто хочетъ и не хочетъ;
И задумчиво поетъ
Про себя, младу сирену,
Про коварную измѣну.
А на тверди голубой,
Свѣтитъ мѣсяцъ надъ водою.

Вотъ въ сторонѣ глухой кладбище:
Ограда ветхая кругомъ,
Кресты, каменья... скрыто мхомъ
Нѣмыхъ покойниковъ жилище.
Полетъ да крики только совъ
Тревожатъ сонъ пустыхъ гробовъ.

Подымается протяжно
Въ бѣломъ саванѣ мертвецъ,
Кости пыльные онъ важно
Оттираетъ, молодецъ;
Съ чела давняго хладъ вѣетъ,
Въ глазѣ палевой огонь,
И подъ нимъ великой конь,
Необъятный, весь бѣлѣетъ
И все болѣе растеть,
Скоро небо обойметъ;
И покойники съ покою
Страшной тянутся толпою.
Земля колется и—бухъ
Тѣни разомъ въ бездну... Уфы!

И стало страшно ей; мгновенно
Она прихлопнула окно.

Все въ сердцѣ трепетномъ смятенно,
И жаръ, и дрожь попеременно
По немъ текутъ. Въ тоскѣ оно.
Вниманіе развлеченно.
Когда, рукою безпощадной,
Судьба надвинетъ камень хладный
На сердце бѣдное,—тогда,
Скажите: кто разсудку вѣренъ?
Чья противъ золь душа тверда?
Кто вѣчно тотъ же завсегда?
Въ несчастьи кто не суевѣренъ?
Кто крѣпкой не блѣднѣлъ душой
Передъ ничтожною мечтой?

Съ боязнью, съ горестію тайной,
Въ постель кидается она;
Но ждетъ напрасно въ ложе сна.
Въ тьмѣ прошумитъ ли что случайно,
Скребуныя мышъ ли пробѣжитъ,—
Отъ вѣжды коварный сонъ летитъ.

Картина XIII.

Печальны древности Аоніи!
Колонны, статуи рядъ обветшалый
Среди глухихъ стоитъ равнинъ.
Печаленъ слѣдъ вѣковъ усталыхъ:
Изящный памятникъ разбитъ,
Изломленъ немощный гранитъ,
Одни обломки уцѣлѣли.
Еще донныѣ величавъ,
Чернѣетъ дряхлый архитравъ,
И вьется плещъ по капители;
Упалъ расщепленный карнизъ
Въ давно-заглохшіе окошы.
Еще блеститъ сей дивный фризь

Сии рельефные метопы;
Еще донныя здѣсь груститъ
Коринескій орденъ многолѣпный,
—Рой ящерицъ по немъ скользить—
На мѣръ съ презрѣнемъ онъ глядитъ;
Все тотъ же онъ великолѣпный,
Время минувшихъ вдавленъ въ тьму,
И безъ вниманья ко всему.

Печальны древности Аѳинъ!
Туманенъ рядъ былыхъ картинъ:
Облокотясь на мраморъ хладный,
Напрасно путникъ алчетъ жадный
Въ душѣ бывшее воскресить,
Напрасно силится развить
Протекшихъ дѣлъ истлѣвшій свитокъ,—
Ничтоженъ трудъ безсильныхъ пытокъ!
Вездѣ читаетъ смутный взоръ
И разрушенье, и позоръ.
Промежъ колоннъ чалма мелькаетъ,
И мусульманинъ по стѣнамъ,
По симъ обломкамъ, камнямъ, рвамъ,
Коня свирѣпо напираетъ,
Останки съ воплемъ разоряетъ.
Невыразимая печаль
Мгновенно путника объемлетъ,
Души онъ тяжкій ропотъ внемлетъ;
Ему и горестно, и жаль,
Зачѣмъ онъ путь сюда направилъ.
Не для истлѣвшихъ ли могилъ
Кровь безмятежный свой оставилъ,
Покой свой тихій позабылъ?
Пускай бы въ мысляхъ обитали
Сии воздушныя мечты!
Пускай бы сердце волновали
Зерцаломъ чистой красоты!

Но и убійственно, и хладно
Разворожились вы теперь;
Безжалостно и безпощадно
Предъ нимъ захлопнули вы дверь,
Сыны существенности жалкой,
Дверь въ тихій міръ мечтаній, жаркой!—
И грустно, медленной стопой
Руины путникъ покидаеть,
Клянется ихъ забыть душой,
И все невольно помышляеть
О жертвахъ бренности слѣпой.

Картина XVI.

Ушло два года. Въ мирномъ Люненсдорфѣ
Попрежнему красуется, цвѣтетъ;
Все тѣ-жь заботы и забавы тѣ же
Волнуютъ жителей покойныя сердца.
Но не попережнему въ семьѣ Вильгельма:
Пастора ужъ давно на свѣтѣ нѣтъ.
Окончивъ путь и тягостный, и трудный,
Не нашимъ сномъ онъ крѣпко опочилъ.
Всѣ жители останки провожали
Священные, съ слезами на глазахъ;
Его дѣла, поступки поминали:
Не онъ ли намъ спасеніемъ служилъ?
Насъ надѣлялъ своимъ духовнымъ хлѣбомъ,
Въ словахъ добру прекрасно поучая?
Не онъ ли былъ утѣхою скорбящихъ,
Сиротъ и вдовъ нетрепетнымъ щитомъ?
Въ день праздничный, какъ крогко онъ, бывало,
Всходилъ на каѳедру! и съ умиленьемъ
Намъ говорилъ: про мучениковъ чистыхъ,
Про тяжкія страданія Христовы;
А мы ему, растроганны, внимали,
Дивилися и слезы проливали.

Отъ Висмара когда кто держитъ путь,
Встрѣчается навѣво отъ дороги
Ему кладбище: старые кресты
Склонились, обшиты мхомъ,
И времени извѣдены рѣзцомъ.
Но промежь нихъ бѣлѣтъ рѣзко урна
На черномъ камнѣ, и надъ ней смиренно
Два явора зеленые шумятъ,
Далеко холодной обнимая тѣню.—
Тутъ бранные покоятся останки
Пастора. Вызвались на свой же счетъ
Соорудить надъ нимъ благіе поселяне
Послѣдній знакъ его существованья
Въ семь мѣрѣ. Надпись съ четырехъ сторонъ
Гласитъ: какъ жилъ и сколько мирныхъ лѣтъ
Провелъ на паствѣ, и когда оставилъ
Свой долгій путь, и Богу духъ вручилъ.—

И въ часъ, когда стыдливый развиваетъ
Румяные востокъ свои власы,
Подыметъ по полю свѣжій вѣтеръ,
Посыплется алмазами роса,
Въ своихъ кустахъ малиновка зальется,
Полсолнца на землѣ всходя горитъ,—
Къ нему идутъ младыя поселянки,
Съ гвоздиками и розами въ рукахъ;
Увѣшаютъ душистыми цвѣтами,
Гирляндю зеленой обовьютъ,
И снова въ путь назначенный идутъ.
Изъ нихъ одна, младая, остается
И, опершись лилейною рукой,
Надъ нимъ сидитъ въ раздумьи долго, долго,
Какъ будто бы о непостижномъ мыслить.
Въ задумчивой, скорбящей дѣвѣ сей
Кто-бъ не узналъ печальныя Луизы?
Давно въ глазахъ веселье не блеститъ;

Не кажется невинная усмѣшка
Въ ея лицѣ; не пробѣжить по немъ,
Хотя ошибкой, радостное чувство;
Но какъ мила она и въ грусти томной!
О, какъ возвышененъ невинной этотъ взглядъ!
Такъ свѣтлый Серафимъ тоскуеть
О пагубномъ паденьи челоуѣка.
Мила была счастливая Луиза,
Но какъ-то мнѣ въ несчастіи милѣе.
Осмынадцать лѣтъ тогда минуло ей,
Когда представился пасторъ разумный.
Всей дѣтскою она своей душой
Богородобнаго любила старца;
И думаетъ въ душевной глубинѣ:
«Нѣтъ, не сбылись живыя упованья
Твои. Какъ, добрый старецъ, ты желалъ
Насъ обвѣнчать передъ святымъ налоемъ,
Навѣки нашъ союзъ соединить!
Какъ ты любилъ мечтательнаго Ганца!
А онъ...»

Заглянемъ въ хижину Вильгельма.
Ужъ осень; холодно. И дома онъ
Вытачивалъ съ искусствомъ хитрымъ кружки
Изъ крѣпкаго съ слоями бука,
Затѣйливой рѣзбою украшая;
У ногъ его свернувшись лежалъ
Любимый другъ, товарищъ вѣрный, Гекторъ.
А вотъ разумная хозяйка Берта
Съ утра уже заботливо хлопочетъ
О всемъ. Толпится такъ же подъ окномъ
Гусей ватага долгошейныхъ; такъ же
Неугомонныя кудахчуть куры;
Чиликаютъ нахалы-воробы,
Весь день въ навозной кучѣ роясь.
Видали ужъ красавца-снигиря;

И осенью давно запахло въ полѣ;
И пожелтѣлъ давно зеленый листъ,
И ласточки давно ужь отлѣтели
За дальнія, роскошныя моря.
Кричитъ разумная хозяйка Верта:
«Такъ долго не годится быть Луизѣ!
Темнѣетъ день. Теперь не то, что лѣтомъ:
Ужъ сыро, мокро, и густой туманъ
Такъ холодомъ всего и пронимаетъ.
Зачѣмъ бродить? бѣда мнѣ съ этой дѣвкой:
Не выкинетъ она изъ мыслей Ганца!
А Богъ знаетъ, онъ живъ ли, или нѣтъ».
Не то совсѣмъ раздумываетъ Фанни,
За пяльцами сидя въ своемъ углу.
Шестнадцать лѣтъ ей, и полна тоски
И тайныхъ думъ по идеальномъ другѣ,
Разсѣянно, невнятно говоритъ:
«И я бы такъ, и я-бъ его любила». —

Картина XVII.

Унывна осени пора;
Но день сегодняшній прекрасенъ:
На небѣ волны серебра,
И солнца ликъ блестящъ и ясенъ.
Одинъ дорогой почтовой
Бредетъ, съ котомкой за спиной,
Печальный путникъ изъ чужбины.
Унылъ, и томень онъ, и дикъ,
Идетъ согнувшись, какъ старикъ;
Въ немъ Ганца нѣтъ и половинны.
Полупотухшій бродитъ взоръ
По значнымъ холмамъ, желтымъ нивамъ,
По разноцвѣтной цѣпи горъ.
Какъ бы въ забвеніи счастливомъ,
Его касается мечта;

Но мысль не тѣмъ ужъ занята:
Онъ въ думы крѣпкія погружень.
Ему покой теперь бы нуженъ.

Прошелъ онъ дальній, видно, путь;
Страдаетъ, больно, видно, грудь.
Душа страдаетъ, жалко ноя;
Ему теперь не до покоя.

О чемъ же думы крѣпки тѣ?
Дивится самъ онъ суетѣ:
Какъ былъ измученъ онъ судьбою,
И зло смѣется надъ собою:
Что повѣрялъ своей мечтой
Свѣтъ ненавистный, слабоумной;
Что задивился въ блескъ пустой
Своей душою неразумной;
Что, не колеблясь, смѣло онъ
Симъ людямъ кинулся въ объятія
И, околдованъ, охмеленъ,
Въ ихъ злыя вѣрилъ предпріятія.
Какъ гробы, холодны они;
Какъ тварь презрѣннѣйшая, низки;
Корысть и почести одни
Имъ лишь и дороги, и близки.
Они позорятъ дивный даръ:
И попираютъ вдохновенье,
И презираютъ откровенье;
Ихъ холоденъ притворный жаръ,
И губельно ихъ пробужденье.
О, кто-бъ нетрепетно проникъ
Въ ихъ усыпительный языкъ!
Какъ ядовито ихъ дыханье!
Какъ ложно сердца трепетанье!
Какъ ихъ коварна голова!
Какъ пустозвучны ихъ слова!

И много истинъ онъ, печальный,
Теперь извѣдалъ и узналъ,
Но самъ счастливѣе ли сталъ
Во глубинѣ души опальной?
Лучистой, дальнею звѣздой
Его влекла, тянула слава,
Но ложенъ чадъ ея густой,
Горька блестящая отрава.

Склоняется на западъ день,
Вечерняя длиннѣетъ тѣнь;
И облаковъ блестящихъ, бѣлыхъ
Ярче алые края;
На листьяхъ темныхъ, пожелтѣлыхъ
Сверкаетъ золота струя.
И вотъ завидѣлъ странникъ бѣдный
Свои родимые луга,
И взоръ мгновенно вспыхнулъ блѣдный,
Блеснула жаркая слеза.
Рой прежнихъ, тѣхъ забавъ невинныхъ
И тѣхъ проказъ, тѣхъ думъ старинныхъ —
Все разомъ налегло на грудь
И не даетъ емудохнуть.
И мыслить онъ: что это значитъ?..
И, какъ ребенокъ слабый, плачетъ.

Д у м а.

Благословенъ тотъ дивный мигъ,
Когда въ порѣ самопознанья,
Въ порѣ могучихъ силъ своихъ,
Тотъ, Небомъ избранный, постигъ
Цѣль высшую существованья;
Когда не грѣзъ пустая тѣнь,
Когда не славы блескъ мишурный
Его тревожатъ ночь и день,
Его влекутъ въ мѣръ шумный, бурный;

Но мысль и крѣпка, и бодра
Его одна объемлетъ, мучить
Желаньемъ блага и добра;
Его трудамъ великимъ учить.
Для нихъ онъ жизни не щадить.
Вотще безумно чернь кричить:
Онъ твердь средь сихъ живыхъ обломковъ
И только слышитъ, какъ шумитъ
Благословеніе потомковъ.

Когда-жъ коварныя мечты
Взволнуютъ жаждой яркой доли,
А нѣтъ въ душѣ желѣзной воли,
Нѣтъ силъ стоять средь суеты, —
Не лучше-ль въ тишинѣ укромной
По полю жизни протекать,
Семьей довольствоваться скромной
И шуму свѣта не внимать?

Картина XVIII.

Выходятъ звѣзды плавнымъ хоромъ,
Обозрѣваютъ кроткимъ взоромъ
Опочивающій весь міръ:
Блудутъ сонъ тихій человѣка,
Ниспосылаютъ добрымъ миръ,
А злымъ ядъ гибельный упрека.
Зачѣмъ же, звѣзды, грустнымъ вы
Не посылаете покоя?
Для горемычной головы
Вы — радость, и, на васъ покоя
Свой грустный, стоскопалый взоръ,
Страстей онъ слышитъ разговоръ
Въ душѣ, и васъ онъ призываетъ,
И вамъ онъ пени повѣряетъ.
Попрежнему всегда томна,

Еще Луиза не раздѣлась;
Не спится ей; въ мечтахъ она
На ночь осенню заглядѣлась.
Предметъ и тотъ же, и одинъ...
И вотъ восторгъ къ ней въ душу входитъ:
Пѣснь стройную она заводитъ,
Звучить веселый клависинъ.

Внимая шуму листопада,
Промежъ деревьевъ, гдѣ сквозить
Изъ стѣнъ рѣшетчатыхъ ограда,
Въ забвеньи сладостномъ, у сада
Нашъ Ганцъ закутавшись стоитъ.
И что же съ нимъ, когда онъ звуки
Давно-знакомые узналъ,
И голосъ тотъ, со дня разлуки,
Что долго, долго не слыхаль,
И пѣсню ту, что въ страсти жаркой,
Въ любви, въ избыткѣ дивныхъ силъ,
Подъ строй души въ напѣвахъ яркой,
Ее, восторженный, сложилъ?
Черезъ садъ она звенить, несется
И въ упоеньи тихомъ льется:

Тебя зову! тебя зову!
Твоей улыбкою чаруюсь,
Съ тобой не часъ, не два сижу,
Съ тебя очей я не свожу:
Дивуюся, не надивуюсь.

* *
* *
* *

Поешь ли ты — и звонъ рѣчей
Твоихъ, таинственный, невинный,
Ударить въ воздухъ ли пустынный —
Звукъ въ небѣ льется соловьиный,
Гремить серебряный ручей.

* *
* *

Приди ко мнѣ, прижмись ко мнѣ,
Въ жару чудснаго волненья!
Пылаеть сердце въ тишинѣ;
Онѣ горять, онѣ въ огнѣ,
Твои покойныя движенья:

* *

И безъ тебя грущу, томлюсь,
И позабыть тебя нѣтъ силы.
И пробуждаюсь ли, ложусь,
Все о тебѣ молюсь, молюсь
Все о тебѣ, мой ангелъ милый.

* *

И вотъ почудилося ей:
Чудеснымъ заревомъ очей
Возлѣ нея блистаетъ кто-то,
И слышитъ вздохъ она кого-то,
И страхъ, и дрожь ее беретъ...
И оглянулась...

«Ганцы!»...

О, кто пойметъ

Всю эту радость чудной встрѣчи
И взоровъ пламенныхъ рѣчи,
И этотъ чувствъ счастливый гнетъ!
О, кто такъ пламенно опишетъ
Сію душевную волну,
Когда она грудь рветъ и пышетъ,
Терзаетъ сердца глубину,
А самъ дрожжишь, въ весельи млѣешь,
Ни думъ, ни словъ найти не смѣешь;
Въ восторгѣ, въ кучѣ сладкихъ мукъ,
Сольешься въ стройный, свѣтлый звукъ!

Опомнясь, Ганць глядитъ сквозь слезы
Въ глаза подруги своєї
И мыслить: «Полно, это грѣзы;
Пусть же не просыпаюсь я!

Она все та-жъ, и такъ любила
Меня всей дѣтскою душой!
Чело печалю накрыла,
Румянецъ свѣжій засушила,
Губила вѣкъ свой молодой;
А я безумный, безтолковой,
Летѣлъ искать кручины новой!..»
И спалъ страданій тяжкій сонъ
Съ его души; живой, спокойный,
Переродился снова онъ,
На время бурей возмущенъ:
Такъ снова блещетъ мѣръ нашъ стройный;
Въ огнѣ закаленный булатъ
Такъ снова ярче во сто кратъ.

Пируютъ гости: рюмки, чашки
Кругомъ обходятъ и гремятъ;
И старики болтаютъ наши,
И въ танцахъ юноши кипятъ.
Звучитъ протяжнымъ, шумнымъ громомъ
Музыка яркая весь день;
Ворочаетъ веселье домомъ;
Гостепріимно блещетъ сѣнь.
И поселанки молодыя
Чету влюбленную дарятъ:
Несутъ фіалки голубыя,
Несутъ имъ розы огневныя,
Ихъ убираютъ и шумятъ:
«Пусть вѣкъ цвѣтутъ ихъ дни младае,
Какъ тѣ фіалки полевныя!
Сердца любовью да горятъ,
Какъ эти розы огневныя!»

И въ упоеннѣ, въ нѣгѣ чувствъ
Заранѣ юноша трепещетъ,
И свѣтлый взоръ весельемъ блещетъ;

И безиритворно, безъ искусствъ,
Оковы сбросивъ принужденья,
Вкушаетъ сердце наслажденья.
И васъ, коварныя мечты,
Боготворить ужъ онъ не станетъ, —
Земной поклонникъ красоты.
Но чтѣ-жъ опять его туманить?
(Какъ непонятенъ человѣкъ!)
Прощаясь съ ними онъ навѣкъ,
Какъ бы по старомъ другѣ вѣрномъ,
Грустить въ забвеніи усердномъ.
Такъ въ заключеніи школьникъ ждетъ,
Когда желанный срокъ придетъ.
Лѣта къ концу его ученья —
Онъ полонъ думъ и упоенья,
Мечты воздушныя ведетъ:
Онъ независимый, онъ вольный,
Собой и міромъ всѣмъ довольный.
Но, разставаяся съ семьей
Своихъ товарищей, душой
Дѣлилъ съ кѣмъ шалость, трудъ, покой, —
И размышляетъ онъ, и стонетъ,
И съ невыразною тоской
Слезу невольную уронить.

Эпилогъ.

Въ уединеніи, въ пустынѣ,
Въ никѣмъ незнаемой глуши,
Въ моей невѣдомой святынѣ,
Такъ созидаются отнынѣ
Мечтанья тихія души.
Дойдетъ ли звукъ подобно шуму?
Взволнуетъ ли кого-нибудь:
Живую юноши ли думу,
Иль дѣвы пламенную грудь?
Веду съ невольнымъ умиленьемъ
Я пѣсню тихую мою,
И съ неразгаданнымъ волненъемъ
Свою Германію пою.
Страна высокихъ помышленій!
Воздушныхъ призраковъ страна!
О, какъ тобой душа полна!
Тебя обнявъ, какъ нѣкій Гсній,
Велкій Гётте бережетъ,
И чуднымъ строемъ пѣснопѣній
Свѣваетъ облако заботъ.



ИТАЛІЯ

Италія — роскошная страна!
По ней душа и стонеть, и тоскуеть;
Она вся рай, вся радости полна,
И въ ней любовь роскошная веснуеть.
Вѣжить, шумить задумчиво волна
И берега чудесные цѣлуеть;
Въ ней небеса прекрасныя блестятъ;
Лимонъ горить, и вѣетъ аромать.

И всю страну объемлетъ вдохновенье;
На всемъ печать протекшаго лежитъ;
И путникъ зрѣтъ великое творенье,
Самъ пламенный, изъ снѣжныхъ странъ спѣшитъ;
Душа кипитъ, и весь онъ — умиленье,
Въ очахъ слеза невольная дрожитъ;
Онъ, погруженъ въ мечтательную думу,
Внимаетъ дѣлъ давно-минувшихъ шуму.

Здѣсь низокъ міръ холодной суеты,
Здѣсь гордый умъ съ природы глазъ не сводитъ;
И радужной въ сіяньи красоты
И жарче, и яснѣй по небу солнце ходитъ.
И чудный шумъ, и чудныя мечты
Здѣсь море вдругъ спокойное наводитъ;
Въ немъ облаковъ мельбаеетъ рѣзвый ходъ,
Зеленый дѣсь и синій неба сводъ.

А ночь, а ночь вся вдохновеньем дышетъ.
Какъ спитъ земля, красой упоена!
И страстно миртъ надъ ней главою колышетъ,
Среди небесъ, въ сіяніи луна
Глядитъ на міръ, задумалась и слышитъ,
Какъ подъ весломъ проговоритъ волна;
Какъ черезъ садъ октавы пронесутся,
Плѣнительно вдали звучать и льются.

Земля любви и море чарованій!
Блестательный мірской пустыни садъ!
Тотъ садъ, гдѣ въ облакѣ мечтаній
Еще живутъ Рафаэль и Торквато!
Узрю-ль тебя я, полный ожиданій?
Душа въ лучахъ, и думы говорятъ,
Меня влечетъ и жжетъ твое дыханье,
Я въ небесахъ весь звукъ и трепетанье!...



КЛАССНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

О томъ, что требуется отъ критики.

(Изъ теории словесности).

Что требуется отъ критики? вотъ вопросъ, котораго рѣшеніе слишкомъ нужно, (особливо) въ наши времена, когда благородная цѣль критики унижена несправедливыми притязаніями, личными выходками и часто обращается въ позорную брань—(первое) слѣдствіе необразованности, отсутствія истиннаго просвѣщенія. — Первая, главная принадлежность, безъ которой критика не можетъ существовать, это—безпристрастіе; но нужно, чтобы оно правилось умомъ зоркимъ, истинно-просвѣщеннымъ, могучимъ вполне отдѣлить прекрасное отъ неизячнаго. Критика должна быть строга, чтобы тѣмъ болѣе дать цѣны прекрасному, потому что просвѣщенной писатель не ищетъ безотчетной похвалы и славы, но требуетъ, чтобы она была опредѣлена умомъ строгимъ и вѣрно понявшимъ его мысль, его твореніе; она должна быть благопристойна, чтобы ни одно выраженіе оскорбительное не вкралось, чрезъ то уменьшающее достоинство критики и заставляющее думать, что рецензентомъ водила какая-нибудь вражда, злоба, недоброжелательство. Слѣдственно отсутствіе личности также необходимо для критики. Наконецъ, послѣднее: нужно, чтобы перомъ рецензента, или критика правило истинное желаніе добра и пользы; оно должно одушевлять все его изысканія и разборы и быть всегда его неизмѣннымъ водителемъ, какъ высокій, божескій характеръ души просвѣщеннаго мыслителя.



2.

Изложить законные обряды апелляции, какъ изъ нижнихъ инстанцій въ высшую и въ Департ. Сената.

(Изъ Русскаго права).

Когда недовольны рѣшеніемъ присутственныхъ мѣстъ нижнихъ инстанцій, тогда имѣютъ право подавать прошеніе въ инстанцію высшую — въ Гражданскую Палату въ томъ, что дѣло ихъ право и резолюція нижнихъ инстанцій несправедлива — это называется апелляціею. При внесеніи ея въ Гражд. Палату нужно внести и пошлину исковыхъ 12 рублей, послѣ чего Гражданская Палата требуетъ изъ нижней инстанціи все дѣло и рѣшить сама. Но прежде еще внесенія апелляции онъ долженъ внести въ нижнюю инстанцію 25 рублей въ залогъ. Если недоволенъ и рѣшеніемъ гражданской палаты, тогда имѣетъ право апеллировать въ Сенатъ, внесши въ Гражд. Палату въ залогъ 200 рублей. Въмѣстѣ съ апелляціею онъ представляетъ и свидѣтельство въ томъ, что апелляціонный искъ произведенъ въ срокъ, положенный для сего. Сенатъ, взыскавши 12 пошлинныхъ, принявши апелляцію и свидѣтельство, судить въ собраніи Сената единогласно; когда же нѣтъ, собираетъ чрезвычайное общее собраніе, и рѣшится большинствомъ голосовъ, когда двѣ трети согласны. — Но если генераль-прокуроръ не согласенъ съ сенаторами, то отъ него требуютъ изложеніе причинъ, послѣ чего онъ рѣшить уже самъ или обще съ Государс. Совѣтомъ.



ДВѢ ГЛАВЫ ИЗЪ МАЛОРОССІЙСКОЙ ПО- ВѢСТИ „СТРАШНЫЙ КАБАНЪ“.

I.

УЧИТЕЛЬ.

Прибытіе новаго лица въ благословенныя мѣста готландскія надѣлало болѣе шуму, нежели пронесіеся за два года предъ тѣмъ слухи о прибавкѣ рекрутъ, нежели внезапно поднявшаяся цѣна на соль, вывозимую изъ Крыма украинскими степовиками. Въ шинкѣ, по улицамъ, на мельницѣ, въ винокурнѣ только и рѣчей было, что про пріѣзжаго учителя. Догадливые политики въ сѣрыхъ кобенякахъ и святахъ, пуская дымъ себѣ подъ носъ съ самымъ флегматическимъ видомъ, пытались опредѣлить вліяніе такого лица, которому судьба, казалось, при рожденіи указала высоту, чуть-чуть не надъ головами всѣхъ мірянъ, которое живеть въ панскихъ покояхъ и обѣдаетъ за однимъ столомъ съ обладательницею пятидесяти душъ ихъ селенія. Поговаривали, что званія учителя для него мало, что, безъ всякаго сомнѣнія, вліяніе его будетъ накинута и на хозяйственную систему; по крайней мѣрѣ, уже, вѣрно, не отъ другого кого-либо будетъ зависѣть нарядженіе подводъ, отпускъ муки, сала и проч. Нѣкоторые съ значительнымъ видомъ давали замѣтить, что едва ли и самъ приказчикъ не будетъ теперь нулемъ. Одинъ только *мирошникъ* *), Солопій Чубко, дерзнулъ утверждать, что старшинамъ со стороны его нечего опасаться, что готовъ онъ держать закладъ объ новой шанкѣ изъ сѣрыхъ рѣшетилловскихъ смушковъ, если смыслить учителя, какъ остановить пятерню и поворотить застоявшійся жерновъ. Но важная осанка, блистательное торжество надъ

*) Мельникъ.

дьячкомъ, громоподобный басъ, приведшій въ умиленіе всѣхъ прихожанъ, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнѣніе объ учителѣ подтверждалось. И если въ честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, за то любезныя сожительницы ихъ не ударили себя лицомъ въ грязь: одаренныя тѣмъ звонкимъ и пронзительнымъ языкомъ, который, по неисповѣдимымъ велѣніямъ судьбы, у женщинъ почти четверо быстрее поворачивается, нежели у мужчинъ, онѣ гибко развертывали его въ опроверженіе и защиту достоинствъ учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемыя взвизгиваньемъ и бранью, раздавались по мирнымъ закоудкамъ села Мандрыкъ. А какъ почтеннѣйшія обитательницы его имѣли похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицамъ то и дѣло, что находили кумушекъ, уцѣпившихся такъ плотно другъ за друга, какъ подынало цѣпляется за счастливица, какъ скряга за свой боковой карманъ, когда улица уходитъ въ глушь и одинокій фонарь отливаетъ не тухающій свѣтъ свой на палевыя стѣны уснувшаго города. Больше всего доставалось муженькамъ, пытавшимся разнимать ихъ: очки, черепья какъ градъ летѣли имъ на голову, и часто раздраженная кумушка, въ пылу своего гнѣва, вмѣсто чужого, колотила собственнаго сожителя.

Въ это время педагогъ нашъ почти освоился въ домѣ Анны Ивановны. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ семинаристовъ, *убоявшихся бездны премудрости*, которыми ***ская семинарія снабжаетъ не слишкомъ зажиточныхъ цанковъ въ Малороссіи, рублей за сто въ годъ, въ качествѣ домашняго учителя.— Впрочемъ, Иванъ Осиповичъ дошелъ даже до богословія и залетѣлъ бы не вѣсть куда, вѣроятно, еще далѣе, если бы не шалуны его товарищи, которые безпрестанно подсмѣивались надъ усами и колючею его бородой. Съ годами, когда одни выходили совсѣмъ, а на мѣсто ихъ поступали молоде и молоде — ему, наконецъ, не давали прохода: то бросали цѣпкимъ репейникомъ въ бороду и усы, то привѣшивали сзади побрякушки, то

вудрили ему голову пескомъ или подсыпали въ табакерку его чемерки, такъ что Иванъ Осиповичъ, наскуча быть безмолвнымъ зрителемъ безпрестанно мѣнявшагося вътренаго покоянія и дѣтской игрушкой, принужденъ былъ бросить семинарію и опредѣлиться на *ваканцію* *).

Перемѣненіе это сдѣлало важную эпоху и переломъ въ его жизни. Безпрестанныя насмѣшки и проказы шалуновъ зашвыстало, наконецъ, какое-то почтеніе, какая-то особенная привязь и расположеніе. Да и какъ было не почувствовать невольнаго почтенія, когда онъ появлялся, бывало, въ праздникъ въ своемъ свѣтлосинемъ сюртукѣ, — замѣьте: въ свѣтлосинемъ сюртукѣ, это немаловажно. Долгомъ поставлю на доумить читателя, что сюртукъ вообще (не говоря уже о синемъ), будь только онъ не изъ смураго сукна, производитъ въ селахъ, на благословенныхъ берегахъ Голтвы, удивительное вліяніе: гдѣ ни показывается онъ, тамъ шапки съ самыхъ неповоротливыхъ головъ перелетаютъ въ руки, и солидныя, вооруженныя черными, сѣдыми усами, загорѣвшія лица отгѣриваютъ въ поясъ почтительные поклоны. Всѣхъ сюртуковъ, полагая въ то число и хламиду дьячка, считалось въ селѣ три; но какъ величественная тыква гордо громоздится и заслоняетъ прочихъ поселенцевъ богатой *бакши* **), такъ и сюртукъ нашего пріятеля затемнялъ прочихъ собратьевъ своихъ. Болѣе всего придавали ему прелести большія костяныя пуговицы, на которыя толпами заглядывались уличные ребятишки. Не безъ удовольствія слышалъ нашъ щеголеватый наставникъ юношества, какъ матери показывали на нихъ груднымъ ребятамъ, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: *цяця, цяця!* ***) За столомъ пріятно было видѣть, какъ чинно, съ какимъ умиле-ніемъ, почтенный наставникъ, завѣсившись салфеткой, отправлялъ всеобщій процессъ житейскаго насыщенія. Ни

*) Эти слова въ украинскихъ семинаріяхъ значать: пойти въ домашніе учителя.

***) Нива, засѣянная арбузами, дынями, тыквами и т. п.

***) Хорошо! Хорошо!

слова посторонняго, ни движенія лишняго: весь переселялся онъ, казалось, въ свою тарелку. Опорожнивъ ее такъ, что никакія принадлежащія къ гастрономіи орудія, какъ-то: вилка и ножъ, ничего уже не могли захватить, отрѣзывалъ онъ ломтикъ хлѣба, вдѣввалъ его на вилку и этимъ орудіемъ проходилъ въ другой разъ по тарелкѣ, послѣ чего она выходила чистою, будто изъ фабрики. Но все это, можно сказать, были только наружныя достоинства, выказывавшія въ немъ знаніе тонкихъ обычаевъ свѣта, и читатель дасть большой промахъ, если заключить, что тутъ-то были и всѣ способности его. Почтенный педагогъ имѣлъ необъятныя для простолюдина свѣдѣнія, изъ которыхъ инья держалъ подъ секретомъ, какъ-то: составленіе лѣкарства противъ укушенія бѣшеныхъ собакъ, искусство окрашивать посредствомъ одной только дубовой коры и острой водки въ лучшій красный цвѣтъ. Сверхъ того, онъ собственноручно приготовлялъ лучшую ваксу и чернила, вырѣзывалъ для маленькаго внука Анны Ивановны фигурки изъ бумаги; въ зимніе вечера моталъ мотки и даже прялъ.

Удивительно ли, если съ такими дарованіями сдѣлался онъ необходимымъ человѣкомъ въ домѣ, если вся дворня была безъ ума отъ него, несмотря, что лицо его и обладомъ, и цвѣтомъ совершенно походило на бутылку, что огромнѣйшій ротъ его, котораго дерзкимъ покушеніямъ едва полагали преграду оттопырившіяся уши, поминутно строилъ гримасы, приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имѣли цвѣтъ яркой зелени,—глаза, какими, сколько мнѣ извѣстно, ни одинъ герой въ лѣтописяхъ романовъ не былъ одаренъ. Но, можетъ-быть, женщины видятъ болѣе насъ. Кто разгадаетъ ихъ? Какъ бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна свѣдѣніями учителя въ домашнемъ хозяйствѣ, въ умѣніи дѣлать настойку на шафранѣ и herba gaba-gabum, въ искусномъ разматываніи мотковъ и вообще въ великой наукѣ жить въ свѣтѣ. Ключницѣ болѣе всего нравился щегольской сюртукъ его и умѣнье одѣваться; впрочемъ, и она замѣтила, что учи-

тель имѣлъ удивительно умильный видъ, когда изволилъ молчать или кушать. Маленькаго внука забавляли до чрезвычайности бумажные пѣтухи и человѣчки. Самъ кудлатый Бровко, едва только завидитъ, бывало, его, выходящаго на крыльцо, какъ, ласково помахая хвостомъ своимъ, побѣжить къ нему навстрѣчу и безъ церемоніи цѣлуетъ его въ губы, если только учитель, забывъ важность, приличную своему сану, соизволитъ присѣсть подъ величественнымъ фронтономъ. Одни только два старшіе внука и домашніе мальчишки, съ которыми проходилъ онъ *Азъ — Амель, Архангелъ, Буки — Богъ, Божество, Богородица*, — боялись краснорѣчивыхъ лозъ грознаго педагога.

Въ краткое пребываніе свое, Иванъ Осиповичъ успѣлъ уже и самъ сдѣлать свои наблюденія и заключить въ головѣ своей, будто на вогнутомъ стеклѣ, миньютюрное отраженіе окружавшаго его міра. Первымъ лицомъ, на которомъ остановилось почтительное его наблюденіе, какъ, вѣрно, вы догадаетесь, была сама владѣтельница помѣстья. Въ лицѣ ея, тронутомъ рѣзкою кистью, которою время съ незапамятныхъ временъ расписываетъ родъ человѣческой и которую, Богъ знаетъ съ какихъ поръ, называютъ морщиною, въ темнокофейномъ ея капотѣ, въ чепчикѣ (покрой котораго утратился въ толпѣ событій, знаменовавшихъ XVIII-е столѣтіе), въ коричневомъ шушунѣ, въ башмакахъ безъ задковъ, глаза его узнали тотъ періодъ жизни, который есть слабое повтореніе минувшихъ, холодный, безцвѣтный переводъ созданій пламеннаго, кипящаго вѣчными страстями поэта, — тотъ періодъ, когда воспоминаніе остается человѣку, какъ предетавитель и настоящаго, и прошедшаго, и будущаго, когда роковыя шестьдесятъ лѣтъ гонятъ холодъ въ нѣкогда бившія огненнымъ ключомъ жилы и термометръ жизни переходитъ за точку замерзанія. Впрочемъ, вѣчныя заботы и страсть хлопотать нѣсколько одушевляли потухшую жизнь въ чертахъ ея, а бодрость и здоровье были вѣрною порукою еще за тридцать лѣтъ впередъ. Все время отъ пяти часовъ утра до шести вечера, то-есть, до времени

успокоенія, было непрерывною цѣпью занятій. До семи часовъ утра уже она обходила всѣ хозяйственныя заведенія, отъ кухни до погребовъ и кладовыхъ, успѣвала побраниться съ приказчикомъ, накормить куръ и замороженныхъ гусей, до которыхъ она была охотница. До обѣда, который не бывалъ позже двѣнадцати часовъ, завертывала въ пекарню и сама даже пекла хлѣбы и особеннаго рода крендели на меду и на яйцахъ, которыхъ одинъ запахъ производилъ неистижимое волненіе въ педагогѣ, страстно привязанномъ ко всему, что питаетъ душевную и тѣлесную природу человѣка. Время отъ обѣда до вечера мало ли чѣмъ заняться хозяйкѣ?—красить шерсть, мѣрять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способовъ, секретовъ, домашнихъ средствъ производится въ это время въ дѣйство! Отъ наблюдательнаго взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславія, и потому положилъ онъ за правило разсыпаться, разумѣется, сколько позволяла природная его застѣнчивость, въ похвалахъ необыкновенному ея искусству и знанію хозяйничать, и это, какъ послѣ увидѣлъ онъ, послужило ему въ пользу: почтенная старушка до тѣхъ поръ не закупоривала сладкихъ наливокъ и варенья, покажѣсть Иванъ Осиповичъ, отвѣдавъ, не объявлялъ превосходной доброты того и другого. Всѣ прочія лица стояли въ тѣни предъ этимъ свѣтиломъ такъ, какъ всѣ строенія во дворѣ, казалось, пресмыкались предъ чуднымъ зданіемъ съ великолѣпнымъ его фронтономъ. Только для глазъ пронирливаго наблюдателя замѣтны были ихъ взаимныя соотношенія и особенный колоритъ, обозначавшій каждого, и тогда ему открывалось, словно въ муравьиномъ рою, вѣчное движеніе, суматоха и ни на минуту не останавливавшійся шумъ. И педагогъ нашъ, какъ мы уже видѣли, умѣлъ угодить на вкусъ всѣхъ и, какъ могучій чародѣй, приковать къ себѣ всеобщее почтеніе.

Непонятны только были причины, заставившія его сблизиться съ кухмистеромъ. Высокое ли уваженіе, которое

Иванъ Осиповичъ невольно чувствовалъ къ его искусству, другое ли какое обстоятельство—мы этого не беремся рѣшить. Довольно, что не прошло двухъ дней—и въ Мандрыхахъ воскресли Орестъ и Пиладъ новаго міра. Но еще непонятнѣе была власть кухмистера надъ нашимъ педагогомъ, такъ что отъ природы скромный, застычивый учитель, не бравшій ничего въ ротъ, кромѣ лѣкарственной настойки на буквицу и herba garbaricum, невольно плелся за нимъ по шинкажъ и по всѣмъ закоулкамъ, куда разгульный кухмистеръ нашъ показывалъ только носъ свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положеніе его мѣстопробыванія. Скоро осмотрѣлъ онъ обступившіе въ неровный кружокъ просторный господскій дворъ—кухню, сарай, амбары, конюшни и кладовыя, съ особеннымъ удовольствіемъ остановился на густо-разросшемся садѣ, котораго гигантскіе обитатели, закутанные темнозелеными плащами, дремали, увѣчанные чудесными сновидѣніями, или, вдругъ освободясь отъ грѣзъ, рѣзали вѣтвями, будто мельничными крыльями, митежный воздухъ, и тогда по листьямъ ходили непонятныя рѣчи, и мѣрныя величественныя движенія всего ихъ тѣла напоминали древнихъ лицедѣевъ, вызывавшихъ на поприще Мельпомены великія тѣни усопшихъ. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лѣпились около не столь высокопарныхъ жильцовъ сада, за то увѣшанныхъ съ ногъ до головы грушами и яблоками, которыми кипитъ роскошная Украина. Отсюда продирались они къ кухнѣ, за которою стались плантаціи гороху, капусты, картофелю и вообще всѣхъ зелій, входящихъ въ микстуру деревенской кухни. Не безъ особеннаго удовольствія вошелъ онъ въ чистую, опрятно выбѣленную и прибранную комнату, опредѣленную для его помѣщенія, съ окошкомъ, глядѣвшимъ на прудъ и на лиловую, окутанную туманомъ, окрестность.

Мы имѣли уже случай замѣтить нѣчто о вліяніи нашего учителя на мандрыховскихъ красавицъ: потупленные взгляды, перешептываніе, низкіе поклоны показывали, что овладѣніемъ считала каждая изъ нихъ немаловажнымъ дѣломъ. Впро-

чемъ, не мѣшаетъ припомнить любезному читателю, что на Иванъ Осиповичъ былъ синий фабричнаго сукна сюртукъ съ черными, величиною съ большой грошъ, костяными пуговицами; и такъ, ему очень было простиительно перетолковать въ свою пользу перемигиванья чернобровыхъ проказницъ. Но, къ счастью или несчастью, чувство, такъ много извѣстное бѣдному человѣчеству, наносившее ему съ незапамятныхъ временъ море нестерпимыхъ мукъ, не касалось нашего педагога. Въ этомъ случаѣ Иванъ Осиповичъ былъ настоящій стоиць и, несмотря на то, что не дошелъ еще до *философiи*, онъ твердо зналъ, что ни одинъ изъ философовъ, начиная отъ Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарiи, не ставилъ ни во что причудливую половину человѣческаго рода; ergo, любви не существуетъ. Такiя положенiя, обратившияся у него, наконецъ, въ правила, были тверды, слишкомъ тверды... Нопо *proponit, Deus disponit*, говаривалъ часто лекторъ ***ской семинарiи, отсчитывая удары линейкою лѣнивымъ своимъ слушателямъ; а потому и мы въ слѣдующей главѣ увидимъ небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумѣнiя на умъ его, доселѣ неуклонно шествовавшiй стезею своихъ великихъ наставниковъ и бывшiй ровнымъ пульсомъ въ своей бутылкообразной сферѣ.

II.

УСПѢХЪ ПОСОЛЬСТВА.

(Бухмистеръ, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную имъ при видѣ мывшейся на берегу пруда Катерины, рѣшается исполнить данное имъ учителю обѣщанiе и быть посланникомъ и представителемъ его страсти. Съ такимъ намѣренiемъ отправляется онъ въ хату козака Харьга Потылицы).

Окончивъ туалетъ свой, Онисько не безъ боязни и тайнаго удовольствiя переступилъ черезъ порогъ. Бѣсъ какъ будто нарочно дразнилъ его (самъ онъ послѣ признавался въ этомъ), поминутно рисуя передъ нимъ стройныя ножки сосѣдки. «Эхъ, если бы не учитель!» повторялъ онъ нѣсколько разъ самъ себя: «ну, что бы задумать ему немного

ноже влюбиться?..» И, въ задумчивости, тихими шагами ея кѣрягъ широкій выгонъ, по которому бѣжала его дорога. Разногласный лай прорѣзалъ облекавшую его тучу задумчивости, и мысли его, какъ дикія утки, переполошась, разметѣлись во всѣ стороны. Поднявъ глаза, увидѣлъ онъ, что дагѣ идти некуда. Передъ нимъ торчали ворота, сквозь которыя, какъ сквозь транспарантъ, свѣтилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента... Сердце въ немъ вспрыгнуло... и бѣлорукая красавица, разгоняя хвостяиной докучныхъ собакъ, встрѣтила его, отворяя ворота.

Дворъ Харькъ представлялъ собою большой, на покотести къ пруду, квадратъ, обнесенный со всѣхъ сторонъ шплетнемъ. Когда ворота были отперты, глаза ударились прямо въ чисто выбѣленную хату съ большими, неровной величины, окнами, съ почергѣвшею отъ старости дубовою дверью, съ низенькимъ изъ глины фундаментомъ (*присыбою*), обремененнымъ, по обыкновенію малороссіянъ, бѣльемъ, мисками и какимъ-нибудь инвалидомъ-горшкомъ, которому, несмотря на раны и увѣчье, не даютъ отставки и, въ награду за ревностную службу, наливаютъ помоями. По сторонамъ избы стояли съ растрепанными крышами хлѣвы и амбары. Изъ-за хаты возвышалось гумно; изъ-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверхъ которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. Къ пруду, какъ богатая турецкая шаль, развернулся огородъ козака. Кучи соломъ разгесены были по всему двору.

Катерина показала немного удивленною приходомъ Ониська. Полагая, что его, безъ всякаго сомнѣнія, замякла нужда къ ея отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила съ нѣкоторою застѣнчивостью: «*Батъка нѣтъ дома, да врядъ ли и къ вечеру будетъ!*»

«*Нехай ему такъ легенько икнетъся, якъ зъ тыну оверветься!* Чтѣ бы я былъ за олухъ Царя небеснаго, когда бы сталъ убирать постную кашу, когда передъ самымъ носомъ вареники въ сметанѣ?»

Вѣлокүрая красавица остановилась въ недоумѣнн, не зная, какъ понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показала на лицѣ ея и ожидала, казалось, изъясненія.

Кухмистеръ почувствовалъ самъ, что выразился не совсемъ ясно и притомъ помянулъ отца ея немного шероховатыми словами; онъ продолжалъ: «Нелегкая понесла бы меня къ *батѣкѣ*, когда есть такая хорошенькая *дежка*».

«А, вотъ что!» проговорила Катерина, усмѣхнувшись и покраснѣвъ. «Милости просимъ!» и пошла впередъ его къ дверямъ хаты.

«Дѣвушки въ Малороссіи имѣютъ гораздо болѣе свободы, нежели гдѣ-либо, и потому не должно показаться удивительнымъ, что красавица наша, безъ вѣдома отца, приняла у себя гостя. «Ты пѣшкомъ сюда пришелъ; Онисько?» спросила она его, садясь на *присѣбѣ* у дверей хаты и стараясь принять степенный видъ, хотя лукавая улыбка явно лѣзла ей и заставляла противъ воли показывать рядъ красивыхъ зубовъ.

«Какъ пѣшкомъ?—Что за нелегкая! неужели она знаетъ про вчерашнее?» подумалъ кухмистеръ.—«Безъ всякаго сомнѣнія, пѣшкомъ, моя красавица. Чортъ ли бы заставилъ меня запрягать нарочно панскаго *мѣдога*, чтобы только перетащиться изъ одного двора въ другой!»

«Однакожъ отъ кухни до *коморы* не такъ-то далеко».

«Тутъ, не удержавшись болѣе, она захохотала.

«Нѣтъ, плутовка! самъ лукавый не хитрѣе этой дѣвки!» повторилъ самъ себѣ нѣсколько разъ кухмистеръ и громко-гласно послалъ учителя къ чорту, позабывъ и пріязнь, и дружбу ихъ.

«Однакожъ, моя красавица; я бы согласился, чтобы у меня пригорѣли на сковородѣ караси съ свѣжепросольными *опенками*, лишь бы только ты еще разъ этакъ засмѣялась».

Сказавъ это, кухмистеръ не утерпѣлъ, чтобы не обнять ее.

«Вотъ этого-то я ужъ и не люблю!» вскрикнула, покраснѣвъ, Катерина и принявъ на себя сердитый видъ. «Ей-Богу,

Онисько, если ты въ другой разъ это сдѣлаешь, то я прямохонько пушу тебѣ въ голову вотъ этотъ горшокъ».

При семъ словѣ, сердитое личико немного прояснѣло и улыбка, мгновенно проскользнувшая по немъ, выговорила ясно: «я не въ состояніи буду этого сдѣлать».

«Полно же, полно! не возомъ зацѣпилъ тебя. Есть изъ чего сердиться! какъ будто, Богъ знаетъ, какая бѣда—обнять красную дѣвушку».

«Смотри, Онисько: я не сержусь», сказала она, садясь немного отъ него подалѣе и принявъ снова веселый видъ. «Да что ты, слышалось мнѣ, упомянуть про учителя?»

Тутъ лицо кухмистра сдѣлало самую жалкую мину и, по крайней мѣрѣ, на вершокъ вытянулось длиннѣе обыкновеннаго. «Учитель... Иванъ Осиповичъ, то-есть... Тьфу, дьявольщина! у меня, какъ будто послѣ запеканки, слова глотаются прежде, нежели успеваютъ выскочить изъ рта. Учитель... вотъ что я тебѣ скажу, *сердце!* Иванъ Осиповичъ *вклепался* *) въ тебя такъ, что... ну, словомъ—рвать сказать нельзя. Кручинится да горюетъ, какъ покойная буря, которую *нами* купила у жида, и которая околѣла послѣ *затала*. Что дѣлать? скалился надъ бѣднымъ человекомъ; пришелъ наудачу похлопотать за него».

«Хорошую же ты выбралъ себѣ должность!» прервала Катерина съ нѣкоторою досадою. «Развѣ ты ему свать, или *родичъ* какой? Я совѣтовала бы тебѣ еще набрать изъ всего околотка бродягъ къ себѣ въ кухню, а самому отправиться по-міру выпрашивать подъ окнами для нихъ милостыни».

«Да это все такъ; однакожъ я знаю, что тебѣ любо, и слишкомъ любо, что вздумалось учителю приволокнуться».

«Мнѣ любо? Слушай, Онисько: если ты говоришь съ тѣмъ, чтобы посмѣяться надо мною, то съ этого мало тебѣ прибудетъ. Стыдно тебѣ же, что ты обносишь бѣдную дѣвушку! Если же вправду такъ думаешь, то ты, вѣрно, уже наиглубѣйшій изъ всего села. Слава Богу, я еще не ослѣпла; слава Богу, я еще при своемъ умѣ... Но ты не съ дуру

*) То-есть, влюбился.

это сказать: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, вѣрно, думалъ... Нѣтъ, ты недобрый человѣкъ!»

Сказавъ это, она отерла шитымъ рукавомъ своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардѣвшейся щечкѣ, будто падающая звѣзда по теплomu вечернему небу.

«Чортъ побери всѣхъ на свѣтѣ учителей!» думалъ про себя Онисько, глядя на зардѣвшееся личико Катерины, на которомъ попрежнему показавшаяся улыбка долго спорила съ неприятнымъ чувствомъ и наконецъ разъяла его.

«Убей меня громъ на этомъ самомъ мѣстѣ!» вскричалъ онъ, наконецъ, не могши преодолѣть внутренняго волненія и обхватывая одной рукою кругленькій станъ ея: «если я не такъ же радъ тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, какъ старый *Броско*, когда я вынесу ему помонъ».

«Нашелъ, чему радоваться! поэтому ты станешь еще болѣе скалить зубы, когда услышишь, что почти всѣ дѣвушки нашего села говорятъ то же».

«Нѣтъ, Катерина, этого не говори. Дѣвушки-то любятъ его. Намедни шли мы съ нимъ черезъ село, такъ то и дѣло, что выглядываютъ изъ-за плетня, словно лягушки изъ болота. Глянь направо—такъ и пропала, а съ лѣвой стороны выглядываетъ другая. Только дьяволъ побери ихъ вмѣстѣ съ учителемъ! Я бы отдалъ штефъ лучшей третьепробной водки, чтобъ узнать отъ тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копѣйку?»

«Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свѣтѣ не вышла за пьяницу. Кому любо жить съ нимъ? Несчастливая доля семьѣ той, гдѣ выберется такой человѣкъ; въ хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодные дѣти плачутъ... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Пусть Богъ милуетъ! Дрожь обдаетъ меня при одной мысли объ этомъ»...

Тутъ прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Какъ осужденный, съ поникнутою головою, погрузился кухмистеръ въ свое протекшее. Тяжелыя думы, порожденія тайнаго угрызенія сердечнаго, вырѣзывались на лицѣ его и

показывали ясно, что на душѣ у него не слишкомъ было радостно. Пронзительный взоръ Катерины, казалось, прожигалъ его внутренность и подымалъ наружу всё разгульные поступки, проходившіе передъ нимъ длиною, почти безконечною цѣпью.

«Въ самомъ дѣлѣ, на что я похожъ? кому угодно житье мое? только что досаждаю *паню*. Что я сдѣлалъ до сихъ поръ такого, за что бы сказалъ мнѣ спасибо добрый человекъ? Все гулялъ, да гулялъ! Да гулялъ ли когда-нибудь такъ, чтобы и на душѣ, и на сердцѣ было весело? Напѣешься, какъ собака, да и протрезвишься тоже, какъ собака, если не протрезвять тебя еще хуже. Нѣтъ! прахъ возьми... собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философскія разсужденія съ самимъ собою, и потому, положивъ на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса: «Не правда ли, Онисько, ты не станешь болѣе пить?»

«Не стану, мое *серденько!* не стану: пусть ему всякая всячина! Все для тебя готовъ сдѣлать».

Дѣвушка посмотрѣла на него умильно, и восхищенный кухмистеръ бросился обнимать ее, осыпая градомъ поцѣлуевъ, какими давно не оглашался мирный и спокойный огородъ Харька.

Едва только влюбленные поцѣлуи успѣли раздаться, какъ звонкій и пронзительный голосъ страшнѣе грома поразилъ слухъ развѣжившихся. Поднявъ глаза, кухмистеръ съ ужасомъ увидѣлъ стоящую на плетнѣ Симонику.

«Славно! славно! Ай, да ребята! У насъ по селу еще и не знаютъ, какъ парни цѣлуются съ дѣвками, когда батька нѣтъ дома! Славно! Ай, да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что жеть поговорка: въ тихомъ омутѣ черти водятся. Такъ вотъ что дѣется! такъ вотъ какія шашни!..»

Со слезами на глазахъ принуждена была красавица уйти въ хату, зная, что ничѣмъ инымъ нельзя было избавиться отъ ядовитыхъ рѣчей содержательницы шинка.

«Типунъ бы тебѣ подъ языкъ, старая вѣдьма!» проговорилъ кухмистеръ: «тебѣ какое дѣло?»

«Мнѣ какое дѣло?» продолжала неутомимая шинкарка: «вотъ прекрасно! Парни изволятъ лазить черезъ плетни въ чужіе огороды, дѣвки подманиваютъ къ себѣ молодцовъ,— и мнѣ нѣтъ дѣла! Изволятъ *жениться*, цѣлуются,— и мнѣ нѣтъ дѣла! Ты слышала ли, Карпо?» вскричала она, быстро оборотыясь къ мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что вниманія, шелъ, помахивая батогомъ, впереди такъ же медленно выступавшей коровы: «слышала ли ты? постой, на минуточку. Тутъ такая исторія. Харькова лодка...»

«Тѣфу, дьяволь!» вскричалъ кухмистеръ, плюнувъ въ сторону и потерявъ послѣднее терпѣніе. «Самъ сатана переридился въ эту бабу. Постой, Яга! развѣ не найду уже, чѣмъ отплатить тебѣ!»

Тутъ кухмистеръ нашъ занесъ ногу на плетень и въ одно мгновеніе очутился въ панскомъ саду.

Было уже не рано, когда онъ пришелъ на кухню и принялся стирать ужинъ. Евдоха, однакожь, не могла не замѣтить во всемъ необыкновенной его разсѣянности. Часто задумчивый кухмистеръ подливалъ уксусу въ сметанную кашу или съ важнымъ видомъ надвигалъ свою шапку на вертелъ и хотѣлъ жарить ее вмѣсто курицы. За ужиномъ, Анна Ивановна никакъ не могла понять, отчего каша была кисла до невѣроятности, а соусъ такъ пересоленъ, что не было никакой возможности взять въ ротъ. Единственно только изъ уваженія къ понесеннымъ имъ въ тотъ день трудамъ оставили его въ покоѣ: въ другое время это не прошло бы даромъ нашему герою.

«Нѣтъ, господицъ учитель!» твердилъ онъ, ложась на свою деревянную лавку и подмащивая подъ голову свою куртку: «не видать вамъ Катерины, какъ ушей своихъ!» И, завернувъ голову, какъ доморощенный гусь, погрузился въ мечты, а съ ними и въ сонъ.



ЖЕНЩИНА.

«Адское порожденіе! Зевсъ Олимпіецъ! О! ты неумолимъ въ своей ярости! Ты захотѣлъ насладъ бичъ на міръ, ты извлечь весь ядъ, незамѣтно разлитый въ нѣдрахъ прекрасной земли твоей, сжалъ его въ одну каплю, гнѣвно бросилъ ее свѣтодарною десницею и отравилъ ею чудесное твореніе свое: ты создалъ женщину! Тебѣ завидно стало бѣдное счастье наше; тебѣ не желалось, чтобы человѣкъ источалъ вѣчное благословеніе изъ нѣдръ благодарнаго сердца; пусть лучше проклятіе сверкаетъ на преступныхъ устахъ его! Ты создалъ женщину!»

Такъ говорилъ, представъ передъ Платона, Телеклесъ, юный ученикъ его. Глаза его кидали пламя; по щекамъ бушевалъ пожаръ, и дрожація губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души. Рука его съ негодованіемъ откидывала пурпуровыя волны богатой одежды, и разстѣнутая пряжка небрежно висѣла на дѣвственной груди юноши.

«Что, мой божественный учитель? не ты ли представлялъ намъ ее въ богоподобномъ, небесномъ облаченіи? Не твои ли благоуханныя уста лили дивныя рѣчи про дѣжную красоту ея? Не ты ли училъ насъ такъ пламенно, такъ невестственно любить ее? Нѣтъ, учитель! твоя божественная мудрость еще младенецъ въ познаніи безконечной бездны коварнаго сердца. Нѣтъ, нѣтъ! и тѣнь свирѣпаго опыта не обхватывала свѣтлыхъ мыслей твоихъ: ты не знаешь женщины».

Огненные слезы брызнули изъ глазъ его; окутавъ голову хитомомъ и закрывъ лицо руками, прислонился онъ къ мраморной колоннѣ, на которой роскошно покоилось богатое коринфское оглавіе, осыпанное искрами лучей. Глубокій, тяжелый вздохъ вырвался изъ груди юноши, какъ будто всѣ тайные нервы души, всѣ чувства и все, что находится плутри человѣка, издало у него скорбные звуки, и звукъ

эти прошли потрясеніемъ по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, въ безсиліи разсказать безсмертныя, вѣчныя муки души, переродилась въ одинъ болѣзненный стонъ.

Между тѣмъ вдохновенный мудрецъ въ безмолвіи разсматривалъ его, выражая на лицѣ своемъ думы, еще впечатлѣнныя прежнимъ высокимъ размышленіемъ. Такъ остатки дивнаго сновидѣнія долго еще не растаются и мѣшаются съ началами идей, покамѣстъ человѣкъ совершенно не входитъ въ міръ дѣйствительности. Свѣтъ сыпался роскошнымъ водопадомъ чрезъ смѣлое отверстіе въ куполѣ на мудреца и обливалъ его сіяніемъ; казалось, въ каждой вдохновенной чертѣ лица его свѣтилась мысль и высокія чувства.

«Умѣешь ли ты любить, Телеклесъ?» спросилъ онъ спокойнымъ голосомъ.

«Умѣю ли любить я!» быстро подхватилъ юноша: «спроси у Зевса, умѣетъ ли онъ маниемъ бровей колебать землю. Спроси у Фидіа, умѣетъ ли онъ мраморъ зажечь чувствомъ и воплотить жизнь въ мертвой глыбѣ. Когда въ жилахъ моихъ кипитъ не кровь, но острое пламя, когда всѣ чувства, всѣ мысли, я весь перерождаюсь въ звуки, когда звуки эти горятъ и душа звучитъ одною любовью, когда рѣчи мои — буря, дыханіе — огонь... Нѣтъ, нѣтъ! я не умѣю любить! Скажи же мнѣ, гдѣ тотъ дивный смертный, кто обладаетъ этимъ чувствомъ? Ужъ не открыла ли премудрая Писія это чудо между людьми?»

«Бѣдный юноша! Вотъ что люди называютъ любовью! Вотъ какая участь готовится для этого кроткаго существа, въ которомъ боги захотѣли отразить красоту, подарить міру благо и въ немъ показать свое присутствіе на землѣ! Бѣдный юноша! Ты бы сжегъ своимъ раскаленнымъ дыханіемъ это кроткое существо, ты бы возмутилъ бурей страстей это чистое сіяніе! Знаю, ты хочешь говорить мнѣ объ измѣнѣ Алкиной. Твои глаза были сами свидѣтелями... но были ли они свидѣтелями твоихъ собственныхъ мятежныхъ движеній, совершавшихся въ то время во глубинѣ души твоей? Высмотрѣлъ ли ты напередъ себя? Не весь ли бунтъ страстей

кпѣль въ глазахъ твоихъ? а когда страсти узнавали истину? Чего хотятъ люди? они жаждутъ вѣчнаго блаженства, безконечнаго счастья, и довольно одной минутной горечи, чтобы заставить ихъ дѣтски разрушить все медленно строившееся зданіе! Пусть глазами твоими смотрѣла сама истина, пусть это правда, что прекрасная Алкиноя очернила себя коварною измѣной. Но вопроси свою душу: что былъ ты, что была она въ то время, когда ты и жизнь, и счастье, и море восторговъ находилъ въ алкиноиныхъ объятіяхъ? Переверни огненные листы своей жизни, и найдешь ли ты хотя одну страницу краснорѣчивѣе, божественнѣе той? Захотѣлъ ли бы ты взять всѣ драгоценные камни царей персидскихъ, все золото Ливіи за тѣ небесныя мгновенія? И что противъ нихъ и первая почесть въ Аѳинахъ, и верховная власть въ народѣ! И существо, которое, какъ Прометей, все, что ни исхитило прекраснаго отъ боговъ, принесло въ даръ тебѣ, водворило небо со свѣтлыми его небожителями въ твою душу,—ты поражаешь преступнымъ проклятіемъ, когда вся твоя жизнь должна переродиться въ благодарность, когда ты долженъ весь вылиться слезами, и умиленіемъ, и кроткимъ гимномъ жизнедавцу Зевесу, да продлитъ прекрасную жизнь ея, да отвѣтъ облако печали отъ свѣтлаго чеда ея.

«Устреми на себя испытующее око: чѣмъ былъ ты прежде и чѣмъ сталъ нынѣ, съ тѣхъ поръ, какъ прочиталъ вѣчностъ въ божественныхъ чертахъ Алкинои; сколько новыхъ тайнъ, сколько новыхъ откровеній постигъ и разгадалъ ты своею безконечною душою и во сколько придвинулся ближе къ верховному благу! Мы зрѣемъ и совершенствуемся; но когда? когда глубже и совершеннѣе постигаемъ женщину. Посмотри на роскошныхъ персовъ: они переродили своихъ женщинъ въ рабынь, и что же? имъ недоступно чувство изящнаго — безконечное море духовныхъ наслажденій. У нихъ не выбьется изъ сердца искра при видѣ богини Праксителивой; восторженная душа ихъ не заговоритъ съ бессмертною душою мрамора и не найдетъ отвѣтныхъ звуковъ. Что женщина?—Языкъ боговъ! Мы дивимся кроткому, свѣт-

лону челу мужа; но не подобіе боговъ созерцаемъ въ немъ: мы видимъ въ немъ женщину, мы дивимся въ немъ женщиной, и въ ней только уже дивимся богамъ. Она поэзія! она мысль, а мы только воплощеніе ея въ дѣйствительности. На насъ горятъ ея впечатлѣнія, и чѣмъ сильнѣе и чѣмъ въ большемъ объемѣ они отразились, тѣмъ выше и прекраснѣе мы становимся. Пока картина еще въ головѣ художника и безплотно округляется и создается—она женщина; когда она переходитъ въ вещество и облекается въ осязаемость—она мужчина. Отчего же художникъ съ такимъ несутымъ желаніемъ стремится превратить безсмертную идею свою въ грубое вещество, покоривъ его обыкновеннымъ нашимъ чувствамъ? Оттого, что имъ управляетъ одно высокое чувство—выразить божество въ самомъ веществѣ, сдѣлать доступною людямъ хотя часть безконечнаго міра души своей, воплотить въ мужчине женщину. И если ненарокомъ ударятъ въ нее очи жарко понимающаго искусство юноши, что они ловятъ въ безсмертной картинѣ художника? видятъ ли они вещество въ ней? Нѣтъ! оно исчезаетъ, и передъ ними открывается безграничная, безконечная, безплотная идея художника. Какими живыми пѣснями заговорятъ тогда духовныя его струны! какъ ярко отзовутся въ немъ, какъ будто на призывъ родины, и безвозвратно умчавшесся, и неотразимо грядущее! какъ безплотно обнимется душа его съ божественною душою художника! Какъ сольются онѣ въ невыразимомъ духовномъ поцѣлуѣ!.. Что-бъ были высокія добродѣтели мужа, когда бы онѣ не осѣнялись, не преображались нѣжными, кроткими добродѣтелями женщины? Твердость, мужество, гордое презрѣніе къ пороку перешли бы въ звѣрство. Отними лучи у міра—и погибнетъ яркое разнообразіе цвѣтовъ: небо и земля сольются въ мракъ, еще мрачнѣйшій береговъ Аида. Что такое любовь?—Отчизна души, прекрасное стремленіе челоѣка къ минувшему, гдѣ совершалось безпорочное начало его жизни, гдѣ на всемъ остался невыразимый, неизгладимый слѣдъ невиннаго младенчества, гдѣ все родина. И когда душа потонетъ въ эфирномъ лонѣ души женщины,

когда отыщеть въ ней своего отца—вѣчнаго Бога, своихъ братьевъ—дотолѣ невыразимыя землею чувства и явленія—что тогда съ нею? Тогда она повторяеть въ себѣ прежніе звуки, прежнюю райскую въ груди Бога жизнь, развивая ее до безконечности...»

Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: передъ ними стояла Алкиноя, незамѣтно вошедшая въ продолженіе ихъ бесѣды. Опершись на истуканъ, она вся, казалось, превратилась въ безмолвное вниманіе, и на прекрасномъ челѣ ея прорывались гордыя движенія богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую свѣтились голубыя жилы, полная небесной амвросіи, свободно удерживалась въ воздухѣ; стройная, перевитая алып лентами поножія, нога, въ обнаженномъ, ослѣпительномъ блескѣ, сбросивъ ревящую обувь, выступила впередъ и, казалось, не трогала презрѣнной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами и полуприкрывавшая два прозрачныя облака персей одежда трепетала и падала роскошными, живописными ланеями на помость. Казалось, тонкій, свѣтлый ээиръ, въ которомъ купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь въ безчисленныхъ лучахъ, конемъ и имени нѣтъ на землѣ, въ коихъ дрожить благовонное море неизяснимой музыки,—казалось, этотъ ээиръ облекся въ видимость и стоялъ передъ ними, освятивъ и обоготворивъ прекрасную форму челоуѣка. Небрежно откинутые назадъ, темные, какъ вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ея и лилися сумрачнымъ каскадомъ на блистательныя плеча. Молнія очей исторгала всю дуну...—Нѣтъ! никогда сама Царица любви не была такъ прекрасна, даже въ то мгновеніе, когда такъ чудно возродилась изъ пѣны дѣвственныхъ волтъ!..

Въ изумленіи, въ благоговѣннн повергнулся юноша къ ногамъ гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся надъ нимъ полубогини канула на его пылающія щеки.

БОРИСЪ ГОДУНОВЪ.

Поэма Пушкина.

(Посвящается Петру Александровичу Плетневу).

Книжный магазинъ блестялъ въ бельэтажѣ ***ой улицы: лампы отбивали теплый свѣтъ на высоко-взгроможденныя стѣны изъ книгъ, живо и рѣзко озаряя заглавія голубыхъ, красныхъ, въ золотомъ обрѣзѣ, и запыленныхъ, и погребенныхъ, означенныхъ силою и безсиліемъ, человѣческихъ твореній. Толпа густилась и росла. Громъ мостовой и экипажей съ улицы отзывался дребезжаніемъ въ цѣльныхъ окнахъ и, казалось, лампы, книги, люди,—все окидывалось легкимъ трепетомъ, удвоившимъ пестроту картины. Сидѣльцы суетились. «Славная вещь! Отличная вещь!» отдавалось со всѣхъ сторонъ. «Что, батюшка, читали *Бориса Годунова*? Нѣтъ? Ну, ничего же вы не читали хорошаго», бормотала кофейная шинель запыхавшейся квадратной фигурѣ. — «Каковъ Пушкинъ?» сказалъ, быстро поворотившись, новоиспеченный гусарскій корнетъ своему сосѣду, нетерпѣливо разрѣзывавшему послѣдніе листы. — «Да, есть мѣста удивительныя!» — «Ну, вотъ, наконецъ, дождались и Годунова!» — «Какъ, *Борисъ Годуновъ* вышелъ? Скажите, что это такое «Борисъ Годуновъ»? Какъ вамъ кажется новое сочиненіе?» — «Единственно! Единственно! Еще бы нѣкоторой картины... О, Пушкинъ далеко шагнулъ!» — «Мастерство-то главное, мастерство; посмотрите, посмотрите, какъ онъ искусно того...» трещалъ толстенькій кубикъ съ веселыми глазками, поворачивая передъ глазами своими

руку съ пригнутыми немного пальцами, какъ будто бы въ ней лежало спѣлое прозрачное яблоко. «Да, съ большимъ, съ большимъ достоинствомъ!» твердилъ сухощавый знатокъ, отправляя разомъ полъ-унціи табаку въ свое римское табакохранилище: «конечно, есть мѣста, которыхъ строгая критика.... Ну, знаете.... еще молодость.... Впрочемъ, произведеніе едва ли не первоклассное!» — «Насчетъ этого позвольте-съ доложить, что за прочность», присовокупилъ съ довольнымъ видомъ книгопродавецъ: «ручается успѣвшая-съ выручка денегъ...» — «А самое-то сочиненіе дѣйствительно ли чувствительно написано?» съ смиреннымъ видомъ заикнулся вошедшій сенатскій рябчикъ. «И, конечно, чувствительно!» подхватилъ книгопродавецъ, кинувъ убійственный взглядъ на его истертую шинель: «если бы не чувствительно, то не разобрали бы 400 экземпляровъ въ два часа!» Между тѣмъ лица безпрестанно мѣнялись, выходя съ довольною миною и книжкою въ рукахъ. Въ это самое время Элладій подошелъ къ другу своему Полліору, разсѣянно глядѣвшему на жадную толпу покупателей. «Не правда ли, милый Полліоръ! не правда ли, что ни съ чѣмъ не можешь сравнить этого тихаго восторга, напоющаго душу при видѣ, какъ пламенно любимое нами великое твореніе неумолчно звучитъ и отдается сочувствіемъ во всѣхъ сердцахъ, и люди, кажется, отбѣжавшіе навѣки отъ собственнаго, скрытаго въ самихъ себѣ, непостижимаго для нихъ міра души, насильно возвращаются въ ея предѣлы?» Молчаливо и безмолвно пожалъ Полліоръ ему руку. Они вышли. Но ни томительный, какъ сліяніе радости и грусти, свѣтъ луны, такъ дивно вызывающій изъ глубины души серебряный сонмъ видѣній, когда ночное небо безплотно обнимется вдохновеніемъ и земля полна непонятной любви къ нему, ни тѣ живыя чувства, пробуждающіяся у насъ мгновенно, когда чудный городъ гремитъ и блещетъ, мосты дрожать, толпы людей и тѣней мелькаютъ по улицамъ и по палевымъ стѣнамъ домовъ-гигантовъ, которыхъ окна, какъ безчисленныя огненные

очи, кидаютъ пламенные дороги на снѣжную мостовую, такъ странно сливающіяся съ серебрянымъ свѣтомъ мѣсяца, — ничто не въ состояніи было его вывести изъ какой-то торжественной задумчивости: какая-то священная грусть, тихое негодованіе сохранялось въ чертахъ его, какъ будто бы онъ слышалъ въ душѣ своей пророчество о вѣчности, какъ будто бы душа его терпѣла муки, невыразимыя, непостижимыя для земного... «Что же ты до сихъ поръ», спросилъ его Эладій, когда они вошли въ его уединенную комнату, одиноко озаряемую трепетною лампой: «не повергъ отъ себя дани нашему великому творенію? не принесть посильнаго выраженія — истолкователя чувствъ въ чапу общаго мнѣнія?»

«Ты понимаешь меня, Эладій, къ чему же ты предлагаешь мнѣ этотъ несвязный вопросъ? Чтѣ мнѣ принесть? Кому нужда, кто пожелаетъ знать мои тайныя движенія? Часто, слушая, какъ всенародно судятъ и толкуютъ о поэтѣ, когда пренія ихъ воздымаютъ бурю и заплывшія уста горланять на торжищахъ, — думаю во глубинѣ души своей: не святотатство ли это? Не то же ли, если бы кто вздумалъ стремительно ворваться въ площадь, гдѣ чернь кипитъ и суетится, исполняя обычныя свои требы, и возсылать, упавши на колѣни, жаркія молитвы къ небу? И что бы сказала я?—«Прекрасно! безподобно, единственно!» Но выразить ли эти слова хотя одну струю безграничнаго океана чувствъ? Безсильныя! Они отъ частаго повторенія людьми потеряли даже бѣдное собственное значеніе. Но еще бессмысленнѣе, еще смѣшнѣе мнѣ кажутся люди, которые дарятъ поетовъ, будто чинами, жалкими эпитетами, называютъ ихъ первоклассными, какъ будто поэты, какъ растенія или безжизненные минералы, требуютъ системы, чтобы удержаться въ головѣ! Великій! когда развертываю дивное твореніе твое, когда вѣчный стихъ твой гремитъ и стремитъ ко мнѣ молнію огненныхъ звуковъ, священный холмъ разливается по жиламъ и душа дрожитъ въ ужасѣ, вызвавши Бога изъ своего безпредѣльнаго лона... чтѣ

тогда? Если бы небо, лучи, море, огни, пожвряющіе внутренность земли нашей, безконечный воздухъ, объемяющій міры, ангелы, пылающія планеты превратились въ слова и буквы—и тогда бы я не выразилъ ими и десятой доли дивныхъ явленій, совершающихся въ то время въ лонѣ *невидимаго меня*. И что онъ всѣ противъ души человѣка? противъ воплощенія Бога? Въ какіе звуки, въ какіе свѣтлыя звуки превращается она, разрѣшаясь отъ всего, носьящаго образъ выразимаго и конечнаго, сильнымъ порывомъ вонзаясь въ безобразную грудь его! Какъ горить, какъ сохнетъ бранный страдальческій составъ! Какъ дрожить, какъ стонетъ безсильное земное, пока все не сольется въ духовное море, пока потопъ благодарныхъ слезъ не хлынетъ дождемъ въ размученную грудь, не прольетъ примиренія между двумя враждующими природами человѣка. — Какъ суетны люди, требующіе отчета впечатлѣній, произведенныхъ великимъ созданіемъ поэта, зная напередъ, что онъ не будетъ отвѣтомъ на безразсудное желаніе ихъ! Когда изъ безобразнаго земнаго черепа извлекаютъ результатъ—ослѣпительный камень, когда изъ струнъ исторгаютъ звуки—какой же они результатъ хотятъ извлечь изъ звуковъ? Можетъ-быть, и исполнится это желаніе, только когда? — Когда человѣкъ исчезнетъ и душа на ветхихъ его развалинахъ воздвижется въ величественномъ, необъятномъ зданіи».

«И такъ, по-твоему», спросилъ его послѣ мгновеннаго молчанія Элладій: «люди не должны дѣлиться между собою впечатлѣніями и сообщать, какъ откровенія, хотя неполныя отчеты чувствъ, можетъ-быть, убѣдившіе бы другихъ въ духовной изящности созданія?»

«Нѣтъ, Элладій, нѣтъ! Кто здѣсь требуетъ убѣжденія, тому будутъ безплодны всѣ твои попытки возмутить его душу. Разогни передъ нимъ великое твореніе. Читайте вмѣстѣ и, если дивныя его буквы не ударятъ разомъ въ тайныя струны сердець вашихъ, обративъ въ неостыжанный трепеть всѣ нервы, не брызнуть отвѣтными слезами

(на глаза) и души ваши почувствуютъ разъединеніе — закрой книгу и не трать пустыхъ словъ. Но, если встрѣтишь ты пламенно понимающее тебя чувство—прекрасную половину прекрасной души твоей—потребуете ли вы другъ отъ друга отчета? Къ чему бы послужилъ онъ вамъ, когда вы такъ чудно сливаетесь въ одно? И какая презрѣнная радость сравнится съ тѣмъ мгновеніемъ, когда твореніе разомъ читается въ васъ? Какъ понимаете вы его? «Боже!» часто говорю себѣ: «какое высокое, какое дивное наслажденіе даруешь ты человѣку, поселя въ одну душу отвѣтъ на жаркій вопросъ другой! Какъ эти души быстро отыскиваютъ другъ друга, несмотря ни на какія раздѣляющія ихъ бездны».

Будто прикованный, уничтоживъ окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэтъ! И когда передо мною медленно передвигается минувшее и серебряныя тѣни, въ трепетаніи и чудномъ блескѣ, тянутся безконечнымъ рядомъ изъ могилъ въ грозномъ и тихомъ величіи, когда вся отжившая жизнь отзывается во мнѣ и страсти переживаются сызнова въ душѣ моей,—чего бы не далъ тогда, чтобы только прочесть въ другомъ повтореніе всего себя?... Какими бы, казалось, драгоценностями не искупилъ этого блага? «Возьмите, возьмите отъ меня все», воскликнулъ бы тогда съ поднятыми руками къ небесамъ: «и ниспослите мнѣ это понимающее меня существо! Всемогущій! зачѣмъ далъ Ты мнѣ неполную душу? илиполни ее, или возьми къ Себѣ и остальную половину».

О, какъ великъ сей царственный страдалецъ! Столько блага, столько пользы, столько счастья міру — и никто не понималъ его... Надъ головой его гремитъ опредѣленіе... Минувшая жизнь, будто на печальный звонъ колокола, вся совокупляется вокругъ него! Умершее живетъ!... И дивныя картины твои блещутъ и раздаются все необъятнѣе, все необъятнѣе, все необъятнѣе..... И въ груди моей снова муки!... Отвѣтныя струны души гремятъ... Звонъ серебря-

наго неба съ его свѣтлыми херувимами стремится по жилищамъ... О, дайте же, дайте мнѣ еще, еще этихъ мукъ, и я выльюсь ими весь въ лоно Творца, не оставя презрѣнному тѣлу ни одной ихъ божественной капли...

Великій! надъ симъ вѣчнымъ твореніемъ твоимъ клянусь!.. — Еще я чистъ, еще ни одно презрѣнное чувство корысти, раболѣпства и мелкаго самолюбія не заронялось въ мою душу.—Если мертвящій холодъ бездушнаго свѣта исхитить святотатственно изъ души моей хотя часть ея достоинства; если камень обхватить тихо горящее сердце; если презрѣнная, ничтожная лѣнь окуетъ меня; если дивныя мгновенія души понесу на торжище народныхъ хвалъ; если опозорю въ себѣ тобой исторгнутые звуки... О! тогда пусть оболъется оно немолчнымъ ядомъ, вопьется милліонами жалъ въ невидимаго меня, неугасимымъ пламенемъ упрековъ обовьетъ душу и раздастся по мнѣ тѣмъ пронзительнымъ воплемъ, отъ котораго бы изныли всѣ суставы и сама бы безсмертная душа застонала, возвратившись безотвѣтнымъ эхомъ въ свою пустыню... Но нѣтъ! оно какъ Творецъ, какъ благодать! Ему ли пламенѣть казнью? Оно обниметъ снова моремъ свѣтлыхъ лучей и звуковъ душу и слезою примиренія задрожитъ на отуманенныхъ глазахъ обратившагося преступника!...



НѢСКОЛЬКО ГЛАВЪ

изъ

НЕОКОНЧЕННОЙ ПОВѢСТИ.

ГЛАВА I.

Быль апрѣль 1645 года, время, когда природа въ Малороссіи похожа на первый день своего творенія; самая нѣжная зелень убирала очнувшіяся деревья и степи. Этотъ день былъ передъ самымъ Воскресеньемъ Христовымъ. Онъ уже прошелъ, потому что молодая ночь давно уже обнимала землю, а чистый дѣвственный воздухъ, разносившій дыханіе весны, вѣялъ сильнѣе. Сквозь жидкую сѣть вишневыхъ листьевъ мелькали въ огнѣ окна деревянной церкви села Компшны. Старая, истерзанная временемъ, покрытая мохомъ црковь будто обновилась; вокругъ ея, какъ рой пчелъ, толпились козаки изъ ближнихъ и дальнихъ хуторовъ, изъ которыхъ едва десятая часть помѣстилась въ церкви. Было душно; но что-то говорило свѣтлымъ торжествомъ. Авторъ проситъ читателей вообразить себѣ эту картину XVII-го столѣтія. Мужественныя, худощавыя, съ рѣзкими чертами, лица и бритыя головы, опустившіеся внизъ усы, падавшіе на грудь, широкія плечи, атлетическая сила, при каждомъ почти заткнутый за поясъ пистолеть и сабля показывали уже, въ какую эпоху собрались козаки. Странно было глядѣть на это море головъ, почти не волновавшееся. Благотворнѣе чувство обнимало зрителя. Все здѣсь собравшееся было характеръ и воля; но и то, и другое было тихо и безмолвно. Свѣтъ паникадила, отбрасываясь на всѣхъ, придавалъ еще сильнѣе выраженіе лицамъ. Это была картина

великаго художника, вся полная движенія, жизни, дѣйствія и между тѣмъ неподвижная. Почти незамѣтно прибавилось одно новое лицо къ молящимся. Оно возвышалось надъ другими почти цѣлою головою; какой-то крѣпкой, смѣшной окладъ, какаля-то легкая безпечность выказывалась на немъ. Оно было спокойно и вмѣстѣ такъ живо, что, взглянувши, ожидалъ бы непременно услышать отъ него слово, чтобы увидѣть его измѣнившимся, какъ будто бы оно непременно должно было все заговорить конвульсіями. Но между тѣмъ какъ всѣ мало-по-малу начали обращаться на него, вся масса двинулась изъ храма, для торжественнаго хода вокругъ церкви, и замѣчательная фізіономія смѣшалась съ другими, выходя по церковной лѣстницѣ. У самаго крыльца стояли нѣсколько жидовъ, содержавшіе, по волѣ польскаго правительства, откупъ, и спорили между собою, намѣчая мѣломъ пасхи, приносимыя для освященія христіанами. Нужно было видѣть, какъ на лицѣ каждаго выходившаго дрогнули скуды. Это постановленіе правительства было уже давно объявлено; народъ съ ропотомъ, но подкорился силѣ. Оппозиционисты были испровержены. Къ этому, кажется, всѣ уже привыкли, зная, что это такъ; но, несмотря на это, при видѣ этого постановленія, приводимаго въ исполненіе, онъ такъ изумился, какъ будто бы это была новость. Такъ преступникъ, знающій о своемъ осужденіи на смерть, еще движется, еще думаетъ о своихъ дѣлахъ; но прочитанный приговоръ разомъ разрушаетъ въ немъ жизнь. Послѣ переменъ въ лицѣ, рука каждаго невольно опустилась къ книжалу или къ пистолетамъ. Но ходъ окончился; всѣ спокойно вошли въ церковь, при пѣніи: «Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ». Между тѣмъ совершенно наступило утро. Выстрѣлы изъ пистолетовъ и мушкетовъ потрясали деревянныя стѣны церкви. На всѣхъ лицахъ просіяла радость: у однихъ при мысли о пасхѣ, у дѣвушекъ при цѣлованьи съ козаками, [у тѣхъ] при попойкѣ, какъ вдругъ страшный шумъ извнѣ заставилъ многихъ выйти. Передъ разрушившеюся церковью собрались въ кучу, изъ которой раздавались брава.

и крикъ жидовъ. Три жида отбирали у дряхлаго, поседѣвшаго, какъ лунь, козака пасху, яйца и барана, утверждая, что онъ не вносилъ за нихъ денегъ. За старика вступилось двое, стоявшихъ около него; къ нимъ пристали еще, и, наконецъ, цѣлая толпа готовилась задавить жидовъ, если бы тотъ же самый широкоплечій, высокаго росту, чья фізіономія такъ поразила находившихся въ церкви, не остановилъ однимъ своимъ мощнымъ взглядомъ. «Чего вы, хлопцы, сдѣру бѣснуетесь? У васъ, видно, нѣтъ ни на волосъ божьяго страха. Люди стоятъ въ церкви и молятся, а вы тутъ, чортъ знаетъ, что дѣлаете. Гайда по мѣстамъ!» Послушно всѣ, какъ овцы, разбрелись по своимъ мѣстамъ, разсуждая: что это за чудо такое, откудова оно взялось и съ какой стати ввязывается онъ, куда его не просятъ, и отчего онъ хочетъ, чтобы слушались. Но это каждый только думалъ, и не сказалъ вслухъ. Взглядъ и голосъ незнакомца какъ будто имѣли волшебство: такъ были повелительны. Одинъ жидъ стоялъ только, не отходя, и какъ скоро оправился отъ перваго страха незванною помощью, началъ было снова приступать, какъ тотъ же самый и схватилъ его могучею рукою за воротъ такъ, что бѣдный потомокъ Израилевъ съежился и присѣлъ на колѣни. «Ты чего хочешь, свиное ухо? Такъ тебѣ еще мало, что душа осталась въ галанцахъ? Ступай же, тебѣ говорю, поганая жидовина, пока не оборвалъ тебѣ пейсики». Послѣ того толкнулъ онъ его, и жидъ разстался на землѣ, какъ лягушка. Приподнявшись же немного, пустился бѣжать; спустя нѣсколько времени, возвратился съ начальникомъ польскихъ уланъ. Это былъ довольно рослый полякъ, съ глупо-дерзкою фізіономіею, которая всегда почти отличаетъ полицейскихъ служителей. — «Что это? Какъ это?... Гунство, теремтете? Зачѣмъ драка, холопство проклятое? Лысый бѣсъ въ кашу съ смальцемъ! Развѣ? Что вы? Что тутъ драка? Порвалъ бы васъ собака!...» Блюститель порядка не зналъ бы, куда обратиться и на кого излить потокъ своихъ наставленій, приправляемыхъ бранью, если бы жидъ не подвелъ его къ старику козаку, котораго

волосы, вдуваемые вѣтромъ, какъ снѣжный иней серебрились. «Что ты, глупый холопъ, вздумалъ? Что ты драку началъ, драку? Пасе мазенято, гунство! Знаешь ты, что жидъ? Гунство проклятое!... Знаешь, что борода поповская не стѣить подошвы?... Чортъ бы тебя схватилъ въ банѣ за пупъ!... У него еломецъ краше, чѣмъ ваша *холопска вѣра*...» Тутъ онъ схватилъ за волосы старца и выдернулъ клокъ серебряныхъ волосъ его...

Глухое стенаніе испустилъ старый козакъ.

«Бей еще! Самъ я виноватъ, что дожилъ до такихъ лѣтъ, что и счетъ уже имъ потерялъ. Сто лѣтъ, а можетъ и больше, тому назадъ, меня драли за чубъ, когда я былъ хлопцемъ у батька. Теперь опять бьютъ. Видно, снова воротились лѣта мои... Только нѣтъ, не то, не въ силахъ теперь и руки поднять. Бей же меня!...» При сихъ словахъ двадцатилѣтній старецъ наклонилъ свою бѣлую голову на руки, сложенные крестомъ на палкѣ, и, подпершись ею, долго стоялъ въ живописномъ положеніи. Въ словахъ старца было невѣроятно трогательное. Замѣтно было, что многіе хватились рукою за сабли и пистолеты, но видъ столькихъ усатыхъ улановъ на лошадяхъ и нѣсколько словъ, сказанныхъ незнакомцемъ, заставили всѣхъ принять положеніе мольщиковъ и креститься.

«Что ты врешь, глупый мужикъ, теремтете! Что[бы] я на тебѣ руки поганилъ, гунство проклятое! Лысый бѣсъ рогатый тебѣ въ кашу! Гершко! возьми отъ него пасху! Пусть его однимъ овсянымъ сухаремъ разговѣтся! Вишь, гунство проклятое!» говорилъ блюститель правосудія, подвигаясь къ ряду дѣвичьему и ущипнувъ одну изъ нихъ за руку. «Что за драка? Охъ, славная дѣвка! Вишь, драку!... Ай-да Параска! Ай-да Пидорка! Вишь, глупый мужикъ... порвалъ бы его собака!... Ай, ай, ай! Сколько тутъ жиру!...» Блюститель порядка, вѣрно, себѣ позволилъ ческромность, потому что одна изъ дѣвушекъ вскрикнула во все горло. Въ это время пасхи были освящены, и обѣдня кончилась, и многіе уже стали расходиться. Нѣсколько только народу

обступило козака, такъ заинтересовавшаго толпу, который между тѣмъ подходилъ къ исправляющему званіе алгазіла.

«Славный у тебя усъ, пань!» проговорилъ онъ, подступивъ къ нему близко.

«Хорошій! У тебя, холопа, не будетъ такого», произнесъ онъ, расправляя его рукою.

«Славный! Только не туда ты, пань, крутишь его. Вотъ куда нужно крутить!» Мощный козакъ дернулъ сильною рукою такъ, что половина уса осталась у него.

Старый волокита закричалъ и заревѣлъ отъ боли. Лицо его сдѣлалось цвѣта вареной свеклы. «Рубите его, рубите, лайдака!» кричалъ онъ, но почувствовалъ себя въ рукахъ высокаго козака, и, увидя насмѣшливыя лица всѣхъ, сталъ искать глазами своихъ воиновъ. Малеванный шутъ струсилъ...

«Какъ же тебѣ, пань, не совѣстно бить такого старика! А если бы твоего стараго отца кто-нибудь сталъ безчестить такъ поносно при всѣхъ, какъ ты обезчестилъ старѣйшаго изъ всѣхъ насъ,—что тогда? Весело тебѣ было бы терпѣть это? Ступай, пань! Если бы ты не у короля въ службѣ былъ, я бы тебя не выпустилъ живого».

Выпущенный плѣнникъ побѣжалъ, отряхиваясь. За нимъ слѣдомъ повалилъ народъ. Между тѣмъ козакъ..., отвязавши коня, привязаннаго къ церковной оградѣ, готовился сѣсть, какъ былъ остановленъ средняго роста воиномъ, посѣдѣвшимъ человѣкомъ, который долго не отводилъ отъ него вниманія и заглядывалъ ему въ глаза съ такимъ любопытствомъ, какъ иногда собака, когда видитъ ядущаго хлѣбъ. «Добродію! вѣдь я васъ знаю.»—«Можетъ-быть, и правда.»—«Ей Богу, знаю. Не скажу: такъ точно знаю. Ей Богу, знаю! Чи вы Острианица, чи вы Омельченко?»—«Можетъ, и онъ.»—«Ну, такъ! Я стою въ церкви и говорю: вотъ то, что стоитъ возлѣ его, то Острианица. Ей, ей, Острианица. Да можетъ-быть, и нѣтъ. Можетъ-быть, и не Острианица. Нѣтъ, Острианица. Ей, тебѣ такъ показалось! Ну, какъ нѣтъ? Острианица да и Острианица. Какъ только послушалъ голосъ,

ну, тогда и рукою махнулъ. Вотъ такъ точнехонько покойный батюшка—пусть ему легко икнется на томъ свѣтъ!—такъ же разумно, бывало, каждое слово отмѣтитъ».

Острилица внимательно началъ въ него всматриваться и нашель, точно, что-то знакомое. Небольшое продолговатое лицо его было уже прорыто морщинами. Носъ, загнувшись внизъ, придавалъ ему нѣсколько горбатое сложеніе и неподвижность членамъ; но за то узенькіе сѣрые глаза протирались довольно увертливо сквозь чащу насунувшихся бровей, которыя, вѣрно, придали бы лицу суровый видъ, если бы нижняя часть лица, что-то простодушное и веселое въ губахъ, не давали ему противнаго выраженія. Подъ кобелякомъ, надѣтымъ въ рукава, виденъ былъ овчинный кожухъ, хотя воздухъ былъ довольно тепелъ и день былъ жарокъ.

«Я вѣрю и не вѣрю, что вижу опять васъ. А что, добродію,—не во гнѣвъ будь сказано,—прошу извинить, только хотѣлъ бы узнать, что сдѣлалось съ тѣми, которые пошли съ вами? Что Дигтяй, Кузубія? Воротились ли они съ вами, или тамъ остались, или воронъ, можетъ, гдѣ-нибудь доѣдаетъ козацки косточки?»

«Дигтяй твой сидитъ на колу у турецкаго султана, а Кузубія гуляетъ съ рыбами на днѣ Сиваша и тянетъ гнилую воду вмѣсто горѣлки... Но... ну, послѣ объ этомъ поговоримъ. Я тебя тоже узналъ. Здравствуй, старый Пудько! Христось воскресе!...»

«Воистину воскресе!» говорилъ, цѣлуясь, Пудько. «Какъ на то, и крашанки нѣтъ! Жинка давала, побоялся взять: народу такое множество... передавилъ бы на кисель. Такъ, добродію, какъ будто сердце знало...»

«Ты, ты попрежнему торгуешь всякою дрянью?»

«А что-жъ дѣлать? Нужно торговать. Еще слава Вогу, что продалъ табакъ. Прошлаго году отецъ съ полвоза накупилъ кремней, дрови, пороху, сѣры, ну и всего, что до мизеріи относится. Напросился на дорогѣ жидокъ одинъ. «Свези, человиче, на Хыякивску ярмарку,—дамъ три рубля».

Свезъ его какъ добраго, и надулъ проклятый жидокъ, ей Богу, надулъ! Хоть бы четверку горѣлки далъ, гаспидъ лысый. Знаете, что у меня чуть было ляхи не отняли всего скота? Кобылу взяли подъ верхъ вербуна. Теперь у меня только и конины, что гнѣдко», приполвилъ онъ, садясь на гнѣдого коня и видя, что Острица поворотилъ коня ѣхать. «Эхъ, добродію! Если бы теперь кто сказалъ: «А ну, старый, гайда на войну бить ляховъ!» — все бы продалъ, и жинку, и дѣтей бы покинуть, пошелъ бы въ компанейство». При этомъ Пудько выпрямился и поскакалъ за Острицею, который прищпорилъ сильнѣе коня своего. «Скажите, добродію, пане сотнику», говорилъ онъ, поровнявшись съ нимъ: «можетъ, вы теперь уже и не сотникъ, въ другой ротѣ какой значитесь? Скажите, до какой это поры дожили, что уже и храмы Божіи взяло на откупъ жидовство? Какъ же это, добродію, не обидно? Каково было снести всякому христіанину, что горѣлка находится у враговъ христіанства? А теперь и храмы Божіи! Тутъ, добродію, нужно намъ взять вправо, ибо мимо валу нѣтъ уже проѣзду. Да, и забылъ, что онъ при васъ былъ подкопанъ. Говорятъ, какъ свѣчка полетѣлъ подъ самое небо. Боже ты мой! сколько народу перемерло! Такъ и Дигтай, вы говорите, теперь сидитъ на колу? И Кузубія потонулъ? А какой важный, какой сильный народъ былъ! Сколько, подумаешь, пропадаетъ козачества! Вы слышите, какъ постукиваютъ хлопцы изъ мушкетовъ, что земля дрожить? Мы сейчасъ будемъ ѣхать мимо площади, гдѣ веселится народъ. Если вы въ хуторъ свой ѣдете, добродію, то и я съ вами. Лучше тамъ разговорюсь святою пасхою, чѣмъ дома съ бабами. Пусть жинка и дочка остаются сами. Вѣрно, добродію, что произошло межъ народомъ, потому что все столпились въ кучу и бросили всякое гулянье».

Въ самомъ дѣлѣ, на открывшейся въ это время изъ-за хатахъ площади народъ сросся въ одну кучу. Качели, стрельба и игры были оставлены. Острица, взглянувши, тотчасъ увидѣлъ причину: на шестѣ былъ повѣшенъ, вверхъ ногами,

жидь, тотъ самый, котораго онъ освободилъ изъ рукъ разгнѣваннаго народа. На ту же самую висѣлицу тащили хребта съ оборваннѣмъ усомъ. Острица ужаснулся, увидѣвъ это. «Нужно поснѣшить», говорилъ онъ, прищипывая коня. «Народъ не знаетъ самъ, что дѣлаетъ. Дурни! Это на ихъ же головы рушится». — «Стойте, козаки, рыцарство и посполитый народъ! Развѣ такъ по-козацки дѣлается?» произнесъ онъ, возвыся голосъ.

«Что смотрите его!» послышался говоръ между молодежью. «Въ другой разъ хочеть у насъ вытащить изъ рукъ».

«Послушайте, у кого есть свой разумъ».

«Онъ правду говорить», говорило нѣсколько умѣренныхъ.

«Молоды вы еще; я вамъ расскажу, какъ дѣлають по-козацки. Когда одинъ да выйдетъ противъ трехъ, то бравый козакъ; противъ десяти — еще лучше; одинъ противъ одного — не штука; когда-жъ три на одного нападутъ, то всѣ не козаки. Бабы они тогда, то, что... плюнуть хочеть; для святаго праздника не скажу срамнаго слова. Какъ же хотите теперь, братцы, напасть гурьбою на беззащитнаго, какъ будто на какую крѣпость страшную? Спрашиваю васъ, братцы», продолжалъ Острица, замѣтивъ вниманіе: «какъ назвать тѣхъ?...»

«А чѣмъ назвать его?» заговорили многіе вполголоса. «Что-жъ есть хуже бабы, или того, что онъ постыдился сказать? мы не знаемъ».

«Э, не къ тому рѣчь, паноче, своротилъ», произнесло въ голосъ нѣсколько парубковъ. «Что-жъ? Развѣ мы должны позволить, чтобъ всякая падаль топтала насъ ногами?»

«Глупы вы еще: не великъ, видно, усъ у васъ», продолжалъ Острица. При этомъ многіе ухватились за усы и стали покручивать ихъ, какъ бы въ опроверженіе сказаннаго имъ. «Слушайте, я расскажу вамъ одну присказку. Одинъ школяръ учился у одного дьяка. Тому школяру не далось слово Божье. Вѣрно, онъ былъ придурковать; а можеть-быть и лѣвъ тому мѣшала. Дьякъ его поколотилъ дубинкою разъ, а послѣ въ другой, а тамъ и въ третій.

«Крѣпко бьется проклятая дубина», сказалъ школяръ, принесъ сѣкиру и изрубилъ ее въ куски. «Постой же ты!» сказалъ дьякъ, да и вырубилъ дубину, толщиною въ оглоблю, и такъ погладилъ ему бока, что и теперь еще болятъ. Кто-жь тутъ виноватъ: дубина развѣ?»

«Нѣтъ, нѣтъ», кричала толпа: «тутъ виноватъ, виноватъ король!..»

Радуюсь, что наконецъ удалось успокоить народъ и спасти шляхтича, Острица выѣхалъ изъ мѣстечка и прищипорилъ коня сильнѣе, и услышалъ, что его нагоняетъ Пудько. Какъ-то тягостно ему было видѣть возлѣ себя другого. Множество скопившихся чувствъ нудило его къ раздумью. Свѣжій, тихій весенній воздухъ и притомъ нѣжно одѣвающіяся деревья какъ-то расположили въ такое состояніе, когда всякій товарищъ бываетъ скученъ въ глазахъ вѣчно упоительной природы. И потому Острица выдумалъ предлогъ отослать впередъ Пудька въ хуторъ и ожидать его тамъ, а самъ, сказавъ, что ему еще нужно заѣхать къ одному пану, поворотилъ съ дороги.

Этимъ распоряженіемъ Пудько, кажется, не былъ доволенъ, или, можетъ, только принялъ на себя такой видъ, потому что чрезъ это нимало не измѣнялъ любимой привычкѣ своей говорить. Вся разница, что, вмѣсто Острицы, онъ все это пересказывалъ своему гнѣдкю... «О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, гнѣдко! Онъ тогда еще, когда было поднялось все наше рыцарство на ляховъ, онъ славную имъ далъ перепойку. Дали-бъ и они ему перцу, когда бы не улизнуть на Запорожье. А правда? не важно жидъ болтается на висѣлицѣ? А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостаетъ одной клепки въ головѣ; ну, да что жъ дѣлать? Онъ отъ короля поставленъ. Можетъ, ты еще спросишь, за что-жь жидъ повѣсили? вѣдь и онъ отъ короля поставленъ? Гм!... вѣдь ты дуракъ, гнѣдко! Онъ за то врагъ Христовъ, нашего Бога святаго». Тутъ онъ ударилъ хлыстомъ своего скромнаго слушателя: убаюкиваемый его розказнями, развѣсилъ

уши и началъ ступать уже шагомъ. «Оно не такъ далеко и хуторъ, а все лучше раньше поспѣть. Уже давно пора, хочется разговѣться святою пасхою. Говори, молъ: мнѣ овса подавай. Потерпѣ немножко: у пана славный овесъ, и пшеницы дамъ въ волю, и сивухою попотчиваютъ. Я давно хотѣлъ у тебя спросить, гнѣдко, что лучше для тебя, пшеница или овесъ? Молчишь. Ну, и будешь же вѣкъ молчать, потому что Богъ повелѣлъ только человѣку, да еще одной маленькой пташкѣ...»

При этомъ онъ опять хлеснулъ гнѣдка, замѣтивъ, что онъ заслушался и сталъ выступать попрежнему... Но, вмѣсто того, чтобы слушать разсужденія нашихъ путешественниковъ на сѣдлѣ и подъ сѣдломъ, обратимся къ Острицицѣ, давно скакавшему по проселочной дорогѣ.

ГЛАВА II.

Какъ только рыцарь потерялъ изъ виду своего сотоварища, тотчасъ остановилъ рысь коня своего и поѣхалъ шагомъ. Солнце показывало полдень. День былъ ясный, какъ душа младенца. Изрѣдка два или три небольшихъ облака, повиснувъ, еще болѣе увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно-живительны; вѣтру не было, но щеки чувствовали какое-то тонкое вліяніе свѣжести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытымъ нивамъ, на которыхъ стройно, какъ будто лѣсъ житныхъ иголь, восходилъ молодой носѣвъ. Дорога входила въ рытвины и была съ обѣихъ сторонъ сжата крутыми глинистыми стѣнами. Безъ сомнѣнія, очень давно была прорыта эта дорога въ горѣ, потому что по обѣимъ сторонамъ обрыва поросла орѣшникомъ, на самой же горѣ подымались по обѣимъ сторонамъ высокіе, какъ стрѣла, осокори. Иногда перемеживала ихъ лоза, вся въ отпрыскахъ, иногда дубъ толстый, которому сто лѣтъ, и весь убранный павиликой, плющомъ, величаво расширялъ свою [верхушку] надъ ними и казался еще выше отъ обросшаго кустами подмостка.

Мѣстами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми вѣтвями на противоположную сторону и образовала надъ головою сводъ, и сыпала на голову путешественника серебророзовые цвѣты свои, между тѣмъ какъ изъ деревъ часто выглядывалъ обрывъ, весь въ цвѣтахъ и самыхъ нѣжныхъ первенцахъ весны. Уже дорога становилась шире, и наконецъ открылась равнина, раздольная, ограниченная, какъ рамами, синеватыми вдали горами и лѣсами, сквозь которые искрами серебра блестя прерванная нить рѣки и подъ нею стлались хутора. Здѣсь путешественникъ нашъ остановился, всталъ съ коня и, какъ будто въ усталости или въ желаніи собраться съ мыслями, сталъ поваживаться по лбу. Долго стоялъ онъ въ такомъ положеніи, наконецъ, какъ бы рѣшившись на что, сѣлъ на коня и, уже не останавливаясь болѣе, поѣхалъ въ ту сторону, гдѣ на косогорѣ синѣли сады и, по мѣрѣ приближенія, становились бѣлѣе разбросанныя хаты. Посреди хутора, надъ прудомъ, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, свѣтлица. Очеретяная ея крыша, мѣстами поросшая зеленью, на которой ярко отливалась желтая свѣжая заплатка, съ бѣлою трубою, покрытою китайскою черною крышею, была очень хороша. Въ ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерніе, и тогда нѣжный серебророзовый колеръ цвѣтущихъ деревъ становился пурпурнымъ. Путешественникъ слѣзъ съ коня и, держа его за поводъ, пошелъ пѣшкомъ черезъ плотину, стараясь итти какъ можно тише. Полощущіяся утки покрывали прудъ; черезъ плотину дѣвочка лѣтъ семи гнала гусей.

«Дома панъ?» спросилъ путешественникъ.

«Дома», отвѣчала дѣвочка, разинувъ ротъ и ставъ совершенно въ машинальное положеніе.

«А пани?»

«И пани дома».

«А панночка?» Это слово произнесъ путешественникъ какъ-то тише и съ какимъ-то страхомъ.

«И панночка дома».

«Умная дѣвочка! Я дамъ тебѣ пряникъ. А какъ сдѣлаешь то, что я скажу, дамъ и другой, еще и золотой».

«Дай!» говорила простодушно дѣвочка, протягивая руку.

«Дамъ, только пойди напередъ къ панночкѣ и скажи, чтобъ она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ея. Слышишь? Ну, скажешь ли ты такъ?»

«Скажу».

«Какъ же ты скажешь ей?»

«Не знаю».

Рыцарь засмѣялся и повторилъ ей снова тѣ самыя слова; и, наконецъ, увѣрившись, что она совершенно поняла, отпустилъ ее впередъ, а самъ, въ ожиданіи, сѣлъ подъ вербою.

Не прошло нѣсколько минутъ, какъ мелькнула между деревьевъ бѣлая сорочка, и дѣвушка лѣтъ осьмнадцать стала спускаться къ греблѣ. Шелковая плахта и кашемировая заплата туго обхватывали станъ ея, такъ что формы ея были какъ будто отлиты. Стройная роскошь совершенно нѣжныхъ [членовъ] не была скрыта. Широкіе рукава, шитые краснымъ шелкомъ и всѣ въ мереткахъ, спускались съ плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, какъ спѣющее яблоко, тогда какъ на груди подъ сорочкою упруго трепетали молодые перся. Сходя на плотину, она подняла дотолѣ опущенную голову, и черныя очи и брови мелькнули какъ молнія. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся къ греческому: ничего въ ней не было законно, прекрасно-правильно; ни одна черта лица, ничто не соответствовало съ положенными правилами красоты. Но въ этомъ своемъ равномъ, нѣсколько смугловатомъ лицѣ что-то было такое, что вдругъ поражало. Всякій взглядъ ея полонилъ сердце, душа занималась, и дыханіе отрывисто становилось.

«Откудава ты, человекъ добрый?» спросила она, увидѣвъ козака.

«А изъ Запорожья, панночка; зашелъ сюда, по просьбѣ сего пана, коли милости вашей извѣстно, — Острилицы».

Дѣвушка вспыхнула. «А ты видѣлъ его?»

«Видѣль. Слушай...»

«Нѣтъ, говори по правдѣ! Еще разъ: видѣль?»

«Видѣль».

«Забожись!»

«Ей Богу!»

«Ну, теперь я вѣрю», повторила она, немного успокоившись. «Гдѣ-жъ ты его видѣль? Что, онъ не позабылъ меня?»

«Тебя позабытъ, моя Ганночка, мое серденько, дорогой ты кристалль мой, голубочко моя! Развѣ хочется мнѣ быть растоптану татарскимъ конемъ?...» Тутъ онъ схватилъ ее за руки и посадилъ подлѣ себя. Удивленіе дѣвушки такъ было велико, что она краснѣла и блѣднѣла, не произнося ни одного слова.

«Какъ ты сюда прилетѣль?» говорила она шопотомъ. «Тебя поймаютъ. Еще никто не позабылъ про тебя. Ляхи еще не вышли изъ Украины».

«Не бойся, моя голубочка: я не одинъ, не поймаютъ. Со мною соберется кой-кто изъ нашихъ. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?»

«Люблю», отвѣчала она и склонила къ нему на грудь разгорѣвшееся лицо.

«Когда любишь, слушай же, что я скажу тебѣ: убѣжимъ отсюда! Мы поѣдемъ въ Польшу къ королю. Онъ, вѣрно, дастъ мнѣ землю. Не то, поѣдемъ хоть въ Галицію, или хоть къ султану; и онъ дастъ мнѣ землю. Мы съ тобою не разлучимся тогда и заживемъ такъ же хорошо, еще лучше, чѣмъ тутъ на хуторахъ нашихъ. Золота у меня много, ходить есть въ чемъ,—суконъ, епанечекъ, чего захочешь только».

«Нѣтъ, нѣтъ, козакъ», говорила она, кивая головою съ грустнымъ выраженіемъ въ лицѣ: «не пойду съ тобою. Пусть у тебя и золото, и сукна, и едамашки. Хотя я тебя больше люблю, чѣмъ всѣ сокровища, но не пойду. Какъ я оставлю престарѣлую бѣдную мать мою? Кто приглядитъ за нею? «Глядите, люди», скажетъ она: «какъ бросила меня родная дочка моя!» Слезы покатались по ея щекамъ.

«Мы не надолго ее оставимъ», говорилъ Острица:

«только годъ одинъ пробудемъ на Перекопѣ или на Запорожьѣ, а тогда я выхлопочу грамоту отъ короля и шляхетства, и мы воротимся снова сюда. Тогда не скажеть ничего и отецъ твой».

Галя качала головою все съ тою же грустью и слезами на глазахъ.

«Тогда мы оба станемъ присматривать за матерью. И у меня тоже есть старая мать, гораздо старѣе твоей. Но я не сижу съ ней вмѣстѣ. Придетъ время, женюсь, тогда и не то будетъ со мною».

«Нѣтъ, полно. Ты не то, ты—козакъ; тебѣ подавай коня, сбрую да степь, и больше ни о чемъ тебѣ не думать. Если-бъ я была козакомъ, и я бы закурила люльку, сѣла на коня— и все мнѣ» (при этомъ она махнула граціозно рукой) «трынь-трава! Но что будешь дѣлать? я козачка. У Бога не вымолишь, чтобъ перемѣнилъ долю... Еще бы я кинула, можетъ-быть, когда бы она была на рукахъ у добрыхъ людей, хоть даже одна; но ты знаешь, каковъ отецъ мой. Онъ прибереть ее; жизнь ея, бѣдненькой моей матери, будетъ горше полыни. Она и то говорить: «Видно скоро поставятъ надо мною крестъ, потому что мнѣ все снится» то, что она замужъ выходитъ, то, что рядятъ ее въ богатое платье, но все съ черными пятнами».

«Можетъ-быть, тебѣ оттого такъ жаль своей матери, что ты не любишь меня», говорилъ Острица, поворотивъ голову на сторону.

«Я не люблю тебя? Гляди: я, какъ хмелинонька около дуба, вьюсь къ тебѣ», говорила она, обвивая его руками. «Я безъ тебя не живу».

«Можетъ-быть, вмѣсто меня, какой-нибудь другой съ шпорами, съ золотою кистью?.. что добраго! можетъ-быть и ляхъ?»

«Тарась, Тарась! пощади, помилуй! Мало я плакала по тебѣ? Зачѣмъ ты укоряешь меня такъ?» сказала она, почти упавъ на колѣнахъ и въ слезахъ.

«О, вашъ родъ таковъ», продолжалъ все такъ же Остра-

ница. «Вы, когда захотите, подымете такой вой, какъ десять волчицъ, и слезъ, когда захотите, напускаете въ волю, хоть ведра подставляй, а какъ на дѣлѣ...»

«Ну, чего-жъ тебѣ хочется? Скажи, что тебѣ нужно, чтобъ я сдѣлала?»

«Ѣдешь со мною или нѣтъ?»

«Ѣду, Ѣду!»

«Ну, вставай, полно плакать; встань моя голубочка, Галочка!» говорилъ онъ, принимая ее на руки и осыпая поцѣлуями. «Ты теперь моя! Теперь я знаю, что тебя никто не отниметъ. Не плачь, моя... За это согласенъ я, чтобъ ты осталась съ матерью до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ наше горе. Что дѣлаетъ отецъ твой? Отецъ твой?»

«Онъ спалъ въ саду подъ грушею. Теперь, я слышу, ведутъ ему коня. Вѣрно, онъ проснулся. Прощай! Совѣтую тебѣ ѣхать скорѣе и лучше не попадаться ему теперь: онъ на тебя сердитъ». При этомъ Ганна вскочила и побѣжала въ свѣтлицу...

Острица медленно садился на коня и, выѣхавши, оборачивался нѣсколько разъ назадъ, какъ [бы] желая вспомнить, не позабылъ ли онъ чего, и уже поздно, почти около полуночи, достигнулъ онъ своего хутора.

ГЛАВА III.

Небо звѣздилось, но одѣяніе ночи было такъ темно, что рыцарь едва могъ только примѣтить хаты, почти подѣхавъ къ самому хутору. Въ другое время путешественникъ нашъ вѣрно бы досадовалъ на темноту, мѣшавшую взглянуть на знакомыя хаты, сады, огороды, нивы, съ которыми спелось его дѣтство. Но теперь столько его занимали происшествія дня, что онъ не обращалъ вниманія, не чувствовалъ, почти не замѣтилъ, какъ заливавшіяся со всѣхъ сторонъ собаки прыгали передъ лошадыю его такъ высоко, что, казалось, хотѣли ее укусить за морду. Такъ человекъ,

какъ раго будятъ, открываетъ на мгновеніе глаза и тотчасъ ихъ смежаетъ: онъ еще не разлучился со сномъ, лѣнливою рукою беретъ онъ за халатъ, но это движеніе для того только, чтобы обмануть разбудившаго его, будто онъ хочетъ вставать; а между тѣмъ онъ еще весь въ бреду и во снѣ, щеки его горятъ, можно читать цѣлый водопадъ сновидѣній, и утро дышитъ свѣжестью, и лучи солнца еще такъ живы и прохладны, какъ горный ключъ. Конь самъ собою ускорилъ шагъ, угадавъ родимое стойло, и только однѣ привѣтливныя вѣтви вишенъ, которыя перекидывались черезъ плетень, стѣснявшій узкую улицу, хлестая его по лицу, заставляли его иногда братья рукою. Но это движеніе было машинально. Тогда только, когда конь остановился подъ воротами, онъ очнулся. Низенькія, рѣшетчатые ворота открылись. Кто такой...? Наконецъ, ворота открылись. Острица вѣхалъ во дворъ, но, къ изумленію своему, чуть не наѣхалъ на трехъ улановъ, спящихъ въ мундирахъ.

Это выгнало всѣ мечты изъ головы его. Онъ терялся въ догадкахъ, откуда взялись польскіе уланы. Неужели успѣли уже узнать о его пріѣздѣ? И кто бы могъ открыть это? Если бы, точно, узнали, то какъ можно въ такомъ скоромъ времени совершить эту экспедицію? И гдѣ же дѣлись его запорожцы, которые должны были еще утромъ поспѣть въ его хуторъ? Все это повергло его въ такое недоумѣніе, что не зналъ, на чтѣ рѣшиться: ѣхать ли опростею назадъ, или остаться и узнать причину такой странности? Онъ былъ тронутъ тѣмъ самимъ, который отперъ ему ворота. Первымъ движеніемъ его было схватиться за саблю, но, увидѣвши, что это запорожець, онъ опустилъ руку.

«Но пойдѣте, добродію, въ свѣтлицу: здѣсь не въ обычаѣ говорить, и слишкомъ многолюдно», отвѣчалъ послѣдній.

Въ сѣняхъ вышла старая ключница, бывшая нянькою нашего героя, съ каганцемъ въ рукахъ. Осмотрѣвши съ головы до ногъ, она начала ворчать: «Чего васъ чортъ

носить сюда? Все только пугают меня. Я думала, что нашъ панъ прїѣхалъ. Что вамъ нужно? Еще мало горѣлки выпили!»

«Дурна баба! разсмотри хорошенько: вѣдь это панъ нашъ».

Горпина снова начала осматривать съ ногъ до головы, наконецъ вскрикнула: «Да это ты, мой голубчикъ! Да это-жъ ты, моя матусенька! Да это-жъ ты, мой соколъ! Какъ ты перемѣнился весь! какъ же ты загорѣлъ! какъ же ты обросъ! Да у тебя, я думаю, и головка не мыта, и сорочки никто не далъ перемѣнить». Тутъ Горпина рыдала навзрыдъ и подняла такой вой, что лай собакъ, который было началъ стихать, удвоился.

«Сумасшедшая баба!» говорилъ запорожець отступивши и плюнувши ей прямо въ глаза. «Чего сдуру ты заревѣла? Народъ весь разбудишь».

«Довольно, Горпина», прервалъ Острианица. «Вотъ тебѣ, гляди на меня! Ну, насмотрѣлась?»

«Насмотрѣлась, моя матинько родная! Какъ не наглядѣться! Еще когда ты маленькимъ былъ, носила я на рукахъ тебя, и какъ выросталъ, все не спускала глазъ, Боже мой! А теперь вотъ опять вижу тебя! Охо, хо!» И старуха принялась рыдать.

«Слушай, Горпино!» сказалъ Острианица, примѣтивъ, что ключница для праздника наградила себя порядочной кружкой водки. «Лучше ты принеси закусить чего-нибудь и напередъ подай святой пасхи, потому что я, грѣшный, цѣлый день сегодня не ѣлъ ничего и даже не попробовалъ пасхи».

«Да ты-жъ вотъ ото и пасхи не отвѣдывалъ, бѣдная моя головонька! Несчастная горемыка я на этомъ свѣтѣ! Охо, хо!» Тутъ потоки слезъ, разрѣшившіеся, хлынули цѣлымъ водопадомъ, и, подперши щеку рукою, снова была готова завывать, если-бъ не увидѣла надъ собою замахнувшейся руки запорожца.

«Добродію! позволь кіемъ угомонить проклятую бабу!»

Что́ это за сороменный народъ! Пришла-жь охота Господу Богу породить этакое племя! Или ему недосугъ тогда былъ, или Богъ его знаетъ, что́ ему тогда было...»

Острианица вошелъ между тѣмъ въ свѣтлицу и, снявши съ себя кобенякъ, бросился на коверъ. Дорога, голодъ и встрѣчи привели его въ такую усталость, что онъ растянулся на немъ въ совершенной безчувственности, не обращая ни на что глазъ своихъ, а потому наше дѣло представить описаніе свѣтлицы, замѣчательной тѣмъ, что постройка ея принадлежала еще дѣду. Это была просторная, болѣе продолговатая, комната и вмѣстѣ съ тѣмъ низенькая, какъ обыкновенно строилось въ тотъ вѣкъ. Ничто въ ней не говорило о прочности, какъ будто, кажется, строитель былъ твердо увѣренъ, что ея существованіе должно быть эфемерно; но, однакожь, поправками, придѣлками ветхое строеніе простояло около 50 лѣтъ. Стѣны были очень тонкіи, вымазаны глиною и выбѣлены снаружи и внутри такъ ярко, что глаза едва могли выносить этотъ блескъ. Весь полъ въ комнатѣ былъ тоже вымазанъ глиною, но такъ былъ чисто выметенъ, что на немъ можно было лечь, не опасаясь запылить платья. Въ углу комнаты, у дверей, находилась огромная печь и занимала почти четверть комнаты; сторона ея, обращенная къ окнамъ, была покрыта бѣлыми изразцами, на которыхъ синею краскою были нарисованы подобія человѣческимъ лицамъ, съ желтыми глазами и губами; другая сторона состояла изъ зеленыхъ гладкихъ изразцовъ. Окна были невелики, круглы; матовыя стекла, пропуская свѣтъ, не давали видѣть ничего происходящаго на дворѣ. На стѣнѣ висѣлъ портретъ дѣда Острианицы, воевавшего съ знаменитымъ Баторіемъ. Онъ былъ изображенъ почти во весь ростъ, въ кольчугѣ, съ парюю [пистолетовъ], заткнутыхъ за поясъ; нижняя часть ногъ до коленъ не была только видна. Потемнѣвшія краски едва позволяли видѣть суровое, мужественное лицо, которому жалость и все мягкое, казалось, было совершенно не извѣстно. Надъ дверьми висѣла тоже небольшая картина,

масляными красками, изображающая беззаботнаго запорожца съ боченкомъ водки, съ надписью: «*Козакъ душа правдивая, сорочки не має*», которую и доннынѣ можно иногда встрѣтить въ Малороссіи. Противъ дверей — нѣсколько иконъ, убранныхъ калиною и зелеными цвѣтами, а подь ними на длинной деревянной доскѣ нарисованы сцены изъ Священнаго Писанія: тутъ былъ Авраамъ, прицѣвливающійся изъ пистоleta въ Исаака; Святой Даміанъ, сидящій на колу, и другія подобныя. Подалѣе висѣло нѣсколько турецкихъ саблей, ружье и разной величины пистолеты; неподвижный подь образами столъ, накрытый чистою скатертью, шитою по краямъ краснымъ шелкомъ и потемнѣвшимъ серебромъ; два страннаго вида складныхъ стула. Въ этомъ состояло убранство комнаты... Острианица между тѣмъ теперь только замѣтила, что столъ былъ уставленъ деревянными блюдами съ яйцами, масломъ и бараниною. Первымъ его дѣломъ было приблизиться къ столу и утолить голодь, который теперь началъ сильнѣе докучать ему.

Въ это время вошла старая ключница съ пасхой, съ сметаной, сырмъ... «Вотъ тебѣ, паночиньку мой, и розговѣны! Вотъ тебѣ и сметанка!» говорила [она]. «Куда-жь, какъ онъ проголодался, бѣдная дытына! Вотъ какъ не подавится, бѣдненькій! А я-то думала, а я хлопотала, а я бѣгала, какъ бы ему, моему сердечному... А вотъ Господь сподобилъ, опять вижу тебя. Охо, хо, хо!»

Горпина опять было хотѣла всплакнуть, но запорожець Пудько, который началъ было подремывать, сидя возлѣ насыщавшаго свой голодь рыцаря, устремилъ на нее глаза и проговорилъ: «Ну, ну, ну! попробуй только заревѣть!..»

Это остановило намѣреніе Горпины... «Кушай, кушай, сынку мой! ѣшь на здоровье, ѣшь, я не мѣшаю тебѣ! Голубчикъ мой! Мы съ тобою только разъ христосовались. Похристосуемся, мое серденько, похристосуемся!..»

«Еще и христосоваться!» проговорилъ Пудько сквозь

сонъ и схватилъ, вмѣсто пуги, Горпинину ногу. «Пошла, проклятая баба!»

«Ступай, Горпино! полно тебѣ! проговорилъ, подыавшись, Острианица. «А не то я, несмотря на то, что ты стара и что няньчила меня, сниму со стѣны вотъ этотъ батогъ; видишь ты этотъ батогъ?»

Горпина, которая привыкла бояться повелительнаго голоса своего пана, немедленно повиновалась.

«Ну, Пудько, гдѣ-жъ Тарасъ? Чтѣ онъ дѣлаетъ? Чтѣ я его не вижу?»

«А что-жъ ему дѣлать? Извѣстно, что дѣлаетъ: снить гдѣ-нибудь».

«Ну, такъ пойдѣмъ же и мы спать, только не въ душевой хатѣ, а на вольной землѣ, подѣ небомъ».

Запорожець натянулъ на себя кобенякъ и пошелъ вслѣдъ за Острианицею изъ свѣтлицы, въ которой чуть было не упалъ, зацѣпившись за что-то, лежавшее у порога, но голосу которое не дало, — завернувшееся въ кожухъ туловище. Острианица узналъ Курника, но замѣтно было, что онъ хватилъ не меньше другихъ, потому что въ его словахъ была страшная противоположность тому, что онъ говорилъ въ дверяхъ. Даже самый образъ выраженія былъ не тотъ; множество словъ вмѣшивалось такихъ, которыхъ странно и смѣшно было отъ него слышать. Замѣтно было, что на него много сдѣлали вліянія запорожцы. «Эхъ, славная конница у запорожцевъ! Торо, торо, торо, гайда, гопъ, гопъ, гопъ! Эка славная конница у запорожцевъ! Торо, торо, гопъ, гопъ, гопъ! Экая конница! Послушай, любезный, скажи мнѣ: какая у тебя конница? У меня конница запорожская. Откуда ты мужичокъ? Зачѣмъ ты пришелъ? Не могу, у меня конница запорожская! Торо, торо, торо! гопъ, гопъ, гопъ!» и тому подобное. Острианица попробовалъ было подойти къ атаману, котораго указалъ ему Пудько и который лежалъ, подмостивши себѣ подѣ голову боченокъ, но услышалъ отъ него одни совершенно безсвязныя слова, изъ чего онъ заключилъ, что всѣ гуляли, какъ

слѣдуетъ, и рѣшился оставить ихъ въ покоѣ и присоединиться къ другимъ, которыхъ хралѣніе составляло самую фантастическую музыку. Скоро всѣ уснули.

ГЛАВА IV.

Однакожь, Острица долго не могъ заснуть; напрасно переворачивался онъ съ боку на бокъ и пробовалъ всѣ положенія: сонъ убѣгалъ его, а думы незваныя приходили и силою ложились въ его мозгу. И такъ, его прїѣздъ понапрасну; и столько приготовленій, столько заботъ — все по-пустому! Она не хочетъ ѣхать съ нимъ. Такъ вотъ это та любовь, та горячая, безграничная любовь! Ей жаль матери: для матери готова она забыть свою любовь. Способна ли она для страсти, когда можетъ еще думать при ней объ другомъ, объ отцѣ или матери? Нѣтъ, нѣтъ! Гдѣ любовь настоящая, такая, какъ слѣдуетъ, тамъ нѣтъ ни брата, ни отца. — «Нѣтъ, я хочу», говорилъ онъ, разбрасывая руками: «чтобъ она или меня одного, или никого не любила. Цѣлуй, прижимай меня! Пусть жаръ дыханья твоего пахнѣтъ мнѣ на щеки! Обнимаю дрожащія груди твоя, прижму тебя къ моимъ грудямъ... И еще при этомъ думать объ другомъ!.. О, какъ чудно, какъ странно создана женщина! Какъ приводитъ она въ бѣшенство! Весь горяшь, пламень въ сердцѣ, душно, тоска, агонія... а сама она, можетъ, и не знаетъ, что творитъ въ насъ; она себѣ такъ, какъ ни въ чемъ не бывало: глядитъ безпечно и не знаетъ, что за муку произвела!»

Но между тѣмъ луна, плывшая среди необозримаго сянго роскошнаго неба, и свѣжій воздухъ весенней ночи на время успокоили его мысли. Онъ излился въ длинномъ монологѣ, изъ котораго, можетъ-быть, узнаютъ [читатели] сколько-нибудь жизнь героя. «И какъ же ей, въ самомъ дѣлѣ, оставить бѣдную мать, которая когда-то ее лелѣла и которую теперь она лелѣетъ, для которой нѣтъ ничего и не будетъ уже ничего въ мірѣ, когда не будетъ ея до-

черп? Она одна для нея радость, лица, жизнь, заигнана отъ отца. Нѣтъ, права она. И странная судьба моя! Отца я не видалъ: его убили на войнѣ, когда меня еще на свѣтъ не было. Матери я видѣлъ только посившій и разрѣзанный трупъ. Она, говорятъ, утонула. Ее вытянули мертвую и изъ утробы ея вырѣзали меня, безчувственнаго, неживого. Какъ мнѣ спасли жизнь — самъ не знаю. Кто спастъ? Зачѣмъ спастъ? Лучше бы пропалъ, не живши! Чужіе призрѣли. Еще малъ и глупъ, я уже наѣздничалъ съ запорожцами. Опять случай: меня половили татары. Не годится жить межъ ними христіанину, дитъ кобылье молоко, ѣсть конину. Однакожъ я былъ веселъ душой; ну, вырвусь же когда-нибудь на волю! И вотъ пріѣхалъ я на родину, сирота-сиротою. Не встрѣтилъ никого знакомаго. Хотя бы собака была такая, которая знала меня въ дѣтствѣ. Никого, никого! Однакожъ, хотя грустная, а все-таки радость была — и печально, и радостно! Больно было глядѣть, какъ посмѣвался католикъ православному народу, и вмѣстѣ весело. Подожди, ляше, увидишь, какъ растопчетъ тебя вольный рыцарскій народъ! Чтѣ же? Вотъ тебѣ и похвалился! Увидѣлъ хорошую дивчину — и все позабылъ, все къ чорту. Охъ, очи, черныя очи! Захотѣлъ Богъ погубить людей за беззаконья, и послать вась. Собиралось компанейство отмстить за ругательства надъ Христовой вѣрой и за безчестье народу. Я ни объ чемъ не думалъ, меня почти силою уже заставили схватиться за саблю. Въ недобрый часъ затѣялась эта битва. Чтѣ-то дѣлають теперь въ Польшѣ коронный гетманъ, сеймъ и полковники? Грѣхъ лежать на печкѣ. Еще бы можно было поправить; вражья потеря вѣрно-бъ была сильнѣе, когда бы ударилъ изъ засады я. Бѣжать всѣ запорожцы, увидавъ, что и Галькинъ отецъ держитъ вражью сторону. А все вы, черныя брови, вы всему виной! И вотъ я снова пріѣхалъ сюда съ ватагою товарищей; но не правда, и месть, и жажда искупить себѣ славу силою и кровью завели меня, все вы, все вы, черныя брови! Дивно диво —

любовь! Ни объ чемъ не думаешь, ничего на свѣтѣ не хочешь, только сидѣть бы возлѣ ней, уставивши на нее очи, прижавши ближе къ себѣ, такъ, чтобы пылающія щеки коснулись щеки, и все бы глядѣть. Боже! какъ хороша она была, смѣясь! Вотъ она глядитъ на меня. Серденько мое, Галя, Галюночка, Галочка, Галюня, душка моя, крошка моя! Что-то теперь дѣлаешь ты? Вѣрно, лежишь и думаешь обо мнѣ! Нѣтъ, не могу, не въ силахъ оставить тебя, не оставлю ни за что... Какъ же придумать?.. Голова моя горитъ, а не знаю, что дѣлать! Поѣду къ королю, упрошу Ивана Острианицу: онъ добудетъ мнѣ грамоту и королевское прощеніе, и тогда, тогда... Богъ знаетъ, что тогда будетъ! Только все лучше, я буду близъ нея жить...»

Такъ раздумывалъ и почти разговаривалъ самъ съ собою Острианица; уже онъ обнималъ въ мысляхъ и свою Галю; вмѣстѣ уже воображалъ себя съ нею въ одной свѣтлицѣ; они хозяйничаютъ въ этомъ земномъ раѣ... Но настоящее опять вторгалось въ это обворожительное будущее, и герой нашъ въ досадѣ снова разбрасывалъ руками; кобенякъ слетѣлъ съ плечъ его. Его терзала мысль, какимъ образомъ объявить запорожскому атаману, что теперь уже онъ оставляетъ свое предпріятіе и, стало-быть, помощь его больше не нужна.

ГЛАВА V.

Какъ только проснулся Острианица, то увидѣлъ весь дворъ, наполненный народомъ: усы, байбараки, женскіе парчевые кораблики, бѣлыя намитки, синіе кунтуши; однимъ словомъ, дворъ представлялъ игрушечную лавку, или блюдо винегрета, или, еще лучше, пестрый турецкій платокъ. Со всею этою кучею народа [онъ] долженъ былъ перецѣловаться и принять неимовѣрное множество яицъ, подносимыхъ въ шапкахъ, въ платкахъ, утокъ, гусей и прочаго — обыкновенную дань, которую подносили поселяне своему господину, который, съ своей стороны, долженъ

былъ отблагодарить угощеніемъ. Подносимое принято; и такъ какъ яйца, будучи сложены въ кучу, казались пирамидою ядеръ, выставленныхъ на крѣпости, [то] противъ этого хозяинъ выкатилъ двѣ страшныя бочки горѣлки для всѣхъ гостей, и хутогянци сдѣлали самое страшное вторженіе. Поглаживая усы, толпа нетерпѣливо ждала вступить въ бой съ этимъ драгоценнымъ неприятелемъ. И между тѣмъ, какъ одна толпа бросилась на столы, трещащія подъ баранами, жареными поросятами съ хрѣномъ, а другая къ пустившему хмѣльный водопадъ, боясь послушаться власти атамана, который наконецъ гостей принималъ, держа въ рукахъ плеть. Онъ хлесталъ ею одного изъ подчиненныхъ своихъ, который стоялъ неподвижно, но только почесываясь и стараясь удерживать свои стѣнныя при каждомъ ударѣ. Атаманъ приговаривалъ такимъ дружескимъ образомъ, что если бы не было въ рукахъ плети, то можно подумать, что онъ ласкаетъ родного сына. «Вотъ это тебѣ, голубчикъ, за то, чтобъ ты зналъ, какъ почитать старшихъ! Вотъ тебѣ, любезный, еще на придачу! А вотъ еще одинъ разъ! Вотъ тебѣ еще другой! Да, голубчикъ, не дѣлай такъ! А вотъ это какъ тебѣ кажется? А этотъ вкусенъ? Признайся, вкусенъ? Когда по вкусу, такъ вотъ еще! Чтò за славная плеть! Чудная плеть! Чтò, какъ вотъ это? Нашлись же такіе искусники, что такъ хитро сплели! Чтò, танцуешь? Тебѣ, видно, весело? То-то, я зналъ, что будетъ весело. Я затѣмъ тебя и благословляю такъ...» Тутъ атаманъ, наконецъ, увидѣвъ, что молодой преступникъ, несмотря на все стараніе устоять на мѣстѣ, готовъ былъ закричать, остановился. «Ну, теперь подойди, да поклонись же, да ниже поклонись!» Принявшій удары, съ опущенными глазами, изъ которыхъ ручьемъ полились слезы, приблизился и отвѣсилъ поклонъ въ ноги. «Говори, любезный: благодарю, атаманъ, за науку!»

«Благодарю, атаманъ, за науку».

«Теперь ступай! Гайда! Задай перцу баранамъ и свухѣ!»

«Христось воскресь, атамань! Мы съ тобою еще не христосовались»

«Воистину воскресь!» отвѣчалъ атамань.

«Нѣтъ ли у тебя въ запасѣ губки? Охота забираетъ люльку затынуть». При этомъ вложилъ въ зубы вытянутую изъ кармана трубку.

«Какъ не быть! Это занятіе, когда матерія не клеится».

«Я хотѣлъ сказать тебѣ дѣло», примолвилъ Острица съ нѣкоторою робостью.

«Гмъ!» отвѣчалъ атамань, вырублявая огонь.

«Мое дѣло не клеится».

«Не клеится?» промолвилъ, раскуривая трубку: «погано!»

«Врядъ ли намъ что-нибудь достанется здѣсь».

«Не достанется?.. Погано!»

«Придется намъ возвратиться ни съ чѣмъ».

«Гмъ!..»

«Что-жь ты скажешь?» спросилъ Острица, удивленный такимъ неудовлетворительнымъ отвѣтомъ.

«Когда воротиться», отвѣчалъ запорожецъ, сплевывая: «такъ и воротиться».

Острицу ободрило такое равнодушіе. — «Только я не пойду съ вами; я поѣду на время въ Варшаву».

«Гмъ!» отвѣчалъ атамань.

«Ты можеть-быть, сердить на меня, что я такъ обманулъ и поддѣлъ васъ? Божусь, что я самъ обмануть!»

При этомъ словѣ грянула музыка, и, вмѣстѣ съ нею, грянуло топанье танцующихъ. Атамань, съ трубкою въ зубахъ, ринулся въ кучу танцующей компаніи, очистилъ около себя кругъ и пустился выбивать ногами и навприсядку.

ГЛАВА VI.

«Что онъ себѣ думаетъ, этотъ дурень Острица?» говорилъ старій Пудько. «Щенокъ! Еще и родниться задумалъ со мною! Поганый нечестивецъ! Поди къ матери своей, чтобъ доносила напередъ! И достало духу у него сказать это!»

Дурень, дурень!» говорил онъ, дергая рукою, какъ будто дралъ кого-нибудь за волоса. «Молодь козакъ, усъ еще не прошибся!» Старый Кузубія не могъ вынести, когда видѣлъ, что младшій равняется съ старшими. «Знать долженъ, что кто задумалъ мстить, тотъ у того не жди уже милости. Скорѣе солнце посинѣеть, вмѣсто дождя посыплется раки съ неба, чѣмъ я позабуду прошлое. Пропаду, но не забуду! Не хочу! Не хочу! Жинко! Жинко!» Этимъ восклицаніемъ обыкновенно оканчивалъ онъ свою рѣчь, когда бывалъ сердитъ, и Боже сохрани жинкѣ не явиться тотъ же часъ! На эту рѣчь, едва передвигая ноги, пришло, или, лучше сказать, приползло изсохнувшее, едва живущее существо. Видъ ея не вдругъ [поражалъ]. Нужно было взглядѣться въ этотъ несчастный остатокъ человѣка, въ это олицетворенное страданіе, чтобы ощутить въ душѣ неизъяснимо-тоскливое чувство. Представьте себѣ длинное, все въ морщинахъ, почти безчувственное лицо; глаза черные какъ уголь, нѣкогда—огонь, буря, страсть, нынѣ неподвижныя; губы какого-то мертвого цвѣта, но, однакожь, онѣ были когда-то свѣжи, какъ румянецъ на спѣющемъ яблокѣ. И кто бы подумалъ, что эти, слившіяся въ сухія руины, черты были когда-то чертовски очаровательны, что движеніе этихъ, нѣкогда гордыхъ и величественныхъ, бровей дарило счастье, необитаемое на землѣ? И все прошло, прошло незамѣтно; образовалось, наконецъ, лишь безчувственное терпѣніе и безграничное повиновеніе.



ОТРЫВКИ

изъ

НАЧАТЫХЪ ПОВѢСТЕЙ.

I.

Я давно уже ничего не рассказывалъ вамъ. Признаться сказать, оно очень пріятно, если кто станетъ что-нибудь рассказывать. Если же выберется человѣчекъ небольшого роста, съ сиповатымъ баскомъ, да и говорить ни слишкомъ громко, ни слишкомъ тихо, а такъ совершенно, какъ котъ мурчитъ надъ ухомъ, то это такое наслажденіе, что ни перомъ не описать, ни другимъ чѣмъ-нибудь не сдѣлать. Это мнѣ лучше нравится, нежели проливной дождикъ, когда сидишь въ сѣняхъ на полу передъ дверью на улицу, поджавши подъ себя ноги, а онъ, голубчикъ, треплетъ во весь духъ соломѣ на крышѣ, и деревенскія бабы бѣгутъ босыми ногами, мило покрывшись своей руб.... по голову и схвативши подъ руку черевикъ. Вы никогда не слышали про моего дѣда? Что это былъ за человѣкъ! съ какими достоинствами! Я вамъ скажу, что такихъ людей я теперь нигдѣ не отыскивалъ.

II.

СТРАШНАЯ РУКА.

Повѣсть

изъ книги подъ названіемъ „Лунный свѣтъ въ разбитомъ окошкѣ чердана на Васильевскомъ Островѣ, въ 16 линіи“.

I.

Было далеко за полночь. Одинъ фонарь только озарялъ капризно улицу и бросалъ какой-то страшный блескъ на каменные дома и оставлялъ во мракѣ деревянные; изъ сѣрыхъ превращались совершенно въ черные.

II.

Фонарь умиралъ на одной изъ дальнихъ линій Васильевскаго Острова. Одни только бѣлые каменные дома кое-гдѣ вызначивались. Деревянные чернѣли и сливались съ густою массою мрака, тяготѣвшаго надъ ними. Какъ страшно, когда каменный тротуаръ прерывается деревяннымъ, когда деревянный даже пропадаетъ, когда все чувствуетъ 12 часовъ, когда отдаленный будочникъ спитъ, когда кошки, безмысленныя кошки, одни спѣвываются и бодрствуютъ! Но человѣкъ знаетъ, что они не дадутъ сигнала и не поймутъ его несчастья, если внезапно будетъ атакованъ мошенниками, выскочившими изъ этого темнаго переулка, который распростеръ къ нему свои мрачныя объятія.

Но проходившій въ это время пѣшеходъ ничего подобнаго не имѣлъ въ мысляхъ. Онъ былъ не изъ обыкновенныхъ въ Петербургѣ пѣшеходовъ. Онъ былъ не чиновникъ, не русская борода, не офицеръ и не нѣмецкій ремесленникъ,— существо внѣ гражданства столицы. Это былъ прѣхавшій изъ Дерпта студентъ на факультетъ, готовый на всѣ должности, но еще покамѣстъ ничего, кромѣ студентъ, занявшій полъ-угла въ Мѣцанской, у сапожника-нѣмца. Но обо всемъ этомъ послѣ. Студентъ, который въ этомъ чинномъ городѣ былъ тише воды, безъ шпаги и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался подъ домами, отбрасывая отъ себя самую огромную тѣнь, головою терявшуюся во мракѣ.

Все, казалось, умерло; нигдѣ огня. Ставни были закрыты. Наконецъ, подходя къ Большому проспекту, особенно остановилъ вниманіе на одномъ домѣ. Тонкая щель въ ставнѣ, свѣтившаяся огненною чертою, неволью привлекла и заманила заглянуть. Прильнувъ къ ставнѣ и приставивъ глазъ къ тому мѣсту, гдѣ щель была пошире, и задумался. Лампа блистала въ голубой комнатѣ. Вся она была завалена разбросанными штукаами матерій. Газъ, почти невидимый, безцвѣтный, воздушно висѣлъ на ручкахъ кресель и тонкими струями, какъ льющійся водопадъ, падалъ на полъ. Палевые

цвѣты, на бѣлой шелковой, блиставшей блескомъ серебра матеріи, свѣтились изъ-подъ газа. Около дожины шалей, легкихъ и мягкихъ, какъ пухъ, съ цвѣтами, совершенно живыми, смятыя, были брошены на полу. Кушаки, золотыя цѣпи висѣли на взбитыхъ до потолка облакахъ батиста. Но болѣе всего занимала студента стоявшая въ углу комнаты [стройная] женская фигура... все для студента, въ чудесно очаровательномъ, въ ослѣпительно божественномъ платьѣ— въ самомъ прекраснѣйшемъ бѣломъ. Какъ дышитъ это платье!.. Сколько поэзіи для студента въ женскомъ платьѣ!... Но бѣлый цвѣтъ— съ нимъ нѣтъ сравненія. Женщина выше въ бѣломъ [платьѣ]. Она—царица, видѣніе, все, что похоже на самую гармоническую мечту. Женщина чувствуетъ это и потому въ..... минуты преобразуется въ бѣлую. Какія искры пролетаютъ по жиламъ, когда блеснетъ среди мрака бѣлое платье! Я говорю—среди мрака, потому что все тогда кажется мракомъ. Всѣ чувства переселяются тогда въ запахъ, несущійся отъ него, и въ едва слышимый, но музыкальный шумъ, производимый имъ. Это самое высшее и самое сладострастнѣйшее сладострастіе. И потому студентъ нашъ, котораго всякая горничная [дѣвчонка] на улицѣ кидала въ ознобъ, который не зналъ прибрать имени женщинѣ,—пожиралъ глазами чудесное видѣніе, которое, стоя съ наклоненною на сторону головой, охваченное досадною тѣнью наконецъ, поворотило прямо противъ него ослѣпительную бѣлизну лица и шеи съ китайскою прическою. Глаза, неизъяснимые глаза, съ бездною души подъ капризно и обворожительно подымавшимся бархатомъ бровей были невыносимы для студента.

Онъ задрожалъ, и тогда только увидѣлъ другую фигуру, въ черномъ фракѣ, съ самымъ страннымъ профилемъ. Лицо, въ которомъ нельзя было замѣтить ни одного угла, но вмѣстѣ съ симъ оно не означалось легкими, округленными чертами. Лобъ не опускался прямо къ носу, но былъ совершенно покатъ, какъ ледяная гора для катанья. Носъ былъ продолженіемъ его—великъ и тупъ. Губа только верхняя вы-

двинулась далѣе. Подбородка совсѣмъ не было. Отъ носа шла діагональная линія до самой шеи. Это былъ треугольникъ, вершина котораго находилась въ носѣ: лица, которыя болѣе всего выражаютъ глухость.

III.

Дождь былъ продолжительный, сырой, когда я вышелъ на улицу. Сѣрымное небо предвѣщало его надолго. Ни одной полосы свѣта. Ни въ одномъ мѣстѣ, нигдѣ не разрывалось сѣрое покрывало. Движущаяся сѣть дождя задернула почти совершенно все, что прежде видѣлъ глазъ, и только одни передніе дома мелькали будто сквозь тонкій газъ; тускло мелькали вывѣски; еще тусклѣе надъ ними балконъ, выше его еще этажъ, наконецъ, крыша готова была потеряться въ дождевомъ туманѣ, и только мокрый блескъ ея отличалъ ее немного отъ воздуха. Вода урчала съ трубъ; на тротуарахъ лужи...

Чортъ возьми, люблю я это время! Ни одного зѣваки на улицѣ. Теперь не найдешь ни одного изъ тѣхъ господъ, которые останавливаются для того, что [бы] посмотрѣть на сапоги ваши, на штаны, на фракъ, или на шляпу, и потомъ, разинувши ротъ, поворачиваются нѣсколько разъ назадъ для того, чтобы осмотрѣть задній фасадъ вашъ. Теперь раздолье мнѣ закутаться крѣпче въ свой плащъ. Какъ удираетъ этотъ любезный молодой франтъ, съ личикомъ, которое можно упрятать въ дамскій ридиколь. Напрасно: не спасетъ новенькаго сюртучка, красу и заглядѣнье Невскаго проспекта. Крѣпче его, крѣпче, дождикъ! пусть онъ вбѣжитъ, какъ мокрая крыса, домой. А! вотъ и суровая дама бѣжитъ въ своихъ пострыхъ тряпкахъ, поднявши платье, далѣе чего нельзя поднять, не нарушивъ послѣдней благопристойности. Куда дѣвался характеръ! и не ворчить, видя, какъ чиновная крыса въ вицъ-мундирѣ съ крестикомъ, запустивъ свои зеленые, какъ его воротникъ, глаза, наслаждается видомъ полныхъ, на каждомъ шагѣ трепещущихъ ногъ, какъ... выпуклостей ноги. О, это таковскій народъ! Они большія

бестии, эти чиновники, ловить рыбу въ мутной водѣ. Въ дождь, снѣгъ, ведро, всегда эта амфибія на улицѣ. Его воротникъ, какъ хамелеонъ, мѣняетъ свой цвѣтъ каждую минуту отъ температуры; но онъ самъ неизмѣненъ, какъ его канцелярскій порядокъ.

Навстрѣчу русская борода, купецъ, въ синемъ, нѣмецкой работы, скюртукѣ, съ талією на спинѣ или, лучше, на шеѣ. Съ какою купеческою ловкостью держитъ онъ зонтикъ надъ своею половиною! Какъ тяжело пытитъ эта масса мяса, обвернутая въ капоть и чепчикъ! Ее скорѣе можно причислить къ моллюскамъ, нежели къ позвоночатымъ животнымъ. Сильнѣе, дождикъ, ради Бога, сильнѣе кропи его скюртукъ нѣмецкаго покрою и жирное мясо этой обитательницы пуховиковъ и подушекъ! Боже, какую адскую струю они оставили послѣ себя въ воздухѣ изъ капусты и луку! Кропи ихъ, дождь, за все: за наглое безстыдство плутовской бороды, за жадность къ деньгамъ, за бороду, полную насѣкомыхъ, и сырмятную жизнь сожигательницы... Какой вздоръ! ихъ не пройметъ оплеуха кваргальнаго надзирателя, — что же можетъ сдѣлать дождь?

Но какъ бы то ни было, только такого дождя давно не было. Онъ увеличился и перемѣнилъ косвенное свое направленіе, сдѣлался прямой, [съ] шумомъ хлынулъ въ крыши мостовую, какъ [бы] желая вдавить еще ниже этотъ болотный городъ. Окна въ кондитерскихъ захлопнулись. Головы съ усами и трубкою, долѣе всѣхъ глядѣвшія, спрятались; даже сѣрый рыцарь съ алебардою и завязанною щеккою убѣжалъ въ будку...

IV.

«Мнѣ нужно видѣть полковника, я къ нему имѣю дѣло», говорилъ почти отрокъ 17 лѣтъ.

«Тебѣ полковника?»... произнесъ съ разстановкою сторожевой козакъ передъ большою ставкою, разсматривая и переминая на своей ладони, съ какой-то недовѣрчивостью, грубый крошенный табакъ, это странное растеніе, которое

съ такую изумительною быстротою разнесла по всё концы міра новооткрытая часть свѣта. Трубка давно у него была въ зубахъ. «На что тебѣ полковникъ?»

При этомъ взглянулъ на просителя. Это былъ почти отрокъ, готовящійся быть юношею, лѣтъ 16, уже съ мужественными чертами лица, воспитаннаго солнцемъ и здоровымъ воздухомъ, въ полотняномъ крашеномъ кунтушѣ и шароварахъ.

«Съ тобою не станеть говорить полковникъ», примолвилъ [козакъ], поглядѣвъ на него почти презрительно и закинувъ назадъ алый рукавъ съ золотымъ шнуркомъ.

«Отчего же онъ не станеть со мною говорить?»

«Кто-жъ съ тобою станеть говорить? ты еще недавно молоко сосалъ. Если-бъ у тебя былъ хоть суконый кунтушъ да пицаль, тогда бы... Вѣдь ты, вѣрно, поповичъ или школяръ? Знаешь ли ты этотъ инструментъ?» примолвилъ [козакъ] съ видомъ самодовольной гордости, указавъ на трубку.

«Ты думаешь...»

Но молодой воинъ остановился, увидѣвши, что козакъ вдругъ ояѣмѣлъ, потупилъ глаза въ землю и снялъ шапку, до того заломленную на бекрень.

Двое пожилыхъ мужчинъ, — одинъ въ короткомъ плащѣ съ рукавами, выстеганными золотомъ, съ узорно вычеканенными пистолетами, другой въ шитомъ кафтанѣ съ серебряною привязанною къ поясу чернильницею, — прошли мимо и вошли въ ставку. Дрожа и блѣднѣя, шмыгнувъ за ними молодой человѣкъ и вошелъ въ ставку.

Молодой человѣкъ ударилъ поклонъ въ самую землю отъ страха, увидѣвши, какъ вошедшіе передъ нимъ богатые кафтаны поклонились въ поясъ и почтительно потупили глаза въ землю съ тѣмъ безграничнымъ повиновеніемъ, которое такъ странно вмѣщалось вмѣстѣ съ необузданностью, чѣмъ особенно славилась козацкія войска.

На разостланномъ коврѣ сидѣлъ полковникъ. Ему, казалось, на видъ было лѣтъ 50. Волоса у него стали сѣдѣть, сизые усы величаво опускались внизъ. Длинный синій ру-

бецъ на щекѣ и лбу тянулся по его почти бронзовому лицу. Кажется, нельзя было отыскать никакой рѣзкой характерной черты, но, просто, оно выражало съ спокойствіемъ увѣренность козака. Глядя на него, можно было тотчасъ узнать, что у него рука желѣзная и мощно можетъ управлять... На немъ были широкіе, синіе съ серебромъ шаровары. Верхнее платье небрежно валялось на полу. Нѣсколько пистолетовъ и ружей стояло, и висѣли по угламъ ставки уздечки; въ углу кулъ соломы. Полковникъ самъ, своею рукой, чинилъ свое сѣдло, когда вошли къ нему писарь и есаулъ.

«Здравствуйте, панове, мои вѣрные, мои добрые товарищи! Вотъ вамъ приказъ: Не пускать далеко на попасъ, потому что татарва теперь рыскаетъ по стенамъ. Итти, какъ можно подальше, избирайте траву повыше, и шапки даже не снимайте. Да чтобъ козаки не стрѣляли по дорогамъ дрофъ и гусей, потому что и порохъ избавятъ даромъ, да что за мясоѣдъ такой козаку?.. Сухари да вода—то козацкая ѣда. А вы, мой любый кумъ и мой любезный пріятель! (при этомъ онъ оборотился къ писарю) сдѣлайте сей же часъ перекличку и запишите всѣхъ, которые на лицо. Да смотрите оба, что[бы] все было какъ слѣдуетъ; а то я вамъ скажу, вчера я видѣлъ, какъ козакъ кланялся что-[то] слишкомъ часто [на] кояѣ. Я хотѣлъ было его, да жаль было заряда. у меня пистолеть былъ заряденъ хорошимъ порохомъ»...

V.

Я знаю одного чрезвычайно замѣчательнаго человѣка. Фамилія его была Рудокоповъ и дѣйствительно отвѣчала его занятіямъ, потому что казалось — къ чему ни притрогивался онъ, все то обращалось въ деньги. Я его еще помню, когда онъ имѣлъ только 20 душъ крестьянъ да сотню десятинъ земли и ничего больше, когда онъ еще принадлежалъ



ОТРЫВОКЪ

И ВЪ

УТРАЧЕННОЙ ДРАМЫ.

Конецъ IV-го дѣйствія.

[Валуевъ]. А! забрало наконецъ! Какое это непостижимое явленіе! Подлецъ послѣдней степени, мошенникъ, заклеянный печатью позора, для котораго одна награда — висѣлица, — и этотъ человѣкъ, попробуй кто-нибудь коснуться его чести, назвать его подлецомъ: — «Какъ вы смѣете, милостивый государь, поносить честь мою? Я требую удовлетворенія за вашу обиду. Вы нанесли мнѣ такую обиду, которую... омыть кровью». Бездѣльникъ! И онъ стоитъ за честь свою, за честь, которая составлена изъ безчестія.

Баснаковъ. Я не въ силахъ болѣе перенести этого! На этомъ мѣстѣ, здѣсь же, мы деремся.

[Валуевъ]. Что? А, (*становится спиною къ дверямъ*) дуэль! Поединокъ! Неправда! Нѣтъ, братецъ! Этакихъ подлцовъ не вызываю на поединокъ. Для тебя нѣтъ этого удовлетворенія. Этого для моей чести уже было бы слишкомъ, чтобы я дрался съ каторжникомъ, котораго ведутъ въ Сибирь. Дуэль? Нѣтъ, тебя просто убить, какъ собаку. Бѣдное животное, благородное животное! прости, что я унижилъ, сравнивши съ этимъ гнуснымъ твореніемъ.

Валуевъ (*въ бѣшенствѣ подбѣгаетъ къ окну*). Эй Никаморъ! подай пистолетъ мнѣ.

Баснаковъ. Что, тебѣ хочется пистолета? вотъ онъ. Я бы тебя могъ сію минуту убить; но дивись моему великодушію: двѣ минуты я даю тебѣ еще приготовиться. Въ это время ты можешь еще произнести къ Богу одно такое слово, за которое, можетъ быть, уменьшатся твои муки, когда унесетъ твою душу ея владѣлецъ — дьяволь.

(Валуевъ бросается на него, желая вырвать пистолетъ. Нѣсколько минутъ они борются.)

Валуевъ. Я вырву таки у тебя его.

[Баснаковъ]. Нѣтъ, не вырвешь: у честнаго человѣка крѣпче рука, нежели у подлеца.

(Борются еще нѣсколько секундъ; наконецъ Баснакову удается навести пистолетъ противъ груди. Раздается выстрѣлъ. Валуевъ падаетъ. Подымается со всѣхъ сторонъ лай собакъ. Стучатъ въ двери.) Голосъ въ замочную скважину: Баринъ, отворите-съ.

[Баснаковъ]. Зачѣмъ?

[Голосъ]. Кто изъ васъ выстрѣлилъ изъ ружья?

[Баснаковъ]. Лжешь! здѣсь никто не стрѣлялъ. Лежитъ, протянуся; даже не вздохнулъ, не помолился, ни послѣдней не молвилъ на смертномъ одрѣ своемъ—смерть, отвѣчающая его жизни. Однакожь онъ жилъ; онъ имѣлъ такія же права жить, какъ и я, какъ и всякій другой. Онъ былъ гнусень, но былъ человѣкъ. А человѣкъ развѣ имѣетъ право судить человѣка? Развѣ кромѣ меня нѣтъ Высшаго Суда? Развѣ я былъ назначенъ его палачемъ? Убийство! Честный ли человѣкъ онъ былъ, подлець ли, но я все-таки убійца. Убійца не имѣетъ права жить на свѣтѣ. *(Застрѣливается.)*

(Слышенъ собачій лай. Выламываютъ двери. Входитъ станціонный смотритель и ямщики.)

Станціонный смотритель. Вишь, дуэль была.

Ямщикъ *(разсматриваетъ тѣла)*. Еще этотъ хрипѣтъ, а тотъ уже давно душу выпустилъ.

Станціонный смотритель. Что-жь тутъ долго.....? Возмика, Гришка, гнѣдого коня да ступай верхомъ за капитаномъ-исправникомъ.

(Занавѣсъ опускается.)

ДѢЙСТВІЕ V.

Комната 1-го дѣйствія.

Ольгинъ (*входя*). Боже, какъ у меня сердце бьется! Я ее опять увижу! (буду говорить съ ней!) (*Входитъ Петръ*). А, здравствуй, старикъ! Что, я могу видѣть барыню?

[Петръ]. Какъ объ васъ прикажете доложить?

[Ольгинъ]. Скажи, что управитель — тотъ самый, что ей рекомендованъ. (*Петръ уходитъ*.) Какъ все уединенно! Я едва могу узнать прежнюю комнату. Вѣрно, у ней не принимаютъ никого: даже ворота заперты.

[Петръ]. Барыня просила ее немножко подождать; она скоро выйдетъ къ вамъ.

[Ольгинъ]. Послушай, старикъ: что, вы всегда живете такъ, какъ теперь? Отчего у васъ заперты ворота? Развѣ никто не заѣзжаетъ къ вамъ?

[Петръ]. Вотъ то-то и есть, сударь, что мы живемъ, Богъ знаетъ какъ. Ужъ по-моему иди въ монастырь, коли хочешь такъ жить. Гостей, объявить вамъ вотъ по чистосердечной совѣсти, никого! Какъ добрый нашъ... жилъ съ нами, не такъ было! Что за рѣдкостные люди были, если бы вы знали! Ну, что-жъ будешь дѣлать! Не захотѣли жить вмѣстѣ да полно. А отчего? За дрянъ, за пустякъ, чего-то разсердилнсь одинъ на другого. Барыня какъ-то нагрубила барину; ну, не вытерпѣлъ — человекъ молодой — и уѣхалъ. А по мнѣ, право, изъ пустяковъ. Вѣдь ужъ извѣстное дѣло — бабы, ну, такъ чего же тутъ? Вотъ, конечно, вамъ лучше примѣрно сказать, моя старуха. Былъ я три года въ отлучкѣ. Приѣзжаю — навстрѣчу идетъ она, съ радости не знаетъ, что дѣлать, и ребенка ведетъ за руку. «Здравствуй!» — «Здравствуй!» — «А откуда, жена, ребенка взяла?» — «Богъ далъ», говоритъ. «Ахъ ты рожал! — Богъ далъ! Я тебѣ дамъ!» Ну, отломаль-таки сильно бока. Что-жъ? Послѣ простилъ все, сталъ попрежнему жить. Что-жъ, вѣдь послѣ оказалось, что я самъ-то вѣдь былъ причиною рожденія ребенка: похожъ на меня, какъ двѣ капли воды; такой же совсѣмъ, какъ я, голубчикъ ты мой! (*Плачетъ*).

Вотъ ужъ два года тебя не знаю, и вѣсти нѣтъ. Что-то ты, мой сердечной? живъ ли ты?

[Ольгинъ]. Чѣмъ, однакоже, занимается барыня?

[Петръ]. Какъ, чѣмъ занимается? Извѣстно, дѣло женское. Я вамъ скажу, сударь, что дѣла хозяйственныя идутъ у насъ, Богъ знаетъ какъ. Вотъ вы сами увидите. Вы спросите, отчего; а Богъ знаетъ, отчего? (Это дѣло совсѣмъ не женское). Если бы вы увидѣли, какъ она изволилъ управлять, такъ это курамъ смѣшно. Вообразите, что сама переходитъ по всѣмъ избамъ, и чуть только гдѣ нашла больного, и пошла потѣха: сама (то-есть, я вамъ скажу) натащить мазей, тряпокъ, начнетъ перевязывать. Ну, скажите, пожалуйста: боярское ли это дѣло? Какое же послѣ этого будетъ къ ней уваженіе мужиковъ? Нѣтъ, ужъ коли хочешь управлять, то ты сама ужъ сиди на одномъ мѣстѣ; а если что — пошли приказчика: ужъ это его дѣло; онъ уже обдѣлаетъ, какъ ему слѣдуетъ. Мужика не балуй! Мужика въ ухо! народъ простой, вынесетъ. А этимъ-то и держится порядокъ. При баринѣ не такъ было. Ахъ, если бы вы знали, сударь, что это былъ за рѣдкостный человѣкъ! Ну, да и она рѣдкостная барыня. Если хотите, я вамъ покажу комнату барина, хотя барыня никого туда не впускаетъ и запирается сама по нѣсколькимъ часамъ; и что она тамъ...

1834.

Великая, торжественная минута. Боже, какъ слились и столпились около ней волны различныхъ чувствъ! Нѣтъ, это не мечта. Это та роковая, неотразимая грань между воспоминаніемъ и надеждой... Уже нѣтъ воспоминанія, уже оно несется, уже пересиливаетъ его надежда. У ногъ моихъ шумитъ мое прошлое; надо мною сквозь туманъ свѣтлѣетъ неразгаданное будущее. Молю тебя, жизнь души моей (хранитель, ангель), мой гений! О, не скрывайся отъ меня! Пободруствуй надо мною въ эту минуту и не отходи отъ меня весь этотъ, такъ заманчиво наступающій для меня,

годъ. Какое же будешь ты, мое будущее? Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими для меня подвигами, или... О, будь блистательно! будь дѣятельно, все предано труду и спокойствію! Что же ты такъ таинственно стоишь предо мною, 1834-й [годъ]? Будь и ты моимъ ангеломъ. Если лѣнь и безчувственность хотя на время осмѣлятся коснуться меня—о, разбуди меня тогда! не дай имъ овладѣть мною! Пусть твои многоговорящія цифры, какъ неумолкающіе часы, какъ совѣсть, стоятъ передо мною: чтобы каждая цифра твоя громче набата разила слухъ мой! чтобы она, какъ гальванической пруть, производила судорожное потрясеніе во всемъ моемъ составѣ!

Таинственный, неизъяснимый 1834! Гдѣ означу я тебя великими трудами? Среди ли этой кучи набросанныхъ одинъ на другой домовъ, гремящихъ улицъ, кипящей меркантильности,—этой безобразной кучи модъ, парадовъ, чиновниковъ, дикихъ сѣверныхъ ночей, блеску и низкой бездѣятности? Въ моемъ ли прекрасномъ, древнемъ, обѣтованномъ Кіевѣ, увѣчанномъ многоплодными садами, опоясанномъ моимъ южнымъ прекраснымъ, чуднымъ небомъ, упоительными ночами, гдѣ гора обсыпана кустарниками, съ своими какъ [бы] гармоническими обрывами, и подмывающій ее мой чистый и быстрый, мой Днѣпръ.—Тамъ ли?—О!.. Я не знаю, какъ назвать тебя, мой геній! Ты, отъ колыбели еще пролетавшій съ своими гармоническими пѣснями мимо моихъ ушей, такіа чудныя, необъяснимыя донинѣ зарождавшій во мнѣ думы, такіа необъятныя и упоительныя лелѣвшій во мнѣ мечты! О, взгляни! Прекрасный, низведи на меня свои небесныя очи. Я на колѣняхъ. Я у ногъ твоихъ! О, не разлучайся со мною! Живи на землѣ со мною хоть два часа каждый день, какъ прекрасный братъ мой! Я совершу... Я совершу. Жизнь кипитъ во мнѣ. Труды мои будутъ вдохновенны. Надъ ними будетъ вѣять недоступное землѣ Божество! Я совершу... О, подѣлуй и благослови меня!



Объ издаміи исторіи малороссійскихъ нозановъ.

До сихъ поръ еще нѣтъ у насъ полной, удовлетворительной исторіи Малороссіи и народа. Я не называю исторіями многихъ компиляцій (впрочемъ, полезныхъ, какъ матеріалы), составленныхъ изъ разныхъ лѣтописей, безъ строгаго критическаго взгляда, безъ общаго плана и цѣли, бѣдшею частію неполныхъ и не указавшихъ доннынѣ этому народу мѣста въ исторіи міра. Я рѣшился принять на себя этотъ трудъ и представить, сколько можно обстоятельнѣе: какимъ образомъ отдѣлилась эта часть Россіи; какое получила она политическое устройство, находясь подъ чуждымъ владѣніемъ; какъ образовался въ ней воинственный народъ, означенный совершенною оригинальностью характера и подвиговъ; какимъ образомъ онъ три вѣка съ оружіемъ въ рукахъ добывалъ права свои и упорно отстоялъ свою религію; какъ, наконецъ, навсегда присоединился къ Россіи; какъ исчезало воинственное бытіе его и превращалось въ земледѣльческое; какъ мало-по-малу вся страна получила новыя, взамѣнъ прежнихъ, права и, наконецъ, совершенно слилась въ одно съ Россією. Около пяти лѣтъ собиралъ я съ большимъ стараніемъ матеріалы, относящіяся къ исторіи этого края. Половина моей исторіи уже почти готова, но я медлю выдавать въ свѣтъ первые томы, подозрѣвая существованіе многихъ источниковъ, можетъ-быть, мнѣ неизвѣстныхъ, которые, безъ сомнѣнія, хранятся гдѣ-нибудь въ частныхъ рукахъ. И потому, обращаясь ко всѣмъ, усерднѣе прошу (и нельзя, чтобы просвѣщенные соотечественники отказали въ моей просьбѣ) имѣющихъ какіе бы то ни было матеріалы, лѣтописи, записки, пѣсни, повѣсти бандуристовъ, дѣловыя бумаги (особенно относящіяся до первобытной Малороссіи), прислать мнѣ ихъ, если нельзя въ оригиналахъ, то, по крайней мѣрѣ, въ копіяхъ.



II.
АРАБЕСКИ.



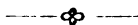
РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Собрание это составляют піесы, писанныя мною въ разныя времена, въ разныя эпохи моей жизни. Я не писалъ ихъ по заказу. Онѣ высказывались отъ души, и предметомъ избиралъ я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, безъ сомнѣнія, найдутъ много молодого. Признаюсь, нѣкоторыхъ піесъ я бы, можетъ быть, не допустилъ вовсе въ это собраніе, если бы издавалъ его годомъ прежде, когда я былъ болѣе строгъ къ своимъ старымъ трудамъ. Но, вмѣсто того, чтобы строго судить свое *прошедшее*, гораздо лучше быть неумолимымъ къ своимъ занятіямъ *настоящимъ*. Истреблять прежде написанное нами, кажется, такъ же несправедливо, какъ позабывать минувшіе дни своей юности. Притомъ, если сочиненіе заключаетъ въ себѣ двѣ, три еще несказанныя истины, то уже авторъ не въ правѣ скрывать его отъ читателя, и за двѣ, три вѣрныя мысли можно простить несовершенство цѣлаго.

Я долженъ сказать о самомъ изданіи: когда я прочиталъ отпечатанные листы, меня самого испугали во многихъ мѣстахъ неисправности въ слогѣ, излишности и пропуски, происшедшіе отъ моей неосмотрительности. Но недосугъ и обстоятельства, иногда не очень пріятныя, не позволяли мнѣ пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и потому смѣю надѣяться, что читатели великодушно извинятъ меня.



СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ и МУЗЫКА.

Благодарность Зиждигелю мнрїадѣ за благость и состраданіе къ людямъ! Три чудныя сестры посланы имъ украсить и усладить мнръ: безъ нихъ онъ бы былъ пустыня и безъ пѣнїа катился бы по своему пути. Дружнѣ, союзнѣ сдвинемъ наши желанїа и—первый кубокъ за здравіе скульптуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посѣтила землю. Она—мгновенное явленіе. Она—оставшїйся слѣдъ того народа, который весь заключился въ ней, со всѣмъ своимъ духомъ и жизнїю; она—ясный призракъ того свѣтлаго греческаго мнра, который ушелъ отъ насъ въ глубокое удаленіе вѣковъ, скрылся уже туманомъ и до котораго достигаетъ одна только мысль поэта. Мнръ, увитый виноградными гроздіями и масличными лозамн, гармоническимъ вымысломъ и роскошнымъ язычествомъ; мнръ, несущїйся въ стройной пляскѣ, при звукѣ тимпановъ, въ порывѣ вакхическиххъ движенїй, гдѣ чувство красоты проникло всюду: въ хижину бѣдняка, подъ вѣтви платана, подъ мраморъ колоннъ, на площадь, кипящую живымъ, своенравнымъ народомъ, въ рельефъ, украшающїй чашу пиршества, изображающїй всю вьющуюся вереницу граціозной мнѳологїи, гдѣ изъ пѣны волнъ стыдливо выходитъ богиня красоты, тритоны несутся, ударяя въ ладони, Посейдонъ выходитъ изъ глубины своей прекрасной стихїи—серебряный и бѣлый; мнръ, гдѣ вся религїя заключилась въ красотѣ, въ красотѣ человѣческой, въ богоподобной красотѣ женщины,—этотъ мнръ весь остался въ ней, въ этой нѣжной скульптурѣ; ничто кромѣ ея не могло такъ живо выразить его свѣтлое существованіе. Бѣлая, млечная, дышащая въ прозрачномъ мраморѣ красотой, нѣгой и сладострастіемъ, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человѣка. Въ какомъ бы ни было пылу страсти, въ какомъ бы ни

было сильномъ порывѣ, но всегда въ ней человѣкъ является прекраснымъ, гордымъ и невольно остановитъ атлетическимъ, свободнымъ своимъ положеніемъ. Все въ ней слилось въ красоту и чувственность: съ ея страдающими группами не сливаешь страдающій вопль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самымъ ихъ страданіемъ,—такъ чувство красоты пластической, спокойной пересиливаетъ въ ней стремленіе духа! Она никогда не выражала долгаго глубокаго чувства, она создавала только быстрыя движенія: свирѣпый гнѣвъ, мгновенный вопль страданія, ужасъ, испугъ при внезапности, слезы, гордость и презрѣніе и, наконецъ, красоту, погруженную саму въ себя. Она обращаетъ всѣ чувства зрителя въ одно наслажденіе, въ наслажденіе спокойное, ведущее за собою нѣгу и самодовольство языческаго міра. Въ ней нѣтъ тѣхъ тайныхъ, безпредѣльныхъ чувствъ, которыя влекутъ за собою безконечныя мечтанія. Въ ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясеній и переворотовъ жизни. Она прекрасна, мгновенна, какъ красавица, глянувшая въ зеркало, усмѣхнувшаяся, видя свое изображеніе, и уже бѣгущая, влача съ торжествомъ за собою толпу гордыхъ юношей. Она очаровательна, какъ жизнь, какъ міръ, какъ чувственная красота, которой она служитъ алтаремъ. Она родилась вмѣстѣ съ языческимъ, ясно образовавшимся міромъ, выразила его — и умерла вмѣстѣ съ нимъ. Напрасно хотѣли изобразить ея высокія явленія христіанства: она такъ же отдѣлялась отъ него, какъ самая языческая вѣра. Никогда возвышенныя, стремительныя мысли не могли улечься на ея мраморной сладострастной наружности. Онѣ поглощались въ ней чувственностью.

Не таковы двѣ сестры ея, живопись и музыка, которыхъ христіанство воздвигнуло изъ ничтожества и превратило въ исполинское. Его порывомъ онѣ развились и исторгнулись изъ границъ чувственнаго міра. Мнѣ жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но... свѣтлѣ сіяй, покаль мой, въ моей смиренной кельѣ, и да здравствуетъ живопись! Возвышенная, прекрасная, какъ осень въ богатомъ своемъ

убранствѣ, мелькающая сквозь переплетъ окна, увитаго виноградомъ, смиренная и обширная, какъ вселенная, яркая музыка очей—ты прекрасна! Никогда скульптура не смѣла выразить твоихъ небесныхъ откровеній. Никогда не были разлиты по ней тѣ тонкія, тѣ таинственно-земныя черты, вглядываясь въ которыя, слышишь, какъ наполняетъ душу небо, и чувствуешь невыразимое. Вотъ мелькаютъ, какъ въ облачномъ туманѣ, длинныя галлерей, гдѣ изъ старинныхъ позолоченныхъ рамъ выказываешь ты себя живую и темную отъ неумолимаго времени, и передъ тобою стоить, сложивши накрестъ руки, безмолвный зритель; и уже нѣтъ въ его лицѣ наслажденія, — взоръ его дышитъ наслажденіемъ не здѣшнимъ. Ты не была выраженіемъ жизни какой-нибудь націи, — нѣтъ, ты была выше: ты была выраженіемъ всего того, что имѣетъ таинственно-высокій міръ христіанскій. Взгляните на нее, задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою голову: какъ вдохновененъ и долготъ ясный взоръ ея! Она не схватываетъ одного только быстрого мгновенія, какое выражаетъ мраморъ; она длить это мгновеніе, она продолжаетъ жизнь за границы чувственнаго, она похищаетъ явленія изъ другого, безграничнаго міра, для названія которыхъ нѣтъ словъ. Все неопредѣленное, что не въ силахъ выразить мраморъ, разсѣкаемый могучимъ молотомъ скульптора, опредѣляется вдохновенною ея кистью. Она также выражаетъ страсти, понятныя всякому, но чувственность уже не такъ властвуетъ въ нихъ: духовное гевольно проникаетъ все. Страданіе выражается живѣе и вызываетъ состраданіе, и вся она требуетъ сочувствія, а не наслажденія. Она беретъ уже не одного чело-вѣка, ея границы шире: она заключаетъ въ себѣ весь міръ; всѣ прекрасныя явленія, окружающія чело-вѣка, въ ея власти; вся тайная гармонія и связь чело-вѣка съ природою— въ ней одной. Она соединяетъ чувственное съ духовнымъ.

Но сильнѣе шипи, третій покалъ мой! Ярче сверкай и брызгай по золотымъ краямъ его звонкая пѣна,—ты сверкаешь въ честь музыки. Она восторженнѣе, она стремитель-

тѣе обѣихъ сестеръ своихъ. Она вся—порывъ; она вдругъ, ва однимъ разомъ, отрываетъ челоуѣка отъ земли его, оглушаетъ его громомъ могучихъ звуковъ и разомъ погружаетъ его въ свой мѣръ. Она властительно ударяетъ, какъ по клавишамъ, по его нервамъ, по всему его существованію и обращаетъ его въ одинъ трепетъ. Онъ уже не наслаждается, онъ не сострадаетъ,—онъ самъ превращается въ страданіе; душа его не созерцаетъ непостижимаго явленія, но сама живетъ, живетъ своею жизнію, живетъ порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная, она проникла весь мѣръ, разлилась и дышитъ въ тысячѣ разныхъ образовъ. Она томительна и мятежна, но могущественнѣй и восторженнѣй подѣ безконечными, темными сводами катедрала, гдѣ тысячи поверженныхъ на колѣни модельщиковъ стремятъ она въ одно согласное движеніе, облагаетъ до глубины сердечныя ихъ помышленія, кружить и несетъ съ ними горѣ, оставляя послѣ себя долгое безмолвіе и долго исчезающій звукъ, трепещущій въ углубленіи острокопечной башни.

Какъ сравнить васъ между собою, три прекрасныя царицы мѣра? Чувственная, плѣнительная скульптура внушаетъ наслажденіе, живопись—тихій восторгъ и мечтаніе, музыка—страсть и смятеніе души. Разсматривая мраморное произведеніе скульптуры, духъ невольно погружается въ упоеніе; разсматривая произведеніе живописи, онъ превращается въ созерцаніе; слыша музыку—въ болѣзненный вопль, какъ бы душою овладѣло только одно желаніе вырваться изъ тѣла. Она—наша! она—принадлежность новаго мѣра! Она осталась намъ, когда оставили насъ и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы такъ порывовъ, воздвигающихъ духъ, какъ въ нынѣшнее время, когда наступаетъ на насъ и давитъ вся дробь прихотей и наслажденій, надъ выдумками которыхъ ломаетъ голову нашъ XIX вѣкъ. Все составляетъ заговоръ противъ насъ; вся эта соблазнительная цѣль утонченныхъ изобрѣтеній роскоши сильнѣе и сильнѣе порывается заглушить и усы-

пить наши чувства. Мы жаждемъ снасти нашу бѣдную душу, убѣжать отъ этихъ страшныхъ обольстителей и — бросились въ музыку. О, будь же нашимъ хранителемъ, спасителемъ, музыка! Не оставляй насъ! буди чаще наши меркантильныя души! ударяй рѣзче своими звуками по дремлющимъ нашимъ чувствамъ! Волнуй, разрывавай ихъ и гони, хотя на мгновеніе, этотъ холодно-ужасный эгоизмъ, слиящійся овладѣть нашимъ міромъ! Пусть, при могущественномъ ударѣ смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствуетъ, хотя на мигъ, угрызеніе совѣсти, спекуляторъ растеряетъ свои расчеты, безстыдство и наглость невольно выронитъ слезу предъ созданіемъ таланта. О, не оставляй насъ, божество наше! Великій Зикдитель міра повергъ насъ въ нѣмбующее безмолвіе своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человѣку, Онъ уже вдвинулъ мысль о зодчествѣ. Простыми, безъ помощи механизма, силами, онъ ворочаетъ гранитную гору, высокимъ обрывомъ громоздитъ ее къ небу и повергается ницъ передъ безобразнымъ ея величіемъ. Древнему, ясному, чувственному міру послалъ Онъ прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту — и весь древній міръ обратился въ ошіамъ красотѣ. Эстетическое чувство красоты слило его въ одну гармонию и удержало отъ грубыхъ наслажденій. Вѣкамъ беспокойнымъ и темнымъ, гдѣ часто сила и неправда торжествовали, гдѣ демонъ суевѣрія и нетерпимости изгонялъ все радужное въ жизни, даль Онъ вдохновенную живопись, показавшую міру неземныя явленія, небесныя наслажденія угодниковъ. Но въ нашъ юный и дряхлый вѣкъ ниспослалъ Онъ могущественную музыку — стремительно обращать насъ къ Нему. Но если и музыка насъ оставитъ, что будетъ тогда съ нашимъ міромъ?

1831.



О СРЕДНИХЪ ВѢКАХЪ.

Никогда исторія міра не принимаетъ такой важности и значительности, никогда не показываетъ она такого множества индивидуальныхъ явленій, какъ въ средніе вѣки. Всѣ событія міра, приближаясь къ этимъ вѣкамъ, послѣ долгой неподвижности, текутъ съ усиленною быстротою, какъ въ пучину, какъ въ мятежный водоворотъ, и, закружившись въ немъ, перемѣшавшись, переродившись, выходятъ свѣжими волнами. Въ нихъ совершилось великое преобразование всего міра; они составляютъ узелъ, связывающій міръ древній съ новымъ; имъ можно назначить то же самое мѣсто въ исторіи человѣчества, какое занимаетъ въ устройствѣ человеческого тѣла сердце, къ которому текутъ и отъ котораго исходятъ всѣ жилы. Какъ совершилось это всемірное преобразование? какія удержались въ немъ старыя стихіи? что прибавлено новаго? какимъ образомъ онѣ смѣшались? что произошло отъ этого смѣшенія? какъ образовалось величественное, стройное зданіе вѣковъ новыхъ? — это такіе вопросы, которымъ равные по важности едва ли найдутся во всей исторіи. Все, что мы имѣемъ, чѣмъ пользуемся, чѣмъ можемъ похвалиться передъ другими вѣками, все устройство и искусное сложеніе нашихъ административныхъ частей, всѣ отношенія разныхъ сословій между собою, самыя даже сословія, наша религія, наши права и привилегіи, нравы, обычаи, самыя знанія, совершившія такой быстрый прогрессивный ходъ, — все это или получило начало и зародышъ, или даже развилось и образовалось въ темные,

закрытыя для насъ средніе вѣка. Въ нихъ первоначальныя стихіи и фундаментъ всего новаго; безъ глубокаго и внимательнаго изслѣдованія ихъ не ясна, не удовлетворительна, не полна новая исторія, и слушатели ея похожи на постьтителей фабрики, которые удивляются быстрой отдѣлкѣ издѣлій, совершающейся почти передъ глазами ихъ, но позабываютъ заглянуть въ темное подземелье, гдѣ скрыты первыя всемогущія колеса, дающія толчокъ всему: такая исторія похожа на статую художника, не изучившаго анатоміи человѣка.

Отчего же, несмотря на всю важность этихъ необыкновенныхъ вѣковъ, всегда какъ-то неохотно ими занимались? Отчего, приближаясь къ нимъ, всегда стѣснили скорѣе пройти ихъ и отдѣлаться отъ нихъ, и рѣдкіе, очень рѣдкіе, пораженные величьемъ предмета, возлагали на себя трудъ разрѣшить нѣкоторые изъ приведенныхъ вопросовъ? Мнѣ кажется, это происходило отъ того, что средней исторіи назначали самое низшее мѣсто. Время ея дѣйствія считали слишкомъ варварскимъ, слишкомъ невѣжественнымъ, и оттого-то оно и въ самомъ дѣлѣ сдѣлалось для насъ темнымъ, раскрытое не вполне, оцѣненное не по справедливости, представленное не въ геніальномъ величій. Невѣжественнымъ можно назвать развѣ только одно начало, но это невѣжественное время уже имѣетъ въ себѣ то, что должно родить въ насъ величайшее любопытство. Самый процессъ сліянія двухъ жизней, древняго міра и новаго, это рѣзкое противорѣчіе ихъ образовъ и свойствъ, эти дряхлыя, умирающія стихіи стараго міра, которыя тянутся по новому пространству, какъ рѣки, впавшія въ море, но долго еще не сливающія своихъ прѣсныхъ водъ съ солеными волнами; эти дикія, мощныя стихіи новаго, упорно не допускающія къ себѣ чуждаго вліянія, но, наконецъ, невольно принимающія его; это стараніе, съ какимъ европейскіе дикари кроютъ по своему римское просвѣщеніе; эти отрывки плч, лучше сказать, клочки римскихъ формъ, законовъ, среди новыхъ, еще неопредѣленныхъ, не получившихъ ни образа, ни границъ,

ни порядка; самый этот хаосъ, въ которомъ бродятъ разложенныя начала страшнаго величія нынѣшней Европы и тысячетѣтной силы ея, — они всѣ для насъ занимательнѣе и болѣе возбуждаютъ любопытства, нежели неподвижное время всесвѣтной римской имперіи подъ правленіемъ ея безсильныхъ императоровъ.

Другая причина, почему неохотно занимались исторією среднихъ вѣковъ, это — мнимая сухость, которую привыкли сливать съ понятіемъ о ней. На нее глядѣли, какъ на кучу происшествій нестройныхъ, разнородныхъ, какъ на толпу раздробленныхъ и бессмысленныхъ движеній, не имѣющихъ главной нити, которая бы совокупляла ихъ въ одно цѣлое. Въ самомъ дѣлѣ, ея страшная, необыкновенная сложность съ перваго раза не можетъ не показаться чѣмъ-то хаоснымъ; но разсматривайте внимательнѣе и глубже, и вы найдете и связь, и цѣль, и направленіе. Я, однакоже, не отрицаю, что, для самаго умѣнья найти все это, нужно быть одарену тѣмъ чутьемъ, которымъ обладаютъ немногіе историки. Этимъ немногимъ предоставленъ завидный даръ увидѣть и представить все въ изумительной ясности и стройности. Послѣ ихъ волшебнаго прикосновенія, происшествіе оживляется и пріобрѣтаетъ свою собственность, свою занимательность; безъ нихъ оно долго представляется для всякаго сухимъ и бессмысленнымъ. Все, что было и происходило, все занимательно, если только о немъ сохранились вѣрные лѣтописи, выключая развѣ совершенное безстрастіе народовъ; вездѣ есть нить, какъ во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бываетъ заткана уткомъ; какъ въ лучпстомъ камнѣ есть невидимый свѣтъ, который онъ отливаетъ, будучи обращенъ къ солнцу — она исчезаетъ только съ утратою извѣстій. Такъ и въ первоначальныхъ вѣкахъ средней исторіи, сквозь всю кучу происшествій, невидимо нитью тянется постепенное возрастаніе папской власти и развивается феодализмъ. Казалось, событія происходили совершенно отдѣльно и блескомъ своимъ затемняли уединеннаго, еще скромнаго римскаго первосвященника; дѣйство-

валъ сильный государь или его вассаль, и дѣйствовали лично для себя, а между тѣмъ существенныя выгоды незамѣтно текли въ Римъ. И все, что ни происходило, казалось, нарочно происходило для папы. Гильдебрандтъ только отдернулъ занавѣсъ и показалъ власть, уже давно приобретенную папами.

Исторія среднихъ вѣковъ менѣе всего можетъ назваться скучною. Нигдѣ нѣтъ такой пестроты, такого живого дѣйствія, такихъ рѣзкихъ противоположностей, такой странной яркости, какъ въ ней: ее можно сравнить съ огромнымъ строеніемъ, въ фундаментѣ котораго улегся свѣжій, крѣпкій, какъ вѣчность, гранитъ, а толстыя стѣны выведены изъ различнаго, стараго и новаго, матеріала, такъ что на одномъ кирпичѣ видны готскія руны, на другомъ блеститъ римская позолота; арабская рѣзба, греческій карнизъ, готическое окно—все слѣпилось въ немъ и составило самую пеструю баню. Но яркость, можно сказать, только вѣншній признакъ событій среднихъ вѣковъ; внутреннее же ихъ достоинство есть колоссальность испанская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, дѣлающая ихъ единственными, не встрѣчающими себѣ подобія и повторенія ни въ древнія, ни въ новыя времена.

Бросимъ взглядъ на тѣ изъ событій, которыя произвели сильное вліяніе. Главный сюжетъ средней исторіи есть папа. Онъ—могущественный обладатель этихъ молодыхъ вѣковъ, онъ движетъ всѣми силами ихъ и, какъ громовержецъ, однимъ мановеніемъ своимъ править ихъ судьбою. Словомъ, вся средняя исторія есть исторія папы.—Его непреодолимое желаніе властвовать, его постоянныя средства, исполненныя проникаемости и мудрости,—стѣдствія старческаго возраста,—его деспотизмъ и деспотизмъ безчисленныхъ легионовъ его могущественнаго духовенства—ревностныхъ поданныхъ духовнаго монарха, наложившихъ свои желѣзныя оковы на всѣ углы міра, куда ни проникло знаменіе креста—представляютъ явленіе единственное, колоссальное и не

повторявшееся никогда.— Не стану говорить о злоупотребленіи и о тяжести оковъ духовнаго деспота. Проникнувъ болѣе въ это великое событіе, увидимъ изумительную мудрость Провидѣнія: не схвати эта всемогущая власть всего въ свои руки, не двигай и не устремляй по своему желанію народы— и Европа рассыпалась бы, связи бы не было; нѣкоторыя государства поднялись бы, можетъ-быть, вдругъ и вдругъ бы развратились; другія сохранили бы дикость свою на гибель сосѣдамъ; образованіе и духъ народный разлились бы неровно: въ одномъ уголку выказывалось бы образованіе, въ другомъ бы чернѣлъ мракъ варварства; Европа бы не устоялась, не сохранила того равновѣсія, которое такъ удивительно ее содержитъ; она бы долѣе была въ хаосѣ, она бы не слилась, желѣзною силою энтузіазма, въ одну стѣгу, устранившую своею крѣпостью восточныхъ завоевателей, и, можетъ-быть, безъ этого великаго явленія, Европа уступила бы ихъ напору, и магометанская луна горделиво вознеслась бы надъ нею, вмѣсто креста.— Невольно преклонись колѣна, слѣдя чудные пути Провидѣнія: власть папамъ какъ будто нарочно дана была для того, чтобы въ продолженіе этого времени юныя государства окрѣпли и возмужали; чтобы они повиновались прежде, нежели достигнутъ возраста повелѣвать другими; чтобы сообщить имъ энергію, безъ которой жизнь народовъ безцвѣтна и безсильна. И какъ только народы достигли состоянія управлять собою, власть папы, какъ исполнившая уже свое предназначеніе, какъ болѣе уже ненужная, вдругъ поколебалась и стала разрушаться, несмотря на всѣ сильныя мѣры, на все желаніе удержать гибнущія силы свои. Власть ихъ въ этомъ отношеніи была то же, что подмостки и лѣсъ для постройки зданія: вначалѣ они выше и кажутся значительнѣе самого строенія; но какъ только строеніе достигло настоящей высоты, они, какъ ненужные, принимаются прочь.

Съ мыслию о среднихъ вѣкахъ невольно сливается мысль о крестовыхъ походахъ—необыкновенномъ событіи, которое

стоитъ, какъ исполнѣтъ, въ срединѣ другихъ, тоже чудесныхъ и необыкновенныхъ. Гдѣ, въ какое время было когда-нибудь равное ему своею оригинальностью и величїемъ? Это не какая-нибудь война за похищенную жену, не порожденіе ненависти двухъ непримиримыхъ націй, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями за корону или за клочокъ земли, даже не война за свободу и народную независимость. Нѣтъ! ни одна изъ страстей, ни одно собственное желаніе, ни одна личная выгода не входятъ сюда: всѣ проникнуты одною мыслию—освободить гробъ Божественнаго Спасителя! Народы текутъ съ крестами со всѣхъ сторонъ Европы; короли, графы—въ простыхъ власнищахъ; монахи, препоясанные оружіемъ, становятся въ ряды воиновъ; епископы, пустынники, съ крестами въ рукахъ, приводятъ несмѣтными толпами—и всѣ текутъ освободить свою вѣру. Владычество одной мысли объемлетъ всѣ народы. Нѣтъ ли чего-то великаго въ этой мысли? И напрасно крестовые походы называются безразсуднымъ предпрїятїемъ. Не странно ли было бы, если бы отрокъ заговорилъ словами разсудительнаго мужа? Они были порожденіе тогдашняго духа и времени. Предпрїятіе это—дѣло юноши, но такого юноши, которому опредѣлено быть гениемъ. А какія безчисленныя, какія удивительныя и непредвидѣнныя слѣдствія крестовыхъ походовъ! Нужно было всю массу образовать и воспитать, дать ей увидѣть свѣтъ, который часто заслоняло отъ нея духовенство, и вся масса для этого извергается въ другую часть свѣта, гдѣ потухающее аравійское просвѣщеніе силится передать ей свой пламень, и—вся Европа вояжируетъ по Азіи. Не въ правѣ ли мы изумляться? Обыкновенно, какой-нибудь выходецъ изъ земли образованной одинъ приноситъ просвѣщеніе и первыя свѣдѣнія въ неизвѣстную страну и постепенно образуетъ дикарей; но образованіе это тянется медленно, неровно. Здѣсь же, напротивъ, народы сами, всею своею массою, приходятъ за образованїемъ и, несмотря на долгое пребываніе, не сливаются со своими учителями, ничего не перенимаютъ у

нихъ роскошнаго и развратнаго, удерживаютъ свою само-
бытность, при всемъ заимствованіи множества азіатскихъ
обыкновеній, и возвращаются въ Европу европейцами, а
не азіатцами. Я уже не говорю о тѣхъ слѣдствіяхъ, тѣхъ
перемѣнахъ въ феодальномъ правленіи, для которыхъ нужно
было временное удаленіе многихъ сильныхъ.

Но бросимъ взглядъ на другія происшествія, наполняю-
щія среднюю исторію. Они хотя, въ сравненіи съ кресто-
выми походами, могутъ похвастаться второстепенными, но тѣмъ
не менѣе всѣ исполнены чудесности, сообщающей среднимъ
вѣкамъ какой-то фантастическій свѣтъ, всѣ — порожденіе
юношества прекраснаго, исполненнаго самыхъ сильныхъ и
великихъ надеждъ, часто безразсуднаго, но плѣнительнаго
и въ самой безразсудности. Разсмотримъ ихъ по порядку
времени. Возьмемъ то блестящее время, когда появились
аравитяне — краса народовъ восточныхъ. И одному только
человѣку и созданной имъ религіи, — роскошной, какъ ночи
и вечера Востока, пламенной, какъ природа близкая къ Ин-
дійскому морю, важной и размышляющей, каковую только
могли внушить великія пустыни Азіи, — обязаны они всѣмъ
своимъ блестящимъ, радужнымъ существованіемъ! Съ не-
постижимою быстротою они, эти смуглые чалмоносцы, воз-
двигаютъ свои калифаты съ трехъ сторонъ Средиземнаго
моря. И воображеніе ихъ, умъ и всѣ способности, которыми
природа такъ чудно одарила араба, развиваются въ виду
изумленнаго Запада, стечаваясь со всею роскошью на
ихъ дворцахъ, мечетяхъ, садахъ, фонтанахъ, и такъ же
внезапно, какъ въ ихъ сказкахъ, кипящихъ изумрудами и
перлами восточной поэзіи. Вѣкъ впередъ — и уже онъ ис-
чезъ, этотъ необыкновенный народъ, такъ что въ раздумьи
спрашиваешь себя: точно ли онъ жилъ и существовалъ, или
онъ — самое прекрасное созданіе нашего воображенія?

Какъ чудесно и какой сильной исполнено противополож-
ности появленіе норманновъ — народа, котораго гнѣвный Сѣ-
веръ свирѣло выбросилъ изъ ледяныхъ нѣдръ своихъ. Горсть
людей дерзкихъ, за которыми какъ будто гонятся по пятамъ

мрачный ихъ Одинъ и снѣговья горы Скандинавіи, наводятъ паническій страхъ на обширныя государства! По Сѣверному океану плывутъ ихъ движущіяся королевства подъ начальствомъ морскихъ своихъ королей,— и все падаетъ ницъ передъ этими малолюдными пришлецами, воспитанными бурей, морями, страшною бѣдностію Скандинавіи и дикою религіею.

Колоссальныя завоеванія и распространеніе монголовъ были также дѣломъ почти сверхъестественнымъ. Необъятная внутренность Азіи, которая была скрыта отъ глазъ всѣхъ народовъ, освѣтилась вдругъ въ самомъ страшномъ величіи. Эти степи, которымъ нѣтъ конца, озера и пустыни исполинскаго размѣра, гдѣ все раздалось въ ширину и безпредѣльную равнину, гдѣ человѣкъ встрѣчается какъ будто для того, чтобы собою увеличить еще болѣе окружающее пространство; степи, шумяція хлѣбомъ, никѣмъ не сѣяннымъ и не собираемымъ, травою, почти равняющеюся ростомъ съ деревьями,— степи, гдѣ пасутся табуны и стада, которыхъ отъ вѣка никто не считалъ, и сами владѣльцы не знаютъ настоящаго количества,— эти степи увидѣли среди себя Чингисъ-Хана, давшего обѣтъ передъ толпами своихъ узкоглазыхъ, плосколицыхъ, широкоплечихъ, малорослыхъ монголовъ завоевать міръ, и—многолюдный Пекинъ горитъ цѣлый мѣсяцъ, миллионъ народа выстрѣливается монгольскими стрѣлами, государь тунгусскій гибнетъ съ сотнями тысячъ подданныхъ на замерзшемъ озерѣ, стада пригоняются къ границамъ Индіи, табуны кишатъ при Волгѣ. Словомъ, какъ будто на завоеваніяхъ ихъ отразилась колоссальность Азіи. Такого быстраго распространенія тоже не видала ни древняя, ни новая исторія.

Я уже ничего не говорю о важной торговлѣ Венеціи, этого небольшого лоскутка земли, которую всю занималъ одинъ городъ, и городъ безъ государства, выжимая золото со всего міра, и коего царственные купцы своими кораблями, горделиво обошедшими всѣ моря, и дворцами при Адриатическомъ морѣ, далеко превосходили многихъ монарховъ.

Этого явленія я не считаю единственнымъ и необыкновеннымъ. Оно повторяется въ исторіи міра часто, хотя въ другихъ формахъ и съ разными измѣненіями. Несравненно оригинальнѣе жизнь Европы во время и послѣ крестовыхъ походовъ, когда въ ней все еще темны и неопредѣленны границы государствъ; когда еще государь звучитъ однимъ именемъ своимъ, и вмѣсто того милліоны владѣльцевъ, изъ которыхъ каждый—маленькій императоръ въ своей землѣ; когда вся Европа облекается въ непрístupныя замки съ башнями и зубцами, и твердыя крѣпости усѣиваютъ ея поверхность; когда воспитанная взаимнымъ страхомъ и битвами сила рыцарей дѣлается почти львиною и заковывается съ ногъ до головы въ желѣзо, тяжести котораго еще не выносилъ человѣкъ, и грубо, независимо развивается самостоятельная гордость души. Казалось, эта дикая храбрость должна бы совершенно закалить ихъ и сдѣлать такъ же безчувственными, какъ непроницаемыя ихъ латы. Но какъ удивительно они были укрощены, и такимъ явленіемъ, которое представляетъ совершенную противоположность съ ихъ нравами! это—всеобщее безпредѣльное уваженіе къ женщинамъ. Женщина среднихъ вѣковъ является божествомъ: для ней турниры, для ней ломаются копья, ея розовая или голубая лента вьется на шлемахъ и латахъ и вливаетъ сверхъестественныя силы; для ней суровый рыцарь удерживаетъ свои страсти такъ же мощно, какъ арабскаго бѣгуна своего, налагаетъ на себя обѣты изумительныя и неподражаемыя по своей строгости къ себѣ, и все для того, чтобы быть достойнымъ повергнуться къ ногамъ своего божества. Если эта возвышенная любовь изумительна, то вліяніе ея на нравы и того болѣе. Все благородство въ характерѣ европейцевъ было ея слѣдствіемъ. А вся эта странническая жизнь, которая обратила Европу въ какую-то движущуюся столицу, доставившая тысячи опытовъ и приключеній каждому и произведшая впослѣдствіи въ европейцахъ жажду къ открытію новыхъ земель! Какъ самыя ихъ взаимныя брани и битвы, вѣчно неспокойное положеніе,

вмѣсто того, чтобы ослабить всеобщій духъ и напряженіе, какъ то обыкновенно дѣлается въ періодахъ исторіи, когда роскошь разѣдаетъ раны нравственной болѣзни народовъ и алчность выгодъ личныхъ выводитъ за собою низость, лѣсть и способность устремиться на всѣ утонченные пороки,—вмѣсто этого, они только укрѣпили и развили ихъ! Пороки народовъ образованныхъ не смѣли коснуться рыцарства Европы. Казалось, Провидѣніе бодрствовало надъ нимъ неусыпно и съ заботливостью преданнаго наставника берегло его. Едва только возникли улучшенія для жизни, которыя подносила Венеція и Ганза, и начали отдалять рыцарей отъ ихъ обѣтовъ и строгой жизни, подогрѣвать желаніе наслажденій и уменьшать энтузіазмъ религіозный,—какъ появившіяся чудныя, небывалыя никогда дотоле общества стали грозными соглядатаями, неумолною совѣстью передъ народами Европы. Никогда исторія не представляла обществъ, связанныхъ такими неразрывными узами, какъ эти духовные ордена рыцарей. Ничего для своей пользы или для своего существованія, что всегда составляло цѣль обществъ! Уничтожить все, что составляетъ желаніе человека, и жить для всего человѣчества; жить, чтобы быть грозными хранителями міра, чтобы носить въ себѣ одно—защиту вѣры Христовой; все принести ей въ жертву и отказаться отъ всего, что отзывается выгодною жизнью! Не чудесно ли это явленіе? Эта энергія и сила для него могла быть только вычерпнута изъ среднихъ вѣковъ. И какъ только ордена рыцарскіе стали уклоняться отъ своей цѣли и обращать глаза на другія, какъ только начали заражаться желаніемъ добычи и корысти, и роскошь заставляла ихъ живѣе привязываться къ собственной жизни, и они стали походить сами на тѣхъ, за которыми наложили на себя сами же смотрѣніе,—какъ возникаютъ уже страшныя тайныя суды, неумолимыя, неотразимыя, какъ высшія предопредѣленія, являющіеся уже не совѣстью передъ вѣтренымъ міромъ, но страшнымъ изображеніемъ смерти и казни. Ни сила, ни обширныя земли, ни даже самая корона не

спасаютъ и не отмѣняютъ произнесеннаго ими приговора. Незнаемые, невидимые, какъ судьба, гдѣ-нибудь въ глуши лѣсовъ, подъ сырмъ сводомъ глубокаго подземелья, они взвѣшивали и разбирали всю жизнь и дѣла того, которому, посреди необъятныхъ своихъ земель и сотни покорныхъ вассаловъ, и въ мысль не приходило, есть ли гдѣ въ мирѣ власть выше его. И если эти подземные судьи разъ приносили обвиняющее слово—все кончено. Напрасно властитель грозою могущества своего затрудняетъ къ себѣ приближеніе, напрасно его золото залѣпляетъ уста и заставляетъ всѣхъ прославлять его—неумолимый кинжалъ настагаетъ его на концѣ міра, крадется мимо пышной толпы придворныхъ и разить его изъ-за плеча друга. Не составляетъ ли это чудесности почти сказочной? Только тамъ такъ неотразимо, такъ сверхъестественно, такъ неправильно дѣйствуетъ человѣкъ, оторванный отъ общества, лишенный покровъ законной власти, не знающій, что такое слово: «невозможность».

А самый образъ занятій, царствовавшій въ срединѣ и концѣ среднихъ вѣковъ, — это всеобщее устремленіе всѣхъ къ чудесной наукѣ, это желаніе выпытать и узнать таинственную силу въ природѣ, эта алчность, съ какою всѣ ударились въ волшебство и чародѣйственныя науки, на которыхъ ясно кипитъ признакъ европейскаго любопытства, безъ котораго науки никогда бы не развились и не достигли нынѣшняго совершенства! Самая даже простодушная вѣра ихъ въ духовъ и обвиненія въ сообщеніи съ ними имѣютъ для насъ уже необыкновенную занимательность. А занятія алхиміею, считавшеюся ключомъ ко всѣмъ познаніямъ, вѣнцомъ учености среднихъ вѣковъ, въ которой заключилось дѣтское желаніе открыть совершеннѣйшій металлъ, который бы доставилъ человѣку все! Представьте себѣ какой-нибудь германскій городъ въ средніе вѣки, эти узенькія, неправильныя улицы, высокіе, пестрые готическіе домики и среди ихъ какой-нибудь ветхій, почти валящійся, считаемый необитаемымъ, по растреснувшимся стѣнамъ котораго лѣпится

мохъ и старость, окна глухо заколочены—это жилище алхимика. Ничто не говоритъ въ немъ о присутствіи живущаго, но въ глухую ночь голубоватый дымъ, вылетая изъ трубы, докладываетъ о неусыпномъ бодрствованіи старца, уже посѣдѣвшаго въ своихъ исгнѣяхъ, но все еще неразлучнаго съ надеждою,—и благочестивый ремесленникъ среднихъ вѣковъ со страхомъ бѣжитъ отъ жилища, гдѣ, по его мнѣнію, духи основали пріютъ свой, и гдѣ, вмѣсто духовъ, основало жилище неугасимое желаніе, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже отъ неудачи—первоначальная стихія всего европейскаго духа—которое напрасно преслѣдуетъ инквизиція, проникая во всѣ тайныя мышленія человѣка: оно вырывается мимо и, облеченное страхомъ, еще съ бѣльшимъ наслажденіемъ предается своимъ занятіямъ.

А самая инквизиція? Какое мрачное и ужасное явленіе! Инквизиція свирѣпая, слѣпая, владѣвшая безчисленными сводами и подземельями монастырей, не вѣрящая ничему, кромѣ своихъ ужасныхъ пытокъ, на которыхъ человѣкъ показалъ адскую изобрѣтательность; инквизиція, выпускавшая изъ-подъ монашескихъ мантий свои желѣзные когти, хватавшіе всѣхъ безъ различія, кто только ни предавался страннымъ и необыкновеннымъ занятіямъ; подтвердившая великую истину, что если можетъ физическая природа человѣка, доведенная муками, заглушить голосъ души, то въ общей массѣ всего человѣчества душа всегда торжествуетъ надъ тѣломъ.

Не единственны ли всѣ эти явленія? Не дають ли они права назвать средніе вѣка вѣками чудесными? Чудесное прорывается при каждомъ шагѣ и властвуетъ вездѣ, во все теченіе этихъ юныхъ десяти вѣковъ,—юныхъ потому, что въ нихъ дѣйствуетъ все молодое, кипящее отвагою, порывы и мечты, не думавшіе о слѣдствіяхъ, не призывавшіе на помощь холоднаго соображенія, еще не имѣвшіе прошедшаго, чтобы оглянуться. Все было въ нихъ—повзія и безответность. Вы вдругъ почувствуете переломъ, когда всту-

ните въ область исторіи новой. Переиѣна слишкомъ ощу- тительна, и состояніе души вашей будетъ похоже на волны моря, прежде воздымавшіяся неправильными, высокими бу- грами, но послѣ улегшіяся и всею своею необозримою рав- ниною мѣрно и стройно совершающія правильное теченіе. Дѣйствія человѣка въ среднихъ вѣкахъ кажутся совершенно безотчетны; самыя великія прокшества представляютъ со- вершенныя контрасты между собою и противорѣчатъ во всемъ другъ другу; но совокупленіе ихъ всѣхъ вмѣстѣ, въ цѣлое, являетъ изумительную мудрость. Если можно срав- нить жизнь одного человѣка съ жизнью цѣлаго человѣче- ства, то средніе вѣка будутъ то же, что время воспитанія человѣка въ школѣ. Дни его текутъ незамѣтно для свѣта, дѣянія его не такъ крѣпки и зрѣлы, какъ нужно для міра, объ нихъ никто не знаетъ; но за то они всѣ — слѣдствіе порыва и обнажаютъ за однимъ разомъ всѣ внутреннія дви- женія человѣка, и безъ нихъ не состоялась бы будущая его дѣятельность въ кругу общества.

Теперь разсмотрите, между какими колоссальными собы- тіями заключается время среднихъ вѣковъ! Великая импе- рія, повелѣвавшая міромъ, двѣнадцативѣковая нація, дрях- лая, истощенная, падаетъ; съ нею валится полсвѣта, съ нею валится весь древній міръ съ полуязыческимъ образомъ мыслей, безвкусными писателями, гладиаторами, статуями, тяжестью роскоші и утонченностью разврата. Это ихъ на- чало. Оканчиваются средніе вѣка тоже самымъ огромнымъ событіемъ—всеобщимъ взрывомъ, подымающимъ на воздухъ все и обращающимъ въ ничто всѣ страшныя власти, такъ деспотически ихъ обнявшія. Власть папы подрывается и падаетъ, власть невѣжества подрывается, сокровища и все- мірная торговля Венеціи подрываются, и когда всеобщій хаосъ переворота очищается и проясняется, предъ изу- мленными очами являются: монархи, держащіе мощною ру- кою свои скипетры; корабли, расширеннымъ взмахомъ не- сущіеся по волнамъ необъятнаго океана мимо Средиземнаго моря; въ рукахъ у европейцевъ, вмѣсто безсильнаго оружія,

огонь; печатные листы разлетаются по всѣмъ концамъ міра,— и все это результаты среднихъ вѣковъ. Сильный напоръ и усиленный гнетъ властей, казалось, были для того только, чтобы сильнѣе произвестъ всеобщій взрывъ. Умъ человѣка, задвинутый крѣпкою толщею, не могъ иначе прорваться, какъ собравши всѣ свои усилія, всего себя. И оттого-то, можетъ-быть, ни одинъ вѣкъ не представляетъ такихъ гигантскихъ открытій, какъ XV,—вѣкъ, которымъ такъ блистательно оканчиваются средніе вѣка, величественные, какъ колоссальный готическій храмъ, темные, мрачные, какъ его пересѣкаемые одинъ другимъ своды, пестрые, какъ разноцвѣтныя его окна и куча изуворивающихъ его украшеній, возвышенные, исполненные порывовъ, какъ его летящіе къ небу столпы и стѣны, оканчивающіяся мелькающимъ въ облакахъ шпиремъ.



ГЛАВА ИЗЪ ИСТОРИЧЕСКАГО РОМАНА *)).

Между тѣмъ посланникъ нашъ переѣхалъ границу, отдѣляющую нынѣ пирятинскій повѣтъ отъ лубенскаго. Общихъ ѣзжалыхъ дорогъ тогда не было въ Малороссіи, но почти каждому извѣстна была какая-нибудь проселочная, по мнѣнію его, самая ближайшая. Часто такая дорога, уклоняясь отъ ровной поверхности, проскальзывала въ рытвины, царапалась по косогору, вѣшалась надъ провалами, и одинъ неровный, слегка протоптанный подковою коня, слѣдъ означалъ ея уклоненія. Достаточно было только выѣхать въ дорогу, чтобы выучиться не разбирать ночлеговъ. Главное же неудобство для путешественника, не ознакомленнаго съ мѣстами, было то, что онъ долженъ былъ, на разстояніи 25 или 50 ружейныхъ выстрѣловъ, вывѣдывать и выспрашивать пути у жителей, которыхъ показанія всегда почти разногласили.

Пустивъ поводъ и наклонивъ голову, всадникъ нашъ давно уже погруженъ былъ въ раздумье, и только изрѣдка попадавшіяся кочки и пни срубленныхъ деревъ, заставляя спотыкаться вѣрнаго его товарища, борзаго коня, перерѣзывали разомъ его думы, которыя снова обычнымъ ожерельемъ низались въ головѣ его. Въ первый разъ еще случилось ему выполнять такое порученіе: ѣхать, Богъ знаетъ куда, въ незаселенныя степи Украйны! И кто этотъ Глечикъ?... Какая нужда Казимиру до начальника какой-то шайки, называвшаго себя полковникомъ миргородскаго полку?... Ему не объявлено было ничего удовлетворительнаго ни о характерѣ, ни о силѣ его, ни о томъ, какія онъ

*) Изъ романа подъ заглавіемъ: «Гетьманъ». Первая часть его была написана и сожжена, потому что самъ авторъ не былъ ею доволенъ; двѣ главы, напечатанныя въ періодическихъ изданіяхъ, помѣщаются въ этомъ собраніи.

имѣть сношенія, и съ кѣмъ... Къ чему же эта осторожность, какую нужно было имѣть въ рѣчахъ съ нимъ? Зачѣмъ перелетать такую даль, чтобы только доставить ему свѣдѣнія о событіяхъ, волновавшихъ Варшаву? И чѣмъ могъ быть полезенъ такой отдаленный союзникъ?... Мысленно досадовалъ онъ на себя, что не вывѣдалъ обстоятельно объ этомъ отъ Бригитты: ей, безъ сомнѣнія, сколько-нибудь были извѣстны причины такого страннаго посольства. Солнце медленно прощалось съ землею. Живописная облака, обхваченныя по краямъ огненными лучами, поминутно мѣняясь и разрываясь, летѣли по воздуху. Сумерки угрюмо надвигали сизую тѣнь свою и притворяли мало-помалу ставни окошекъ, освѣщавшихъ свѣтлый Божій міръ. Въ это время путникъ нашъ, послѣ долгаго степного странствія, вѣхалъ въ лѣсъ. Раздѣтыя безжалостною осенью деревья сквозили какъ рѣшето и, казалось, дрожали отъ вечерняго холода. Желтые листья, какъ объѣдки и битые ковши отъ недавняго пиршества, валялись неприбранные, и одинъ только шелестъ ихъ, ходя по лѣсу, давалъ знать о присутствіи въ немъ нашего всадника. Сквозь обнаженную вершину лѣса темнѣло небо; рѣзкій вѣтеръ подымался съ поля и мчалъ заунывные свои вопли въ гущу лѣса. Путникъ поневолѣ задумался и остановилъ коня своего въ нерѣшимости, что предпринять, потому что дорога совершенно исчезла и передъ нимъ торчалъ одинъ только лѣсъ да неизвѣстность; какъ вдругъ громкій голосъ: «цобъ, цобы!» поразилъ слухъ его; тяжело нагруженный возъ заскрипѣлъ, и пара воловъ показалась изъ-за деревьевъ. Надобно вообразить себя на мѣстѣ путешественника, чтобы вполне почувствовать радость такой встрѣчи. Луна въ это время вырѣзалась на небѣ. Серебряный свѣтъ, перепутанный тѣнью отъ деревъ, палъ рѣшеткою на землю, освѣтивъ далеко окрестность, и Лапчинскій увидѣлъ передъ собою джюгаго пожилого селянина. Сѣдые, закрученные внизъ, усы его гордо покоились на смугломъ, означенномъ рѣзкими мускулами лицѣ, которое такъ простодушно отгѣняла какая-то

азиатская безпечность. По чернымъ бровямъ серебрилась сѣдина, огонь вылеталъ изъ небольшихъ карихъ глазъ, и въ огнѣ томъ высвѣчивались попеременно то хитрость, то простодушіе. На головѣ у него была черная козацкая шапка съ синимъ верхомъ. Коротенькій нагольный тулупъ, затянутый яркоцвѣтнымъ поясомъ, служилъ непроницаемыми латами отъ холода; сверхъ этого одѣянія, въ добавку, напнутъ былъ обыкновенный кобенякъ изъ толстаго смураго сукна, который и понынѣ носятъ малороссійскіе мужики. Изъ-за пояса торчала пицаль и изогнутая татарская сабля,— оружіе, которое въ тогдашнія смутныя времена всякій козакъ, ратникъ и селянинъ почиталъ необходимою всегда имѣть при себѣ.

«Помогай, Боже!» сказалъ онъ, остановивъ воловъ и обнаживъ увѣчанную только на верхушкѣ кистью волосъ голову, въ знакъ того уваженія, какое обыкновенно оказывали тогда простые поселяне ратнымъ людямъ. Надобно припомнить, что Лапчинскій, во избѣжаніе непріятностей, какимъ бы онъ неминуемо подвергнулся отъ жителей, не терпѣвшихъ всего, чтò только носило названіе ляха или принадлежало ляхамъ, принужденъ былъ перемѣнить щегольской костюмъ свой на скромное одѣяніе козацкаго десятника.

Всадникъ нашъ отвѣчалъ легкимъ наклоненіемъ головы на сіе привѣтствіе.

«Не знаешь ли, землякъ», молвилъ онъ съ ласковымъ видомъ: «далеко ли отсюда до Ромодановскаго шляху?»

«Не сумѣю, добродію, сказать вдругъ; повремените немножко!»—Тутъ принялся онъ высчитывать, чтò выражали машинально сгибаемые имъ пальцы.—«До Ромодановскаго шляху!... Какъ бы вамъ сказать?... оно не такъ, чтобы близко. Надобно знать, что козаки наши немного было перетрусели: кто-то пропешъ слухъ, что все шляхетство собирается къ намъ на Сулу въ гости. Спихватились сдуру и разломали мосты; такъ вамъ, добродію, чтобы не пришлось давать большихъ объѣздовъ. Впрочемъ, Богъ его знаетъ: я

говорю это потому, что другіе говорятъ... такъ, можетъ-быть, выберется и короткій путь; только, знаете, теперь время осеннее... то станется, что и далеко... Только опять же, какъ подумаешь, то кажется, что и близко. Вотъ другое дѣло, если-бъ были поставлены столбы по дорогѣ, какіе, безъ сомнѣнія, сами, добродію, если бывали въ Польгѣ, встрѣчали по тамошнимъ дорогамъ».

Не должно удивляться противорѣчіямъ, испестрявшимъ монологъ нашего поселяннина. Кромѣ дѣйствительной неизвѣстности, малороссіяне любили поусомниться и въ самомъ знакомомъ имъ дѣлѣ. Малороссіянинъ и донинѣ ничего не скажетъ наобумъ, но разъ десять поправитъ себя, а иногда съ умысломъ запутаегъ своего слушателя такъ, что тотъ, къ изумленію своему, видитъ, что до такого-то мѣста и далеко, и близко.

«Куда же, по крайней мѣрѣ, мнѣ теперь держать путь?» спросилъ странникъ, впривъ испытующій взоръ на своего наставника.

Тутъ селянинъ нашъ осмотрѣлъ его хорошенько съ головы до ногъ.

«А вы, добродію, хотите теперь ѣхать?»

«Почему же не теперь?»

«Богъ съ вами! теперь и нашъ братъ, здѣшній, уже, сильно подумавши развѣ, поѣдетъ. Знаешь, мосьпане, вѣдь намъ стѣитъ только проѣхать такое время, въ какое добрый мужикъ успѣетъ вымолотить полкопны жита, чтобы слышать собачій лай съ моего двора. Все бы лучше опочить въ теплой хатѣ, а завтра хоть и съ Богомъ!»

Отъ такого предложенія нельзя было отказаться путнику, который, кажется, того только и ожидалъ.

«А куда», спросилъ дорогою поселяннинъ нашъ своего будущаго гостя: «лежитъ путь вамъ, мосьпане?»

«Ѣду-то я далеко, на ту сторону Ворскла, къ миргородскому полковнику Глечку. Что, землякъ, не знаешь ли и ты его?»

«Какъ не знать этой старой собаки! А изъ какихъ мѣстъ Богъ несетъ?»

«Изъ великой станицы, что подъ Лохвицею».

«Какъ же это, добродію, мы не слышали ничего про то, чтобы станица была подъ Лохвицею?» Тутъ вонзиль онъ въ него острый взоръ свой, который, казалось, хотѣлъ выпытать его душу. «И то сказать! гдѣ уже мужику знать все про войсковыя дѣла; до нашего захолустья еще и слухи не дошли объ этомъ».

Посланникъ нашъ спохватился, что не нужно бросать осторожности въ розказняхъ и съ простымъ селяниномъ, и потому, собравшись немного съ мыслями, продолжалъ: «То-есть, вотъ видишь, землякъ, навѣрное я еще не могу сказать. Въ самой-то станицѣ я не былъ, а встрѣтившійся подъ Лохвицею запорожскій сотникъ Шляйко, узнавъ, что я ѣду въ эти мѣста, далъ мнѣ грамотку къ миргородскому полковнику. Летѣлъ онъ, какъ угорѣлый; изъ распросовъ его я ничего не могъ узнать навѣрное. Недавно передъ тѣмъ возвратился я изъ Варшавы... Видишь, онъ, можетъ-быть, имѣлъ причины не довѣрять мнѣ... то-есть... онъ... ты, думаю, понимаешь меня».

«Что вы говорите, добродію! Развѣ мужикъ пойметъ то, что толкуютъ паны? Ей Богу, нѣтъ; гдѣ намъ понять! У насъ и голова не такъ сдѣлана, какъ у пановъ: чортъ знаетъ, что такое; больше на капусту похоже, чѣмъ на голову»..

«О, да ты штука!» подумалъ про себя Лапчинскій и положилъ себѣ быть какъ можно осторожнѣе въ словахъ.

Онъ во все это время ѣхалъ шагомъ, уравнивая легкую поступь своего гордаго коня съ лѣнливою выступкою тяжелыхъ воловъ, впереди которыхъ съ флегматическою важностью шелъ селянинъ, помахая батогами и потягивая коротенькую люльку *). Дымъ отъ нея обнималъ облаками смуглое лицо его, которое, освѣщаясь иногда вспыхивавшимъ огонькомъ, казалось лицомъ какого-нибудь упыря, выказывавшимся по временамъ изъ непробуднаго болотнаго тумана и сбывшимъ искры чуднаго огня. Это заставляло

*) Трубку.

Лапчинскаго чаще всматриваться ему въ глаза, чтобъ удостовѣриться, точно ли то былъ его товарищъ.

Но селянинъ нашъ самъ отгонялъ всякое насчетъ его сомнѣнiе, не давая минуты задуматься своему гостю. — «Слыхали-ль вы, добродiю, про такое диво?» говорилъ онъ, не выпуская изо рта своей трубки: «видишь-ли сосну, вонъ далеко, далеко чериѣтъ передъ нами?»

И путникъ, къ удивленiю своему, точно, увидѣлъ сосну. Какимъ образомъ зашла она сюда, когда во всей почти этой сторонѣ Малороссiи, на разстоянiи, можетъ-быть, по сту верстъ во всѣ стороны, взоръ не отыскивалъ этой суровой жилицы Сѣвера? Невольно вперилъ онъ на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженнаго лѣса сохранила, казалось, жизнь. Но жизнь-ли это? Это была мумiя, которую съ изумленiемъ отыскиваютъ между голыми скелетами, одну, не сокрушенную тлѣнiемъ. Въ ней видны тѣ же черты, та же прекрасная форма человѣка объемлетъ ее; но, Боже, въ какомъ видѣ! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается въ душу при взглядѣ на жалкiй обманъ, которымъ суетное искусство силится выхватить и удержатъ что-то похожее на жизнь.

«Это еще не большое диво, что сосна, а вотъ что диво. Дѣтъ за пятьдесятъ передъ тѣмъ, какъ мы балагуримъ съ вами, жилъ, чуть-ли не на вотъ этомъ мѣстѣ, въ хоромахъ великiй панъ. Воевода-ли онъ былъ, сотникъ-ли какой, или просто панъ, этого я не умѣю сказать; знаю только, что онъ былъ ляхъ и не нашей вѣры. Жилъ онъ, какъ всѣ нечистые польскiе паны живутъ: домъ съ утра до вечера ходенемъ ходилъ отъ вина да отъ пѣсенъ, и далече прохватывала дрожь крещенаго человѣка, когда онъ слышалъ раздававшiеся изъ лѣсу крики. Хлопцы изъ дворни его то и дѣло что наѣздничали по хуторамъ да обирали бѣдныхъ жителей. Этого мало. Стали обворовывать да обдирать Божьи церкви, и такое дѣлали... врагъ съ ними! не хочу и говорить, что такое. Побить бы ихъ всѣхъ, добродiю, — такъ нельзя, потому что дворни одной у нихъ было, можетъ, съ

полторы сотни, да и на каждого бердыши, самопалы и вся сбруя ратная. Вотъ и вызвался одинъ дьяконъ,—какъ уже его звали и изъ какого приходу онъ былъ, ей Богу, добродію, не знаю,—вызвался и пришелъ въ лѣсъ. Если бы теперь не ночь и не засыпало листьямъ, то я, можетъ статья, показалъ бы вамъ останки этого дьявольскаго гнѣзда. На ту пору, — такъ, видно, самъ Богъ уже хотѣлъ, — былъ у нихъ какой-то окаянный праздникъ. Дьяконъ шелъ уже на пропало, сказалъ: «Господи, благослови!» и, сколько доставало духу, толкнулся въ ворота, запертыя толпившимся народомъ. Цымбалы и бандуры бренчали и гудѣли, словно на свадьбѣ, а пьяные паны и дворянъ изо всей силы отдирали краковякъ. Какъ только завидѣли дьякона, такъ, добродію, и закричали: «Зачѣмъ сюда принесло попа?» А панъ говоритъ: «Гей, хлопцы! налейте-ка попу водки: пусть его танцуетъ съ нами, добрыми христіанами, краковякъ, да подгоняйте его хорошенько батожьемъ!» Дьяконъ, исполнившись, видно, Святаго Духа, началъ представлять нечестивымъ весь грѣхъ беззаконнаго житія ихъ, и какія на томъ свѣтѣ будутъ имъ муки, и какъ будутъ они плясать въ неклѣ *), только не по своей волѣ, а подгоняемые горячими вилами чертей. «А, такъ ты еще и проповѣдь читаешь! Гей, хлопцы! поднимите попа на крылосъ, а чтобъ не застудилъ горла, накиньте ему галстукъ на шею!» И тутъ же челядь, съ нечеловѣчьимъ смѣхомъ и гиканьемъ, всталила несчастнаго дьякона на ту самую сосну, мимо которой лежитъ намъ путь. Позвольте, добродію: тутъ-то и исторія. Сосна эта какъ разъ стояла передъ хоромамъ и какъ нарочно еще передъ самыми окошками панской свѣтлицы. Вотъ, какъ ночь уже разогнала всѣхъ: кого на лавку, кого подъ лавку, пану нашему чудится, что на него каплетъ что-то холодное. «Что за нечистый!» подумалъ панъ: «отчего это каплетъ?» Всталъ съ постели, глядитъ: колючія вѣтви сосны царапаются къ нему сквозь стѣну и, будто живыя, вытягиваются длиннѣе, длиннѣе и какъ разъ достаютъ

*) Въ адѣ.

до него. Перекрестился, может-быть, въ первый разъ отъ роду нашъ панъ, когда увидѣлъ, что изъ нихъ каплетъ человѣчья кровь, сначала холодная какъ ледъ, и потомъ жжетъ да и только! Къ окну — такъ и ноги подкосились: сосна вся посинѣла, какъ мертвецъ, и страшно киваетъ ему черною, всклокоченною бородою. Сначала было думалъ панъ, не хмель-ли бродитъ у него въ головѣ: такъ на слѣдующую ночь то же диво, и вся дворня въ одинъ голосъ, что по лѣсу то и дѣло, что отпѣвають усоншаго такимъ страшнымъ голосомъ, что всякаго морозъ драсть по кожѣ и волосы щетинною поднимались на головѣ. Чего ужъ ни дѣлали: и погребли съ честью тѣло дьякона, и принимались было рубить сосну, — такъ сѣкира не беретъ: что ни ударять, топоръ вызубрится, а дерево стонетъ, будто дитя некрещеное. Рѣшились, наконецъ, бросить это окаянное мѣсто. Вотъ каждый день и соберется вся челядь, осѣдлаютъ коней, заберутъ все съ собою и выѣдутъ, еще черти не бьются на кулачки; ѣдутъ, ѣдутъ, до самаго вечера: кажись, Богъ знаетъ, куда заѣхали! остановятся ночевать — смотрятъ, знакомыя все мѣста: опять тотъ же дикій лѣсъ, тѣ же хоромы, а проклятая сосна, протягивая вѣтви, словно руки, хватаетъ пана и обдаетъ его кровавыми каплями, а черная, всклокоченная борода такъ же жутко киваетъ ему...»

Тутъ рассказчикъ нашъ стремительно ударилъ въ слушателя огненными глазами своими, блиставшими еще ярче посреди ночи, и, казалось, не безъ удовольствія замѣтилъ въ немъ впечатлѣннѣе, произведенное его рассказомъ. Дѣйствительно, путникъ нашъ не могъ не ощутить какого-то тайно врывавашагося въ душу страха и съ безпокойствомъ поглядывалъ вокругъ.

Въ это время поравнялись они съ сосной. Серебряный свѣтъ падалъ на печальныя вѣтви ея, и отбрасывавшіяся отъ нихъ тѣни, будто продолженіе ихъ, переламливаясь о встрѣчныя деревья, ложились безконечною лѣстницею на землю. Вѣтеръ слегка покачивалъ вершину, и когда путникъ, немного проѣхавъ, оглянулся назадъ, то ему показа-

лось, что какой-нибудь непріязненный духъ, принявъ дякіі, величественный образъ, медленно слѣдоваль за нимъ, печально покачивая угрюмою бородою и раскидывая темно-зеленыя объятія свои въ намѣреніи схватить его.

«Что же далѣе случилось?» спросилъ онъ умолкшаго рассказчика, стараясь подавить невольную робость.

«Что? Круто пришлось пану: распустилъ всю свою дворню, сталъ схимникомъ и, какъ отправилъ пятьдесятъ двѣ панихиды за упокой души дякова, тогда только стихнуло чудо. Куда же дѣлся послѣ того схимникъ, этого никто не скажетъ вамъ. Дня за три до Купала каплетъ съ этого дерева, день и ночь, роса. Говорятъ еще, что и сгубленная чья-то душа таскается по лѣсу. Теща рассказывала года за четыре, когда была еще при памяти, что встрѣтила однажды въ лѣсу дьявола въ красномъ жупанѣ, въ какомъ ходилъ и покойный панъ. Цобъ, цобъ, побе! гей! Вотъ мы, добродію, и пріѣхали».

Лапчинскій увидѣлъ дѣйствительно передъ собою низенькія ворота, рѣдко убитыя впоперекъ положенными досками, какія и теперь можно видѣть почти у каждаго малороссійскаго поселеннаго. Лай собакъ залился по лѣсу, и старая женщина, въ накинутомъ на плечи тулупѣ, вышла отворить ворота. Глазамъ нашего путника представился небольшой дворикъ, обнесенный заборомъ изъ болотнаго тростника, нѣсколько сараевъ и хлѣбовъ, укрытыхъ такимъ же тростникомъ, и обыкновенная малороссійская хата. На дворѣ наваленъ былъ ворохъ ульевъ, изъ которыхъ многіе развѣшены были на деревьяхъ, нагибавшихъ со всѣхъ сторонъ любопытныя вѣтви свои во дворъ, какъ будто низкая буколическая жизнь его могла доставить имъ, величественнымъ, занимательное зрѣлище. Позади двора тянулось еще какое-то строеніе, котораго за темнотою нельзя было распознать. По всему можно было заключить, что имѣніе сіе принадлежало слишкомъ зажиточному козаку: въ тогданнія времена не у всякаго могло найтись подобное великолѣпіе.

Пока хозяинъ занимался выгрузкою своего вьюка, Лап-

чинскому было довольно времени рассмотреть внутренность этого обиталища. Все въ немъ было почти такъ же, какъ и нынѣ у простолюдиновъ Малороссіи: противъ дверей нѣсколько оконъ, передъ ними столъ, на которомъ замѣтили онъ ржаной хлѣбъ и соль, не снимавшіеся съ него никогда, въ знакъ того, что гость во всякое время можетъ найти радушный пріемъ себѣ. Всю комнату обходили липовыя пинокія и узкія лавки; у дверей громоздилась печь, съ отверстиемъ внизу, заслоненнымъ частою рѣшеткою, изъ-за которой выглядывали куры, гуси, индѣйки и домашніе кролики. Каждый изъ сихъ безсловесныхъ жильцовъ суетился по-своему: пицалъ, кудахталъ, гоготалъ и давалъ знать, что онъ нимало не послѣднее изъ твореній. На полу мальчишка лѣтъ четырехъ колотилъ огромнымъ подсолнечникомъ по опрокинутому горшку, между тѣмъ какъ другой, годѣмъ постарѣе, душилъ за горло кота, напѣвая какую-то пѣсню, которую, вѣрно, отъ частаго повторенія его матери, заучилъ навѣки. Передъ большимъ, окованнымъ сундукомъ сидѣла дѣвочка лѣтъ одиннадцати, держа на рукахъ грудного ребенка, плакавшаго изо всѣхъ силъ, несмотря на то, что она, желая забавить его, побрякивала огромнымъ замкомъ и стращала малютку вошедшимъ гостемъ. На стѣнѣ висѣли: серпъ, сабля, ружье, котораго замокъ былъ развинченъ и лежалъ близъ него на полѣ, вѣроятно, отложенный для починки, сѣкира, турецкій пистолеть, еще ружье, не отпущенная коса и коротенькая нагайка, — орудія, съ незапамятныхъ временъ вѣчно враждовавшія между собою и которыя непонятный человѣкъ заставляетъ мириться, несмотря на несходныя ихъ свойства.

«Прошу не погнѣваться, добродію, что заставилъ васъ ждать немного!» сказалъ вошедшій хозяинъ: «такъ проклятая ярмарка ошеломила меня, что до сихъ поръ въ головѣ базаръ ходитъ. Счастье еще, что старухи моей нѣтъ дома, а то бы она вымыла мнѣ голову. Дома только насъ: я да теща».

При семъ словѣ вошла та самая старуха, которая отво-

рjala ворота. Съ какимъ-то грустнымъ чувствомъ разсматривала ее путникъ. Казалось, передъ нимъ стояла жертва могилы, въ которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человѣку всю ничтожность долготѣтя, къ коему такъ жадно стремятся его желанія: Могильное равнодушiе разливалось на усѣянныхъ морщинами чертахъ ея. Ни искры какой-нибудь живости въ глазахъ! мутные, они устремлялись порой на него; но тотъ бы обманулся, кто прочиталъ бы въ нихъ что-нибудь похожее на любопытство. Они ни на что не глядѣли; имъ все казалось смутно, какъ не совсѣмъ проснушемуся человѣку. Покамѣстъ предавался онъ такимъ чувствамъ, старуха отправилась на печь, всегдашнее свое жилище, весь мiръ свой, который такъ же казался ей просторенъ и люденъ, какъ и всѣй другой; а хозяинъ обратился къ дѣтямъ своимъ. «Ай да Ѳедотъ!» говорилъ онъ, поднимая одною рукою подъ потолокъ мальчика съ подсолнечникомъ: «гдѣ ты взялъ такой страшный сонечникъ? *) Да этимъ ты какъ-нибудь человѣка убьешь! Ты что тамъ дѣлаешь, Карно? кота душишь? Какой же я тебѣ гостинецъ привезъ! Ступай же, собачій сынъ! что-жъ ты стоишь и ротъ разинулъ? Вотъ, какъ видите, добродiю, сто разъ толкую, что я его батька; до сихъ поръ не вѣрить, ледача дѣтина! **) А ты, плакса, долго будешь ревѣть? А подайте мнѣ батога, вотъ я его! Давай его сюда, Маруся; я сейчасъ за окошко: пусть тамъ съѣдятъ его волки, либо ляхи...»

«Тебя таки, землякъ, Богъ надѣлилъ дѣтьми?» сказала постъ нашъ своему хозяину.

«Да, не безъ того, мосьпане! всѣхъ-то ихъ у меня семеро. Два уже поженились на чужой сторонѣ, только чортъ знаетъ, какое приданое взяли за невѣстами: по сажени земли, на которой ничего не родится, кромѣ полыни и бурьяну. Что-жъ ты, Ѳедотъ, не скажешь спасибо? Панъ даетъ пряникъ, а онъ и не поклонится. Не извольте цѣ-

*) Подсолнечникъ, по малороссійскому произношенiю.

**) Погодный ребенокъ.

ловать его! у него вся рожа выпачкана золою. Были мнѣ съ нимъ порядочныя хлопоты. Услышалъ, что ѣду на ярмарку. «Возьми и меня, тату!» — «Да куда я тебя дѣну? тамъ тебя задавятъ!» — «Нѣтъ, не задавятъ, возьми, да и возьми!» — «Да тамъ теперь столько цыгановъ, что еще украдутъ тебя, и тогда поминай, какъ звали». — «Возьми да и только!» Что станешь дѣлать? плачу такого натворилъ, что Боже упаси. Насилу унялъ его обѣщаніемъ привезти медоваго коня съ золотой головою. Ну, Маруся, матери не зачѣмъ дожидаться: давай-ка намъ вечерять *); баба ужъ, вѣрно, спитъ! Такъ до кого, добродію», продолжалъ онъ, вдругъ оборотясь къ гостю и садясь за столъ: «говоришь ты, ѣдешь? У меня подъ старость голова, какъ дырявое ведро: сколько ни лей воды въ него, все пусто; сколько ни толкуй умныхъ рѣчей, все позабудеть».

«Какъ, землякъ? развѣ я не сказалъ тебѣ, что до Глечика?» отвѣчалъ гость, немного удивленный такою странною забывчивостью.

«До миргородскаго полковника? такъ нечего тебѣ и забираться такъ далеко: не кто другой, какъ онъ, сидитъ передъ тобою, мосьпане!»

Если бы въ это время пуля пролетѣла мимо ушей Лапчинскаго, онъ былъ бы менѣе удивленъ. Такъ внезапно, такъ неожиданно напасть на него врасплохъ, когда всѣ мысли его разбрелись... когда... Нѣтъ! не можетъ быть! онъ ослышался! И глаза его неподвижно устремились на хозяина, какъ бы желая удостовѣриться въ лживости того, о чемъ донесъ ему слухъ его.

1830.



*) Ужинать.

О ПРЕПОДАВАНИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ.

I.

Всеобщая исторія, въ истинномъ ея значеніи, не есть собраніе частныхъ исторій всѣхъ народовъ и государствъ безъ общей связи, безъ общаго плана, безъ общей цѣли, куча происшествій безъ порядка, въ безжизненномъ и сухомъ видѣ, въ какомъ очень часто ее представляютъ. Предметъ ея великъ: она должна обнять вдругъ и въ полной картинѣ все человѣчество—какимъ образомъ оно изъ своего первоначальнаго, бѣднаго младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и, наконецъ, достигло нынѣшней эпохи. Показать весь этотъ великій процессъ, который выдержалъ свободный духъ человѣка кровавыми трудами, борясь отъ самой колыбели съ невѣжествомъ, природой и исполнскими препятствіями—вотъ цѣль всеобщей исторіи! Она должна собрать въ одно всѣ народы міра, разрозненные временемъ, случаемъ, горами, морями, и соединить ихъ въ одно стройное цѣлое, изъ нихъ составить одну величественную полную пѣсню. Происшествіе, не произведшее вліянія на міръ, не имѣетъ права войти сюда. Всѣ событія міра должны быть такъ тѣсно связаны между собою и цѣпляться одно за другое, какъ кольца въ цѣпи. Если одно кольцо будетъ вырвано, то цѣпь разрывается. Связь эту не должно принимать въ буквальномъ смыслѣ: она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связываютъ происшествія, или система, создающаяся въ головѣ независимо отъ фактовъ, и къ которой послѣ своевольно притягиваютъ событія міра. Связь эта должна заключаться въ одной общей

мысли, въ одной неразрывной исторіи человѣчества, передъ которою и государства, и событія — временныя формы и образы! Мірѣ долженъ быть представленъ въ томъ же колоссальномъ величіи, въ какомъ онъ являлся, проникнутый тѣми же таинственными путями Промысла, которые такъ непостижимо на немъ означались. Интересъ необходимо долженъ быть доведенъ до высочайшей степени, такъ, чтобы слушателя мучило желаніе узнать далѣе; чтобы онъ не въ состояніи былъ закрыть книгу или не дослушать, но если бы и сдѣлалъ это, то развѣ съ тѣмъ только, чтобы начать сызнова чтеніе; чтобы очевидно было, какъ одно событіе рождаетъ другое и какъ безъ первоначальнаго не было бы послѣдующаго. Только такимъ образомъ должна быть создана исторія.

II.

Все, что ни является въ исторіи: народы, событія — должны быть непременно живы и какъ бы находиться предъ глазами слушателей или читателей, чтобы каждый народъ, каждое государство сохраняли свой міръ, свои краски, чтобы народъ, со всѣми своими подвигами и вліяніемъ на міръ, пронеслся ярко, въ такомъ же точно видѣ и костюмѣ, въ какомъ былъ онъ въ минувшія времена. Для того нужно собрать не многія черты, но такія, которыя бы высказывали много, — черты самыя оригинальныя, самыя рѣзкія, какія только имѣлъ изображаемый народъ. Для того, чтобы извлечь эти черты, нуженъ умъ, сильный схватить всѣ незамѣтные для простаго глаза оттѣнки, нужно терпѣніе перерывать множество иногда самыхъ неинтересныхъ книгъ. Но что уже одинъ узналъ, то другимъ передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роаясь въ архивахъ.

III.

Преподаватель долженъ призвать въ помощь географію, но не въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ ее часто принимаютъ, т. е. для того только, чтобы показать мѣсто, гдѣ что происходило. Нѣтъ! Географія должна разгадать многое,

безъ нея неизяснимое въ исторіи. Она должна показать, какъ положеніе земли имѣло вліяніе на цѣлыя націи; какъ оно дало особенный характеръ имъ; какъ часто гора, вѣчная граница, взгроможденная природою, дала другое направленіе событіямъ, измѣнила видъ міра, преградивъ великое разлитіе опустошительнаго народа, или заключивши въ неприступной своей крѣпости народъ малочисленный; какъ это могучее положеніе земли дало одному народу всю дѣятельность жизни, между тѣмъ какъ другой осудило на неподвижность; какимъ образомъ оно имѣло вліяніе на нравы, обычаи, правленіе, законы. Здѣсь-то они должны увидѣть, какъ образуется правленіе: что его не люди совершенно устанавливаютъ, но нечувствительно устанавливаетъ и развиваетъ самое положеніе земли; что формы его оттого священны, и измѣненіе ихъ неминуемо должно навлечь несчастіе на народъ.

IV.

Событія и эпохи великія, всемірныя, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первомъ планѣ со всеѣми своими слѣдствіями, измѣнившими міръ: не такъ, какъ дѣлаютъ иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то происшествіе есть великое, тѣмъ и отдѣлываются, или приводятъ близорукія слѣдствія въ видѣ отрубленныхъ вѣтвей, тогда какъ должно развить его во всемъ пространствѣ, вывести наружу всѣ тайныя причины его явленія и показать, какимъ образомъ слѣдствія отъ него, какъ широкія вѣтви, распространяются по грядущимъ вѣкамъ, болѣе и болѣе развѣтвляются на едва замѣтные отпрыски, слабѣютъ и наконецъ совершенно исчезаютъ, или глухо отдаются даже въ нынѣшнія времена, подобно сильному звуку въ горномъ ущельи, который вдругъ умираетъ послѣ рожденія, но долго еще отзывается въ своемъ эхѣ. Эти событія должно показать въ такомъ видѣ, чтобы всѣ видѣли ясно, что они великіе маяки всеобщей исторіи, что на нихъ она держится, какъ земля держится на первозданныхъ гранитахъ, какъ животное на своемъ скелетѣ.

V.

Теперь объ образѣ преподаванія. Слогъ профессора долженъ быть увлекательный, огненный. Онъ долженъ въ высочайшей степени овладѣть вниманіемъ слушателей. Если хоть одинъ изъ нихъ можетъ предаться во время лекціи постороннимъ мыслямъ, то вся вина падаетъ на профессора: онъ не умѣлъ быть такъ занимателемъ, чтобы покорить своей волѣ даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавши, какое вредное вліяніе происходитъ отъ того, если слогъ профессора вялъ, сухъ и не имѣетъ той живости, которая не даетъ мыслямъ ни на минуту разсѣяться. Тогда не спасетъ его самая ученость: его не будутъ слушать; тогда никакія истины не произведутъ на слушателей вліянія, потому что ихъ возрастъ есть возрастъ энтузіазма и сильныхъ потрясеній; тогда происходитъ то, что самыя ложныя мысли, слышимыя ими стороною, но выраженныя блестящимъ и привлекательнымъ языкомъ, мгновенно увлекутъ ихъ и дадутъ имъ совершенно ложное направленіе. Что же тогда, когда профессоръ еще сверхъ того облеченъ школьною методою, схоластическими мертвыми правилами и не имѣетъ даже умственныхъ силъ доказать ихъ; когда юный, развертывающійся умъ слушателей, начиная понимать уже выше его, пріучается презирать его? Тогда даже справедливыя замѣчанія возбуждаютъ внутренній смѣхъ и желаніе дѣйствовать и умствовать неперекорь; тогда самыя священныя слова въ устахъ его, какъ-то: преданность къ Религіи и привязанность къ Отечеству и Государю, превращаются для нихъ въ мнѣнія ничтожныя. Какія изъ этого бываютъ ужасныя слѣдствія, это видимъ, къ сожалѣнію, нерѣдко. И потому-то не должно упускать изъ вниманія, что возрастъ слушателей есть возрастъ сильныхъ впечатлѣній; и потому нужно имѣть всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этотъ энтузіазмъ ихъ на прекрасное и благородное; чтобы рассказъ профессора дышалъ самъ энтузіазмомъ. Его убѣжденія должны быть такъ сильны,

такъ выведены изъ самой природы, такъ естественны, чтобы слушатели сами увидѣли истину еще прежде, нежели онъ совершенно укажетъ на нее. Разказъ профессора долженъ дѣлаться по временамъ возвышенъ, долженъ сыпать и возбуждать высокія мысли, но вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ быть простъ и понятенъ для всякаго. Истинно высокое одѣто величественною простотою: гдѣ величіе, тамъ и простота. Онъ не долженъ довольствоваться тѣмъ, что его нѣкоторые понимаютъ: его должны понимать всѣ. Чтобы дѣлаться доступнѣе, онъ не долженъ быть скупъ на сравненія. Какъ часто понятное еще болѣе поясняется сравненіемъ! И потому эти сравненія онъ долженъ всегда брать изъ предметовъ самыхъ знакомыхъ слушателямъ: тогда и идеальное, и отвлеченное становится понятнымъ. Онъ не долженъ говорить слишкомъ много, потому что этимъ утомляется вниманіе слушателей и потому что многосложность и большое обиліе предметовъ не дадутъ возможности удержать всего въ мысляхъ. Каждая лекція профессора непременно должна имѣть цѣль и казаться оконченною, чтобы въ умѣ слушателей она представлялась стройною поэмою, чтобы они видѣли вначалѣ, что она должна заключать въ себѣ и что заключаетъ: чрезъ это они сами въ своемъ разказѣ всегда будутъ соблюдать цѣль и цѣльность. А это необходимѣе всего въ исторіи, гдѣ ни одно событіе не брошено безъ цѣли.

VI.

Планъ же для преподаванія, послѣ многихъ наблюденій, испытаній себя и слушателей, я полагаю лучшимъ слѣдующій:

Прежде всего считаю необходимымъ представить слушателямъ эскизъ всей исторіи человѣчества, въ немногихъ, но сильныхъ словахъ и въ нераздѣльной связи, чтобы они вдругъ обняли все то, о чемъ будутъ слышать; иначе они не такъ скоро и не въ такой ясности постигнутъ весь механизмъ исторіи,—все равно, какъ нельзя узнать совершенно городъ, исходивши всѣ его улицы: для этого нужно

взойти на возвышенное мѣсто, откуда бы онъ видѣть былъ весь, какъ на ладони. Я набрасываю здѣсь эскизъ для того, чтобы показать вмѣстѣ, въ какомъ видѣ и въ какой связи должна быть исторія.

Прежде всего я долженъ представить, какимъ образомъ человѣчество началось Востокомъ. Я долженъ изобразить Востокъ съ его древними патриархальными царствами, съ религіями, облеченными въ глубокую таинственность, такъ непонятную для простого народа, кромѣ религіи евреевъ, между коими сохранилось чистое, первобытное вѣдѣніе истиннаго Бога; какъ эти древнія государства оградились другъ отъ друга, будто неприступною стѣною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; какъ одинъ только народъ финикійскій, первые мореплаватели древняго міра, приводилъ невольню своею промышленностью въ сообщеніе эти почти неподвижныя государства, и какимъ образомъ первый всемірный завоеватель, Киръ, съ свѣжимъ и сильнымъ народомъ, персами, подвергъ весь Востокъ своей власти и насильно соединилъ разнохарактерныя народы; но нравы, религія, формы правленія остались въ государствахъ тѣ же, цари только обратились въ сатраповъ, и весь Востокъ видѣлъ надъ собою одну верховную власть царя царей, персидскаго повелителя; какъ постепенно, отъ взаимнаго сообщенія, эти народы теряли свою особенность и національность и, вмѣстѣ съ своимъ царемъ царей, почти богомъ, невидимымъ для народа, поверглись въ азіатскую роскошь.—Здѣсь я останавливаюсь и обращаюсь къ другой части древняго міра, къ Европѣ. Я долженъ изобразить, какъ возникъ въ ней этотъ цвѣтъ ея, народъ греческій, съ живымъ, любопытнымъ умомъ, республиканскимъ духомъ, совершенно противоположными формами правленія, поэтической религіей, ясными, живыми идеями, такъ противоборствующими важною таинственностью Востока; какъ развернулось у нихъ просвѣщеніе въ такомъ необыкновенномъ блескѣ, и какъ, наконецъ, одинъ честолюбивый грекъ подвергъ ихъ своей монархической власти; какъ этотъ великій грекъ задумалъ

гигантское дѣло: соединить Востокъ съ Европою и разнести вездѣ греческое просвѣщеніе. И вотъ, чтобы связать тѣснѣе три части свѣта, строится городъ Александрія; герой умираетъ, всесвѣтная монархія падаетъ вмѣстѣ съ нимъ. Но подвиги его живы, плоды зрѣютъ: настаетъ знаменитый александрійскій вѣкъ, когда весь древній міръ толпится у гавани александрійской, когда греческіе ученые во всѣхъ городахъ, и національность опять исчезаетъ, народы опять смѣшиваются! А между тѣмъ въ Италіи, почти невидимо отъ всѣхъ, созрѣваетъ желѣзная сила римлянъ.

Я долженъ изобразить, какъ этотъ суровый, воинственный народъ покоряетъ одно за другимъ государства, обогащается награбленными богатствами, поглощаетъ весь Востокъ. Легіоны его проникаютъ въ тѣ земли Европы, гдѣ владѣніе уже не доставляетъ ничего нужнаго для человѣка. Уже Цезарь заноситъ ногу въ Британію, римскіе орлы на скалахъ Албіона... Между тѣмъ невѣдомыя степи средней Азіи извергаютъ толпы невѣдомыхъ народовъ, которые тѣснятъ и гонятъ предъ собою другихъ, вгоняютъ ихъ въ Европу, сами несутся по пятамъ ихъ и грозно останавливаются на сѣверѣ, какъ злобѣщая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые отъ римлянъ германскими лѣсами и непроходимыми болотами. А между тѣмъ уже ни одного не остается независимаго царства. Весь міръ раздѣленъ на римскія провинціи. Римляне перенимаютъ все у побѣжденныхъ народовъ—сначала пороки, потомъ просвѣщеніе. Все мѣшается опять. Все дѣлаются римлянами, и ни одного настоящаго римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрѣлищъ тиранствуютъ надъ міромъ,—въ нѣдрахъ его непримѣтно совершается великое событіе: въ ветхомъ мірѣ зарождается новый! воплощается неузнанный міромъ Божественный Спаситель его, и вѣчное слово, не понятое властелинами, раздается въ темницахъ и пустыняхъ, таинственно выжидая новыхъ народовъ. Наконецъ, на весь древній міръ неностыжно находить летаргическій сонъ, та страшная неподвиж-

ность, то ужасное онѣмѣніе жизни, когда просвѣщеніе не двигается ни впередъ, ни назадъ, сила и характеръ исчезаютъ, все обращается въ мелкій, ничтожный этикетъ, жалкую, развратную безхарактерность. А въ Азіи, между тѣмъ, новый толчокъ, какъ электрическая искра, пробѣгаетъ по всей цѣпи: одинъ народъ тѣснитъ и гонитъ передъ собою другой, который въ свою очередь сгоняетъ третій, и самые крайніе появляются уже на римскихъ границахъ, тогда какъ жалкіе побѣдители міра употребляютъ всѣ усилія спасти себя: сначала откупаются золотомъ, потомъ изъ нихъ же составляютъ себѣ войско защитниковъ, потомъ отдаютъ имъ, одну за другою, всѣ свои провинціи, наконецъ, предають имъ Римъ, и тѣ, которые сохраняли еще слабые остатки познаній, бѣгутъ на востокъ; прочіе, невѣжественные и слабые, исчезаютъ въ сильныхъ толпахъ новаго народа.

Я долженъ изобразить, какъ начинается новая жизнь въ Европѣ, какъ основываются и принимаютъ крещеніе дикія государства въ границахъ, назначенныхъ природою, съ феодальными правами, съ вассальными владѣніями, и какъ могущественный папа, прежде только римскій первосвященникъ, дѣлается государемъ, незамѣтно присоединяетъ къ своей сильной религіозной власти свѣтскую. Между тѣмъ, на Востокъ остатки римлянъ тѣсняются и покоряются новымъ сильнымъ народомъ, мгновенно, какъ бы фантастически, возродившимся на своемъ каменномъ аравійскомъ полуостровѣ, подвигнутымъ до изступленія религіей, совершенно восточной, основанной полупомѣшаннымъ энтузіастомъ Магометомъ; какъ этотъ народъ, съ азіатской саблей въ рукахъ, распространялъ магометанство на мѣсто прежнихъ остатковъ греческаго просвѣщенія, и какъ изумительно, быстро этотъ чудесный народъ изъ завоевателей дѣлается просвѣтителемъ, развертывается во всемъ блескѣ, съ своей роскошной фантазіей, глубокими мыслями и поэзіей жизни, и какъ онъ вдругъ меркнетъ и затмевается выходами изъ-за моря Каспійскаго, которымъ оставляетъ въ на-

сѣдство одно магометанство, какъ, почти въ то же время, въ Европѣ корсары сѣверныхъ морей, норманны, съ неслыханною дерзостью, въ маломъ числѣ, грабятъ и овладѣваютъ цѣлыми государствами, наконецъ, перемѣняютъ дикую религію свою на христіанство и прибавляютъ Европѣ свою силу и нравы; а между тѣмъ папа мало-по-малу дѣлается неограниченнымъ монархомъ всей Европы, и самый императоръ нѣмецкій, котораго уважали всѣ народы, не смѣетъ противустать ему, и какъ, по мановенію его, цѣлыя народы, вассалы, короли, оставляютъ свои земли, богатства, кладутъ пламенный крестъ на рамена и спѣшатъ съ энтузіазмомъ въ Палестину; какъ вся Европа, двинувшись съ мѣстъ, валится въ Азію, Востокъ сшибается съ Западомъ, и двѣ грозныя силы, христіанство съ магометанствомъ; какъ это великое событіе порождаетъ рыцарство, обнявшее всю Европу; какъ возникли орденскія общества, осудившія себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть вѣрными одной цѣли, и произошелъ самый сильно-религіозный христіанскій вѣкъ; какъ энтузіазмъ къ вѣрѣ перешелъ потомъ границы, начертанныя десницею Божественнаго Спасителя, и какъ въ то же время, невидимо отъ всей Европы, совершается великій эпизодъ всемірной исторіи: создается безпримѣрная по величинѣ монархія Чингисханова, поглотившая всѣ азіатскія земли, неизвѣстныя европейцамъ. Въ Европѣ одни только монастыри имѣютъ землю и осѣдность; все обратилось въ рыцарство, все коцуетъ, все неспокойно: каждый вмѣстѣ и воинъ, и полководецъ, и вассаль, и повелитель, и слушается и не слушается,—вѣкъ величайшаго разъединенія и вмѣстѣ единства! Каждый управляется своей волей, и между тѣмъ всѣ согласны въ одной цѣли и мысляхъ. Бѣдные поселяне, вытерпѣвъ чашу бѣды, наконецъ, рѣшаются соединиться, независимо отъ своихъ повелителей, въ города. Возникаетъ среднее сословіе гражданъ, города начинаютъ богатѣть, и на сѣверѣ Европы, въ отпоръ рыцарямъ, образуется Ганзейскій союзъ, связывающій всю сѣверную Европу своей

торговлей. Между тѣмъ на югѣ возникаетъ порожденіе крестовыхъ походовъ — страшная торговля Венеція, эта царица морей, эта чудная республика, съ такимъ замысловатымъ и необыкновенно устроеннымъ правленіемъ. Всѣ богатства Европы и Азіи невидимо перешли въ ея руки, и какъ папа религіозною властью, такъ Венеція непомернымъ богатствомъ повелѣвала Европою. Духовный деспотъ употреблялъ всѣ силы убить ея торговлю, но все было напрасно, пока, наконецъ, генуэзскій гражданинъ не убилъ ее открытіемъ Новаго Свѣта. Наконецъ, я долженъ представить, какъ вдругъ расширился кругъ дѣйствій, какъ пала торговля Средиземнаго моря. Европейцы съ жадностью спѣшатъ въ Америку и вывозятъ кучи золота; Атлантическій и Восточный океаны въ ихъ власти, и въ то же время папскія миссіи проникаютъ въ сѣверовосточную Азію и Африку—и міръ открывается почти вдругъ во всей своей обширности. Между тѣмъ въ Европѣ понемногу сомнѣваются въ справедливости папской власти и, какъ прежде торговля Венеціи убилъ бѣдный генуэзецъ, такъ власть папы сокрушили августинскій монахъ Лютеръ. Какъ образовалась эта мысль въ головѣ смиреннаго монаха, какъ сильно и упрямо защищалъ онъ свои положенія! Какъ, при паденіи своемъ, папа становился грознѣе и изобрѣтательнѣе: ввелъ ужасную инквизицію и страшный невидимую силою ордена иезуитскій, который вдругъ разсыпался по всему свѣту, проникъ во все, прошелъ вездѣ и тайно сообщался между собою на двухъ разныхъ концахъ міра. — Но чѣмъ грознѣе становился папа, тѣмъ сильнѣе противъ него работали типографскіе станки. Вся Европа раздѣлилась на двѣ партіи, и эти партіи, наконецъ, схватились за оружіе, и война жестокая, внутри и внѣ государствъ, долгая, обхватила вдругъ всю Европу. Но уже не копьями и не стрѣлами производилась она,—нѣтъ! пушками, ядрами, громомъ и огнемъ, ужаснымъ и благодѣтельнымъ изобрѣтеніемъ монаха-алхимиста разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государи становятся сильнѣе. Я долженъ изобразить, какъ

измѣнилась Европа послѣ этихъ войнъ. Государства, народы сливаются плотнѣе въ нераздѣльныя массы. Нѣтъ того разединенія власти, какъ въ средніе вѣка. Она сосредоточивается болѣе въ одномъ лицѣ. И какъ отъ того сильныя характеры становятся виднѣе, кругъ государей, министровъ, полководцевъ обширнѣе! Самъ собою, неволью, завязывается въ Европѣ политическій союзъ, полагающій защищать оружіемъ неприкосновенность каждаго государства. А между тѣмъ неутомимые купцы-голландцы, вырвавши свою землю у моря, овладѣваютъ островами Восточнаго океана, берутъ милліоны за разводимыя на нихъ плантаціи драгоцѣнныхъ растеній Юга и, какъ прежде Венеція, схватываютъ торговлю всего міра, пока одинъ необыкновенный государь не подрываетъ ее и не покушается на неприкосновенность государствъ. Я долженъ изобразить блестящій вѣкъ, произведенный этимъ государемъ (Лудовикомъ XIV), когда Франція закипѣла издѣліями роскоши, фабриками, писателями, когда Парижъ сдѣлался всемірною столицею, куда съѣзжались со всей Европы, и французскій языкъ, французскіе нравы, французскій этикетъ и обычаи распространились по всей Европѣ. Но, нарушивши неприкосновенность чужихъ владѣній, этотъ честолюбивый король хотя и разстраиваетъ торговлю голландцевъ, но вмѣстѣ разоряетъ свое государство и самъ убиваетъ свое величіе. Какъ быстро пользуются этимъ островитяне британскіе, которые до того медленно, но вѣрно близились къ своей цѣли, наконецъ, очутились почти вдругъ обладателями торговли всего міра: ворочаютъ милліонами въ Индіи, собираютъ дань съ Америки, и, гдѣ только море, тамъ британскій флагъ. Имъ преграждаетъ путь исполинъ XIX вѣка, Наполеонъ, и уже дѣйствуетъ другимъ орудіемъ—совершенно военнымъ деспотизмомъ; своими быстрыми движеніями оглушаетъ Европу и налагаетъ на нее желѣзное свое протекторство. Напрасно гремитъ противъ него въ англійскомъ парламентѣ Питтъ и составляетъ страшные союзы. Ничто не имѣетъ духа ему противиться, пока онъ самъ не набѣгаетъ на гибель свою,

вторгнувшись въ Россію, гдѣ невѣдомая ему пространства, лютость климата и войска, образованныя суворовскою тактикою, погубляютъ его. И Россія, сокрушившая этого исполина о неприступныя твердыни свои, останавливается въ грозномъ величіи на своемъ огромномъ сѣверовостокѣ. Освобожденныя государства получаютъ прежній видъ и прежнія формы, утверждаютъ снова союзъ и неприкосновенность владѣній. Просвѣщеніе, не останавливаемое ничѣмъ, начинаетъ разливаться даже между низшимъ классомъ народа; паровыя машины доводятъ мануфактурность до изумительнаго совершенства, будто невидимые духи помогаютъ во всемъ человѣку и дѣлаютъ силу его еще ужаснѣе и благодѣтельнѣе;—и онъ, въ священномъ трепетѣ, видитъ, какъ Слово изъ Назарета обтекло, наконецъ, весь міръ.

Когда исторія міра будетъ удержана въ такомъ краткомъ, но полномъ эскизѣ и происшествія будутъ такъ связаны между собою, тогда ничто не улетитъ изъ головы слушателей и въ умѣ ихъ невольнo составитъ цѣлое. Наконецъ, этотъ эскизъ, разившись въ великомъ объемѣ, составитъ полную исторію человѣчества.

VII.

Послѣ изложенія полной исторіи человѣчества, я долженъ разобрать отдѣльно исторію всѣхъ государствъ и народовъ, составляющихъ великій механизмъ всеобщей исторіи. Натурально, та же полнота, та же цѣлость должна быть видна и здѣсь въ обзорѣніи каждаго порознь. Я долженъ обнять его вдругъ, съ начала до конца: какъ оно основалось, когда было въ силѣ и блескѣ, когда и отчего пало (если только пало), и какимъ образомъ достигло того вида, въ какомъ находится нынѣ; если же народъ стерся съ лица земли, то какимъ образомъ на мѣсто его образовался новый и чтѣ принялъ отъ прежняго.

VIII.

Чтобъ еще глубже все сказанное вошло въ память, по окончаніи курса необходимы повторительные обзоры. Но

чтобы повтореніе было успѣшнѣе, нужно стараться давать ему интересъ и занимательность новизны. Послѣ исторіи всего міра и отдѣльно каждой земли и народа, не мѣшаетъ сдѣлать обзоръ каждой части свѣта и тутъ показать все отличіе какъ ихъ, такъ и народовъ, въ нихъ находящихся, чтобъ слушатели сами могли вывести результатъ:

Во-первыхъ, объ Азіи, этой обширной колыбели младенствующаго человѣчества, землѣ великихъ переворотовъ, гдѣ вдругъ возрастаютъ въ страшномъ величіи народы и вдругъ стираются другими; гдѣ столько націй невозвратно пронеслись, одна за другою, а между тѣмъ формы правленія, духъ народовъ одни и тѣ же: все такъ же важень, такъ же гордъ азіатецъ, такъ же быстро воспламеняется и кипитъ страстями, такъ же скоро предается лѣни и бездѣйственной роскоши. И вмѣстѣ съ симъ эта часть свѣта есть земля разительныхъ противоположностей и какого-то великаго безпорядка: еще одинъ народъ кочуетъ беззаботно въ необозримомъ многолюдствѣ съ необозримыми табунами, а между тѣмъ на другомъ концѣ, гдѣ-нибудь въ пустынѣ, изступленный изувѣръ, изнуряя себя безконечнымъ постомъ, замышляетъ новую религію, которая впоследствии обхватитъ всю Азію, одѣнетъ народъ, какъ непроницаемой броней, своимъ изступленнымъ вдохновеніемъ и поведетъ его на разрушеніе; и тутъ же, можетъ-быть, недалеко отъ него, находится народъ, уже перешедшій всѣ эти явленія и кризисы, уже погруженный въ роскошь, утомленный азиатскимъ пресыщеніемъ. Только здѣсь можетъ находиться та странная противоположность, которой удивимся въ деревѣ юга, гдѣ на одной вѣткѣ, въ одно время, одинъ плодъ цвѣтетъ, между тѣмъ какъ другой наливается, третій зрѣетъ, четвертый, переспѣлый, валится на землю.

Потомъ о Европѣ, исторія которой означена совершенно противоположною характерностью, гдѣ существованіе народовъ, напротивъ, долго и мощно; гдѣ все, напротивъ, порядокъ и стройность: народы разомъ подвигаются тактъ въ тактъ, какъ регулярныя европейскія войска; государства

всѣ почти въ одно время растутъ и совершенствуются; при всѣхъ характерныхъ отличіяхъ націй, въ нихъ видно общее единство, и каждая изъ нихъ такъ чудно запутана съ другими, что становится совершенно понятною только въ соединеніи со всей Европою, и вся Европа кажется однимъ государствомъ. И въ этой небольшой части свѣта рѣшилась долгая тяжба: человѣкъ сталъ выше природы, а природа обратилась въ искусство; самая бѣдность и скупость ея вызвали наружу весь безграничный міръ, скрывавшійся въ человѣкѣ, дали ему почувствовать, во сколько онъ выше земного, и превратили всю страну въ вѣчную жизнь ума. Въ этой одной только части свѣта могущественно развился высокій геній христіанства, и необъятная мысль, осѣненная небеснымъ знаменіемъ креста, витааетъ надъ нею, какъ надъ отчизною.

Потомъ объ Африкѣ, представляющей, въ противоположность Европѣ, смерть ума, гдѣ природа всегда деспотически властвовала надъ человѣкомъ; гдѣ она во всемъ своемъ царственномъ величій и всегда почти возвращала его въ первобытное состояніе, въ жизнь чувственную; гдѣ ни одинъ коренной туземный народъ не прожилъ мощною жизнью и не отбросилъ отъ себя яркихъ лучей на міръ; гдѣ даже переселенцы съ другихъ земель напрасно вступали въ борьбу съ палящею природою африканскою: чѣмъ далѣе погружались они въ Африку, тѣмъ глубже повергались въ чувственность.

Наконецъ, объ Америкѣ, этой всемірной колоніи, вавилонскомъ смѣшеніи націй, гдѣ столкнулись три противорѣчащія части свѣта, смѣшались, но еще не слились въ одно, и потому еще не имѣющей покамѣстъ никакого единства, даже единства религіи; не смотря на частную характерность, не получившей общаго характера; несмотря на огромную массу, все еще состоящей изъ первоначальныхъ стихій, разложенныхъ началъ; несмотря на независимыя государства, все еще похожей на колонію.

Быстрый обзоръ исторіи каждой части свѣта, во всей ея

рѣзкой характерности, не поверхностный, но глубокий, результатъ вѣковъ и событій, потому необходимъ, что онъ наводитъ на мысли и заставляетъ слушателей думать. Умъ тогда быстрѣе развивается, когда самъ предлагаетъ себѣ великій и поэтический вопросъ. Этотъ обзоръ каждой части тѣмъ болѣе еще необходимъ, что показываетъ часто съ новой стороны тѣ же предметы. А для полнаго уразумѣнія нужно, чтобы предметъ былъ освѣщенъ со всѣхъ сторонъ. «Только тогда вы знаете хорошо исторію», говоритъ Шлецеръ: «когда знаете ее и вдоль, и поперекъ, и вкось, и во всѣхъ направленіяхъ».

IX.

И для того, въ видѣ эпилога, послѣ окончанія курса хорошо разсмотрѣть за однимъ разомъ весь міръ по столѣтіямъ. Тогда всеобщая исторія представитъ у меня великую лѣстницу вѣковъ. Я долженъ непременно показать, чѣмъ ознаменовано начало, середина и конецъ каждого столѣтія, потомъ — духъ и отличительныя черты его. Чтобы лучше опредѣлить каждый вѣкъ и избѣгнуть монотонности числа, я назову его именемъ того народа или лица, который сталъ въ немъ выше другихъ и ярче дѣйствовалъ на поприщѣ міра. Эта лѣстница столѣтій есть лучшее средство къ утвержденію въ памяти слушателей современности событій, лицъ и явленій.

X.

Мнѣ кажется, что такой образъ преподаванія будетъ дѣйствительно и ближе къ истинѣ. По крайней мѣрѣ, глубоко понимающій величіе исторіи увидитъ, что онъ не произведеніе мгновенной фантазіи, но плодъ долгихъ соображеній и опыта; что ни одинъ эпитетъ, ни одно слово не брошено здѣсь для красоты и мишурнаго блеска, но ихъ породило долговременное чтеніе лѣтописей міра; что составитъ эскизъ общій, полный исторіи всего человѣчества, хотя даже столь краткій, какъ здѣсь, можно не иначе, какъ когда узнаешь и постигнешъ самыя тонкія и

запутанныя нити исторіи, и что одна любовь къ наукѣ, составляющей для меня наслажденіе, понудила меня объявить мои мысли; что цѣль моя — образовать сердца юныхъ слушателей той основательной опытностью, которую развертываетъ исторія, понимаемая въ ея истинномъ величїи, сдѣлать ихъ твердыми, мужественными въ своихъ правилахъ, чтобы никакой легкомысленный фанатикъ и какое минутное волненіе не могло поколебать ихъ, — сдѣлать ихъ кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками Великаго Государя, чтобы ни въ счастїи, ни въ несчастїи не измѣнили они своему долгу, своей вѣрѣ, своей благородной чести и своей клятвѣ — быть вѣрными Отечеству и Государю.

1832.



ПОРТРЕТЪ.

Повѣсть.

§ I.

Нигдѣ столько не останавливалось народа, какъ передъ картинною лавкою на Шукиномъ дворѣ. Эта лавка представляла, точно, самое разнородное собраніе диковинокъ: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темнозеленымъ лакомъ, въ темножелтыхъ мишурныхъ рамахъ. Зима съ бѣлыми деревьями, совершенно красный вечеръ, похожій на зарево пожара, фламандскій мужикъ съ трубкою и выломанною рукою, похожій болѣе на индѣйскаго пѣтуха въ манжетахъ, нежели на человѣка — вотъ обыкновенные ихъ сюжеты. Къ этому нужно присокупить нѣсколько гравированныхъ изображеній: портретъ Хозрева-Мирзы въ бараньей шапкѣ, портреты какихъ-то генераловъ въ треугольныхъ шляпахъ, съ кривыми носами. — Двери такой лавочки обыкновенно бываютъ увѣшаны связками тѣхъ картинъ, которыя свидѣтельствуя самородное дарованіе русскаго человѣка: на одной изъ нихъ была царевна Миликтриса Кирбитъевна, на другой — городъ Іерусалимъ, по домамъ и церквямъ котораго безъ церемоніи прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двухъ молящихся русскихъ мужиковъ въ рукавицахъ. Покупателей этихъ произведеній обыкновенно немного, но за то зрителей — куча: какой-нибудь забуддыга-лакей уже, вѣрно, зѣваетъ передъ ними, держа въ рукѣ судки съ обѣдомъ изъ трактира для своего барина, который, безъ сомнѣнія, будетъ хлебать супъ не слишкомъ горячій. Передъ ними, вѣрно, уже стоитъ

соддать, этот кавалеръ толкучаго рынка, продающій два перочинные ножика; торговка изъ Охты, съ коробкою, наполненною башмаками. Всякій восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкаютъ пальцами; кавалеры разсматриваютъ серьезно; лакеи-мальчишки и мальчишки-мастеровые смѣются и дразнятъ другъ друга нарисованными карикатурами; старые лакеи въ фризовыхъ шинеляхъ смотрятъ потому только, чтобы гдѣ-нибудь позѣвать; а торговки, молодыя русскія бабы, спѣшаютъ по инстинкту, чтобы послушать, о чемъ калякаетъ народъ, и посмотрѣть, на что онъ смотритъ.

Въ это время невольно остановился передъ лавкою проходившій мимо молодой художникъ Чертковъ. Старая шинель и нещегольское платье показывали въ немъ того человѣка, который съ самоотверженіемъ преданъ былъ своему труду и не имѣлъ времени заботиться о своемъ нарядѣ, всегда имѣющемъ таинственную привлекательность для молодежи. Онъ остановился передъ лавкою и сперва внутренно смѣялся надъ этими уродливыми картинами; наконецъ, невольно овладѣло имъ размышленіе: онъ сталъ думать о томъ, кому бы нужны были эти произведенія. Что русскій народъ заглядывается на *Еруслановъ Лазаревичей*, на *объѣдалъ* и *обтывалъ*, на *Фому* и *Ерему* — это ему не казалось удивительнымъ: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но гдѣ покупатели этихъ нестрыхъ, грязныхъ, масляныхъ малеваній? кому нужны эти фламандскіе мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показываютъ какое-то притязаніе на нѣсколько уже высшій шагъ искусства, но въ которыхъ выразилось все глубокое его униженіе? Если бы это были труды ребенка, покоряющагося одному невольному желанію, если бы они совѣмъ не имѣли никакой правильности, не сохраняли даже первыхъ условій механическаго рисованія, если бы въ нихъ было все въ карикатурномъ видѣ, — но въ этомъ карикатурномъ видѣ просвѣчивалось бы хотя какое-нибудь стараніе, какой-нибудь порывъ про-

известн подобное природѣ, — но ничего этого нельзя было отыскать въ нихъ. Какое-то тупоуміе старости, какая-то бессмысленная охота или, лучше сказать, неволя водила рукою ихъ творцовъ. Кто трудился надъ ними? И трудился, безъ сомнѣнія, одинъ и тотъ же, потому что тѣ же краски, та же манера, та же набившаяся, пріобывшая рука, принадлежавшая скорѣе грубо сдѣланному автомату, нежели человѣку. Онъ все такъ же стоялъ передъ этими грязными картинами и глядѣлъ на нихъ, но уже совершенно не глядя, между тѣмъ какъ содержатель этого живописнаго магазина, сѣренькій человѣкъ, лѣтъ пятидесяти, во фризовой шинели, съ давно небритымъ подбородкомъ, рассказывалъ ему, что «картины *самый первый сортъ* и только что получены съ биржи, еще и лакъ не высохъ, и въ рамки не вставлены. *Смотрите сами, честью увѣряю, что останетесь довольны*». Всѣ эти заманчивыя рѣчи летѣли мимо ушей Черткова. Наконецъ, чтобы немного ободрить хозяина, онъ поднялъ съ полу нѣсколько запылившихся картинъ. Это были старые фамиліные портреты, которыхъ потомки врядъ ли бы отыскались. Почти машинально началъ онъ съ одного изъ нихъ стирать пыль. Легкая краска вспыхнула на лицѣ его, — краска, которая означаетъ тайное удовольствіе при чемъ-нибудь неожиданномъ. Онъ сталъ нетерпѣливо тереть рукою и скоро увидѣлъ портретъ, на которомъ ясно была видна мастерская кисть, хотя краски казались нѣсколько мутными и почернѣвшими. Это былъ старикъ съ какимъ-то безпокойнымъ и даже злобнымъ выраженіемъ лица; въ устахъ его была улыбка, рѣзкая, язвительная и вмѣстѣ какой-то страхъ; румянецъ болѣзни былъ тонко разлитъ по лицу, исковерканному морщинами; глаза его были велики, черны, тусклы, но вмѣстѣ съ этимъ въ нихъ была замѣтна какая-то странная живость. Казалось, этотъ портретъ изображалъ какого-нибудь скрягу, проведшаго жизнь надъ сундукомъ, или одного изъ тѣхъ несчастныхъ, которыхъ всю жизнь мучить счастье другихъ. Лицо вообще сохраняло яркіи

отпечатокъ южной физиогноміи. Смуглота, черные, какъ смоль, волосы, съ пробившеюся просѣдью— все это не попадаетъ у жителей сѣверныхъ губерній. Во всемъ портретѣ была видна какая-то неокончателность; но если бы онъ приведенъ былъ въ совершенное исполненіе, то знатокъ потерялъ бы голову въ догадкахъ, какимъ образомъ совершеннѣйшее твореніе Вандика очутилось въ Россіи и зашло въ лавочку на Щукинъ дворъ.

Съ біющимъ сердцемъ, молодой художникъ, отложивши его въ сторону, началъ перебирать другіе, не найдется ли еще чего подобнаго; но все прочее составляло совершенно другой міръ и показывало только, что этотъ гость глупымъ счастьемъ попалъ между нихъ. Наконецъ, Чертковъ спросилъ о цѣнѣ.

Пронырившій купецъ, замѣтивъ по его вниманію, что портретъ чего-нибудь стѣнитъ, почесалъ за ухомъ и сказалъ: «Да что? вѣдь десять рублей будетъ за него маловато».

Чертковъ протянулъ руку въ карманъ.

«Я дамъ одиннадцать!» раздалось позади его.

Онъ обратился и увидѣлъ, что народу собралась куча и что одинъ господинъ въ плащѣ долго, подобно ему, стоялъ передъ картиною. Сердце у него сильно забилось и губы тихо задрожали, какъ у человѣка, который чувствуетъ, что у него хотять отнять предметъ его исканій. Осмотрѣвши внимательно новаго покупателя, онъ нѣсколько утѣшился, замѣтивъ на немъ костюмъ, нимало не уступавшій его собственному, и произнесъ дрожащимъ голосомъ: «Я дамъ тебѣ двѣнадцать рублей, картина моя».

«Хозяинъ! картина за мною, вотъ тебѣ пятнадцать рублей!» произнесъ покупатель.

Лицо Черткова судорожно вздрогнуло, духъ захватился, и онъ невольно выговорилъ: «двадцать рублей».

Купецъ потиралъ руки отъ удовольствія, видя, что покупщики сами торгуются въ его пользу. Нарядъ гуще обступилъ покунающихъ, услышавъ носомъ, что обыкновен-

ная продажа превратилась въ аукціонъ, всегда имѣющій сильный интересъ, даже для постороннихъ. Цѣну, наконецъ, набили до пятидесяти рублей. Почти отчаянно закричалъ Чертковъ: «пятьдесятъ», вспомнивши, что у него вся сумма въ 50 рубляхъ, изъ которыхъ онъ долженъ, хотя часть, заплатить за квартиру и, кромѣ того, купить красокъ и еще кое-какихъ необходимыхъ вещей. Противникъ его въ это время отступилъ: сумма, казалось, превосходила также его состояніе, и картина осталась за Чертковымъ. Вынувши изъ кармана ассигнацію, онъ бросилъ ее въ лицо купцу и ухватился съ жадностью за картину, но вдругъ отскочилъ отъ нея, пораженный страхомъ. Темные глаза нарисованнаго старика глядѣли такъ живо и вмѣстѣ мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, въ нихъ неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человѣческіе глаза. Они были неподвижны, но, вѣрно, не были бы такъ ужасны, если бы двигались. Какое-то дикое чувство — не страхъ, но то неизъяснимое ощущеніе, которое мы чувствуемъ при появленіи странности, представляющей безпорядокъ природы, или, лучше сказать, какое-то сумасшествіе природы, — это самое чувство заставило вскрикнуть почти всѣхъ. Съ трепетомъ провелъ Чертковъ рукою по полотну, но полотно было гладко. Дѣйствіе, произведенное портретомъ, было всеобщее: народъ съ какимъ-то ужасомъ отхлынулъ отъ лавки; покупщикъ, вошедшій съ нимъ въ соперничество, боязливо удался. Сумерки въ это время ступились, казалось, для того, чтобы сдѣлать еще болѣе ужаснымъ это непостижимое явленіе. Чертковъ не въ силахъ былъ оставаться болѣе. Не смѣя и думать о томъ, чтобы взять его съ собою, онъ выбѣжалъ на улицу. Свѣжій воздухъ, громъ мостовой, говоръ народа, казалось, на минуту освѣжилъ его, но душа была все еще сжата какимъ-то тягостнымъ чувствомъ. Сколько ни обращалъ онъ глазъ по сторонамъ на окружающіе предметы, но мысли его были заняты однимъ

необыкновеннымъ явленіемъ. «Что это?» думалъ онъ самъ про себя: «искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законовъ природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человѣка есть такая черта, до которой доводить высшее познаніе искусства и черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ человѣка, онъ вырываетъ что-то живое изъ жизни, одушевляющей оригиналь. Отчего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ, наконецъ, дѣйствительность, — та ужасная дѣйствительность, на которую соскакиваетъ воображеніе съ своей оси какимъ-то постороннимъ толчкомъ, — та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ея тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка? Непостижимо! Такая изумительная, такая ужасная живость! Или черезчуръ близкое подражаніе природѣ такъ же приторно, какъ блюдо, имѣющее черезчуръ сладкій вкусъ?» Съ такими мыслями вошелъ онъ въ свою маленькую комнатку въ небольшомъ деревянномъ домѣ, на Васильевскомъ островѣ, въ 15 линіи, въ которой лежали разбросанные во всѣхъ углахъ ученическіе его начатки, копіи съ антиковъ, тщательныя, точныя, показывавшія въ художникѣ стараніе постигнуть фундаментальные законы и внутренній размѣръ природы. Долго разсматривалъ онъ ихъ, и, наконецъ, мысли его потянулись одна за другою и стали выражаться почти словами: такъ живо чувствовалъ онъ то, о чемъ размышлялъ!

«И вотъ годъ, какъ я тружусь надъ этимъ сухимъ, скелетнымъ трудомъ! Стараюсь всѣми силами узнать то, что такъ чудно дается великимъ творцамъ и кажется плодомъ минутнаго, быстрога вдохновенія. Только тронуть они кистью, и уже является у нихъ человѣкъ вольный, свободный, таковъ, какимъ онъ созданъ природою; движенія

его живы, непринужденны. Имъ это дано вдругъ, а мнѣ должно трудиться всю жизнь, всю жизнь изслѣдовать скучныя начала и стихіи, всю жизнь отдать безцвѣтной, не отвѣчающей на чувства работѣ. Вотъ мои маражня! Они вѣрны, схожи съ оригиналами; но захоти я произвести свое—и у меня выйдетъ совсѣмъ не то: нога не станетъ такъ вѣрно и непринужденно; рука не подымется такъ легко и свободно; поворотъ головы у меня вовѣки не будетъ такъ естественъ, какъ у нихъ, а мысль, а тѣ невыразимыя явленія.... Нѣтъ, я не буду никогда великимъ художникомъ!»

Размышленія его прерваны были вошедшимъ его камердинеромъ, парнемъ лѣтъ осьмнадцати, въ русской рубашкѣ, съ розовымъ лицомъ и рыжими волосами. Онъ безъ церемоніи началъ стягивать съ Черткова сапоги, который былъ погруженъ въ свои размышленія. Этотъ парень, въ красной рубашкѣ, былъ его лакей, натурщикъ, чистилъ ему сапоги, зѣвалъ въ маленькой его передней, теръ краски и пачкалъ грязными ногами его полъ. Взявши сапоги, онъ бросилъ ему халатъ и выходилъ уже изъ комнаты, какъ вдругъ оборотилъ голову назадъ и произнесъ громко: «Баринъ, свѣчу зажигать или нѣтъ?»

«Зажги», отвѣчалъ разсѣянно Чертковъ.

«Да еще хозяинъ приходилъ», примолвилъ кстаті грязный камердинеръ, слѣдуя похвальному обычаю всѣхъ людей его званія упоминать въ P. S. о томъ, что поважнѣе: «хозяинъ приходилъ и сказалъ, что если не заплатите денегъ, то вышвырнетъ всѣ ваши картины за окошко вмѣстѣ съ кроватью».

«Скажи хозяину, чтобы не беспокоился о деньгахъ», отвѣчалъ Чертковъ: «я досталъ деньги».

При этомъ онъ обратился къ карману фрака, но вдругъ вспомнилъ, что всѣ деньги свои оставилъ за портретъ у лавочника. Мысленно началъ онъ укорять себя въ безразсудности, что выбѣжалъ безъ всякой причины изъ лавки, испугавшись ничтожнаго случая, и не взялъ съ собою ни

денегъ, ни портрета. Завтра же рѣшился онъ идти къ купцу и взять деньги, почитая себя совершенно въ правѣ отказаться отъ такой покупки, тѣмъ болѣе, что его домашнія обстоятельства не позволяли сдѣлать никакой лишней издержки.

Свѣтъ луны яркимъ, бѣлымъ окномъ ложился на его полъ, захватывая часть кровати и оканчиваясь на стѣнѣ. Всѣ предметы и картины, висѣвшія въ его комнатѣ, какъ-то улыбались, захвативши иногда краями своими часть этого вѣчно-прекраснаго сіянія. Въ эту минуту какъ-то нечаянно онъ взглянулъ на стѣну и увидѣлъ на ней тотъ же самый странный портретъ, такъ поразившій его въ лавкѣ. Легкая дрожь невольно пробѣжала по его тѣлу. Первымъ дѣломъ его было позвать своего камердинера-натурщика и разспросить, какимъ образомъ и кто принесъ къ нему портретъ; но камердинерь-натурщикъ клялся, что никто не приходилъ, выключая хозяина, который былъ еще поутру и, кромѣ ключа, ничего не имѣлъ въ своихъ рукахъ. Чертковъ чувствовалъ, что волосы его зашевелились на головѣ. Сѣвши возлѣ окна, онъ сплился себя увѣрить, что здѣсь не могло ничего быть сверхъестественнаго, что мальчикъ его могъ въ это время заснуть, что хозяинъ портрета могъ его прислать, узнавши какимъ-нибудь особеннымъ случаемъ его квартиру... Короче, онъ началъ приводить всѣ тѣ плоскія изъясненія, которыя мы употребляемъ, когда хотимъ, чтобы случившееся случилось непременно такъ, какъ мы думаемъ. Онъ положилъ себѣ не смотрѣть на портретъ, но голова его невольно къ нему обращалась, и взглядъ, казалось, прилипалъ къ странному изображенію. Неподвижный взглядъ старика былъ нестерпимъ: глаза совершенно свѣтились, вбирая въ себя лунный свѣтъ, и живость ихъ до такой степени была страшна, что Чертковъ невольно закрылъ свои глаза рукою. Казалось, слеза дрожала на рѣсницахъ старика; свѣтлыя сумерки, въ которыя владычицалуна превратила ночь, увеличивали дѣйствіе: полотно пронадало, и страшное лицо старика выдвинулось и глядѣло изъ рамъ, какъ будто изъ окошка.

Приписывая это сверхъестественное дѣйствіе лунѣ, чудесный свѣтъ которой имѣеть въ себѣ тайное свойство придавать предметамъ часть звуковъ и красокъ другого міра, онъ приказалъ подать скорѣе свѣчу, около которой копался его лакей; но выраженіе портрета ничуть не уменьшилось: лунный свѣтъ, слившись съ сіяніемъ свѣчи, придавъ ему еще болѣе непостижимой и вмѣстѣ странной живости. Схвативши простыню, онъ началъ закрывать портретъ, свернулъ ее вторе, чтобы онъ не могъ сквозь нее просвѣчивать; но при всемъ томъ — или это было слѣдствіе сильно потревоженнаго воображенія, или собственные глаза его, утомленные сильнымъ напряженіемъ, получили какую-то бѣглую, движущуюся споровку, только ему долго казалось, что взоръ старика сверкалъ сквозь полотно. Наконецъ, онъ рѣшился погасить свѣчу и лечь въ постель, которая была заставлена ширмами, скрывавшими отъ него портретъ. Напрасно ожидалъ онъ сна: мысли самыя неутѣшительныя прогоняли то спокойное состояніе, которое ведетъ за собою сонъ: тоска, досада, хозяйинъ, требующій денегъ, недоконченныя картины — созданія безсильныхъ порывовъ, бѣдность — все это двигалось передъ нимъ и смѣнялось одно другимъ. И когда на минуту удавалось ему прогнать ихъ, то чудный портретъ властительно втѣснялся въ его воображеніе, и, казалось, сквозь щелку въ ширмахъ сверкали его убійственные глаза. Никогда не чувствовалъ онъ на душѣ своей такого тяжелого гнета. Свѣтъ луны, который содержитъ въ себѣ столько музыки, когда вторгается въ одинокую спальню поэта и проноситъ младенчески-очаровательныя полусны надъ его изголовьемъ, — этотъ свѣтъ луны не наводилъ на него музыкальныхъ мечтаній; его мечтанія были болѣзненны. Наконецъ, впалъ онъ не въ сонъ, но въ какое-то полузабвеніе, въ то тягостное состояніе, когда однимъ глазомъ видимъ приступающія грѣзы сновидѣній. а другимъ — въ неясномъ облакѣ окружающіе предметы.

Онъ видѣлъ, какъ поверхность старика отдѣлялась и сходила съ портрета, такъ же, какъ снимается съ кипящей

жидкости верхняя пѣна, подымалась на воздухъ и неслась къ нему ближе и ближе, наконецъ, приближалась къ самой его кровати. Чертковъ чувствовалъ занимавшееся дыханіе, силился приподняться; но руки его были неподвижны. Глаза старика мутно горѣли и вперились въ него всею магнитною своею силою.

«Не бойся», говорилъ странный старикъ, и Чертковъ замѣтилъ у него на губахъ улыбку, которая, казалось, жалела его своимъ ослабленіемъ и яркою живостью освѣтила тускляя морщины его лица. «Не бойся меня», говорило странное явленіе: «мы съ тобою никогда не разлучимся. Ты задумалъ весьма глупое дѣло: что тебѣ за охота цѣлыя вѣки корить за азбукою, когда ты давно можешь читать по верхамъ? Ты думаешь, что долгими усиліями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь», — при этомъ лицо его странно исковеркалось и какой-то неподвижный смѣхъ выразился на всѣхъ его морщинахъ: — «ты получишь завидное право кинуться съ Исакиевского моста въ Неву или, завязавши шею платкомъ, повѣситься на первомъ попавшемся гвоздѣ; а труды твои первый маляръ, накупивши ихъ на рубль, замажетъ грунтомъ, чтобы нарисовать на немъ какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все дѣлается въ свѣтѣ для пользы. Бери же скорѣе кисть и рисуй портреты со всего города! Бери все, что ни закажутъ; но не влюбляйся въ свою работу, не сиди надъ нею дни и ночи: время летитъ скоро, и жизнь не останавливается. Чѣмъ болѣе смастеришь ты въ день своихъ картинъ, тѣмъ больше въ карманѣ будетъ у тебя денегъ и славы. Брось этотъ чердакъ и найми богатую квартиру. Я тебя люблю и потому даю тебѣ такіе совѣты; я тебѣ и денегъ дамъ, только приходи ко мнѣ».

При этомъ старикъ опять выразилъ на лицѣ своемъ тотъ же неподвижный, страшный смѣхъ.

Непостижимая дрожь проняла Черткова и выступила холоднымъ потомъ на его лицѣ. Собравши всѣ свои усилія,

онъ приподнялъ руку и, наконецъ, привсталъ съ кровати. Но образъ старика сдѣлался тусклымъ, и онъ только замѣтилъ, какъ онъ ушелъ въ свои рамы. Чертковъ всталъ съ безпокойствомъ и началъ ходить по комнатѣ. Чтобы немного освѣжить себя, онъ приблизился къ окну. Лунное сіяніе лежало все еще на крышахъ и бѣлыхъ стѣнахъ домовъ, хотя небольшія тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо; изрѣдка долетало до слуха отдаленное дребезжаніе дрожекъ извозчика, который гдѣ-нибудь въ невидномъ переулкѣ спалъ, убажкиваемой своею лѣнливою клячею, поджидая запоздалаго сѣдока. Чертковъ увѣрился, наконецъ, что воображеніе его слишкомъ разстроено и представило ему во снѣ твореніе его же возмущенныхъ мыслей. Онъ подошелъ еще разъ къ портрету: простыня его совершенно скрывала отъ взоровъ, и, казалось, только маленькая искра сквозила изрѣдка сквозь нее. Наконецъ, онъ заснулъ и проспалъ до самаго утра.

Проснувшись, онъ долго чувствовалъ въ себѣ то непріятное состояніе, которое овладѣваетъ человѣкомъ послѣ угара: голова его непріятно болѣла. Въ комнатѣ было тускло, непріятная мокрота сѣялась въ воздухъ и проходила сквозь щели его оконъ, заставленныхъ картинами или натянутымъ грунтомъ. Скоро у дверей раздался стукъ, и вошелъ хозяинъ съ квартальнымъ надзирателемъ, котораго появленіе для людей мелкихъ такъ же непріятно, какъ для богатыхъ умильное лицо просителя. Хозяинъ небольшого дома, въ которомъ жилъ Чертковъ, былъ одно изъ тѣхъ твореній, какими обыкновенно бываютъ владѣтели домовъ въ пятнадцатой линіи Васильевского острова, на Петербургской сторонѣ или въ отдаленномъ углу Коломны,—твореніе, какихъ очень много на Руси и которыхъ характеръ такъ же трудно опредѣлить, какъ цвѣтъ изношеннаго сюртука. Въ молодости своей онъ былъ и капитанъ, и крикунъ, употреблялся и по штатскимъ дѣламъ, мастеръ былъ хорошо высѣчь, былъ и расторопенъ, и щеголь, и глупъ; но въ старости своей онъ слилъ въ себѣ всѣ эти рѣзкія

особенности въ какую-то тусклую неопредѣленность. Онъ былъ уже вдовѣ, былъ уже въ отставкѣ; уже не щеголялъ, не хвасталъ, не задирался; любилъ только пить чай и болтать за нимъ всякій вздоръ; ходилъ по своей комнатѣ, поправлялъ сальный огарокъ; аккуратно, по истеченіи каждаго мѣсяца, навѣдывался къ своимъ жильцамъ за деньгами; выходилъ на улицу съ ключомъ въ рукѣ, для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонялъ нѣсколько разъ дворника изъ его кануры, куда онъ запрятывался спать,—однимъ словомъ, былъ человѣкъ въ отставкѣ, которому, послѣ всей забубенной жизни и тряски на перекладной, остаются однѣ пошлыя привычки.

«Извольте сами глядѣть», сказалъ хозяинъ, обращаясь къ квартальному и разставляя руки: «извольте распорядиться и объявить ему».

«Я долженъ вамъ объявить», сказалъ квартальный надзиратель, заложивши руки за петлю своего мундира: «что вы должны непременно заплатить должныя вами уже за три мѣсяца квартирныя деньги».

«Я бы радъ заплатить, но что-жъ дѣлать, когда нечѣмъ?» сказалъ хладнокровно Чертковъ.

«Въ такомъ случаѣ хозяинъ долженъ взять себѣ вашу движимость, равностоящую суммѣ квартирныхъ денегъ, а вамъ должно немедленно сегодня же выѣхать».

«Берите все, что хотите», отвѣчалъ почти безчувственно Чертковъ.

«Картины многія не безъ искусства сдѣланы», продолжалъ квартальный, перебирая изъ нихъ нѣкоторые. «Жаль только, что не кончены, и краски-то не такъ живы... Верно, недостатокъ въ деньгахъ не позволялъ вамъ купить ихъ? А это что за картина, завернутая въ холстину?»

При этомъ квартальный, безъ церемоніи подошедши къ картинѣ, сдернулъ съ нея простыню, потому что эти господа всегда позволяютъ себѣ маленькую вольность тамъ, гдѣ видятъ совершенную беззащитность или бѣдность. Портретъ, казалось, изумилъ его, потому что необыкновен-

ная живость глазъ производила на всѣхъ равное дѣйствіе. Разсматривая картину, онъ нѣсколько крѣпко сжалъ ея рамы, и такъ какъ руки у полицейскихъ служителей всегда нѣсколько отзываются топорной работою, то рамка вдругъ лопнула; небольшая дощечка упала на полъ вмѣстѣ съ брякнувшимъ на землю сверткомъ золота, и нѣсколько блестящихъ кружковъ покатилося во всѣ стороны. Чертковъ съ жадностью бросился подбирать, и вырвалъ изъ полицейскихъ рукъ нѣсколько поднятыхъ имъ червонцевъ.

«Какъ же вы говорите, что не имѣете, чѣмъ заплатить», замѣтилъ квартальный, пріятно улыбаясь: «а между тѣмъ у васъ столько золотой монеты».

«Эти деньги для меня священны!» вскричалъ Чертковъ, опасаясь искусныхъ рукъ полицейскаго. «Я долженъ ихъ хранить, онѣ ввѣрены мнѣ покойнымъ отцомъ. Впрочемъ, чтобы васъ удовлетворить, вотъ вамъ за квартиру!» При этомъ онъ бросилъ нѣсколько червонцевъ хозяину дома.

Физиогномія и приемы въ одну минуту измѣнились у хозяина и достойнаго блюстителя за нравами пьяныхъ извозчиковъ.

Полицейскій сталъ извиняться и увѣрять, что онъ только исполнялъ предписанную форму, а впрочемъ никакъ не имѣлъ права его принудить; а чтобы болѣе въ этомъ увѣрить Черткова, онъ предложилъ ему призъ табаку. Хозяинъ дома увѣрять, что онъ только пошутилъ, и увѣрять съ такою божбою и безсовѣстностью, съ какою, обыкновенно, увѣряетъ купецъ въ Гостиномъ дворѣ.

Но Чертковъ выбѣжалъ вонъ и не рѣшился болѣе оставаться на прежней квартирѣ. Онъ не имѣлъ даже времени подумать о странности этого происшествія. Осмотрѣвши свертокъ, онъ увидѣлъ въ немъ, болѣе сотни червонцевъ. Первымъ дѣломъ его было нанять щегольскую квартиру. Квартира, попавшаяся ему, была какъ нарочно для него приготовлена: четыре въ рядъ высокія комнаты, большія окна, всѣ выгоды и удобства для художника! Лежа на турецкомъ диванѣ и глядя въ цѣльныя окна на растуція и

мелькающія волны народа, онъ былъ погруженъ въ какое-то самодовольное забвеніе и дивился самъ своей судьбѣ, еще вчера пресмыкавшейся съ нимъ на чердакѣ. Недоконченныя и оконченныя картины развѣсались по стройнымъ колоссальнымъ стѣнамъ; между ними висѣлъ таинственный портретъ, который достался ему такимъ единственнымъ образомъ. Онъ опять сталъ думать о причинѣ необыкновенной живости его глазъ. Мысли его обратились къ видѣнному имъ полусновидѣнію, наконецъ, къ чудному кладу, скрывавшемуся въ его рамкахъ. Все привело его къ тому, что кака-нибудь исторія соединена съ существованіемъ портрета, и что даже, можетъ-быть, его собственное бытіе связано съ этимъ портретомъ. Онъ вскочилъ съ своего дивана и началъ его внимательно разсматривать: въ рамѣ находился ящикъ, прикрытый тоненькой дощечкой, но такъ искусно задѣланной и заглаженной съ поверхностью, что никто бы не могъ узнать о его существованіи, если бы тяжелый палецъ квартальнаго не продавилъ дощечки. Онъ поставилъ его на мѣсто и еще разъ на него посмотрѣлъ. Живость глазъ уже не казалась ему такъ страшною среди яркаго свѣта, наполнявшаго его комнату сквозь огромныя окна, и многолюднаго шума улицы, громившаго его слухъ; но она заключала въ себѣ что-то непріятное, такъ что онъ постарался скорѣе отъ него отворотиться. Въ это время зазвенѣлъ звонокъ у дверей, и вошла къ нему почтенная дама пожилыхъ лѣтъ съ таліей въ рюмочку, въ сопровожденіи молоденькой, лѣтъ осмнадцати; лакей въ богатой ливреѣ отворилъ имъ дверь и остановился въ передней.

«Я къ вамъ съ просьбою,» произнесла дама ласковымъ тономъ, съ какимъ обыкновенно онъ говоритъ съ художниками, французскими парикмахерами и прочими людьми, рожденными для удовольствія другихъ. «Я слышала о вашихъ дарованіяхъ...» (Чертковъ удивился такой скорой своей славѣ). «Мнѣ хочется, чтобы вы сняли портретъ съ моей дочери».

При этомъ блѣдное личико дочери обратилось къ художнику, который, если бы былъ знатокъ сердца, то вдругъ бы прочелъ на немъ немноготомную исторію ея: ребяческая страсть къ баламъ, тоска и скука продолжительнаго времени до обѣда и послѣ обѣда, желаніе побѣгать въ платьѣ послѣдней моды на многолюдномъ гуляньи, нетерпѣливость увидѣть свою пріятельницу для того, чтобы ей сказать: «Ахъ, милая, какъ я скучала», или объявить, какую мадамъ Сихлеръ сдѣлала уборку къ платью княгини Б... Вотъ все, что выражало лицо молодой посѣтительницы, блѣдное, почти безъ выраженія, съ отѣнкою какой-то болѣзненной желтизны.

«Я бы желала, чтобы вы теперь же принялись за работу», продолжала дама: «мы можемъ вамъ дать часъ». Чертковъ бросился къ краскамъ и кистямъ, взявъ уже готовый натянутый грунтъ и устроился, какъ слѣдуетъ.

«Я васъ должна нѣсколько предупредить», говорила дама: «насчетъ моей Анетъ, и этимъ облегчить нѣсколько вашъ трудъ. Въ глазахъ ея и даже во всѣхъ чертахъ лица всегда была замѣтна томность; моя Анетъ очень чувствительна, и признаюсь, я никогда не даю ей читать новыхъ романов!» (Художникъ смотрѣлъ въ оба и не замѣтилъ никакой томности). «Мнѣ бы хотѣлось, чтобы вы изобразили ее престо въ семейномъ кругу, или, еще лучше, одну на чистомъ воздухѣ, въ зеленой тѣни, чтобы ничто не показывало, будто она ѣдетъ на балъ. Наши балы, должно признаться, такъ скучны и такъ убиваютъ душу, что, право, я не понимаю удовольствія бывать на нихъ».

Но на лицѣ дочери и даже самой почтенной дамы было написано рѣзкими чертами, что онѣ не пропускали ни одного бала.

Чертковъ былъ минуту въ размышленіи, какъ согласить эти небольшія противоположности, наконецъ, рѣшился избрать благоразумную средину. Притомъ его прельщало желаніе побѣдить трудности и восторжествовать надъ искусствомъ, сохранивъ двусмысленное выраженіе портрета. Кисть бросила на полотно первый туманъ, художническій хаосъ:

изъ него начали дѣлиться и выходить медленно образующіяся черты. Онъ принялъ весь къ своему оригиналу и уже началъ уловлять тѣ неуловимыя черты, которыя самому безцвѣтному оригиналу придаютъ, въ правдивой копіи, какой-то характеръ, составляющій высокое торжество истины. Какой-то сладкій трепетъ началъ имъ одолевать, когда онъ чувствовалъ, что, наконецъ, подмѣтилъ и, можетъ-быть, выразить то, что очень рѣдко удается выразить. Это наслажденіе, нетерпѣливое и прогрессивно возвышающееся, известно только таланту. Подъ кистью его лицо портрета какъ будто невольно пріобрѣтало тотъ колоритъ, который былъ для него самого внезапнымъ открытіемъ; но оригиналъ началъ такъ сильно вертѣться и зѣвать передъ нимъ, что художнику, еще неопытному, трудно было ловить урывками и мгновеніями постоянное его выраженіе.

«Мнѣ кажется, на первый разъ довольно», произнесла почтенная дама.

Боже, какъ это ужасно! А душа и силы разохотились и хотѣли разгуляться. Повѣсивши голову и бросивши палитру, стоялъ художникъ передъ своею картиною.

«Мнѣ, однакожь, сказали, что вы въ два сеанса оканчиваете совершенно портретъ», произнесла дама, подходя къ картинѣ: «а у васъ до сихъ поръ еще только почти одинъ абрисъ. Мы пріѣдемъ къ вамъ завтра въ это же время».

Молчаливо выпроводилъ своихъ гостей художникъ и остался въ непріятномъ размышленіи: въ его тѣсномъ чердакѣ никто не перебивалъ ему, когда онъ сидѣлъ надъ своею незаказною работою. Съ досадою отодвинулъ онъ начатый портретъ и хотѣлъ заняться другими недоконченными работами. Но какъ будто можно мысль и чувства, проникнувшія уже до души, замѣстить новыми, въ которыя еще не успѣло влюбиться наше воображеніе? Бросивши кисть, онъ вышелъ изъ дому.

Юность счастлива тѣмъ, что передъ нею бѣжитъ множество разныхъ дорогъ, что ея живая, свѣжая душа доступна тысячѣ разныхъ наслажденій; и потому Чертковъ разсѣялся почти въ одну минуту. Нѣсколько червонцевъ въ карманѣ—

и что не во власти исполненной силъ юности. Притомъ русскій человекъ, а особливо дворянинъ или художникъ, имѣтъ странное свойство: какъ только завелся у него въ карманѣ грошъ — ему все трывъ-трава и море по колѣна. У него оставалось еще отъ денегъ, заплаченныхъ впередъ за квартиру, около тридцати червонцевъ, и всѣ эти тридцать червонцевъ онъ спустилъ въ одинъ вечеръ. Прежде всего онъ приказалъ себѣ подать обѣдъ отличнѣйшій, выпилъ двѣ бутылки вина и не захотѣлъ взять сдачи, нанялъ щегольскую карету, чтобы только съѣздить въ театръ, находившійся въ двухъ шагахъ отъ его квартиры, угостилъ въ кондитерской трехъ своихъ друзей, зашелъ еще кое-куда и возвратился домой безъ копѣйки въ карманѣ. Бросившись въ кровать, онъ уснулъ крѣпко, но сновидѣнія его были такъ же несвязны, и грудь, какъ и въ первую ночь, сжималась, какъ будто чувствовала на себѣ что-то тяжелое. Онъ увидѣлъ сквозь шелку своихъ ширмъ, что изображеніе старика отдѣлилось отъ полотна и съ выраженіемъ безпокойства пересчитывало кучи денегъ; золото сыпалось изъ его рукъ... Глаза Черткова горѣли; казалось, его чувства узнали въ золотѣ ту неизъяснимую прелесть, которая дотолѣ ему не была понятна. Старикъ его манилъ пальцемъ и показывалъ ему цѣлую гору червонцевъ. Чертковъ судорожно протянулъ руку и проснулся. Проснувшись, онъ подошелъ къ портрету, трясъ его, изрѣзалъ ножомъ всѣ его рамы, но нигдѣ не находилъ прятанныхъ денегъ; наконецъ, махнулъ рукою и рѣшился работать, далъ себѣ слово не сидѣть долго и не увлекаться заманчивою кистью. Въ это время пріѣхала вчерашняя дама съ своею блѣдною Анетою. Художникъ поставилъ на столикъ свой портретъ, и на этотъ разъ кисть его неслась быстрѣе. Солнечный день, ясное освѣщеніе дали какое-то особенное выраженіе оригиналу, и открылось множество дотолѣ незамѣченныхъ тонкостей. Душа его загорѣлась опять напряженіемъ. Онъ силился схватить мельчайшую точку или черту, даже самую желтизну и неровное измѣненіе колорита въ лицѣ зѣвавшей и изнуренной красавицы съ тою точностью,

которую позволяют себѣ неопытные артисты, воображающіе, что истина можетъ правиться такъ же и другимъ, какъ правится имъ самимъ. Кисть его только-что хотѣла схватить одно общее выраженіе всего цѣлаго, какъ досадное «довольно» раздалось надъ его ушами, и дама подошла къ его портрету.

«Ахъ, Боже мой! что это вы нарисовали?» вскрикнула она съ досадою: «Анетъ у васъ желта; у ней подъ глазами какія-то темныя пятна; она какъ будто приняла нѣсколько скляночекъ микстуры. Нѣтъ, ради Бога, исправьте вашъ портретъ: это совѣмъ не ея лицо. Мы къ вамъ будемъ завтра въ это же время».

Чертковъ съ досадою бросилъ кисть; онъ проклиналъ и себя, и искусство, и ласковую даму, и дочь ея, и весь міръ. Голодный, просидѣлъ онъ въ своей великолѣпной комнатѣ и не имѣлъ силъ приняться ни за одну картину. На другой день, вставши рано, онъ схватилъ первую попавшуюся ему работу: это была давно начатая имъ Псишею, поставилъ ее на станокъ, съ намѣреніемъ насильно продолжать. Въ это время вошла вчерашняя дама.

«Ахъ, Анетъ, посмотри, посмотри сюда!» вскричала дама съ радостнымъ видомъ. «Ахъ, какъ похоже! Прелесть, прелесть! И носъ, и ротъ, и брови! Чѣмъ васъ благодарить за этотъ прекрасный сюрпризъ? Какъ это мило! Какъ хорошо, что эта рука немного приподнята! Я вижу, что вы, точно, тотъ великій художникъ, о которомъ мнѣ говорили».

Чертковъ стоялъ, какъ оторопѣлый, увидѣвши, что дама приняла его Псишею за портретъ своей дочери. Съ застѣнчивостью новичка онъ началъ увѣрять, что этимъ слабымъ эскизомъ хотѣлъ изобразить Псишею; но дочь приняла это себѣ за комплиментъ и довольно мило улыбнулась; улыбку раздѣлила мать. Адская мысль блеснула въ головѣ художника, чувство досады и злости подкрѣпило ее, и онъ рѣшился этимъ воспользоваться.

«Позвольте мнѣ попросить васъ сегодня посидѣть немного подолѣе», произнесъ онъ, обратясь къ довольной на этотъ

разъ блондинкѣ. «Вы видите, что платья я еще не дѣлалъ вовсе, потому что хотѣлъ все съ большею точностію рисовать съ натуры». Быстро онъ одѣлъ свою Психею въ костюмъ XIX вѣка; тронулъ слегка глаза, губы, просвѣтлилъ слегка волосы и отдалъ портретъ своимъ посѣтительницамъ. Пукъ ассигнацій и ласковая улыбка благодарности были ему наградою.

Но художникъ стоялъ, какъ прикованный къ одному мѣсту. Его грызла совѣсть; имъ овладѣла та разборчивая, мнительная боязнь за свое непорочное имя, которая чувствуется юношею, носящимъ въ душѣ благородство таланта, которая заставляетъ если не истреблять, то, по крайней мѣрѣ, скрывать отъ свѣта тѣ произведенія, въ которыхъ онъ самъ видитъ несовершенство, которая заставляетъ скорѣе вытерпѣть презрѣніе всей толпы, нежели презрѣніе истиннаго цѣнителя. Ему казалось, что уже стоитъ передъ его картиною грозный судія и, качая головою, укоряетъ его въ безстыдствѣ и бездарности. Чего бы онъ не далъ, чтобъ возвратить только ее назадъ! Уже онъ хотѣлъ бѣжать вслѣдъ за дамою, вырвать портретъ изъ рукъ ея, разорвать и растоптать его ногами, но какъ это сдѣлать? Куда итти? Онъ даже не зналъ фамиліи его посѣтительницы.

Съ этого времени, однакожъ, произошла въ жизни его счастливая переменна. Онъ ожидалъ, что безславіе покроетъ его имя, но вышло совершенно напротивъ. Дама, заказывавшая портретъ, рассказывала съ восторгомъ о необыкновенномъ художникѣ, и мастерская нашего Черткова наполнилась посѣтителями, желавшими удвоить и, если можно, удешевить свое изображеніе. Но свѣжій, еще невинный, чувствующій въ душѣ недостойнымъ себя къ принятію такого подвига, Чертковъ, чтобы сколько-нибудь загладить и искупить свое преступленіе, рѣшился заняться со всевозможнымъ стараніемъ своею работою, рѣшился удвоить напряженіе своихъ силъ, которое одно производить чудеса. Но намѣренія его встрѣтили непредвидѣнные препятствія: посѣтители его, съ которыхъ онъ рисовалъ портреты, были

большую частью народъ нетерпѣливый, занятой, торопящейся, и потому, едва только кисть его начинала творить что-нибудь не совсѣмъ обыкновенное, какъ уже вваливался новый посѣтитель, переважно выставяль свою голову, горя желаніемъ увидѣть ее скорѣе на полотнѣ, и художникъ спѣшилъ скорѣе оканчивать свою работу. Время его, наконецъ, было такъ разобрано, что онъ ни на одну минуту не могъ предаться размышленію, и вдохновеніе, безпрестанно истребляемое при самомъ рожденіи своемъ, наконецъ, отвыкло навѣщать его. Наконецъ, чтобы ускорять свою работу, онъ началъ заключаться въ извѣстныя, опредѣленныя, однообразныя, давно изношенныя формы. Скоро портреты его были похожи на тѣ фамилійныя изображенія старыхъ художниковъ, которыя такъ часто можно встрѣтить во всѣхъ краяхъ Европы и даже во всѣхъ углахъ міра, гдѣ дамы изображены съ сложенными на груди руками и держащими цвѣтокъ въ рукѣ, а кавалеры—въ мундирѣ, съ заложенною за пуговицу рукою. Иногда желалъ онъ дать новое, еще не избитое положеніе, отличавшееся бы оригинальностью и непринужденностью, но, увы! все непринужденное и легкое у поэта и художника достается слишкомъ принужденно и есть плодъ великихъ усилій. Для того, чтобы дать новое, смѣлое выраженіе, постигнуть новую тайну въ живописи, для этого нужно было ему долго думать, отвративши глаза отъ всего окружающаго, унесшись отъ всего мірскаго и жизни. Но на это у него не оставалось времени, и притомъ онъ слишкомъ былъ изнуренъ дневною работою, чтобы быть въ готовности принять вдохновеніе; міръ же, съ котораго онъ рисовалъ свои произведенія, былъ слишкомъ обыкновененъ и однообразенъ, чтобы вызвать и возмутить воображеніе. Глубоко размышляющее и вмѣстѣ неподвижное лицо директора департамента, красивое, но вѣчно на одну мѣрку лицо уланскаго ротмистра, блѣдное, съ натянутою улыбкою, петербургской красавицы и множество другихъ, уже черезчуръ обыкновенныхъ—вотъ все, что каждый день мѣнялось передъ нашимъ живописцемъ. Казалось, кисть его самъ

приобрѣла, наконецъ, ту безцвѣтность и отсутствіе энергіи, которою означались его оригиналы.

Безпрестанно мелькавшія передъ нимъ ассигнаціи и золото, наконецъ, усыпили дѣвственные движенія души его. Онъ безстыдно воспользовался слабостью людей, которые, за лишнюю черту красоты, прибавленную художникомъ къ ихъ изображеніямъ, готовы простить ему всѣ недостатки, хотя бы эта красота была во вредъ самому сходству.

Чертковъ, наконецъ, сдѣлался совершенно моднымъ живописцемъ. Вся столица обратилась къ нему; его портреты видны были во всѣхъ кабинетахъ, спальняхъ, гостинныхъ и будуарахъ. Истинные художники пожимали плечами, глядя на произведенія этого баловня могущественнаго случая. Напрасно силились они отыскать въ немъ хотя одну черту вѣрной истинѣ природы, брошенную жаркимъ вдохновеніемъ: это были правильныя лица, почти всегда недурныя собою, потому что понятіе красоты удержалось еще въ художникѣ, но никакого знанія сердца, страстей, или хотя привычекъ человѣка,—ничего такого, чтѣ бы отзывалось сильнымъ развитіемъ тонкаго вкуса. Нѣкоторые же, знавшіе Черткова, удивлялись этому странному событію, потому что видѣли въ первыхъ его началахъ присутствіе таланта, и старались разрѣшить непостижимую загадку: какъ можетъ дарованіе угаснуть въ цвѣтѣ силъ, вмѣсто того, чтобы развиться въ полномъ блескѣ?

Но этихъ толковъ не слышалъ самодовольный художникъ и величался всеобщею славою, потряхивая червонцами своими и начиная вѣрить, что все въ свѣтѣ обыкновенно и просто, что откровенія свыше въ мірѣ не существуетъ, и все необходимо должно быть подведено подъ строгій порядокъ аккуратности и однообразія. Уже жизнь его коснулась тѣхъ лѣтъ, когда все, дышащее порывомъ, сжимается въ человѣкѣ, когда могущественный смычокъ слабѣе доходить до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновеніе красоты уже не превращаетъ дѣвственныхъ силъ въ огонь и пламя, но всѣ отгорѣвшія

чувства становятся доступнѣе къ звуку золота, вслушиваются внимательнѣе въ его заманчивую музыку и мало-по-малу, нечувствительно, позволяютъ ей совершенно усыпить себя. Слава не можетъ насытить и дать наслажденіе тому, который укралъ ее, а не заслужилъ: она производитъ постоянный тресеть только въ достойномъ ея. И потому всѣ чувства и порывы его обратились къ золоту. Золото сдѣлалось его страстью, идеаломъ, страхомъ, наслажденіемъ, цѣлью. Пуки ассигнацій росли въ сундукахъ его, и, какъ всякій, которому достается этотъ страшный даръ, онъ началъ становиться скучнымъ, недоступнымъ ко всему и равнодушнымъ ко всему. Казалось, онъ готовъ былъ прерватиться въ одно изъ тѣхъ странныхъ существъ, которыя иногда попадаются въ мірѣ, на которыхъ съ ужасомъ глядитъ исполненный энергіи и страсти человекъ, и которому они кажутся живыми тѣлами, заключающими въ себѣ мертвеца. Но, однакоже, одно событіе сильно потрясло его и дало совершенно другое направленіе его жизни.

Въ одинъ день онъ увидѣлъ на столѣ своемъ записку, въ которой Академія художествъ просила его, какъ достойнаго ея члена, пріѣхать дать сужденіе свое о новомъ, присланномъ изъ Италіи, произведеніи усовершенствовавшагося тамъ русскаго художника. Этотъ художникъ былъ одинъ изъ прежнихъ его товарищей, который отъ раннихъ лѣтъ носилъ въ себѣ страсть къ искусству, съ пламенною силою труженика погрязъ въ немъ всюю душою своею и для него, оторвавшись отъ друзей, отъ родныхъ, отъ милыхъ привычекъ, бросился, безъ всякихъ пособій, въ неизвѣстную землю; терпѣлъ бѣдность, униженіе, даже голодь, но съ рѣдкимъ самоотверженіемъ, презрѣвши все, былъ безчувственъ ко всему, кромѣ своего милаго искусства.

Вошедши въ залу, нашелъ онъ толпу посѣтителей, собравшихся передъ картиною. Глубочайшее безмолвіе, какое рѣдко бываетъ между многочлюдными цѣнителями, на этотъ разъ царствовало всюду. Чертковъ, принявши значительную

физиогномію знатока, приблизился къ картинѣ; но, Боже, что онъ увидѣлъ!

Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло передъ нимъ произведеніе художника. И хоть бы какое-нибудь видно было въ немъ желаніе блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславіе, хотя бы мысль о томъ, чтобы показаться черни,—никакой, никакихъ! Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, какъ талантъ, какъ гений. Изумительно-прекрасныя фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна, и, изумленные столькими устремленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали тѣ тайныя явленія, которыхъ душа не умѣетъ, не знаетъ пересказать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ;—и все это наброшено такъ легко, такъ скромно-свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника, вдругъ осѣндившей его мысли. Вся картина была—мгновеніе, но то мгновеніе, къ которому вся жизнь человѣческая—ссть одно приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посѣтителей, окружавшихъ картину. Казалось, всѣ вкусы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой-то безмолвный гимнъ божественному произведенію. Неподвижно, съ отверстымъ ртомъ, стоялъ Чертковъ передъ картиною и, наконецъ, когда мало-по-малу посѣтители и знатоки запумѣли и начали разсуждать о достоинствѣ произведенія, и когда, наконецъ, обратились къ нему съ просьбою объявить свои мысли, онъ пришелъ въ себя; хотѣлъ принять равнодушный, обыкновенный видъ, хотѣлъ сказать обыкновенное пошлое сужденіе зачерствѣлыхъ художниковъ: что произведеніе хорошо, и въ художникѣ виденъ талантъ, но желательно, чтобы во многихъ мѣстахъ лучше была выполнена мысль и отдѣлка,—но рѣчь умерла на устахъ его, слезы и рыданія нестройно вырвались въ отнѣтъ, и онъ, какъ безумный, выбѣжалъ изъ залы.

Съ минуту, неподвижный и безчувственный, стоялъ онъ

посреди своей великолѣпной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена въ одно мгновеніе, какъ будто молодость возвратилась къ нему, какъ будто потухшія искры таланта вспыхнули снова. Боже! и погубить такъ безжалостно всѣ лучшіе годы своей юности, истребить, погасить искру огня, можетъ-быть, теплившагося въ груди, можетъ-быть, развившагося бы теперь въ величіи и красотѣ, можетъ-быть, такъ же исторгнушаго бы слезы изумленія и благодарности! И погубить все это, погубить безъ всякой жалости! Казалось, какъ будто въ эту минуту ожили въ душѣ его тѣ напряженія и порывы, которые нѣкогда были ему знакомы. Онъ схватилъ кисть и приблизился къ холсту. Потъ усилія проступилъ на его лицѣ, весь обратился онъ въ одно желаніе и, можно сказать, загорѣлся одною мыслію: ему хотѣлось изобразить отпаднаго ангела. Эта идея была болѣе всего согласна съ состояніемъ его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображеніе слишкомъ уже заключились въ одну мѣрку, и безсильный порывъ преступить границы и оковы, имѣ самнмъ на себя наброшенные, уже отзывался неправильностью и ошибкою. Онъ пренебрегъ утомительную, длинную лѣстницу постепенныхъ свѣдѣній и первыхъ основныхъ законовъ будущаго великаго. Въ досадѣ онъ принялъ прочь изъ своей комнаты всѣ труды свои, означенные мертвою блѣдностью поверхностной моды, заперъ дверь, не велѣлъ никого впускать къ себѣ и занялся, какъ жаркій юноша, своею работою. Но, увы! на каждомъ шагѣ онъ былъ останавливаемъ незнаніемъ самыхъ первоначальныхъ стихій; простой, незначущій механизмъ охлаждалъ весь порывъ и стоялъ неперескочимымъ порогомъ для воображенія. Иногда осѣнялъ его внезапный призракъ великой мысли, воображеніе видѣло въ темной перспективѣ что-то такое, чтѣ, схвативши и бросивши на полотно, можно было сдѣлать необыкновеннымъ и вмѣстѣ доступнымъ для всякой души; какая-то звѣзда чудеснаго сверкала въ неясномъ

туманъ его мыслей, потому что онъ, точно, носилъ въ себѣ призракъ таланта; но, Боже, какое-нибудь незначущее условіе, знакомое ученику, анатомическое мертвое правило — и мысль замирала, порывъ безсильнаго воображенія цѣпенѣлъ, неразсказанный, неизображенный. Кисть его невольно обращалась къ затверженнымъ формамъ, руки складывались на одинъ заученный манеръ, голова не смѣла сдѣлать необыкновеннаго поворота, даже самыя складки платья отзывались вытверженнымъ и не хотѣли повиноваться и драпироваться на незнакомомъ положеніи тѣла. И онъ чувствовалъ, онъ чувствовалъ и видѣлъ это самъ! Потъ катился съ него градомъ, губы дрожали, и послѣ долгой паузы, во время которой бугтовали внутри его всѣ чувства, онъ принимался снова; но въ тридцать слишкомъ лѣтъ труднѣе изучать скучную лѣстницу трудныхъ правилъ и анатоміи, еще труднѣе постигнуть то вдругъ, что развивается медленно и дается за долгія усилія, за великія напряженія, за глубокое самоотверженіе. Наконецъ, онъ узналъ ту ужасную муку, которая, какъ паразитическое исключеніе, является иногда въ природѣ, когда талантъ слабый силится выказаться въ превышающемъ его размѣрѣ и не можетъ выказаться, — ту муку, которая въ юношѣ рождаетъ великое, но въ перешедшемъ за грань мечтаній обращается въ безплодную жажду, — ту страшную муку, которая дѣлаетъ человѣка способнымъ на ужасныя злодѣянія. Имъ овладѣла ужасная зависть, зависть до бѣшенства. Желчь проступала у него на лицѣ, когда онъ видѣлъ произведеніе, носившее печать таланта. Онъ скрежеталъ зубами и пожиралъ его взоромъ василиска. Наконецъ, въ душѣ его возродилось самое адское намѣреніе, какое когда-либо питалъ человѣкъ, и съ бѣшеною силою бросился онъ приводить его въ исполненіе. Онъ началъ скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою цѣною, осторожно приносилъ въ свою комнату и съ бѣшенствомъ тигра на нее кидался, рвалъ, разрывалъ ее, изрѣзывалъ въ куски и топталъ ногами, сопро-

вождая ужаснымъ смѣхомъ адскаго наслажденія. Едва только появлялось гдѣ-нибудь свѣжее произведеніе, дышащее огнемъ новаго таланта, онъ употреблялъ всѣ усилія купить его во что бы то ни стало. Безчисленныя собранія имъ богатства доставляли ему всѣ средства удовлетворять этому адскому желанію. Онъ развязалъ всѣ свои золотыя мѣшки и раскрылъ сундуки. Никогда ни одно чудовище невѣжества не истребило столько прекрасныхъ произведеній, сколько истребилъ этотъ свирѣпый мститель. И люди, носившіе въ себѣ искру божественнаго познанія, жадные одного великаго, были безжалостно, безчеловѣчно лишены тѣхъ святыхъ, прекрасныхъ произведеній, въ которыхъ великое искусство приподняло покровъ съ неба и показало человѣку часть исполненнаго звуковъ и священныхъ тайнъ его внутренняго міра. Нигдѣ, ни въ какомъ уголкѣ не могли они сокрыться отъ его хищной страсти, не знавшей никакой пощады. Его зоркій, огненный глазъ проникалъ всюду и находилъ даже въ заброшенной пыли слѣдъ художественной кисти. На всѣхъ аукціонахъ, куда только показывался онъ, всякій заранѣе отчаивался въ приобрѣтеніи художественнаго созданія. Казалось, какъ будто разгнѣванное небо нарочно послало въ міръ этотъ ужасный бичъ, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колоритъ на его лицо: на немъ всегда почти была разлита желчь; глаза сверкали почти безумно; нависнувшія брови и вѣчно перерѣзанный морщинами лобъ придавали ему какое-то дикое выраженіе и отдѣляли его совершенно отъ спокойныхъ обитателей земли.

Къ счастью міра и искусствъ, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размѣръ страстей былъ слишкомъ неправиленъ и колоссаленъ для слабыхъ силъ ея. Принадки бѣшенства и безумія начали оказываться чаще, и, наконецъ, все это обратилось въ самую ужасную болѣзнь. Жестокая горячка, соединенная съ самою быстрою чахоткою, овладѣли имъ такъ свирѣпо, что

въ три дня оставалась отъ него одна тѣнь только. Къ этому присоединились всѣ признаки безнадежнаго сумасшествія. Иногда нѣсколько человѣкъ не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновеннаго портрета, и тогда бѣшенство его было ужасно. Всѣ люди, окружавшіе его постель, казались ему ужасными портретами. Портретъ этотъ двоился, четверился въ его глазахъ, и, наконецъ, ему чудилось, что всѣ стѣны были увѣшаны этими ужасными портретами, устремившими на него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядѣли на него съ потолка, съ полу, и, вдобавокъ, онъ видѣлъ, какъ комната расширялась и продолжалась пространнѣе, чтобы болѣе вмѣстить этихъ неподвижныхъ глазъ. Докторъ, принявшій на себя обязанность его пользоваться и уже нѣсколько наслышавшійся о странной его исторіи, старался всѣми силами отыскать тайное отношеніе между грезившимися ему привидѣніями и происшествіями его жизни, но ничего не могъ успѣть. Большой ничего не понималъ и не чувствовалъ, кромѣ своихъ терзаній, и пронзительнымъ, невыразимо-раздирающимъ голосомъ кричалъ и молилъ, чтобы приняли отъ него неотразимый портретъ съ живыми глазами, котораго мѣсто онъ описывалъ съ странными для безумнаго подробностями. Напрасно употребляли всѣ старанія, чтобы отыскать этотъ чудный портретъ. Все было перерыто въ домѣ, но портретъ не отыскивался. Тогда больной приподнимался съ безпокойствомъ и опять начиналъ описывать его мѣсто съ такою точностью, которая показывала присутствіе яснаго и пронзительнаго ума; но всѣ поиски были тщетны. Наконецъ, докторъ заключилъ, что это было больше ничего, кромѣ особенное явленіе безумія. Скоро жизнь его прервалась въ послѣднемъ, уже безгласномъ порывѣ страданія. Трупъ его былъ страшенъ. Ничего тоже не могли найти отъ огромныхъ его богатствъ, но, увидѣвши изрѣзанные куски тѣхъ высокихъ произведеній искусства, которыхъ цѣна превышала милліоны, поняли ужасное ихъ употребленіе.

§ II.

Множество каретъ, дрожекъ и колясокъ стояло передъ подъѣздомъ дома, въ которомъ производилась аукціонная продажа вещей одного изъ тѣхъ богатыхъ любителей искусства, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные въ зефиры и амурь, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого милліоны, накопленные ихъ основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою посѣтителей, налетѣвшихъ, какъ хищныя птицы, на неприбранное тѣло. Тутъ была цѣлая флотилія русскихъ купцовъ изъ Гостиннаго двора и даже толкучаго рынка въ синихъ нѣмецкихъ сюртукахъ. Видъ ихъ и физіогномія были здѣсь какъ-то тверже, вольнѣе и не означались тою приторною услужливостію, которая такъ видна въ русскомъ купцѣ. Они вовсе не чинились, несмотря на то, что въ этой же залѣ находилось множество тѣхъ значительныхъ аристократовъ, передъ которыми они въ другомъ мѣстѣ готовы были своими поклонами смести пылъ, нанесенную своими же сапогами. Здѣсь они были совершенно развязны, шупали безъ церемоніи книги и картины, желая узнать доброту товара, и смѣло перебивали цѣну, набавляемую графами-знатоками. Здѣсь были многіе необходимые посѣтители аукціоновъ, постановившіе каждый день бывать въ немъ вмѣсто завтрака; аристократы-знатоки, почитающіе обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцію и не находившіе другого занятія отъ 12 до 1-го часа; наконецъ, тѣ благородные господа, которыхъ платья и карманы чрезвычайно худы, которые являются ежедневно безъ всякой корыстолюбивой цѣли, но единственно, чтобы посмотрѣть, чѣмъ что кончится: кто будетъ давать больше, кто меньше, кто кого перебьетъ и за кѣмъ что останется. Множество картинъ разбросано было совершенно безъ всякаго толку; съ ними были перемѣшаны и мебели, и книги съ вензелями прежняго вла-

дѣтеля, который, вѣрно, не имѣлъ похвальнаго любопытства въ нихъ заглядывать. Китайскія вазы, мраморныя доски для столовъ, новыя и старинныя мебели съ выгнутыми линиями, съ грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченныя и безъ позолоты люстры, вѣнечеты—все было навалено и вовсе не въ такомъ порядкѣ, какъ въ магазинахъ. Все представляло какой-то хаосъ искусствъ. Вообще, ощущаемое нами чувство при видѣ аукціона странно: въ немъ все отзывается чѣмъ-то похожимъ на погребальную процессію. Залъ, въ которомъ онъ производится, всегда какъ-то мраченъ; окна, загроможденныя мебелью и картинами, скупо изливаютъ свѣтъ; безмолвіе, разлитое на лицахъ всѣхъ, и голоса: «сто рублей, рубль и двадцать копѣекъ! четыреста рублей и пятьдесятъ копѣекъ», протяжно вырывающіеся изъ устъ, какъ-то дико для слуха. Но еще болѣе производитъ впечатлѣніе погребальный голосъ аукціониста, постукивающего молоткомъ и отпѣвающего панихиду бѣднымъ, такъ странно встрѣтившимся здѣсь, искусствамъ.

Однакоже, аукціонъ еще не начинался; посѣтители разсматривали разныя вещи, набросанныя горою на полу. Между тѣмъ небольшая толпа остановилась передъ однимъ портретомъ: на немъ былъ изображенъ старикъ съ такою странною живостью глазъ, что невольно приковалъ къ себѣ ихъ вниманіе. Въ художникѣ нельзя было не признать истиннаго таланта; произведеніе хотя было не окончено, однакоже, носило на себѣ рѣзкій признакъ могущественной кисти; но при всемъ томъ эта сверхъестественная живость глазъ возбуждала какой-то невольный упрекъ художнику. Они чувствовали, что это верхъ истины, что изобразить ее въ такой степени можетъ только гений, но что этотъ гений уже слишкомъ дерзко перешагнулъ границы воли человѣка. Вниманіе ихъ прервало внезапное восклицаніе одного, уже нѣсколько пожилыхъ лѣтъ, посѣтителя. «Ахъ, это онъ!» вскрикнулъ онъ въ сильномъ движеніи и неподвижно вперилъ глаза на портретъ. Такое восклицаніе, натурально,

важно во всѣхъ любовныя, и нѣкоторые изъ разсмотрѣвшихъ никакъ не утерпѣли, чтобы не сказать, оборотившись къ нему: «Вамъ, вѣрно, извѣстно что-нибудь объ этомъ портретѣ?»

«Вы не ошиблись», отвѣчалъ сдѣлавшій невольное восклицаніе. «Точно, мнѣ болѣе нежели кому другому извѣстна исторія этого портрета. Все увѣряетъ меня, что онъ долженъ быть тотъ самый, о которомъ я хочу говорить. Такъ какъ я замѣчаю, что васъ всѣхъ интересуеетъ о немъ узнать, то я теперь же готовъ нѣсколько удовлетворить васъ». Посѣтители наклоненіемъ головы изъявили свою благодарность и съ большою внимательностію приготовились слушать.

«Безъ сомнѣнія, немногимъ изъ васъ», такъ началъ онъ: «извѣстна хорошо та часть города, которую называютъ Коломною. Характеристика ея отличается рѣзкою особенностью отъ другихъ частей города. Нравы, занятія, состоянія, привычки жителей совершенно отличны отъ прочихъ. Здѣсь ничто не похоже на столицу, но вмѣстѣ съ этимъ не похоже и на провинціальный городокъ, потому что раздробленность многосторонней и, если можно сказать, цивилизованной жизни проникла и сюда и оказалась въ такихъ тонкихъ мелочахъ, какія можетъ только родить многочисленная столица. Тутъ совершенно другой свѣтъ, и, вѣхавши въ уединенныя коломенскія улицы, вы, кажется, слышите, какъ оставляютъ васъ молодыя желанія и порывы. Сюда не заглядываетъ живительное, радужное будущее. Здѣсь все тишина и отставка. Здѣсь все, что осѣло отъ движенія столицы. И въ самомъ дѣлѣ, сюда переѣзжаютъ отставные чиновники, которыхъ пенсіонъ не превышаетъ пятисотъ рублей въ годъ; вдовы, жившія прежде мужними трудами; небогатые люди, имѣющіе пріятное знакомство съ сенатомъ и потому осудившіе себя здѣсь на цѣлую жизнь; выслужившіяся кухарки, толкающіяся цѣлый день на рынкахъ, богатющія вздоръ съ мужикомъ въ мелочной лавкѣ и забирающія каждый день на 5 копѣекъ кофею и на 4 копѣй-

ки сахару; наконецъ, весь тотъ разрядъ людей, который я назову пепельнымъ, которые, съ своимъ платьемъ, лицомъ, волосами, имѣютъ какую-то тусклую, пепельную наружность. Они похожи на сѣренькій день, когда солнце не слѣпляетъ своимъ яркимъ блескомъ, когда тоже буря не свищетъ, сопровождаемая громомъ, дождемъ и градомъ, но, просто, когда на небѣ бываетъ ни сѣ, ни то: сѣтся туманъ и отнимаетъ всю рѣзкость у предметовъ. Лица этихъ людей бывають какъ-то изъ-красна-рыжеватыя, волосы тоже красноватыя; глаза почти всегда безъ блеска; платье ихъ тоже совершенно матовое и представляетъ тотъ мутный цвѣтъ, который происходитъ, когда смѣшались всѣ краски вмѣстѣ, и, вообще, вся ихъ наружность совершенно матовая. Къ этому разряду можно причислить отставныхъ театральныхъ капельдинеровъ, уволенныхъ пятидесятилѣтнихъ титулярныхъ совѣтниковъ, отставныхъ питомцевъ Марса съ 200-рублевымъ пенсіономъ, выколотымъ глазомъ и раздутою губою. Эти люди вовсе безстрастны: имъ все тринь-трава; идутъ они, совершенно не обращая вниманія ни на какіе предметы; молчать, совершенно не думая ни о чемъ. Въ комнатѣ ихъ только кровать и штофъ чистой, русской водки, которую они однообразно сосутъ весь день, безъ всякаго смѣлаго прилива въ головѣ, возбуждаемаго сильнымъ приемомъ, какой обыкновенно любитъ задавать себѣ по воскреснымъ днямъ молодой нѣмецкій ремесленникъ, этотъ студентъ Мѣщанской улицы, одинъ владѣющій тротуаромъ за двѣнадцать часовъ ночи.

«Жизнь въ Коломнѣ всегда однообразна: рѣдко гремить въ мирныхъ улицахъ карета, кромѣ развѣ той, въ которой ѣздятъ актеры и которая звономъ, громомъ и бряканьемъ своимъ смущаетъ всеобщую тишину. Здѣсь всѣ почти—пѣшеходы. Извозчикъ рѣдко, лѣнливо, и почти всегда безъ сѣдока, волочитя, таща вмѣстѣ съ собою сѣнс для своей скромной клячи. Цѣна квартиръ рѣдко достигаетъ тысячи рублей; ихъ больше отъ 15 до 20 и 30 руб. въ мѣсяцъ, не считая множества угловъ, которые отдаются съ отопле-

нiемъ и кофеемъ за четыре съ полтиною въ мѣсяцъ. Вдовы-чиновницы, получающія пенсiонъ, самыя солидныя обитательницы этой части. Онѣ ведутъ себя очень хорошо, метутъ довольно чисто свою комнату и говорятъ съ своими сосѣдками и прiятельницами о дороговизнѣ говядины, картофеля и капусты; при нихъ находится очень часто молоденькая дочь, молчаливое, безгласное существо, впрочемъ, иногда довольно миловидное; при нихъ находится также довольно гадкая собачонка и старинныя часы съ печально постукивающимъ маятникомъ. Эти-то чиновницы занимаютъ лучшiя отдѣленiя отъ двадцати до тридцати, а иногда и до сорока рублей. За ними слѣдуютъ актеры, которымъ жалованье не позволяетъ выѣхать изъ Коломны. Это народъ свободный, какъ всѣ артисты, живущiе для наслажденiя. Они, сидя въ своихъ халатахъ, или вытачиваютъ изъ кости какiя-нибудь бездѣлки, или починиваютъ пистолеть, или клеятъ изъ картона какiя-нибудь полезныя для дома вещи, или играютъ съ пришедшимъ прiятеlemъ въ шашки или карты и такъ проводятъ утро; то же дѣлаютъ ввечеру, примѣшивая къ этому часто пуншъ. Послѣ этихъ тузовъ, этого аристократства Коломны, слѣдуетъ необыкновенная дробь и мелочь; и для наблюдателя такъ же трудно сдѣлать перечень всѣмъ лицамъ, занимающимъ разные углы и закоулки одной комнаты, какъ поименовать все то множество насѣкомыхъ, которое зарождается въ старомъ укусѣ. Какого народа вы тамъ не встрѣтите! Старухи, которыя молятся; старухи, которыя пьянствуютъ; старухи, которыя пьянствуютъ и молятся вмѣстѣ; старухи, которыя перебиваются непостижимыми средствами, какъ муравьи таскаютъ съ собою старое тряпье и бѣлье отъ Калинкина моста до толкучаго рынка съ тѣмъ, чтобы продать его тамъ за пятнадцать копѣекъ,—словомъ, весь жалкiй и несчастный осадокъ чловѣчества.

«Естественное дѣло, что этотъ народъ терпитъ иногда большой недостатокъ, не дающiй возможности вести ихъ обыкновенную, бѣдную жизнь; они должны часто дѣлать

экстренные займы, чтобы выпутаться из своих обстоятельств. Тогда находятся между ними такие люди, которые носят громкое название капиталистов и могут снабжать за разные проценты, всегда почти непомерные, суммою от двадцати до ста рублей. Эти люди мало-по-малу составляют состояние, которое позволяет завестись иногда собственным домикомъ. Но на этихъ ростовщиковъ вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилию Петромихали. Былъ ли онъ грекъ, или армянинъ, или молдаванъ — этого никто не зналъ, но, по крайней мѣрѣ, черты лица его были совершенно южныя. Ходилъ онъ всегда въ широкомъ азіатскомъ платьѣ, былъ высокаго роста, лицо его было темно-оливковаго цвѣта, нависнувшія черныя съ просѣдью брови и такіе же усы придавали ему нѣсколько страшный видъ. Никакого выраженія нельзя было замѣтить на его лицѣ: оно всегда почти было неподвижно и представляло странный контрастъ своею южною рѣзкою физиогноміею съ пепельными обитателями Коломны. Петромихали вовсе не былъ похожъ на помянутыхъ ростовщиковъ этой уединенной части города. Онъ могъ выдать сумму, какую бы только отъ него ни потребовали; натурально, что за то и проценты были тоже необыкновенны. Ветхій домъ его со множествомъ пристроекъ находился на Козьемъ-Болотѣ. Онъ былъ бы не такъ дряхлъ, если бы владѣлецъ его сколько-нибудь разорился на починку, но Петромихали не дѣлалъ рѣшительно никакихъ издержекъ. Всѣ комнаты его, выключая небольшой лачужки, которую онъ занималъ самъ, были холодныя кладовыя, въ которыхъ кучами были набросаны фарфоровыя, золотыя, яшмовыя вазы, всякій хламъ, даже мебели, которую приносили ему въ залогъ разныхъ чиновъ и званій должники, потому что Петромихали не пренебрегалъ ничѣмъ, и, несмотря на то, что давалъ по сотнѣ тысячъ, онъ также готовъ былъ служить суммою, не превышавшею рубля. Старое негодное бѣлье, изломанные стулья, даже изодранные сапоги — все готовъ онъ былъ принять въ свои кладовыя, и нищій смѣло адресовался къ нему съ узелкомъ

въ рукѣ. Дорогіе жемчуги, обвивавшіе, можетъ-быть, прелестнѣйшую шею въ мірѣ, заключались въ его грязномъ желѣзномъ сундукѣ, вмѣстѣ съ старинною табакеркою пятидесятилѣтней дамы, вмѣстѣ съ діадемою, возвышавшеюся надъ алебастровымъ лбомъ красавицы, и брилліантовымъ перстнемъ бѣднаго чиновника, получившаго его въ награду неутомимыхъ своихъ трудовъ. Но нужно замѣтить, что одна только слишкомъ крайняя нужда заставляла обращаться къ нему. Его условія были такъ тягостны, что отбивали всякое желаніе. Но страннѣ всего, что съ перваго разу проценты его казались не очень велики. Онъ посредствомъ своихъ странныхъ и необыкновенныхъ выкладокъ расположилъ такимъ непонятнымъ образомъ, что они росли у него страшной прогрессіей, и даже контрольные чиновники не могли проникнуть этого непостижимаго правила, тѣмъ болѣе, что оно казалось основаннымъ на законахъ строгой математической истины; они видѣли явно преувеличеніе итога, но видѣли тоже, что въ этихъ вычетахъ нѣтъ никакой ошибки. Жалость, какъ и всѣ другія страсти чувствующаго человѣка, никогда не достигала къ нему, и никакія мольбы не могли склонить его къ отсрочкѣ или къ уменьшенію платежа. Нѣсколько разъ находили у дверей его околѣвшихъ отъ холода несчастныхъ старухъ, которыхъ посинѣвшія лица; замерзнувшіе члены и мертвыя вытянутыя руки, казалось, и по смерти еще молили его о милости. Это возбуждало часто всеобщее негодованіе, и полиція нѣсколько разъ хотѣла разобрать внимательнѣе поступки этого страннаго человѣка, но кварталные надзиратели всегда умѣли, подъ какими-нибудь предлогами, отклонить и представить дѣло въ другомъ видѣ, несмотря на то, что они гроша не получали отъ него. Но богатство имѣетъ такую странную силу, что ему вѣрятъ, какъ государственной ассигнаціи. Оно, не показываясь, можетъ невидимо двигать всѣми, какъ работными слугами. Это странное существо сидѣло, поджавши подъ себя ноги, на почернѣвшемъ диванѣ, принимая недвижно просителей, слегка только мигнувши бровью.

въ знакъ поклона; и ничего не можно было отъ него услышать лишняго или посторонняго. Носились, однакожь, слухи, что будто бы онъ иногда давалъ деньги даромъ, не требуя возврата, но только такое предлагалъ условіе, что всѣ бѣжали отъ него съ ужасомъ, и даже самыя болтливыя хозяйки не имѣли силъ пошевелить губами, чтобы пересказать ихъ другимъ. Тѣ же, которые имѣли духъ принять даваемыя имъ деньги, желѣли, чахли и умирали, не смѣя открыть тайны.

«Въ этой части города имѣлъ небольшой домикъ одинъ художникъ, славившійся въ тогдашнее время своими дѣйствительно прекрасными произведеніями. Этотъ художникъ былъ отецъ мой. Я могу вамъ показать нѣсколько работъ его, выказывающихъ рѣшительный талантъ. Жизнь его была самая безмятежная. Это былъ тотъ скромный, набожный живописецъ, какіе только жили во время религіозныхъ среднихъ вѣковъ. Онъ могъ бы имѣть большую извѣстность и нажить большое состояніе, если бы рѣшился заняться множествомъ работъ, которыя предлагали ему со всѣхъ сторонъ; но онъ любилъ болѣе заниматься предметами религіозными и за небольшую цѣну взялся расписать весь иконостасъ приходской церкви. Часто случалось ему нуждаться въ деньгахъ, но никогда не рѣшался онъ прибѣгнуть къ ужасному ростовщику, хотя имѣлъ всегда впереди возможность уплатить долгъ, потому что ему стоило только присѣсть и написать нѣсколько портретовъ—и деньги были бы въ его карманѣ. Но ему такъ жалко было оторваться отъ своихъ занятій, такъ грустно было разлучиться, хотя на время, съ любимой мыслью, что онъ лучше готовъ былъ нѣсколько дней просидѣть голоднымъ въ своей комнатѣ, на что бы онъ всегда рѣшился, если бы не имѣлъ страстно любимой имъ жены и двухъ дѣтей, изъ которыхъ одного вы видите теперь передъ собою. Однакоже, одинъ разъ крайность его такъ увеличилась, что онъ готовъ уже былъ идти къ греку, какъ вдругъ внезапно распространилась вѣсть, что ужасный ростовщикъ находился при смерти. Это

происшествіе его поразило, и онъ уже готовъ былъ признать его нарочно посланнымъ свыше для воспрепятствованія его намѣренію, какъ встрѣтилъ въ сѣняхъ своихъ запыхавшуюся старуху, исправлявшую при ростовщикѣ три разныя должности: кухарки, дворника и камердинера. Старуха, совершенно отвыкшая говорить, находясь при своемъ странномъ господинѣ, глухо пробормотала нѣсколько несвязныхъ, отрывистыхъ словъ, изъ которыхъ отецъ мой могъ только узнать, что господинъ ея имѣеть въ немъ крайнюю нужду и просилъ его взять съ собой краски и кисти. Отецъ мой не могъ придумать, на что бы онъ могъ быть ему нуженъ въ такое время и притомъ еще съ красками и кистями, но, побуждаемый любопытствомъ, схватилъ свой ящикъ съ живописнымъ приборомъ и отправился за старухою.

«Онъ насилу могъ прорваться сквозь толпу нищихъ, обступившихъ жилище умирившаго ростовщика и питавшихъ себя надеждою, что авось-либо, наконецъ, передъ смертію, раскается этотъ грѣшникъ и раздастъ малую часть изъ безчисленнаго своего богатства. Онъ вошелъ въ небольшую комнату и увидѣлъ протянувшееся почти во всю длину ея тѣло азіатца, которое онъ принялъ было за умершее, — такъ оно вытянулось и было неподвижно. Наконецъ, высохшая голова его приподнялась, и глаза его такъ страшно устремились, что отецъ мой задрожалъ. Петромихали сдѣлалъ глухое восклицаніе и наконецъ произнесъ: «Нарисуй съ меня портретъ!» Отецъ мой изумился такому странному желанію; онъ началъ представлять ему, что теперь уже не время объ этомъ думать, что онъ долженъ отвергнуть всякое земное желаніе, что уже не много минутъ осталось жить ему и потому пора помыслить о прежнихъ своихъ дѣлахъ и принести покаяніе Всевышнему. «Я не хочу ничего: нарисуй съ меня портретъ!» произнесъ твердымъ голосомъ Петромихали, при чемъ лицо его покрылось такими конвульсіями, что отецъ мой вѣрно бы ушелъ, если бы чувство, весьма извинительное въ художникѣ, пораженномъ необыкновен-

нымъ предметомъ для кисти, не остановило его. Лицо ростовщика именно было одно изъ тѣхъ, которыя составляютъ кладъ для артиста. Со страхомъ и вмѣстѣ съ какимъ-то тайнымъ желаніемъ поставилъ онъ холстъ, за неимѣніемъ станка, къ себѣ на колѣни и началъ рисовать. Мысль употребить послѣ это лицо въ своей картинѣ, гдѣ хотѣлъ онъ изобразить одержимаго бѣсами, которыхъ изгоняетъ могущественное слово Спасителя,—эта мысль заставила его усилить свое рвеніе. Съ поспѣшностію набросалъ онъ абрисъ и первыя тѣни, опасаясь каждую минуту, что жизнь ростовщика вдругъ прервется, потому что смерть уже, казалось, носилась на устахъ его. Изрѣдка только онъ издавалъ хрипѣніе и съ безпокойствомъ устремлялъ страшный взглядъ свой на картину; наконецъ, что-то подобное радости мелькнуло въ его глазахъ, при видѣ, какъ черты его ложились на полотно. Опасаясь ежеминутно за жизнь его, отецъ мой прежде всего рѣшился заняться окончательною отдѣлкою глазъ. Это былъ предметъ самый трудный, потому что чувство, въ нихъ изображавшееся, было совершенно необыкновенно и невыразимо. Около часу трудился онъ около нихъ и, наконецъ, совершенно схватилъ тотъ огонь, который уже потухалъ въ его оригиналѣ. Съ тайнымъ удовольствіемъ онъ отошелъ немного подалѣе отъ картины, чтобы лучше разсмотрѣть ее, и съ ужасомъ отскочилъ отъ нея, увидѣвъ живые, глядящіе на него глаза. Непостижимый страхъ овладѣлъ имъ въ такой степени, что онъ, швырнувъ палитру и краски, бросился къ дверямъ; но страшное, почти полумертвое тѣло ростовщика приподнялось съ своей кровати и схватило его тощею рукою, приказывая продолжать работу. Отецъ мой клялся и крестился, что не станетъ продолжать. Тогда это ужасное существо повалилось съ своей кровати, такъ что его кости застучали, собрало всѣ свои силы, глаза его блеснули живостью, руки обхватили ноги моего отца, и онъ, ползая, цѣловалъ полы его платья и умолялъ дорисовать портретъ. Но отецъ былъ неумолимъ и дивился только силѣ его воли, перемогшей самое приближеніе смерти.

Наконецъ, отчаянный Петромихали выдвинулъ съ необыкновенною силою изъ-подъ кровати сундукъ, и страшная куча золота грянула къ ногамъ моего отца. Видя и тутъ его непреклонность, онъ повалился ему въ ноги и цѣлый потокъ заклинаній полился изъ его молчаливыхъ дотолѣ устъ. Невозможно было не чувствовать какого-то ужаснаго, и даже, если можно сказать, отвратительнаго собратанія. «Добрый человѣкъ! Божій человѣкъ! Христовъ человѣкъ!» говорилъ съ выраженіемъ отчаянія этотъ живой скелетъ: «заклинаю тебя маленькими дѣтьми твоими, прекрасною женою, гробомъ отца твоего, кончи портретъ съ меня! еще одинъ часъ, только одинъ часъ посиди за нимъ! Слушай, я тебѣ объявлю одну тайну...» При этомъ смертная блѣдность начала сильнѣе проступать на лицѣ его. «Но тайны этой никому не объявляй — ни женѣ, ни дѣтямъ твоимъ, а не то — и ты умрешь, и они умрутъ, и всё вы будете несчастны. Слушай, если ты и теперь не сжалишься, то уже больше не стану просить. Послѣ смерти я долженъ итти къ тому, къ которому бы я не хотѣлъ итти; тамъ я долженъ вытерпѣть муки, о какихъ тебѣ и во снѣ не слышалось; но я могу долго еще не итти къ нему, до тѣхъ поръ, покуда стоитъ земля наша, если ты только докончишь портретъ мой. Я узналъ, что половина жизни моей перейдетъ въ мой портретъ, если только онъ будетъ сдѣланъ искуснымъ живописцемъ. Ты видишь, что уже въ глазахъ осталась часть жизни; она будетъ и во всѣхъ чертахъ, когда ты докончишь. И хотя тѣло мое сгибнетъ, но половина жизни моей останется на землѣ, и я уѣду надолго еще отъ мукъ. Дорисуй! дорисуй! дорисуй!..» кричало раздражающимъ и умирающимъ голосомъ это странное существо. Ужасъ еще болѣе овладѣлъ моимъ отцомъ. Онъ слышалъ, какъ поднялись его волосы отъ этой ужасной тайны, и выронилъ кисть, которую было уже поднятъ, тронутый его мольбами. — «А, такъ ты не хочешь дорисовать меня?» произнесъ хрипящимъ голосомъ Петромихали. «Такъ возьми же себѣ портретъ мой: я тебѣ его дарю». При сихъ словахъ что-то въ

родъ страшнаго смѣха выразилось на устахъ его; жизнь, казалось, еще разъ блеснула въ его чертахъ, и чрезъ минуту предъ нимъ остался синій трупъ. Отецъ не хотѣлъ притронуться къ кистямъ и краскамъ, рисовавшимъ эти богоотступныя черты, и выбѣжалъ изъ комнаты.

«Чтобы развлечь неприятныя мысли, нанесенныя этимъ происшествіемъ, онъ долго ходилъ по городу и ввечеру возвратился домой. Первый предметъ, попавшійся ему въ мастерской его, былъ писанный имъ портретъ ростовщика. Онъ обратился къ женѣ, къ женщинѣ, прислуживавшей на кухнѣ, къ дворнику, но всѣ дали рѣшительный отвѣтъ, что никто не приносилъ портрета и даже не приходилъ во время его отсутствія. Это заставило его минуту задуматься. Онъ приблизился къ портрету и невольно отвратилъ глаза свои, проникнутый отвращеніемъ къ собственной работѣ. Онъ приказалъ его снять и вынести на чердакъ, но при всемъ томъ чувствовалъ какую-то странную тягость, присутствіе такихъ мыслей, которыхъ самъ пугался. Но болѣе всего поразило его, когда уже онъ легъ въ постель, слѣдующее, почти невѣроятное, происшествіе: онъ видѣлъ ясно, какъ вошелъ въ его комнату Петромихали и остановился передъ его кроватью. Долго глядѣлъ онъ на него своими живыми глазами, наконецъ, началъ предлагать ему такія ужасныя предложенія, такое адское направленіе хотѣлъ дать его искусству, что отецъ мой съ болѣзненнымъ стономъ схватился съ кровати, проникнутый холоднымъ потомъ, нестерпимою тяжестью на душѣ и вмѣстѣ самымъ пламеннымъ негодованіемъ. Онъ видѣлъ, какъ чудное изображеніе умершаго Петромихали ушло въ раму портрета, который висѣлъ снова передъ нимъ на стѣнѣ. Онъ рѣшился въ тотъ же день сжечь это проклятое произведеніе рукъ своихъ. Какъ только затопленъ былъ каминъ, онъ бросилъ его въ разгорѣвшійся огонь и съ тайнымъ наслажденіемъ видѣлъ, какъ лопались рамы, на которыхъ натянута была холста, какъ шипѣли еще невысохшія краски; наконецъ, куча золы одна только осталась отъ его существованія. И когда на-

чала она улетать легкой пылью въ трубу, казалось, какъ будто неясный образъ Петромихали улетѣлъ вмѣстѣ съ нею. Онъ почувствовалъ на душѣ какое-то облегченіе. Съ чувствомъ выздоровѣвшаго отъ продолжительной болѣзни оборотился онъ къ углу комнаты, гдѣ висѣлъ писанный имъ образъ, чтобы принести чистое покаяніе, и съ ужасомъ увидѣлъ, что передъ нимъ стоялъ тотъ же портретъ Петромихали, котораго глаза, казалось, еще болѣе получили живости, такъ что даже дѣти испустили крикъ, взглянувши на него. Это чрезвычайно поразило моего отца. Онъ рѣшился открыться во всемъ священнику нашего прихода и просить у него совѣта, какъ поступить въ этомъ необыкновенномъ дѣлѣ. Священникъ былъ разсудительный человѣкъ и, кромѣ того, преданный съ теплою любовію своей должности. Онъ немедленно явился по первому призыву къ моему отцу, котораго уважалъ, какъ достойнѣйшаго прихожанина. Отецъ не считалъ даже нужнымъ отводить его въ сторону и рѣшился тутъ же, при матери моей и дѣтяхъ, разсказать ему это непостижимое происшествіе. Но едва только призналъ онъ первое слово, какъ мать моя вдругъ глухо вскрикнула и упала безъ чувствъ на полъ. Лицо ея покрылось страшною блѣдностью, уста остались неподвижны, открыты, и всѣ черты ея исковеркались судорогами. Отецъ и священникъ подбѣжали къ ней и съ ужасомъ увидѣли, что она нечаянно проглотила десятокъ иглокъ, которыя держала во рту. Пришедшій докторъ объявилъ, что это было неизлѣчимо: иголки остановились у нея въ горлѣ, другія прошли въ желудокъ и во внутренности, и мать моя скончалась ужасною смертію.

«Это происшествіе произвело сильное вліяніе на всю жизнь моего отца. Съ этого времени какая-то мрачность овладѣла его душою. Рѣдко онъ чѣмъ-нибудь занимался, всегда почти оставался безмолвнымъ и убѣгалъ всякаго общества. Но между тѣмъ ужасный образъ Петромихали, съ его живыми глазами, сталъ преслѣдовать его неотлучно, и часто отецъ мой чувствовалъ приливъ такихъ от-

чаянныхъ, свирѣпыхъ мыслей, отъ которыхъ невольно содрогался самъ. Все то, что улегается, какъ черный осадокъ во глубинѣ человѣка, истребляется и выгоняется воспитаніемъ, благородными подвигами и лицедрвіемъ прекраснаго,—все это онъ чувствовалъ въ себѣ возмущавшимся и безпрестанно силвищимся выйти наружу и развиться во всемъ своемъ порочномъ совершенствѣ. Мрачное состояніе души его именно было таково, чтобы заставить его ухватиться за эту черную сторону человѣка. Но я долженъ замѣтить, что сила характера отца моего была безпримѣрна: власть, которую онъ бралъ надъ собою и надъ страстями, была непостижима; его убѣжденія были тверже гранита, и чѣмъ сильнѣе было искушеніе, тѣмъ онъ болѣе рвался противопоставить ему несокрушимую силу души своей. Наконецъ, обезсилѣвъ отъ этой борьбы, онъ рѣшился излить и обнажить всего себя, въ изображеніи всей повѣсти своихъ страданій, тому же священнику, который всегда почти доставлялъ ему исцѣленіе размышляющими своими рѣчами. Это было въ началѣ осени; день былъ прекрасный; солнце сіяло какимъ-то свѣжимъ осеннимъ свѣтомъ; окна нашихъ комнатъ были открыты; отецъ мой сидѣлъ съ достойнымъ священникомъ въ мастерской; мы играли съ братомъ въ комнатѣ, которая была рядомъ съ нею. Обѣ эти комнаты были во второмъ этажѣ, составлявшемъ антресоли нашего маленькаго дома. Дверь въ мастерской была нѣсколько растворена; я, какъ-то нечаянно, заглянулъ въ отверстіе, видѣлъ, что отецъ мой придвинулся ближе къ священнику и услышалъ даже, какъ онъ сказалъ ему: «Наконецъ, я открою всю эту тайну...» Вдругъ мгновенный крикъ заставилъ меня оборотиться: брата моего не было. Я подошелъ къ окну и—Боже! я никогда не могу забыть этого происшествія: на мостовой лежалъ облитый кровью трупъ моего брата. Играя, онъ, вѣрно, какъ-нибудь неосторожно перегнулся чрезъ окошко и упалъ, безъ сомнѣнія, головою внизъ, потому что она вся была разможена. Я никогда не позабуду этого ужаснаго случая. Отецъ мой стоялъ неподвиженъ

передъ окномъ, сложа накрестъ руки и подыавъ глаза къ небу. Священникъ былъ проникнутъ страхомъ, вспомнивъ объ ужасной смерти моей матери, и самъ требоваль отъ отца моего, чтобы онъ хранилъ эту ужасную тайну.

«Послѣ этого отецъ мой отдалъ меня въ корпусъ, гдѣ я провель все время своего воспитанія, а самъ удалился въ монастырь одного уединеннаго городка, окруженнаго пустынею, гдѣ бѣдный Сѣверъ уже представлялъ только дикую природу, и торжественно принялъ санъ монашескій. Всѣ тяжкія обязанности этого званія онъ несъ съ такою покорностью и смиреніемъ, всю труженическую жизнь свою онъ вель съ такимъ смиреніемъ, соединеннымъ съ энтузіазмомъ и пламенемъ вѣры, что, повидимому, ничто преступное не имѣло воли коснуться къ нему. Но страшный, имъ же начертанный образъ съ живыми глазами преслѣдовалъ его и въ этомъ почти гробовомъ уединеніи. Игумень, узнавши о необыкновенномъ талантѣ отца моего въ живописи, поручилъ ему украсить церковь нѣкоторыми образами. Нужно было видѣть, съ какимъ высокимъ религіознымъ смиреніемъ трудился онъ надъ своею работою: въ строгомъ постѣ и молитвѣ, въ глубокомъ размышленіи и уединеніи души приготавливался онъ къ своему подвигу. Неотлучно проводилъ ночи надъ своими священными изображеніями, и оттого, можетъ-быть, рѣдко найдете вы произведеній, даже значительныхъ художниковъ, которыя носили бы на себѣ печать такихъ истинно-христіанскихъ чувствъ и мыслей. Въ его праведникахъ было такое небесное спокойствіе, въ его кающихся такое душевное сокрушеніе, какія я очень рѣдко встрѣчалъ даже въ картинахъ извѣстныхъ художниковъ. Наконецъ, всѣ мысли и желанія его устремились къ тому, чтобы изобразить Божественную Матерь, кротко простирающую руки надъ молящимся народомъ. Надъ этимъ произведеніемъ трудился онъ съ такимъ самоотверженіемъ и съ такимъ забвеніемъ себя и всего міра, что часть спокойствія, разлитого его кистью въ чертахъ Божественной Покровительницы міра, казалось, перешла въ собственную его душу.

По крайней мѣрѣ, страшный образъ ростовщика пересталъ навѣщать его, и портретъ пропалъ, неизвестно куда.

«Между тѣмъ воспитаніе мое въ корпусѣ окончилось. Я былъ выпущенъ офицеромъ, но, къ величайшему сожалѣнію, обстоятельства не позволили мнѣ видѣть моего отца. Насъ отправили тогда же въ дѣйствующую армію, которая, по поводу объявленной войны турками, находилась на границѣ. Не буду надобѣдать вамъ разсказами о жизни, проведенной мною среди походовъ, биваковъ и жаркихъ схватокъ; довольно сказать, что труды, опасности и жаркій климатъ измѣнили меня совершенно, такъ что знавшіе меня прежде не узнавали вовсе. Загорѣвшее лицо, огромные усы и хриплый, крикливый голосъ придали мнѣ совершенно другую физиогномію. Я былъ весельчакъ, не думалъ о завтрашнемъ, любилъ выпорожить лишнюю бутылку съ товарищемъ, болтать вздоръ съ смазливенькими дѣвчонками, отпустить спроста глупость, — словомъ, былъ военный безпечный человѣкъ. Однакожь, какъ только окончилась кампанія, я почелъ первымъ долгомъ навѣстить отца.

«Когда подѣхалъ я къ уединенному монастырю, мною овладѣло странное чувство, какого прежде я никогда не испытывалъ: я чувствовалъ, что я еще связанъ съ однимъ существомъ, что есть еще что-то неполное въ моемъ состояніи. Уединенный монастырь, посреди природы блѣдной, обнаженной, навелъ на меня какое-то поэтическое забвеніе и далъ странное, неопредѣленное направленіе моимъ мыслямъ, какое обыкновенно мы чувствуемъ въ глубокую осень, когда листья шумятъ подъ нашими ногами, надъ головами ни листа, черныя вѣтви сквозятъ рѣдкой сѣтью, вороны каркаютъ въ далекой вышинѣ, и мы невольно ускоряемъ свой шагъ, какъ бы стараясь собрать разсѣивающіяся мысли. Множество деревянныхъ почернѣвшихъ пристроекъ окружали каменное строеніе. Я вступилъ подъ длинныя, мѣстами прогнившія, позеленѣвшія мохомъ галлерей, находившіяся вокругъ келій, и спросилъ монаха, отца Григорія. Это было имя, которое отецъ мой принялъ по вступленіи въ монашеское званіе. Мнѣ указали его келью.

«Никогда не позабуду произведеннаго имъ на меня впечатлѣнія. Я увидѣлъ старца, на блѣдномъ, изнуренномъ лицѣ котораго не присутствовало, казалось, ни одной черты, ни одной мысли о земномъ. Глаза его, привыкшіе быть устремленными къ небу, получили тотъ безстрастный, проникнутый нездѣшнымъ огнемъ видъ, который въ минуту только вдохновенія осѣняетъ художника. Онъ сидѣлъ передо мною неподвижно, какъ святой, глядящій съ полотна, на которое перенесла его рука художника, на молящійся народъ; онъ, казалось, вовсе не замѣтилъ меня, хотя глаза его были обращены къ той сторонѣ, откуда я вошелъ къ нему. Я не хотѣлъ еще открыться и потому попросилъ у него, просто, благословенія, какъ путешествующій молещикъ; но каково было мое удивленіе, когда онъ произнесъ: «Здравствуй, сынъ мой, Леонъ!» Меня это изумило: я десяти лѣтъ еще разстался съ нимъ; притомъ меня не узнавали даже тѣ, которые меня видѣли не такъ давно. «Я зналъ, что ты ко мнѣ будешь», продолжалъ онъ. «Я просилъ объ этомъ Пречистую Дѣву и св. угодника и ожидалъ тебя съ - часу - на - часъ, потому что чувствую близкую кончину и хочу тебѣ открыть важную тайну. Пойдемъ, сынъ мой, со мною и прежде помолимся!» Мы вышли въ церковь и онъ подвелъ меня къ картинѣ, изображавшей Божию Матерь, благословляющую народъ. Я былъ пораженъ глубокимъ выраженіемъ божественности въ Ея лицѣ. Долго лежалъ онъ, повергшись передъ изображеніемъ, и, наконецъ, послѣ долгаго молчанія и размышленія, вышелъ вмѣстѣ со мною.

«Послѣ того отецъ мой рассказалъ мнѣ все то, что вы сейчасъ отъ меня слышали. Въ истину его я вѣрилъ, потому что самъ былъ свидѣтелемъ многихъ печальныхъ случаевъ нашей жизни.

«Теперь я расскажу тебѣ, сынъ мой», прибавилъ онъ послѣ этой исторіи: «то, что мнѣ открылъ видѣнный мною святой, неузнанный среди многолюднаго народа никѣмъ, кромѣ меня, котораго Милосердый Создатель сподобилъ такой неизглаголанной Своей благости». При этомъ отецъ мой сложилъ руки

и устремилъ глаза къ небу, весь отданный ему всѣмъ своимъ бытіемъ. И я, наконецъ, услышалъ то, что сейчасъ готовлюсь рассказать вамъ. Вы не должны удивляться странности его рѣчей: я увидѣлъ, что онъ находился въ томъ состояніи души, которое овладѣваетъ человѣкомъ, когда онъ испытываетъ сильныя, нестерпимыя несчастія; когда, желая собрать всю силу, всю желѣзную силу души, и не находя ее довольно мощною, весь повергается въ религію; и чѣмъ сильнѣе гнетъ его несчастіи, тѣмъ пламеннѣе его духовныя созерцанія и молитвы. Онъ уже не походитъ на того тихаго размышляющаго отшельника, который, какъ къ желанной пристани, причалилъ къ своей пустынѣ, съ желаніемъ отдохнуть отъ жизни и съ христіанскимъ смиреніемъ молиться Тому, къ Которому онъ сталъ ближе и доступнѣе; напротивъ того, онъ становится чѣмъ-то исполненнымъ. Въ немъ не угаснулъ пылъ души, но, напротивъ, стремится и вырывается съ большею силою: Онъ тогда весь обратился въ религіозный пламень. Его голова вѣчно наполнена чудными снами. Онъ видитъ на каждомъ шагу видѣнія и слышитъ откровенія; мысли его раскалены; глазъ его уже не видитъ ничего, принадлежащаго землѣ; всѣ движенія, слѣдствія вѣчнаго устремленія къ одному, исполнены энтузіазма. Я съ перваго раза замѣтилъ въ немъ это состояніе и упоминаю о немъ потому, чтобы вамъ не казались слишкомъ удивительными тѣ рѣчи, которыя я отъ него услышалъ. «Сынъ мой!» сказалъ онъ мнѣ послѣ долгаго, почти неподвижнаго устремленія глазъ своихъ къ небу: «уже скоро, скоро приблизится то время, когда искуситель рода человѣческаго, антихристъ, народится въ мірѣ. Ужасно будетъ это время: оно будетъ передъ концомъ міра. Онъ промчится на конѣ-гигантѣ, и великія потеряютъ муки тѣ, которые останутся вѣрными Христу. Слушай, сынъ мой: уже давно хочетъ народиться антихристъ, но не можетъ, потому что долженъ родиться сверхъестественнымъ образомъ; а въ мірѣ нашемъ все устроено Всемогущимъ такъ, что совершается все въ естественномъ порядкѣ, и потому ему никакія силы, сынъ

мой, не помогут прорваться въ міръ. Но земля елаша — прахъ передъ Создателемъ. Она по его законамъ должна разрушаться, и съ каждымъ днемъ законы природы будутъ становиться слабѣе, и отъ того границы, удерживающія сверхъестественное, приступитѣ. Онъ уже и теперь нарождается, но только въ некоторая часть его порывается показаться въ міръ. Онъ избираетъ для себя жилищемъ самого человѣка и показывается въ тѣхъ людяхъ, отъ которыхъ уже, кажется, при самомъ рожденіи, отшатнулся ангелъ, и они клеймены страшною ненавистью къ людямъ и ко всему, что есть созданіе Творца. Таковъ-то былъ и тотъ дивный ростовщикъ, котораго дерзнулъ я, окаленный, изобразить преступною своею кистью. Это онъ, сынъ мой, это былъ самъ антихристъ. Если бы моя преступная рука не дерзнула его изобразить, онъ бы удался и исчезнулъ, потому что не могъ жить долѣе того тѣла, въ которомъ заключилъ себя. Въ этихъ отвратительныхъ живыхъ глазахъ удержалось бѣсовское чувство. Дивись, сынъ мой, ужасному могуществу бѣса. Онъ во все силится проникнуть: въ наши дѣла, въ наши мысли и даже въ самое вдохновеніе художника. Безчисленны будутъ жертвы этого адскаго духа, живущаго невидимо, безъ образа, на землѣ. Это тотъ черный духъ, который врывается къ намъ даже въ минуту самыхъ чистыхъ и святыхъ помысловъ. О, если бы моя кисть не остановила своей адской работы, онъ бы еще болѣе надѣлалъ зла, и нѣтъ силъ человѣческихъ противустать ему, потому что онъ именно выбираетъ то время, когда величайшія несчастія постигаютъ насъ. Горе, сынъ мой, бѣдному человѣчеству! Но слушай, что мнѣ открыла въ часъ святого видѣнія Сама Божія Матерь. Когда я трудился надъ изображеніемъ пречистаго лика Дѣвы Маріи, лилъ слезы покаянія о моей протекшей жизни и долго пребывалъ въ постѣ и молитвѣ, чтобы быть достойнѣе изобразить божественныя черты Ея, я былъ посвященъ, сынъ мой, вдохновеніемъ, я чувствовалъ, что высшая сила осѣнила меня и ангелъ возносилъ мою грѣшную руку, — я чувствовалъ, какъ шевелились на мнѣ волоса мои и душа

вся трепетала. О, сынъ мой! за эту минуту я бы тысячи взялъ мукъ на себя. И я самъ дивился тому, что изобразила кисть моя. Тогда же предсталъ мнѣ во снѣ пречистый ликъ Дѣвы, и я узналъ, что въ награду моихъ трудовъ и молитвъ сверхъестественное существованіе этого демона въ портретѣ будетъ невѣчно, что если кто торжественно объявить его исторію по истеченіи пятидесяти лѣтъ въ первое новолуніе, то сила его погаснетъ и разѣтается, яко прахъ, и что я могу тебѣ передать это передъ моею смертію. Уже тридцать лѣтъ протекло съ того времени, какъ онъ живетъ; двадцать впереди. Помолимся, сынъ мой!» При этомъ онъ повергнулся на колѣни и весь превратился въ молитву. Признаюсь, я внутренно всё эти слова приписывалъ распаленному его воображенію, воздвигнутому безпрестаннымъ постомъ и молитвами, и потому изъ уваженія не хотѣлъ дѣлать какого-нибудь замѣчанія или соображенія. Но когда я увидѣлъ, какъ онъ поднялъ къ небу иссохшія свои руки, съ какимъ глубокимъ сокрушеніемъ молчалъ онъ, уничтоженный въ себѣ самомъ, съ какимъ невыразимымъ умиленіемъ молилъ о тѣхъ, которые не въ силахъ были противиться адскому обольстителю и погубили все возвышенное души своей, съ какою пламенною скорбію простерся онъ, и по лицу его лились говоряція слезы, и во всѣхъ чертахъ его выразилось одно безмолвное рыданіе, — о, тогда я не въ силахъ былъ предаться холодному размышленію и разбирать слова его! Нѣсколько лѣтъ прошло послѣ его смерти. Я не вѣрилъ этой исторіи и даже мало думалъ о ней; но никогда не могъ ее никому пересказать. Я не знаю, отчего это было, но только я чувствовалъ всегда что-то удерживавшее меня отъ того. Сегодня безъ всякой цѣли зашелъ я на аукціонъ и въ первый разъ рассказалъ исторію этого необыкновеннаго портрета, такъ что я невольно начинаю думать, не сегодня ли то новолуніе, о которомъ говорилъ отецъ мой, потому что, дѣйствительно, съ того времени прошло уже 20 лѣтъ». Тутъ рассказывавшій остановился, и слушатели, внимавшіе ему съ неразвлекаемымъ участіемъ, невольно обратили

глаза свои къ странному портрету и, къ удивленію своему, замѣтили, что глаза его вовсе не сохраняли той странной живости, которая такъ поразила ихъ сначала. Удивленіе еще болѣе увеличилось, когда черты страннаго изображенія почти нечувствительно начали исчезать, какъ исчезаетъ дыханіе съ чистой стали. Что-то мутное осталось на полотнѣ. И когда подошли къ нему ближе, то увидѣли какой-то незначачій пейзажъ, такъ что посѣтители, уже уходя, долго недоумѣвали, дѣйствительно ли они видѣли таинственный портретъ, или это была мечта и представилась мгновенно глазамъ, утружденнымъ долгимъ разсматриваніемъ старинныхъ картинъ.



ВЗГЛЯДЪ НА СОСТАВЛЕНІЕ МАЛОРОССІИ *).

I. Какое ужасно - ничтожное время представляет для Россіи XIII вѣкъ! Сотни мелкихъ государствъ единовѣрныхъ, одноплеменныхъ, однопзычныхъ, означенныхъ однимъ общимъ характеромъ и которыхъ, казалось, противъ воли соединяло родство,—эти мелкія государства такъ были между собою разъединены, какъ рѣдко случается съ разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью—сильныя страсти не досягали сюда — не постоянною политикою, слѣдствіемъ непреклоннаго ума и познанія жизни: это былъ хаосъ браней за временное, за минутное—браней разрушительныхъ, потому что онѣ мало-по-малу извели народный характеръ, едва начинавшій принимать отличительную фізіогномію при сильныхъ норманскихъ князьяхъ. Религія, которая болѣе всего связываетъ и образуетъ народы, мало на нихъ дѣйствовала. Религія не срослась тогда тѣсно съ законами, съ жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившіеся въ свои кельи и закрывшіе глаза для міра; молившіеся за всѣхъ, но не знавшіе, какъ схватить съ помощью своего сильнаго оружія, вѣры, власть надъ народомъ и возжечь этой вѣрой пламень и ревность до энтузіазма, который одинъ властенъ соединить младенчествующіе народы и настроить ихъ къ великому. Здѣсь была совершенная противоположность Западу, гдѣ самодержавный папа, какъ будто невидимую паутиною, опуталъ всю Европу своею религіозною властью, гдѣ его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, гдѣ угроза страшнаго проклятія обуздывала страсти и полудикіе народы. Здѣсь монастыри были убѣжищемъ тѣхъ людей, которые кротостью и незлобіемъ составляли исключеніе изъ общаго характера и вѣка.

*) Эскизъ этотъ составляяъ введеніе къ Исторіи Малороссіи; но такъ какъ вся первая часть Исторіи Малороссіи передѣлана вовсе, то онъ остался заштатнымъ и помѣщается здѣсь, какъ совершенно отдѣльная статья.

Изрѣдка пастыри, изъ пещеръ и монастырей, увѣщали удѣльныхъ князей; но ихъ увѣщанія были напрасны: князья умѣли только поститься и строить церкви, думая, что исполняютъ этимъ всѣ обязанности христіанской религіи, а не умѣли считать ее закономъ и покоряться ея велѣніямъ. Самыя ничтожныя причины рождали между ними безконечныя войны. Это были не споры королей съ вассалами или вассаловъ съ вассалами: — нѣтъ! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцомъ и дѣтьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала ихъ: — нѣтъ! братъ брата рѣзалъ за клочокъ земли или, просто, чтобы показать удалство. Примѣръ ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двухъ сосѣднихъ удѣловъ, родственники между собою, готовы были каждую минуту возстать другъ противъ друга съ яростью волковъ. Ихъ не подвигала на это наслѣдственная вражда, потому и что кто былъ сегодня другъ, тотъ завтра дѣлался непріателемъ. Народъ приобрѣлъ хладнокровное звѣрство, потому что онъ рѣзалъ, самъ не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство—ни фанатизмъ, ни суевѣріе, ни даже предрасудокъ. Отъ того, казалось, умерли въ немъ почти всѣ человѣческія сильныя благородныя страсти, и если бы явился какой-нибудь геній, который бы захотѣлъ тогда съ этимъ народомъ совершить великое, онъ бы не нашелъ въ немъ ни одной струны, за которую бы могъ ухватиться и потрясти безчувственный составъ его, выключая развѣ физической желѣзной силы. Тогда исторія, казалось, застыла и превратилась въ географію: однообразная жизнь, шевелившаяся въ частяхъ и неподвижная въ цѣломъ, могла почестъся географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное пропшество. Изъ Азіи, изъ средины ея, изъ степей, выбросившихъ столько народовъ въ Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершившій столько завоеваній, сколько до него не производилъ никто. Ужасные монголы, съ много-

численными, никогда дотолѣ невиданными Европою, табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россію, освѣтивши путь свой пламенемъ и пожарами—прямо азиатскимъ буйнымъ наслажденіемъ. Это нашествіе наложило на Россію двухвѣковое рабство и скрыло ее отъ Европы. Были ли оно спасеніемъ для нея, сберегли ли ее для независимости, потому что удѣльные князья не сохранили бы ее отъ литовскихъ завоевателей, или оно было наказаніемъ за тѣ непрерывныя брани,—какъ-бы то ни было, но это страшное событіе произвело великія слѣдствія: оно наложило иго на сѣверныя и среднія русскія княженія, но дало между тѣмъ происхожденіе новому славянскому поколѣнію въ южной Россіи, котораго вся жизнь была борьба и котораго исторію я взялся представить.

III. Южная Россія болѣе всего пострадала отъ татаръ. Выжженные города и степи, обгорѣлые лѣса, древній, разрушенный Кіевъ, безлюдье и пустыня—вотъ что представляла эта несчастная страна! Напуганные жители разбѣжались или въ Польшу, или въ Литву; множество бояръ и князей выѣхало въ сѣверную Россію. Еще прежде народонаселеніе начало замѣтно уменьшаться въ этой сторонѣ. Кіевъ давно уже не былъ столицею; значительныя владѣнія были гораздо сѣвернѣе. Народъ, какъ бы понимая самъ свою ничтожность, оставлялъ тѣ мѣста, гдѣ разнообразная природа начинаетъ становиться изобрѣтательницею, гдѣ она раскинула степи прекрасныя, вольныя, съ безчисленнымъ множествомъ травъ почти гигантскаго роста, часто неожиданно среди нихъ опрокинула косогоръ, убранный дикими вишнями, черешнями, или обрушила рытвину, всю въ цвѣтахъ, и по всѣмъ вьющимся лентамъ рѣкъ разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днѣпръ съ насыщенными порогами, съ величественными гористыми берегами и неизмѣрными лугами—и все это согрѣла умѣреннымъ дыханіемъ юга. Онъ оставлялъ эти мѣста и столнялся въ той части Россіи, гдѣ мѣстоположеніе, однообразно-гладкое и ровное, вездѣ почти болотистое, истыканное печаль-

ными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябаніе, поражающее душу мыслящаго.—Какъ будто бы этимъ подтвердилось правило, что только народъ сильный жизнью и характеромъ ищетъ мощныхъ мѣстоположеній или что только смѣлыя и паразительныя мѣстоположенія образуютъ смѣлый, страстный, характерный народъ.

IV. Когда первый страхъ прошелъ, тогда мало-по-малу выходцы изъ Польши, Литвы, Россіи начали селиться въ этой землѣ, настоящей отчизнѣ славянъ, землѣ древнихъ полянъ, сѣверянъ, чистыхъ славянскихъ племенъ, которыя въ Великой Россіи начинали уже смѣшиваться съ народами финскими, но здѣсь сохранялись въ прежней цѣльности, со всѣми языческими повѣрьями, дѣтскими предрассудками, пѣснями, сказками, славянской мнѳологіей, такъ простодушно у нихъ смѣшавшейся съ христіанствомъ. Возвращавшіеся на свои мѣста прежніе жители привели по слѣдамъ своимъ и выходцевъ изъ другихъ земель, съ которыми отъ долговременнаго пребыванія составили связи. Это населеніе производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народъ былъ не за горами: ихъ раздѣляли или, лучше сказать, соединяли однѣ степи. Несмотря на пестроту населенія, здѣсь не было тѣхъ браней междоусобныхъ, которыя не переставали во глубинѣ Россіи: опасность со всѣхъ сторонъ не давала возможности заняться ими. Кіевъ, древняя мать городовъ русскихъ, сильно разрушенный страшными обладателями табуновъ, долго оставался бѣденъ и едва ли могъ сравниться со многими, даже не слишкомъ значительными городами сѣверной Россіи. Всѣ оставили его, даже монахи-лѣтописцы, для которыхъ онъ всегда былъ священъ. Извѣстія о немъ разомъ прервались и, несмотря на то, что тамъ оставалась еще отрасль князей русскихъ, ничто не спасло его отъ полувѣковаго забвенія. Изрѣдка только, какъ будто сквозь сонъ, говорятъ лѣтописцы, что онъ былъ страшно разоренъ, что въ немъ были ханскіе баскаки,—и потомъ онъ отъ нихъ задержался какъ бы непроницаемою завѣсою.

V. Между тѣмъ какъ Россія была повергнута татарами въ бездѣйствіе и оцѣпенѣніе, великій язычникъ, Гедиминъ, вывелъ на сцену тогдашней исторіи новый народъ,—народъ бѣдный и жизнью, и средствами для жизни, населявшій дикіе сосновые лѣса нынѣшней Бѣлоруссіи, еще носившій звѣриную кожу вмѣсто одежды, еще боготворившій Перуна и поклонявшійся древнему огню въ петроганныхъ топоромъ рощахъ, платившій прежде дань русскимъ князьямъ, извѣстный подъ именемъ литовцевъ. И этотъ народъ при своемъ князѣ Гедиминѣ сдѣлался самымъ виднымъ на огромномъ сѣверо-востокѣ Европы! Тогда города, княжества и народы на западѣ Россіи были какіе-то отрывки, обрѣзки, оставшіеся за гранью татарскаго порабощенія. Они не составляли ничего цѣлаго, и потому литовскій завоеватель почти однимъ движеніемъ языческихъ войскъ своихъ, совершенно созданныхъ имъ, подвергъ своей власти весь промежутокъ между Польшей и татарскою Россіей. Потомъ двинулъ онъ войска свои на югъ, во владѣнія волянскихъ князей. Весьма естественно, что успѣхъ сопровождалъ его вездѣ. Въ Луцкѣ, однакожъ, князь Левъ сильно сопротивлялся, но не въ силахъ былъ отстоять земель своихъ. Гедиминъ, назначивъ своихъ старостъ и начальниковъ, шелъ далѣе на югъ, къ самому сердцу южной Россіи, къ Киеву. Убѣжавшій луцкій князь Левъ успѣлъ кое-какъ уговорить кievскаго князя Станислава выйти съ своими немногочисленными дружинами навстрѣчу грозному побѣдителю; дружины были усилены союзниками-татарами; но все бѣжало передъ мощнымъ литовцемъ. Гедиминъ, сильно поразивъ ихъ при рѣкѣ Ирпети, вступилъ съ торжествомъ въ Кіевъ, носившій на себѣ свѣжую печать татарскаго посѣщенія, и поставилъ въ немъ правителемъ князя Мнидова Ольшанскаго, принявшаго греческую вѣру. И такъ, литовскій завоеватель у самыхъ татаръ вырвалъ почти передъ глазами ихъ находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борьбу между двумя народами, но Гедиминъ былъ человекъ ума крѣпкаго, былъ политикъ, несмотря на видимую свою

дикость и свое невѣжественное время. Онъ умѣлъ сохранить дружбу съ татарами, владѣя отнятыми у нихъ землями и не платя никакой дани. Этотъ дикій политикъ, не знавшій письма и поклонявшійся языческому богу, ни у одного изъ покоренныхъ имъ народовъ не измѣнилъ обычаевъ и древняго правленія: все оставилъ попрежнему, подтвердилъ привилегіи и старшинамъ строго приказалъ уважать народныя права, нигдѣ даже не означилъ пути своего опустошеніемъ. Совершенная ничтожность окружавшихъ его народовъ и прочихъ историческихъ лицъ придають ему какой-то исполнскій размѣръ. Онъ умеръ въ 1340 году; мертвый былъ посаженъ на коня съ своимъ оруженосцемъ, съ охотничьими собаками, соколами и сожженъ по языческому обычаю литовцевъ. Вслѣдъ за нимъ такіе же два сильные характера, Ольгердъ и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику съ присоединенными народами.

VI. И вотъ южная Россія, подъ могущественнымъ покровительствомъ литовскихъ князей, совершенно отдѣлилась отъ сѣверной. Всякая связь между ними разорвалась; составились два государства, называвшіяся одинакимъ именемъ— Русью, одно подъ татарскимъ игомъ, другое подъ однимъ скипетромъ съ литовцами. Но уже сношеній между ними не было. Другіе законы, другіе обычаи, другая цѣль, другія связи, другіе подвиги составили на время два совершенно различные характера. Какимъ образомъ это произошло,— составляетъ цѣль нашей исторіи. Но прежде всего нужно бросить взглядъ на географическое положеніе этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо отъ вида земли зависитъ образъ жизни и даже характеръ народа. Многое въ исторіи разрѣшаетъ географія.

Эта земля, получившая послѣ названіе Украины, простиралась на сѣверъ не далѣе 50° широты, болѣе ровна, нежели гориста. Небольшія возвышенности встрѣчаются очень часто, но ни одной гористой цѣпи. Сѣверная ея часть перемежается лѣсами, содержавшими прежде въ себѣ цѣлыя шайки медвѣдей и дикихъ кабановъ; южная вся открыта,

вся изъ степей, кипѣвшихъ плодородіемъ, но только изрѣдка застѣвавшихся хлѣбомъ. Дѣвственная и могучая почва ихъ своевольно произращала безчисленное множество травъ. Эти степи кипѣли стадами сайгъ, олеѣй и дикихъ лошадей, бродившихъ табунами. Съ сѣвера на югъ проходитъ великій Днѣпръ, опутанный вѣтвями впадающихъ въ него рѣкъ. Правый берегъ его гористъ и представляетъ плѣнительныя и вмѣстѣ дерзкія мѣстоположенія; лѣвый—весь изъ луговъ, покрытыхъ рощами, потоплявшимися водою. Двѣнадцать пороговъ—выросшихъ изъ dna рѣки скаль—недалеко отъ впаденія его въ море, преграждаютъ теченіе и дѣлаютъ плаваніе по немъ чрезвычайно опаснымъ. Около пороговъ водился родъ дикизъ козъ—*суаки* съ бѣлыми лоснящимися рогами, съ мягкою, атласною шерстью. Прежде воды въ Днѣпрѣ были выше, разливался онъ шире и далѣе потоплялъ луга свои. Когда воды начинаютъ опадать, тогда видъ поразителенъ: всѣ возвышенности выходятъ и кажутся безчисленными зелеными островами среди необозримаго океана воды. Въ Днѣпрѣ впадаетъ только одна судоходная рѣка, Десна, проходящая въ сѣверной Украинѣ, съ лѣсистыми берегами, почти съ обѣихъ сторонъ потопляемыми водою; но и эта рѣка только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ судоходна. Кромѣ того, на сѣверѣ Остеръ и часть Сейма, на югѣ Сула, Псель, съ цѣпью видовъ, Хороль и другія; но ни одна изъ нихъ не судоходна. Сообщенія никакого нѣтъ, произведенія не могли взаимно размѣниваться—и потому здѣсь не могъ и возникнуть торговый народъ. Всѣ рѣки развѣтвляются посерединѣ, ни одна изъ нихъ не протекала на рубежѣ и не служила естественною гранью съ соседственными народами. Къ сѣверу ли съ Россіей, къ востоку ли съ кипчакскими татарами, къ югу ли съ крымскими, къ западу ли съ Польшей,—вездѣ она граничила полемъ, вездѣ равнина, со всѣхъ сторонъ открытое мѣсто. Будь хотя съ одной стороны естественная граница изъ горъ или моря—и народъ, поселившійся здѣсь, удержалъ бы политическое бытіе свое, составилъ бы отдѣльное государство.

Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошеній и набѣговъ,—мѣстомъ, гдѣ сплбались три враждующія націи, унавожена костями, утучнена кровью. Одинъ татарскій наѣздъ разрушалъ весь трудъ земледѣльца; дуга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкія жилища сносимы до основанія, обитатели разгоняемы или угоняемы въ плѣнъ вмѣстѣ съ скотомъ. Это была земля страха, и потому въ ней могъ образоваться только народъ воинственный, сильный своимъ соединеніемъ,—народъ отчаянный, котораго вся жизнь была бы повита и взлелѣяна войною. И вотъ выходцы вольные и невольные, бездомные, тѣ, которымъ нечего было терять, которымъ жизнь — копѣйка, которыхъ буйная воля не могла терпѣть законовъ и власти, которымъ вездѣ грозила висѣлица, расположились и выбрали самое опасное мѣсто въ виду азіатскихъ завоевателей—татаръ и турковъ. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила цѣлый народъ, набросившій свой характеръ и, можно сказать, колоритъ на всю Украину, сдѣлавшій чудо — превратившій мирныя славянскія поколѣнія въ воинственныя, извѣстный подъ именемъ козаковъ, народъ, составляющій одно изъ замѣчательныхъ явленій европейской исторіи, которое, можетъ-быть, одно сдержало это опустошительное разлитіе двухъ магометанскихъ народовъ, грозившихъ поглотить Европу.

VII. Если не къ концу XIII, то къ началу XIV вѣка можно отнести появленіе козачества, къ тѣмъ вѣкамъ, когда святая, сильная ревность къ религіи еще не остыла въ Европѣ, когда почти вдругъ во всѣхъ концахъ безпрестанно образовывались братства и ордена рыцарскіе, составлявшіе странную противоположность съ тогдашнимъ разьединеніемъ, съ изумительнымъ самоотверженіемъ разрушившіе и отвергнувшіе условія обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дѣлъ міра, желѣзные поборники вѣры Христовой. Чѣмъ слабѣе была связь тогдашнихъ государствъ, тѣмъ сильнѣе росла ужасная сила этихъ обществъ. Разлитіе магометанства и магометанскихъ новыхъ сильныхъ

народовъ, уже врывавшихся въ Европу, увеличивало ихъ еще болѣе. Духъ этихъ братствъ распространился вездѣ и не между рыцарями, и не для подобныхъ назначеній. Въ это время явился близъ пороговъ городокъ, или острогъ—Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя котораго звучитъ обитателями Кавказа, котораго даже построеніе многіе приписываютъ имъ, и гдѣ было главное сборище и мѣстопробываніе козаковъ. Вначалѣ частыя нападенія татаръ на сѣверную часть Украины заставляли жителей спасаться бѣгствомъ, приставать къ козакамъ и увеличивать ихъ общество. Это было пестрое сборище самыхъ отчаянныхъ людей пограничныхъ націй. Дикій горецъ, ограбленный росіянинъ, убѣжавшій отъ деспотизма пановъ польскій холопъ, даже бѣглець исламизма—татаринъ, можетъ быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днѣпра, впослѣдствіи постановившему цѣлью, подобно орденскимъ рыцарямъ, вѣчную войну съ невѣрными. Это скопище людей не имѣло никакихъ укрѣпленій, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники въ днѣпровскихъ утесахъ, часто подъ водою, на днѣпровскихъ островахъ, въ гущѣ степной травы, служили имъ укрытіемъ для себя и для награбленныхъ богатствъ. Гнѣздо этихъ хищниковъ было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назадъ. Они поворотили противъ татаръ ихъ же образъ войны—тѣ же азіатскіе набѣги. Какъ жизнь ихъ опредѣлена была на вѣчный страхъ, такъ точно, съ своей стороны, они рѣшились быть страхомъ для сосѣдей. Татары и турки должны были всякій часъ ожидать этихъ неумолимыхъ обитателей пороговъ. Магометаскій сосѣдь не зналъ, какъ назвать этотъ ненавистный народъ. Если кто хотѣлъ къ кому выразить величайшее презрѣніе, то называлъ его козакомъ.

VIII. Большая часть этого общества состояла, однакожъ, изъ первобытныхъ, коренныхъ обитателей южной Россіи. Доказательство—въ языкѣ, который, несмотря на принятіе множества татарскихъ и польскихъ словъ, имѣлъ всегда

чисто-славянскую южную физиогномію, приближавшую его къ тогдашнему русскому, и въ вѣрѣ, которая всегда была греческая. Всякій имѣлъ полную волю приставать къ этому обществу, но онъ долженъ былъ непременно принять греческую религію. Это общество сохраняло всѣ тѣ черты, которыми рисуютъ шайку разбойниковъ; но, бросивши взглядъ глубже, можно было увидѣть въ немъ зародышъ политическаго тѣла, основаніе характернаго народа, уже въ началѣ имѣвшаго одну главную цѣль—воевать съ невѣрными и сохранять чистоту религіи своей. Это, однакожъ, не были строгіе рыцари католическіе: они не налагали на себя никакихъ обѣтовъ, никакихъ постовъ; не обуздывали себя воздержаніемъ и умерщвленіемъ плоти; были неукротимы, какъ ихъ дѣпровскіе пороги, и въ своихъ неистовыхъ пиршестввахъ и бражничествѣ позабывали весь міръ. То же тѣсное братство, которое сохраняется въ разбойничьихъ шайкахъ, связывало ихъ между собою. Все было у нихъ общее—вино, цехины, жилища. Вѣчный страхъ, вѣчная опасность вѣдушали имъ какое-то презрѣніе къ жизни. Козакъ больше заботился о доброй мѣрѣ вина, нежели о своей участи. Но въ нападеніяхъ видна была вся гибкость, вся смѣтливость ума, все умѣнье пользоваться обстоятельствами. Нужно было видѣть этого обитателя пороговъ въ полутатарскомъ, полупольскомъ костюмѣ, на которомъ такъ рѣзко отпечаталась пограничность земли, азіатски мчавшагося на конѣ, пропадавшаго въ густой травѣ, бросавшагося съ быстротою тигра изъ непримѣтныхъ тайниковъ своихъ, или вылѣзавшаго внезапно изъ рѣки или болота, обвѣшаннаго тиною и грязью, казавшагося страшилищемъ бѣгущему татарину. Этотъ же самый козакъ, послѣ набѣга, когда гулялъ и бражничалъ съ своими товарищами, сорилъ и разбрасывалъ награбленныя сокровища, былъ бессмысленно пьянъ и безпеченъ до новаго набѣга, если только не предупреждали ихъ татары, не разгоняли ихъ пьяныхъ и безпечныхъ и не разрывали до основанія городка ихъ, который, какъ будто чудомъ, строился вновь, и опустошительный, ужасный

набѣгъ былъ отмщеніемъ. Послѣ чего снова та же безпечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существованіе этого народа было вѣчно. Онъ никогда не уменьшался: выбывшіе, убитые, потонувшіе замѣнялись новыми. Такая разгульная жизнь примакивала всякаго. Тогда было то поэтическое время, когда все добывалось саблею, когда каждый въ свою очередь стремился быть дѣйствующимъ лицомъ, а не зрителемъ. Это скопленіе мало-по-малу получило совершенно одинъ общій характеръ и національность, и, чѣмъ ближе къ концу XV вѣка, тѣмъ болѣе увеличивалось приходившими вновь. Наконецъ, цѣлыя деревни и села начали поселяться съ домами и семействами около этого грознаго оплота, чтобы пользоваться его защитой, съ условіемъ за то нѣкоторыхъ повинностей. И такимъ образомъ мѣста около Кіева начали пустѣть, а между тѣмъ по ту сторону Днѣпра люднѣли. Семейные и женатые мало-по-малу отъ обращенія и сношенія съ ними получали тотъ же воинственный характеръ. Сабля и плугъ сдружились между собою и были у всякаго селянина. Между тѣмъ разгульные холостяки, вмѣстѣ съ червонцами, цехинами и лошадьми, стали похищать татарскихъ женъ и дочерей и жениться на нихъ. Отъ этого смѣшенія черты лица ихъ, вначалѣ разнохарактерныя, получили одну общую физиогномію, болѣе азиатскую. И вотъ составился народъ, по вѣрѣ и мѣсту жительства принадлежавшій Европѣ, но, между тѣмъ, по образу жизни, обычаямъ, костюму, совершенно азиатскій,—народъ, въ которомъ такъ странно столкнулись двѣ противоположныя части свѣта, двѣ разнохарактерныя стихіи: европейская осторожность и азиатская безпечность, простодушіе и хитрость, сильная дѣятельность и величайшая лѣнь и нѣга, стремленіе къ развитію и усовершенствованію—и между тѣмъ желаніе казаться пренебрегающимъ всякое совершенствованіе.

1832.



НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ПУШКИНѢ.

При имени Пушкина тотчасъ осѣняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болѣе назваться національнымъ; это право рѣшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ-быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится чрезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптического стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда, позабывшись, стремится русскій и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ.—Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдѣ границы Россіи отличаются рѣзкою, величавою характерностью, гдѣ гладкая неизмѣримость Россіи прерывается подоблачными горами и обвѣвается югомъ. Исполнинскій, покрытый вѣчнымъ снѣгомъ, Кавказъ, среди знойныхъ долинъ, поразилъ его; онъ, можно сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ послѣднія цѣпи, которыя еще тяготѣли на свободныхъ мысляхъ. Его плѣнила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набѣги; и съ этихъ поръ кисть его приобрѣла

тогъ широкій размахъ, ту быстроту и смѣлость, которая такъ дивила и поражала только-что начинавшую читать Россію. Рисуетъ ли онъ боевую схватку чеченца съ козакомъ—слогъ его молнія; онъ такъ же блещетъ, какъ сверкающія сабли, и дѣтитъ быстрѣ самой битвы. Онъ одинъ только пѣвецъ Кавказа: онъ влюбленъ въ него всею душою и чувствами; онъ проникнуть и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великолѣпными крымскими ночами и садами. Можетъ-быть, отъ того и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламеннѣ тамъ, гдѣ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означилъ всю силу свою, и отъ того произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имѣли чудную, магическую силу: имъ изумлялись даже тѣ, которые не имѣли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смѣлое болѣе всего доступно, сильнѣе и просторнѣ раздвигаетъ душу, а особливо юности, которая вся еще жаждетъ одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэтъ въ Россіи не имѣлъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ; ничья слава не распространялась такъ быстро. Всѣ кетати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имѣло въ себѣ что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ твореніи, уже оно расходилось повсюду *).

Онъ при самомъ началѣ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ со-

*) Подъ именемъ Пушкина разсѣивалось множество самыхъ незлыхъ стиховъ. Это обыкновенная участь таланта, пользующагося сильною извѣстностью.— Это вначалѣ смѣшнѣе, но послѣ бываетъ досадно, когда наконецъ выходишь изъ молодости и видишь эти глупости не прекращающимися. Такимъ образомъ, начали, наконецъ, Пушкину приписывать: «Лѣварство отъ холеры», «Первую ночь» и тому подобныя.

вершено. сторонній мір, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами. Если должно сказать о тѣхъ достоинствахъ, которыя составляютъ принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротѣ описанія и въ необыкновенномъ искусствѣ немногими чертами означить весь предметъ. Его эпитетъ такъ отчетистъ и смѣлъ, что иногда одинъ замѣняетъ цѣлое описаніе; кисть его летаетъ. Его небольшая пьеса всегда стоитъ цѣлой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесѣ вмѣщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но послѣднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всѣмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно-возносящеюся изъ-за облаковъ вершиною, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изслѣдованію жизни и нравовъ своихъ соотечественниковъ и захотѣлъ быть вполнѣ національнымъ поэтомъ, — эти поэмы уже не всѣхъ поразили тою яркостью и ослѣпительной смѣлостью, какими дышитъ у него все, гдѣ ни являются Эльбрусъ, горы, Крымъ и Грузія.

Явленіе это, кажется, не такъ трудно разрѣшить. Будучи поражены смѣлостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всѣ читатели его, и образованные и необразованные, требовали непрерывно, чтобы отечественныя и историческія происшествія сдѣлались предметомъ его поэзіи, позабывая, что нельзя тѣми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болѣе спокойный и гораздо менѣ исполненный страстей быть русскій. Масса публики, представляющая въ лицѣ своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: «изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинѣ, представь дѣла нашихъ предковъ въ та-

комъ видѣ, какъ они были». Но попробуй поэтъ, послушный ея велѣнiю, изобразить все въ совершенной истинѣ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: «это вяло, это слабо, это не хорошо, это нимаго не похоже на то, что было». Масса народа похожа въ этомъ случаѣ на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ! Русская исторiя только со времени послѣдняго ея направленiя при императорахъ приобретаетъ яркую живость; до того, характеръ народа большею частiю былъ безцвѣтенъ, разнообразiе страстей ему мало было извѣстно. Поэтъ не виноватъ; но и въ народѣ тоже весьма извинительное чувство придать большiй размѣръ дѣламъ своихъ предковъ. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себѣ не сохраняетъ сильнаго жара, тогда толпа почитателей, толпа народа—на его сторонѣ, а вмѣстѣ съ нимъ и деньги; или быть вѣрну одной истинѣ: быть высокимъ тамъ, гдѣ высокъ предметъ, быть рѣзкимъ и смѣлымъ, гдѣ истинно-рѣзкое и смѣлое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдѣ не кипитъ происшествiе. Но въ этомъ случаѣ прощай, толпа! ея не будетъ у него, развѣ когда самый предметъ, изображаемый имъ, уже такъ великъ и рѣзокъ, что не можетъ не произвестъ всеобщаго энтузиазма. Перваго средства не избралъ поэтъ, потому что хотѣлъ остаться поэтомъ, и потому что у всякаго, кто только чувствуетъ въ себѣ искру святаго призванiя, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талантъ такимъ средствомъ. Никто не станетъ спорить, что дикiй горецъ въ своемъ воинственномъ костюмѣ, вольный какъ воля, самъ себѣ и судья, и господинъ, гораздо ярче какого-нибудь засѣдателя и, несмотря на то, что онъ зарѣзалъ своего врага, притаясь въ ущельи, или выжегъ цѣлую деревню, однакоже онъ болѣе поражаетъ, сильнѣе возбуждаетъ въ насъ участiе, нежели нашъ судья въ

истертомъ фракѣ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. — Но тотъ и другой, они оба — явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имѣть право на наше вниманіе, хотя по весьма естественной причинѣ то, что мы рѣже видимъ, всегда сильнѣе поражаетъ наше воображеніе, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кромѣ нерасчетъ поэта — нерасчетъ передъ его многочисленною публикою, а не предъ собою: онъ ничуть не теряетъ своего достоинства, даже, можетъ быть, еще болѣе приобретаетъ его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цѣнителей. Мнѣ пришло на память одно происшествіе изъ моего дѣтства. Я всегда чувствовалъ въ себѣ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнѣ; знатоки и судьи мои были окружные сосѣди. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головою и сказалъ: «Хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свѣжіе, хорошо растущее, а не сухое». Въ дѣтствѣ мнѣ казалось досадно слышать такой судъ, но послѣ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпѣ. Сочиненія Пушкина, гдѣ дышитъ у него русская природа, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понять тотъ, чья душа носить въ себѣ чисто-русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нѣжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пѣсни и русскій духъ; потому что чѣмъ предметъ обыкновеннѣе, тѣмъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочимъ, совершенная истина. По справедливости ли оцѣнены послѣднія его поэмы? Опредѣлил ли, понялъ ли кто «Бориса Годунова».

это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, непреступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мѣрѣ, печатно нигдѣ не произнеслась имъ вѣрная оцѣнка, и они остались донынѣ нетронуты.

Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ, этой прелестной антологіи, Пушкинъ разностороненъ необыкновенно и является еще обширнѣе, виднѣе, нежели въ поэмахъ. Нѣкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ рѣзко-ослѣпительны, что ихъ способенъ понимать всякій, но за то большая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучшихъ, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать ихъ, нужно имѣть слишкомъ тонкое обоняніе, нуженъ вкусъ выше того, который можетъ понимать только однѣ слишкомъ рѣзкія и крупныя черты. Для этого нужно быть въ нѣкоторомъ отношеніи сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ѣсть птичку не болѣе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсѣмъ неопредѣленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности — привыкшему глотать издѣлія крѣпостного повара. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній — рядъ самыхъ ослѣпительныхъ картинъ. Это тотъ ясный міръ, который такъ дышитъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струѣ какой-нибудь серебряной рѣки, въ которомъ быстро и ярко мелькаютъ ослѣпительныя плечи или бѣлыя руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздія винограда, или мирты и древесная сѣнь, созданныя для жизни. Тутъ все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высота мысли, вдругъ объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здѣсь нѣтъ этого каскада краснорѣчія, увлекающаго только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаетъ наде-

нѣмъ всей массы, но если отдѣлить ее, она становится слабою и безсильною. Здѣсь нѣтъ краснорѣчія, здѣсь одна поэзія: никакого наружнаго блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается не вдругъ; все лаконизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Слово немного, но они такъ точны, что обозначаютъ все. Въ каждомъ словѣ бездна пространства; каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходитъ то, что эти мелкія сочиненія перечитываешь нѣсколько разъ, тогда какъ достоинства этого не имѣетъ сочиненіе, въ которомъ слишкомъ просвѣчиваетъ одна главная идея.

Мнѣ всегда было странно слышать сужденія объ ихъ многихъ, слывающихъ знатоками и литераторами, которымъ я болѣе довѣрялъ, пока мѣсть еще не слышалъ ихъ толковъ объ этомъ предметѣ. Эти мелкія сочиненія, можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ можно испытывать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика. Непостыжимое дѣло! Казалось, какъ бы имъ не быть доступными всѣмъ! Они такъ просто-возвышенны, такъ ярки, такъ пламенны, такъ сладострастны и, вмѣстѣ, такъ дѣтски чисты. Какъ бы не понимать ихъ! Но, увы, это неотразимая истина: что чѣмъ болѣе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болѣе изображаетъ онъ чувства, знакомыя однимъ поэтамъ, тѣмъ замѣтнѣй уменьшается кругъ обступившей его толпы, и, наконецъ, такъ становится тѣсень, что онъ можетъ перечестъ по пальцамъ всѣхъ своихъ истинныхъ цѣнителей.

1832.



ОБЪ АРХИТЕКТУРЪ НЫНѢШНЯГО ВРЕМЕНИ.

Мнѣ всегда становится грустно, когда я гляжу на новыя зданія, непрерывно строящіяся, на которыя брошены милліоны и изъ которыхъ рѣдкія останавливаютъ изумленный глазъ величествомъ рисунка или своевольной дерзостью воображенія, или даже роскошью и ослѣпительною пестротой украшеній. Невольно втѣсняется мысль: неужели прошелъ невозвратно вѣкъ архитектуры? неужели величіе и гениальность больше не посѣтятъ насъ? или они—принадлежность народовъ юныхъ, полныхъ одного энтузіазма и энергій и чуждыхъ усыпляющей, безстрастной образованности? Отчего же тѣ народы, передъ которыми мы такъ самодовольно гордимся, которымъ едва даемъ мѣсто въ исторіи міра,—отчего же они такъ возвышаются передъ нами созданіями своего темнаго, не освѣщеннаго дробью познаній, ума? Отчего же колоссальные памятники индусовъ такъ величавы и неизмѣрны, отчего аравійскіе такъ роскошны и очаровательны? отчего у насъ въ Европѣ въ средніе вѣка такъ много воздвиглось ихъ въ изумительномъ величіи?

Не хотѣлось бы убѣдиться въ этой грустной мысли, но все говоритъ, что она истинна. Они прошли—тѣ вѣка, когда вѣра, пламенная, жаркая вѣра, устремляла всѣ мысли, всѣ умы, всѣ дѣйствія къ одному, когда художникъ выше и выше стремился вознести созданіе свое къ небу, къ нему одному рвался и предъ нимъ, почти въ виду его, благоговѣйно подымалъ молящуюся свою руку. Зданіе его летѣло къ небу; узкія окна, столпы, своды тянулись нескончаемо въ вышину; прозрачный, по чти кружевной шпигъ, какъ

дымъ, сквозилъ надъ ними, и величественный храмъ такъ бывалъ великъ передъ обыкновенными жилищами людей, какъ велики требованія души нашей передъ требованіями тѣла.

Была архитектура необыкновенная, христіанская, національная для Европы—и мы ее оставили, забыли, какъ будто чужую; пренебрегли, какъ неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три вѣка протекло, и Европа, которая жадно бросалась на все, алчно перенимала все чужое, удивлялась чудесамъ древнимъ, римскимъ и византійскимъ, или уродовала ихъ по своимъ формамъ,—Европа не знала, что среди ея находятся чуда, передъ которыми было ничто все ею видѣнное, что въ нѣдрѣ ея находятся миланскій и кельнскій соборы, и еще донныѣ чертѣють кирпичи недоконченной башни страсбургскаго мюнстера.

Готическая архитектура, та готическая архитектура, которая образовалась передъ окончаніемъ среднихъ вѣковъ, есть явленіе такое, какого еще никогда не производилъ вкусъ и воображеніе человѣка. Ее напрасно производятъ отъ арабской: идеи этихъ двухъ родовъ совершенно расходятся; изъ арабской она заимствовала только одно искусство сообщать тяжелой массѣ зданія роскошь украшеній и легкость, но самая эта роскошь украшеній вылилась у ней совершенно въ другую форму.—Она обширна и возвышенна, какъ христіанство. Въ ней все соединено вмѣстѣ: этотъ стройно и высоко возносящійся надъ головою лѣсъ сводовъ, окна огромныя, узкія, съ безчисленными измѣненіями и переплетами, присоединеніе къ этой ужающей колоссальности массы самыхъ мелкихъ, пестрыхъ украшеній; эта легкая паутина рѣзбы, опутывающая его своею сѣтью, обвивающая его отъ подножія до конца шпнца и улетающая вмѣстѣ съ нимъ на небо; величіе и вмѣстѣ красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость—это такія достоинства, которыхъ никогда, кромѣ этого времени, не вмѣщала въ себѣ архитектура. Вступая въ священный мракъ этого храма, сквозь который фантастически глядитъ разно-

цвѣтныи цвѣтъ оконъ, поднявши глаза кверху, гдѣ тянутся, пересѣкаясь, стрѣльчатые своды одинъ надъ другимъ, и имъ конца нѣтъ, — весьма естественно ощутить въ душѣ невольный ужасъ присутствія святыни, которой не смѣять и коснуться дерзновенный умъ человѣка.

Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Какъ только энтузіазмъ среднихъ вѣковъ угасъ и мысль человѣка раздробилась и устремилась на множество разныхъ цѣлей, какъ только единство и цѣлость одного исчезли, — вмѣстѣ съ тѣмъ исчезло и величіе. Силы его, раздробившись, сдѣлались малыми: онъ произвелъ вдругъ во всѣхъ родахъ множество удивительныхъ вещей, но истинно великаго, исполнскаго уже не было. Византіицы, убѣжавши изъ своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкусъ европейцевъ и колоссальную ихъ архитектуру. Византіицы давно уже не имѣли древняго аттическаго вкуса; они уже не имѣли и первоначальнаго византійскаго и принесли только испорченные остатки его. Они языческія, круглыя, плѣнительныя, сладострастныя формы куполовъ и колоннъ тщились примѣнить къ христіанству, и примѣнили такъ же неудачно, какъ неудачно привили христіанство къ своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свѣжести. Куполь вытянулся вверхъ и сдѣлался почти угловатымъ; стройныя линіи, фронтоны какъ-то странно изломались и произвели ничтожныя формы. Въ такомъ видѣ получили эту архитектуру европейцы, которые, съ своей стороны, измѣнили ее еще болѣе, потому что въ душѣ своей еще носили первоначальный образъ готическій и мысль, совершенно противоположную разслабленной многосторонности грековъ. Тогда произошли тяжелые дворцы съ колоннами, полуколоннами безъ всякой цѣли. Все это было робко, мелко. Это была не роскошь, но искаженность простоты. Множество миеологическихъ головъ и украшеній безъ смысла, облѣпивъ тяжелую массу, не придали ей никакой легкости, не смягчили крѣпкихъ чертъ ея нѣжными и не выразили никакой идеи. Стремленіе въ высоту, сообщавшее величіе и легкость са-

имъ тяжелымъ массамъ, исчезло; вмѣсто того онѣ раз-
ѣхались въ ширину.

Но церкви, строенныя въ XVII и началѣ XVIII вѣка,
еще менѣе выражаютъ идею своего назначенія. Глядя на
нихъ, кажется, чувствуешь то же, какъ если бы человѣкъ
грубый началъ поддѣлываться подѣ свѣтскую утонченность.
Въ нихъ прямая линія безъ всякаго условія вкуса соеди-
нялась съ выгнутою и кривою; при полуготической формѣ
всей массы, они ничего не имѣютъ въ себѣ готическаго:
окна мелкія, сбитыя въ кучу, или раскиданныя безъ всякой
гармоніи; пилястры, не тянувшіеся во всю длину зданія,
но приклеенные иногда вверху, подѣ куполомъ, иногда на
серединѣ, коротенькіе, неуклюжіе, сверхъ которыхъ часто
находится другой этажъ такихъ же колоннъ, маленькіхъ,
некрасивыхъ; крыша изъ ломаныхъ линій; при этомъ ча-
сто удерживался и готическій шпигль, но уже не тотъ легкій
и прозрачный, который подѣ рукою художника среднихъ
вѣковъ принималъ такую воздушность, но тяжелый, массив-
ный, который уже вовсе не летѣлъ къ небу. Все, что только
отзывалось высокими, устремленными кверху готическими
детальями, было оставлено, какъ безвкусное.

Хотя въ продолженіе XVIII вѣка вкусъ нѣсколько улуч-
шился, но изъ этого не выиграли мы ровно ничего: онъ
улучшился въ веригахъ чужихъ формъ. Тяжесть готиче-
ская была справедливо изгнана совершенно, потому что
она въ греческой формѣ была уже до невозможности без-
образна. Тогда еще съ большимъ рвеніемъ стали изучать
древнія формы, но изучали такъ, какъ робкіе ученики, ко-
пирующие съ точностью мелочныя подробности оригинала и
позабывающіе объ идеѣ цѣлаго. Брالی части и съ необыкно-
веннымъ излишествомъ лѣпили въ огромную массу, пока-
завшую еще никогда дотолѣ небывалое разьединеніе въ
цѣломъ. Колонны и куполь, больше всего прельстившіе насъ,
начали приставлять къ зданію безъ всякой мысли и во
всякомъ мѣстѣ: они уже не были главною идеею строенія,
а только частями, или, лучше, украшеніями его. Размѣръ

самаго строенія мы увеличили гораздо болѣе, а размѣръ купола въ отношеніи къ строенію уменьшили. Мы не посмотрѣли въ увеличительное стекло на строеніе, которое избрали моделью, не взглянули на него, отошедши на извѣстное разстояніе, но смотрѣли вблизи. Куполь сдѣлался ничтожнымъ, малымъ. Видя его пустынную и одиночество наверху зданія, прибавили къ нему нѣсколько другихъ, возвысили для этого надъ ними башни — и куполы стали походить на грибы. И куполь, это лучшее, прелестнѣйшее твореніе вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который долженъ былъ обнять все строеніе и роскошно отдыхать на всей его массѣ бѣлою, облачною своею поверхностью, исчезъ совершенно. Я люблю куполь, тотъ прекрасный, огромный, легко-выпуклый куполь, который возродилъ роскошный вкусъ грековъ въ александрійскій вѣкъ и позже, въ вѣкъ наслажденій и эгоизма, вѣкъ утонченнаго раздробленія жизни, вѣкъ антологіи, легкой, душистой, дышащей сладострастіемъ, лѣнью и роскошью, когда каждый принадлежалъ себѣ, жилъ для себя, а не для общества, когда на великолѣпныхъ, роскошныхъ баняхъ, вездѣ былъ виденъ этотъ смѣло-выпуклый, какъ небесный сводъ, куполь. Ничто не можетъ такъ сладострастно, такъ плѣнительно украсить массу домовъ, какъ такой куполь. Но для этого онъ долженъ быть помѣщенъ только на томъ зданіи, которое неизмѣримо своею шириною и какъ можно болѣе захватываетъ пространства; онъ долженъ лечь на всей обширной его платформѣ; онъ долженъ быть свѣтлѣе самаго зданія, и лучше, если онъ весь бѣлый. Ослѣпительная бѣлизна сообщаетъ неизъяснимую очаровательность и полноту его легко-выпуклой формѣ, — онъ тогда лучше, роскошнѣе и облачнѣе круглится на небѣ. И донныѣ города сирійскіе и антиохійскіе имѣютъ необыкновенную прелесть черезъ то, что удержали нѣкоторое подобіе этихъ куполовъ; и донныѣ на Востокѣ можно встрѣтить ихъ въ величавомъ и огромномъ видѣ.

Портикъ съ колоннами, это ясное произведеніе аттиче-

скаго стройнаго вкуса, который не терпѣлъ надъ собою никакихъ надстроекъ, у насъ тоже пропалъ: ему не догадались дать колоссальнаго размѣра, раздвинуть во всю ширину зданія, возвысить во всю выпину его. Его не развили, не увеличили, но стали употреблять въ обыкновенномъ видѣ. Удивительно ли, что зданія, которыя требовались огромныя, казались пусты, потому что фронтоны съ колоннами лѣпились только надъ крыльцами ихъ. Грозозидимыя надъ ними въ церквахъ, дворцахъ башни и массы, вовсе ему не отвѣчавшія, подавили и уничтожили его совершенно. Такимъ самымъ образомъ поэтъ, не имѣющій обширнаго генія, всегда недоволенъ однимъ простымъ сюжетомъ и, вмѣсто того, чтобы развить его и сдѣлать огромнымъ, онъ привязываетъ къ нему множество другихъ; его поэма обременяется пестротой разныхъ предметовъ, но не имѣетъ одной господствующей мысли и не выражаетъ одного цѣлаго.

Въ началѣ XIX столѣтія вдругъ распространилась мысль объ аттической простотѣ и такъ же, какъ обыкновенно бываетъ, обратилась въ моду и отразилась вдругъ на всемъ, начиная съ дамскихъ костюмовъ, преобразовавшихся въ небрежное, легкое одѣяніе гетеръ. Казалось, еще ближе присмотрѣлись къ древнимъ, еще глубже изучили ихъ духъ; но все, что ни строили по ихъ образцу, все носило отпечатокъ мелкости и миниатюрности: узнали искусство болѣе связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величіе всему цѣлому и опредѣлять ему размѣръ, способный вызвать изумленіе. Это новое стремленіе рѣшительно было издержано на мелочныя бесѣдки, павильоны въ садахъ и подобныя небольшія игрушки. Они носили въ себѣ много аттическаго, но ихъ нужно было разсматривать въ микроскопъ. Въ огромныхъ же публичныхъ зданіяхъ не считали за нужное ими руководствоваться; они сдѣлались, наконецъ, просты до плоскости. Самое вредное направленіе архитектурѣ внушила мысль о соразмѣрности, не о той соразмѣрности, которая должна быть въ строеніи въ отношеніи къ нему самому, но просто

о соразмѣрности въ отношеніи къ окружающимъ его аданіямъ. Это все равно, если бы геній сталъ удерживаться отъ оригинальнаго и необыкновеннаго, потому только, что передъ нимъ будутъ слишкомъ уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмѣрность состояла еще въ томъ, чтобы строеніе, какъ бы велико ни было въ своемъ объемѣ, но непременно чтобы казалось малымъ. Его стали уединять и помѣщать на такой огромной и обширной площади, что оно казалось еще болѣе ничтожнымъ. Какъ будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое совсѣмъ не велико; какъ будто бы насильно старались истребить въ душѣ благоговѣніе и сдѣлать человѣка равнодушнымъ ко всему.

Во всемъ строеніямъ городскимъ стали давать совершенно плоскую, простую форму. Дома старались дѣлать какъ можно болѣе похожими одинъ на другого; но они болѣе были похожими на сараи и казармы, нежели на веселыя жилища людей. Совершенно гладкая ихъ форма ничуть не принимала живости отъ маленькихъ правильныхъ оконъ, которыя въ отношеніи ко всему строенію были похожи на замуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тщеславились, какъ совершенствомъ вкуса, и настроили цѣлые города въ ея духъ! Осмѣлился бы кто-нибудь даже теперь, среди этой гладко-однообразной кучи, воздвигнуть аданіе, носившее бы на себѣ печать особенной, рѣзкой архитектуры, осмѣлился бы кто-нибудь возлѣ строенія въ антическомъ вкусѣ непосредственно воздвигнуть готическое, — его бы сочли едва-ли не сумасшедшимъ! Отъ того новые города не имѣютъ никакого вида: они такъ правильны, такъ гладки, такъ монотонны, что прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься отъ желанія заглянуть въ другую. Это рядъ стѣнъ, и больше ничего. Напрасно ищеть взглядъ, чтобы одна изъ этихъ непрерывныхъ стѣнъ, въ какомъ-нибудь мѣстѣ, вдругъ возросла и выбросилась на воздухъ смѣлымъ переломленнымъ сводомъ или изверглась какою-нибудь башней-гигантомъ. Старинный германскій городокъ съ

узенькими улицами, съ пестрыми домиками и высокими колокольнями имѣеть видъ, несравненно болѣе говорящій нашему воображенію. Даже видъ какого-нибудь восточнаго города, съ высокими, тонкими минаретами, съ восточными пестрыми куполами, потонувшими въ садахъ, имѣеть болѣе характера, болѣе дышитъ поэзіей и воображеніемъ, нежели наши европейскіе города позднѣйшей архитектуры.

Башни огромныя, колоссальныя необходимы въ городѣ, не говоря уже о важности ихъ назначенія для христіанскихъ церквей. Кромѣ того, что онѣ составляютъ видъ и украшеніе, онѣ нужны для сообщенія городу рѣзкихъ примѣтъ, чтобы служить маякомъ, указывавшимъ бы путь всякому, не допуская сбиться съ пути. Онѣ еще болѣе нужны въ столицахъ для наблюденія надъ окрестностями. У насъ обыкновенно ограничиваются высотой, дающею возможность обглядѣть одинъ только городъ, между тѣмъ какъ для столицы необходимо видѣть, по крайней мѣрѣ, на полтора-верстѣ во всѣ стороны, и для этого, можетъ-быть, одинъ только или два этажа лишнихъ—и все измѣняется. Объемъ кругозора по мѣрѣ возвышенія распространяется необыкновенною прогрессіей. Столица получаетъ существенную выгоду, обозрѣвая провинціи и заранѣе предвидя все; зданіе, сдѣлавшись немного выше обыкновеннаго, уже пріобрѣтаетъ величіе; художникъ выигрываетъ, будучи болѣе настроенъ колоссальностію зданія къ вдохновенію и сильнѣе чувствуя въ себѣ напряженіе.

Это направленіе архитектуры старалось, какъ будто нарочно, скрывать свое величіе, вмѣсто того, чтобы какъ можно болѣе выказывать его пространство. Нѣтъ, не таковъ законъ великаго: строеніе должно неизмѣримо возвышаться почти надъ головою зрителя, чтобы онъ сталъ, пораженный внезапнымъ удивленіемъ, едва будучи въ состояніи окинуть глазами его вершину. И потому строеніе всегда лучше, если стоитъ на тѣсной площади. Къ нему можетъ итти улица, показывающая его въ перспективѣ, издали, но оно должно имѣть поражающее величіе вблизи. Чтобы до-

рога проходила мимо его! Чтобы кареты гремѣли у самаго его подножія! Чтобы люди лѣпились подъ нимъ и своею малостью увеличивали его величіе! Дайте человѣку большое разстояніе — и онъ уже будетъ глядѣть выше, гордо, на находящіеся предъ нимъ предметы; ему покажется все малымъ. Мы такъ непостижимо устроены, наши нервы такъ странно связаны, что только внезапное, оглушающее съ перваго взгляда, производитъ на насъ потрясеніе. И потому вышину строенія подымайте въ соразмѣрности съ площадью, на которой оно стоитъ. Если оно съ послѣдняго края площади кажется малымъ и зритель не ощущаетъ изумленія, но долженъ для этого близко подходить къ нему, то зданіе пропало, а вмѣстѣ съ нимъ пропали труды и издержки, употребленные на сооруженіе его.

Но возвращаюсь къ простотѣ архитектуры, которая заразила нашъ XIX вѣкъ. Сами греки чувствовали, что однѣ прямыя линіи и совершенная простота строеній будутъ казаться уже черезчуръ плоскими, особливо если множество такого рода строеній соединятся вмѣстѣ. Они чувствовали, что строгая правильность и гладкость строенія должна непременно имѣть возлѣ себя какую-нибудь противоположность, чтобы быть болѣе оригинальною и замѣтною, и потому простирали надъ ними навѣсъ древесный. Близна прямолинейной стѣны или стройнаго съ колоннами фронтона, выказываясь изъ-за темной гущи зелени, дѣйствительно хороша, потому что составляетъ контрастъ съ облачнымъ расположеніемъ дерева, почти всегда неправильно, но красиво раскидывающаго свои вѣтви. Какъ только зданіе ихъ окружалось другими и находилось среди города, они чувствовали излишнюю простоту его и старались придать сколько можно болѣе игры. Мысль о деревѣ и о природѣ прежде всего приходила имъ въ голову. Но въ городѣ дерево — драгоценность; тогда они чаще начали употреблять не гладкія дорическія колонны, но большею частію коринтскія съ капителью изъ завитыхъ листьевъ. Вообще убирать строенія листьями, вьющимися гроздьями винограда, или

украшеніями, носящими неясный образъ вѣтвей дерева, было инстинктомъ у всѣхъ народовъ. Они невольно, слѣно слѣдовали тайному внушенію своего вкуса. Въ готической архитектурѣ болѣе всего замѣтенъ отпечатокъ, хотя неясный, тѣсно сплетеннаго лѣса, мрачнаго, величественнаго, гдѣ топоръ не звучалъ отъ вѣка. Эти стремящіеся нескончаемыми линіями украшенія и свѣти сквозной рѣзбы не что другое, какъ темное воспоминаніе о стволѣ, вѣтвяхъ и листьяхъ древесныхъ. И потому смѣло возлѣ готическаго строенія ставьте греческое, исполненное стройности и простоты: оно будетъ стоять между ними, какъ между величественными, прекрасными деревьями. И готическое, и греческое получить отъ этого двойную прелесть. Истинный эффектъ заключенъ въ рѣзкой противоположности; красота никогда не бываетъ такъ ярка и видна, какъ въ контрастѣ. Контрастъ тогда только бываетъ дуренъ, когда располагается грубымъ вкусомъ или, лучше сказать, совершеннымъ отсутствіемъ вкуса, но, находясь во власти тонкаго, высокаго вкуса, онъ первое условіе всего и дѣйствуетъ ровно на всѣхъ. Разныя части его гармонируютъ между собою по тѣмъ же законамъ, по которымъ цвѣтъ палевый гармонируетъ съ синимъ, бѣлый съ голубымъ, розовый съ зеленымъ, и такъ далѣе.—Все зависитъ отъ вкуса и отъ умѣнія расположить. Не мѣшайте только въ одномъ зданіи множества разныхъ вкусовъ и родовъ архитектуры. Пусть каждый носитъ въ себѣ что-то цѣлое и самобытное, но пусть противоположность между этими самобытными, въ отношеніи ихъ другъ къ другу, будетъ рѣзка и сильна. Чѣмъ болѣе въ городѣ памятниковъ разныхъ родовъ зодчества, тѣмъ онъ интереснѣе, тѣмъ чаще заставляетъ осматривать себя, останавливаться съ наслажденіемъ на каждомъ шагу. Неужели было бы хорошо, если бы въ англійскомъ саду, вмѣсто непрерывныхъ, неожиданныхъ видовъ, гуляющій находилъ ту же самую дорожку или, по крайней мѣрѣ, такъ похожую своими окрестностями на видѣнную имъ прежде, что она кажется давно извѣстною?

Терпимость намъ нужна; безъ нея ничего не будетъ для художества. Всѣ роды хороши, когда они хороши въ своемъ родѣ. Какая бы ни была архитектура—гладкая, массивная египетская, огромная ли, пестрая индусовъ, роскошная ли мавровъ, вдохновенная ли и мрачная готическая, граціозная ли греческая—всѣ онѣ хороши, когда приспособлены къ назначенію строенія; всѣ онѣ будутъ величественны, когда только истинно постигнуты.

Если бы, однакожь, потребовалось отдать рѣшительное преимущество которой-нибудь изъ этихъ архитектуръ, то я всегда отдамъ его готической. Она чисто-европейская, созданіе европейскаго духа и потому болѣе всего прилична намъ. Чудное ея величіе и красота превосходитъ всѣ другія. Но изъ милости, изъ состраданія не ломайте, не коверкайте ея! Смотрите чаще на знаменитый кельнскій соборъ—тамъ все ея совершенство и величіе. Лучшаго памятника никогда не производили ни древніе, ни новыя вѣка. Я предпочитаю потому еще готическую архитектуру, что она болѣе даетъ разгула художнику. Воображеніе живѣе и пламеннѣе стремится въ высоту, нежели въ ширину; и потому готическую архитектуру нужно употреблять только въ церквахъ и строеніяхъ, высоко возносящихся. Линіи и безкарнизныя готическія пилястры, узко одна отъ другой, должны летѣть черезъ все строеніе. Горе, если онѣ отстоятъ далеко другъ отъ друга, если строеніе не перевысило по крайней мѣрѣ вдвое своей ширины, если не втрое! Оно тогда уничтожилось само въ себѣ. Возносите его такимъ, какимъ оно быть должно: чтобы выше, выше, сколько можно выше, поднимались его стѣны, чтобы гуще, какъ стрѣлы, какъ тополи, какъ сосны, окружали ихъ безчисленные угольные столбы! Никакого перерѣза, или перелома, или карниза, даващаго бы другое направленіе или уменьшившаго бы размѣръ строенія! Чтобы они были ровны отъ основанія до самой вершины! Огромнѣе окна, разнообразнѣе ихъ форму, колоссальнѣе ихъ высоту! Воздушнѣе, легче шпигъ! Чтобы все, чѣмъ болѣе подымалось

кверху, тѣмъ болѣе бы летѣло и сквозило. И помните самое главное: никакого сравненія высоты съ шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здѣсь одна законодательная идея — высота.

Я увѣренъ, что нѣкоторые будутъ утверждать, что постройка зданія, слишкомъ высокаго, бесполезна, потому что намъ нужно больше мѣста, что высота ни къ чему не служитъ и даромъ истрачиваетъ матеріалы. Но я вовсе не совѣтую этотъ готическій образъ строеній употреблять на театры, на биржи, на какіе-нибудь комитеты и вообще на зданія, назначаемыя для собраній веселящагося, или торгующаго, или работающаго народа. Со мною согласится всякій, что нѣтъ величественнѣе, возвышеннѣе и приличнѣе архитектуры для зданія христіанскому Богу, какъ готическая. И что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? — Величественнаго, колоссальнаго, при взглядѣ на которое мысли устремляются къ одному и отрываютъ молещика отъ низкой его хижины. Весьма не мѣшаетъ вспомнить великую старую истину, что народъ не въ силахъ понять религіи въ такой же самой чистотѣ и безтѣлесности, какъ получившіе высшее образованіе; что на него болѣе всего производить впечатлѣніе видимые предметы; что тѣмъ меньше этотъ видимый предметъ на него дѣйствуетъ, тѣмъ слабѣе его энтузіазмъ и простая вѣра. Великолѣпіе повергаетъ простолюдина въ какое-то онемѣніе, и оно-то единственная пружина, двигающая дикимъ человѣкомъ. Необыкновенное поражаетъ всякаго, но тогда только, когда оно смѣло, рѣзко и разомъ бросается въ глаза. Здѣсь уже прочь всякое скряжничество и расчеты! Въ противномъ случаѣ этотъ расчетъ будетъ не расчетъ, и выгода, возникшая изъ него, будетъ выгода одного человѣка передъ выгодою цѣлаго человѣчества.

Вальтеръ-Скоттъ первый отряхнулъ пыль съ готической архитектуры и показалъ свѣту все ея достоинство. Съ того времени она быстро распространилась. Въ Англіи всѣ новыя церкви строятъ въ готическомъ вкусѣ. Онѣ очень

милы, очень пріятны для глазъ, но, увы, истиннаго величія, дышащаго въ великихъ зданіяхъ старины, въ нихъ нѣтъ. Онѣ, несмотря на стрѣльчатые окна и шпицы, не сохраняютъ въ цѣломъ истинно-готическаго вкуса и уклонились отъ образцовъ. Во-первыхъ, онѣ сами по себѣ вовсе не огромны (великій недостатокъ готическаго строенія); во-вторыхъ, весь этотъ лѣсъ четырехгранныхъ тонкихъ столбовъ и линий, союзна стремящихся чрезъ все строеніе, позабытъ или отвергнутъ вовсе, оставшаяся чрезъ это гладкость нечувствительно даетъ имъ совершенно другое выраженіе.

Могущественнымъ словомъ Вальтеръ-Скотта вкусъ къ готическому распространился быстро вездѣ и проникнулъ во все. Еще не сдѣлавшись великимъ, онъ уже сдѣлался мелкимъ: сельскіе домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — все обратилось въ готическое. И эти величественныя, прекрасныя украшенія употреблены были на игрушки. Въѣкъ нашъ такъ мелокъ, желанія такъ разбросаны по всему, знанія наши такъ энциклопедически, что мы никакъ не можемъ усредоточить на одномъ какомъ-нибудь предметѣ нашихъ помысловъ и оттого поневолѣ раздробляемъ всѣ наши произведенія на мелочи и на прелестныя игрушки. Мы имѣемъ чудный даръ дѣлать все ничтожнымъ. Египетскую архитектуру, которой весь эффектъ въ колоссальности, мы издерживаемъ на небольшіе мостики, на ворота, вершину которыхъ проѣзжающій кучеръ можетъ достать рукою. Изъ готической мы дѣлаемъ серьги, футляры для часовъ; греческую мы употребляемъ въ бесѣдкахъ. Въ публичныхъ же и огромныхъ зданіяхъ показываемъ такую архитектуру, которую врядъ ли можно признать особеннымъ родомъ: въ ней столько безсмыслія, такое негармоническое соединеніе частей, такое отсутствіе всякаго воображенія, что недостаетъ силъ назвать ее имѣющею свой характеръ архитектурой.

Есть рудникъ, о которомъ едва только знаютъ, что онъ существуетъ; есть міръ совершенно особенный, отдѣльный,

изъ котораго менѣе всего черпала Европа. Это — архитектура восточная, — архитектура, которая создана однимъ только воображеніемъ, воображеніемъ восточнымъ, горячимъ, чудеснымъ, облекшимся въ гиперболу и аллегорію, пролетѣвшимъ мимо жизни и прозаическихъ нуждъ ея. Жизнь азіатцевъ никогда не имѣла такого многосторонняго развитія, какъ европейцевъ: никогда потребности ихъ не были такъ разнообразны и безчисленны, какъ наши, и потому очень естественно, что обыкновенныя жилища ихъ лишены пестроты, ясности и стройности; они уединенны, однообразны, такъ же скучны отсутствіемъ всякой мысли, какъ самый азіатецъ во время своего покоя. Но за то вездѣ, куда ни проникала только азіатская роскошь, огромная, великолѣпная, — та роскошь, которая блестятъ въ ихъ волшебныхъ сказкахъ; вездѣ, куда ни проникала эта увѣшанная ожерельями дочь восточнаго воображенія, — тамъ стоятъ донныя дворцы, великолѣпнѣе которыхъ изумительно. Строеніе ихъ захватывало цѣлыя вѣка; цѣлый народъ, цѣлая нація надъ нимъ трудилась, и предки вѣрили, какъ въ неотразимое предопредѣленіе, что зданіе будетъ окончено ихъ потомками. Вездѣ, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь или дикій энтузіазмъ первоначальной ихъ религіи, вездѣ громоздились памятники, ужасные своею огромностію, передъ которыми мысль цѣмбуетъ отъ изумленія, когда вспомнишь, какъ бѣдны были ихъ средства и познанія, какъ ничтожны ихъ машины для поднятія и укрѣпленія этихъ страшныхъ массъ. Еще болѣе изумленіе овладѣваетъ духомъ, когда видишь, какъ почти дикій, неразвившійся человѣкъ развился внезапно на этомъ гигантскомъ зданіи, какъ былъ онъ проникнуть и восторженъ мыслью о божествѣ, что невольно показалъ разоблаченіе своего генія и упредилъ медленные годы вѣкового образованія.

Взгляните на этотъ массивный, величественный Тричѣнгурскій храмъ у индусовъ, едва ли не одно изъ первыхъ зданій по величинѣ своей. Это пирамидальное склоненіе

массы кверху, постепенное уменьшение этажей, бездна индйскихъ портиковъ, облѣпывающихъ ихъ стѣны, пилястры, громоздящіяся надъ пилястрами, колонны надъ колоннами, какъ будто ступающія одна на другую, чтобы скорѣе достать вершины этой массы—все это явленіе совершенно оригинальнаго вкуса. Но если Триченгурскій храмъ слишкомъ уже тяжелъ и дышитъ язычествомъ, взгляните на стройный, прекрасный Кутубъ-Минарь, которымъ по справедливости славятся Дельги. Я не знаю въ мірѣ башни, которая бы, при простотѣ почти аттической, столько дышала глубиною красоты, гдѣ бы воображеніе вылилось такъ чисто и величаво. Если этотъ родъ не можетъ быть совершенно усвоенъ нами, то европейцы вообще могутъ заимствовать съ пользою это пирамидальное или конусообразное устремленіе кверху—рѣзкое отличіе индйскаго стиля.

Восточная архитектура дворцовъ представляетъ совершенно противоположный родъ: здѣсь царство азіатской роскоши. Строеніе раздается пространнѣе въ ширину. Огромный восточный куполь, или совершенно круглый, или выгибающійся, какъ сладострастная ваза, опрокинутая внизъ, или въ видѣ шара, или обремененный, облѣпленный рѣзбою и украшеніями, какъ богатая митра, патриархально властвуетъ надъ всѣмъ зданіемъ: внизу, у самаго подножія строенія, небольшіе куполы цѣлою оградю обходятъ его пространныя стѣны, какъ покорные рабы; со всѣхъ сторонъ летятъ тонкіе минареты, представляющіе самый очаровательный контрастъ своею легкою, веселою торньюрою съ важнымъ, величественнымъ видомъ всего зданія. Такъ величественный магометанинъ, въ широкомъ, убранномъ золотомъ и камнями платьѣ, возлежитъ среди гурій, стройныхъ, обнаженныхъ, ослѣпительныхъ своею бѣлизною.

Нигдѣ зодчество не принимало столькихъ разнообразныхъ формъ, какъ на Востокѣ. Тамъ каждое зданіе выливалось, можно сказать, всегда мимо прежнихъ условій или, лучше сказать, оно выливалось, облеченное новыми условіями собственнаго предчувствія, сходствовавшими съ прежними развѣ

только въ самомъ отдаленномъ началѣ религиозномъ или національномъ. Вся Индія усѣяна прекрасными зданіями. Каждое изъ нихъ сохраняетъ свое рѣзкое отличіе, свой особый отпечатокъ, до такой степени, что ихъ совершенно нельзя подвести подъ одну категорію. Множество разныхъ куполовъ всѣхъ возможныхъ формъ, вовсе не похожихъ одинъ на другого, украшеній и убранствъ, совсѣмъ отличныхъ и всегда новыхъ — все говоритъ о необыкновенномъ воображеніи ихъ, которое не стѣснялось особыми правилами. Впрочемъ, причиною этого разнообразія, можетъ-быть, было безчисленное множество сектъ, наполняющихъ Индію, производившихъ вѣчную оппозицію, вѣчную раздражительность воображенія. Но болѣе исполнены роскоши очаровательной, которою говоритъ восточная природа, тѣ зданія, которыхъ коснулся вкусъ аравитянъ. Въ Азіи, во время этихъ разрушительныхъ встрѣчъ новыхъ и старыхъ народовъ, особенно магометанъ, произошло необыкновенное смѣшеніе архитектуръ, произошли самыя дерзкія отступленія. Но никогда, нигдѣ не соединялось смѣлое съ такою прекрасною роскошью, какъ у аравитянъ. Они заимствовали отъ природы все то, что есть въ ней верхъ прекраснѣйшаго. Ихъ архитектура не носитъ на себѣ печати дремучихъ лѣсовъ; она вся состоитъ изъ цвѣтовъ. Она убрана цвѣтами, она потоплена цѣлымъ моремъ цвѣтовъ, прекрасныхъ, роскошныхъ, какими убрана нѣжная долина Кашемира. Ихъ узорныя колонны увѣнчаны тюльпаномъ; ихъ рѣзба въ видѣ незабудокъ и цвѣтовъ съ четырьмя лепестками, или развивающихся розъ; ихъ галереи похожи на вѣтви пальмъ, вершинами своими образующихъ своды. Все отозвалось необыкновенной роскошью цвѣтистаго ихъ вкуса. Эта архитектура какъ-то именно создалась для жизни, отданной наслажденіямъ, для веселыхъ, [свѣтлыхъ жилищъ человѣка. Она рѣшительно изгнала изъ себя все мрачное. Зданіе такъ прелестно, очаровательно, какъ восточная красавица съ черными, яркими какъ молнія глазами, въ пестромъ своемъ убранствѣ и драгоцѣнныхъ ожерельяхъ.

Восточная архитектура имѣетъ у себя то, чего никогда еще не употребляли европейцы: это—колонны, не гладкія, но расщепренныя украшеніями отъ пьедестала до капителя. Иногда эти колонны бывають совершенно сквозныя и прозрачныя: рѣзба проникаетъ ихъ насквозь. Онѣ составляютъ плѣнительнѣйшее изобрѣтеніе восточнаго вкуса. Зданіе, какъ бы ни было громоздко, но съ такими колоннами кажется воздушно. Почему бы, казалось, намъ не перенести ихъ на свою почву? Но умъ и вкусъ человѣка представляютъ странное явленіе: прежде нежели достигнетъ истины, онъ столько даетъ объѣядовъ, столько надѣляетъ несообразностей, неправильностей, ложнаго, что послѣ самъ дивится своей недогадливости. Обо всѣхъ сихъ памятникахъ Европа и не заботилась. Одинъ только вкусъ китайцевъ, который можно назвать самымъ мелкимъ, самымъ ничтожнымъ изъ всѣхъ восточныхъ народовъ, какимъ-то повѣтріемъ занесся къ намъ въ концѣ XVIII столѣтія. Хорошо, что европейцы, по обыкновенію своему, тотчасъ обратили его на мостики, павильоны, вазы, камни, а не задумали приспособить къ большимъ строеніямъ. Этотъ вкусъ, точно, былъ недуренъ въ бездѣлкахъ, потому что европейцы его тотчасъ усовершенствовали по-своему и дали ему ту прелесть, которой онъ самъ въ себѣ не имѣетъ, такъ же какъ и его народъ не имѣетъ энергіи, несмотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный родъ архитектуры, совершенно отличный отъ всего, доселѣ показаннаго мною. Это архитектура катакомбъ индійскихъ и египетскихъ, гдѣ эти два народа такъ удивительно сошлись между собою и дали поводъ подозрѣвать древнее между ними родство. Главный характеръ ея—тяжесть. Здѣсь все должно соединиться въ массу и толщѣ: зданіе тяжело ступаетъ, какъ на слоновыхъ пядяхъ, на короткихъ, тяжелыхъ колоннахъ, которыхъ ширина своимъ діаметромъ равняется почти съ высотой. Здѣсь уже совершенно все ширина и масса. На ней какъ будто отпечаталась тяжесть земли, внутри которой она скрываетъ тяжелое свое величіе. То, что порокъ въ другихъ родахъ

ея, то здѣсь достоинство. Эта подземная архитектура имѣетъ что-то также величавое, хотя внушаетъ совершенно другія мысли. Здѣсь тяжесть не безобразна, а величественна, потому что составляетъ главную идею всего зданія. Если художникъ предположилъ создать тяжелое и массивное и выполнилъ это, его твореніе, вѣрно, будетъ хорошо; но когда начерталъ онъ планъ тяжелаго, а изъ него вышло вовсе не тяжелое, или, наоборотъ, когда онъ замыслилъ произвести легкое, а вышло тяжелое, то это уже рѣшительно дурно. Зданіе это, когда съ него сбрасывали землю и оно выходило на свѣтъ, представляло всегда странный и вмѣстѣ страшный видъ — какъ будто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, какъ будто бы мракъ очутился вдругъ среди яркаго свѣта,—мракъ, только освѣщаемый свѣтомъ, а не прогоняемый имъ, какъ египетская урна или мертвая голова среди пиршествъ. Мнѣ кажется, напрасно эту архитектуру вгоняютъ въ землю: показавшись вдругъ, нечаянно, среди свѣтлыхъ, легкихъ домиковъ, она должна непременно поразить всякаго и произвести свой эффектъ. Одно такого рода строеніе среди многолюднаго города было бы прелесть, но только одно, не болѣе. Въ строеніяхъ такого рода всѣ части состоятъ изъ тяжестей, но при всемъ томъ отношенія ихъ между собою исполнены какой-то внутренней, нѣсколько страшной гармоніи, и создать въ этомъ родѣ совершенное весьма не легко.

Египетская архитектура надземная составляетъ совершенно другой родъ: она массивна тоже; но стройность и простота въ высшей степени съ нею неразлучны; главный же ея характеръ — колоссальность. Чѣмъ она глаже снизу доверху, безъ всякихъ раздѣленій и рѣзкихъ украшеній, тѣмъ лучше. Но не употребляйте ее на небольшіе мостики: безъ колоссальности эта архитектура менѣе нежели ничто. Еще разъ повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены всѣ ея условія и если она выбрана совершенно согласно назначенію строенія. Безъ этой благонамѣренной, безпристрастной терпимости не будетъ ни истинныхъ

талантовъ, ни истинно величественныхъ произведеній. Прочь этотъ схоластицизмъ, предписывающій строенія ранжировать подъ одну мѣрку и строить по одному вкусу! Городъ долженъ состоять изъ разнообразныхъ массъ, если хотимъ, чтобы онъ доставлялъ удовольствіе взорамъ. Пусть въ немъ совокупится болѣе различныхъ вкусовъ. Пусть въ одной и той же улицѣ возвышается и мрачное готическое, и обремененное роскошью украшеній восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройнымъ размѣромъ греческое. Пусть въ немъ будутъ видны и легко-выпуклый млечный куполь, и религіозный безконечный шпиль, и восточная митра, и плоская крыша итальянская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелискъ. Пусть какъ можно рѣже дома сливаются въ одну ровную, однообразную стѣну, но клонятся то вверхъ, то внизъ. Пусть разныхъ родовъ башни какъ можно чаще разнообразять улицы. Неужели найдется такой смѣльчакъ или, лучше сказать, несмѣльчакъ, который бы ровное мѣсто въ природѣ осмѣлился сравнить съ видомъ утесовъ, обрывовъ, холмовъ, выходящихъ одинъ изъ-за другого?

Архитекторъ-творецъ долженъ имѣть глубокое познаніе во всѣхъ родахъ зодчества. Онъ менѣе всего долженъ пренебрегать вкусомъ тѣхъ народовъ, которымъ мы въ отношеніи художествъ обыкновенно оказываемъ презрѣніе. Онъ долженъ быть всеобъемлющъ, изучить и вмѣстить въ себя всѣ безчисленныя измѣненія ихъ. Но самое главное—долженъ изучить все въ идеѣ, а не въ мелочной наружной формѣ и частяхъ. Но для того, чтобы изучить въ идеѣ, нужно быть ему гениемъ и поэтомъ.

Но обратимся къ архитектурѣ городовъ. Городъ нужно строить такимъ образомъ, чтобы каждая часть, каждая отдѣльно взятая масса домовъ представляла живой пейзажъ. Нужно толпѣ домовъ придать игру, чтобы она, если можно такъ выразиться, заиграла рѣзкостями, чтобы она вдругъ врѣзалась въ память и преслѣдовала бы воображеніе. Есть такіе виды, которые вѣкъ помнишь, и есть такіе, кото-

рыхъ, при всѣхъ усиліяхъ, не можешь замѣтить въ памяти. Зодчество грубѣе и вмѣстѣ колоссальнѣе другихъ искусствъ, какъ-то: живописи, скульптуры и музыки, и потому эффектъ его—въ эффектѣ. Масса города имѣетъ уже тѣмъ выгоду что ее вдругъ можно измѣнить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строеніе среди ея—и она совершенно измѣняетъ видъ свой, принимаетъ другое выраженіе, такъ, какъ всякій рисунокъ ученика вдругъ оживаетъ подъ кистью или карандашомъ его учителя, который въ одномъ мѣстѣ подкрѣпить, въ другомъ отдѣлить, въ третьемъ только тронетъ,—и все уже не то. Притомъ, самыя ошибки уже подають идею о томъ, какъ избѣжать ихъ: безхарактерное подаетъ мысль о характерномъ, мелкое и плоское вызываютъ въ противоположность дерзкое и необыкновенное, углубленіе внизъ подаетъ идею о возвышеніи вверхъ, и наоборотъ. Геній — богачъ страшный; передъ которымъ ничто весь міръ и всѣ сокровища.

При построеніи городовъ нужно обращать вниманіе на положеніе земли. Города строятся или на возвышеніи и холмахъ, или на равнинахъ. Городъ на возвышеніи менѣе требуетъ искусства, потому что тамъ природа работаетъ уже сама: то подымаетъ дома на величественныхъ холмахъ своихъ и кажетъ ихъ великанами изъ-за другихъ домовъ, то опускаетъ ихъ внизъ, чтобы дать видъ другимъ. Въ такомъ городѣ можно менѣе употреблять разнообразія. Въ немъ можно болѣе употреблять гладкихъ и одинаковыхъ домовъ, потому что неровное положеніе земли уже даетъ имъ нѣкоторымъ образомъ разнообразіе, помѣщая ихъ въ разныхъ мѣстоположеніяхъ. Нужно наблюдать только, чтобы дома показывали свою вышину одинъ изъ-за другого, такъ, чтобы стоящему у подошвы казалось, что на него глядитъ двадцатитѣльная масса. Тамъ мало нужно искусства, гдѣ природа одолеваетъ искусство; тамъ искусство только для того, чтобы украсить ее. Но гдѣ положеніе земли гладко совершенно, гдѣ природа спитъ, тамъ должно работать искусство во всей силѣ. Оно должно прс-

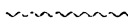
пестрить, если можно сказать, изрыть, скрыть равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здѣсь однообразіе и простота будетъ большая погрѣшность. Здѣсь архитектура должна быть какъ можно своенравнѣе: принимать суровую наружность, показывать веселое выраженіе, дышать древностью, блестять новостью, обдавать ужасомъ, сверкать красотою, быть то мрачной, какъ день, обхваченный грозой съ громовыми облаками, то ясною, какъ утро въ солнечномъ сіяніи. Архитектура—тоже лѣтопись міра: она говоритъ тогда, когда уже молчатъ и пѣсни, и преданія, и когда уже ничто не говоритъ о погибшемъ народѣ. Пусть же она, хоть отрывками, является среди нашихъ городовъ въ такомъ видѣ, въ какомъ она была при отжившемъ уже народѣ, чтобы при взглядѣ на нее осѣнила насъ мысль о минувшей его жизни и погрузила бы насъ въ его бытъ, въ его привычки и степень пониманія, и вызвала бы у насъ благодарность за его существованіе, бывшее ступенью нашего собственнаго возвышенія *).

*) Мнѣ прежде приходила очень странная мысль: я думалъ, что весьма не мѣшало бы имѣть въ городѣ одну такую улицу, которая бы вмѣщала въ себѣ архитектурную лѣтопись: чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, прошедши которыхъ, зритель видѣлъ бы съ двухъ сторонъ возвышающіяся величественныя зданія первобытнаго дикаго вкуса, общаго первоначальнымъ народамъ, потомъ постепенное измѣненіе ея въ разные виды: высокое преображеніе въ колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потомъ въ красоту — греческую, потомъ въ сладострастную александрійскую и византійскую съ плоскими куполами, потомъ въ римскую съ арками въ нѣсколько рядовъ, далѣе вновь нисходящую къ дикимъ временамъ и вдругъ потомъ поднимающуюся до необыкновенной роскоши—аравійскою; потомъ дикою готическою, потомъ готико-арабскою, потомъ чисто-готическою, вѣнцомъ искусства, дышащею въ Кѣльнскомъ соборѣ, потомъ страшнымъ смѣшеніемъ архитектуръ, происшедшимъ отъ обращенія къ византійской, потомъ древнею греческою въ новомъ костюмѣ, и, наконецъ, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключавшими бы въ себѣ стихіи новаго вкуса. Эта улица сдѣлалась бы тогда въ нѣкоторомъ отношеніи исторіею развитія вкуса, и кто лѣнивъ перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все.

Неужели, однакоже, не возможно созданіе (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежнихъ условій? Когда дикій и малоразвившійся человѣкъ, которому одна природа, еще грубо имъ понимаемая, служить руководствомъ и вдохновеніемъ, создаетъ твореніе, въ которомъ является и красота, и тайный инстинктъ вкуса, — отчего же мы, которыхъ всѣ способности такъ обширно развились, которые болѣе видимъ и понимаемъ природу во всѣхъ ея тайныхъ явленіяхъ, — отчего же мы не производимъ ничего совершенно проникнутого такимъ богатствомъ нашего познанія? Идея для зодчества вообще была черпана изъ природы, но тогда, когда человѣкъ сильно чувствовалъ на себѣ ея вліяніе; теперь же искусство поставилъ онъ выше самой природы, — развѣ не можетъ онъ черпать своихъ идей изъ самого искусства или, лучше сказать, изъ гармоническаго сліянія природы съ искусствомъ? Разсмотрите только, какую страшную изобрѣтательность показали онъ на мелкихъ издѣліяхъ утонченной роскоши; рассмотрите всѣ эти модныя бездѣлицы, которыя каждый день являются и гибнутъ, рассмотрите ихъ, хотя въ микроскопъ, если такъ онъ не останавливаютъ вашего вниманія, — какого онъ исполнены тонкаго вкуса! какія принимаютъ онъ совершенно небывалыя прелестныя формы! Онъ создаются въ такомъ особенномъ родѣ, который еще никогда не встрѣчался. Рѣзба и тонкая отдѣлка ихъ такъ незаимствованы и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ хороши, что мы иногда долго любимся ими и, увы! вовсе не ощущаемъ жалости при видѣ, какъ гибнетъ вкусъ человѣка въ ничтожномъ и временномъ, тогда какъ онъ былъ бы замѣтенъ въ неподвижномъ и вѣчномъ. Развѣ мы не можемъ эту раздробленную мелочь искусства превратить въ великое? Неужели все то, что встрѣчается въ природѣ, должно быть непременно только колонна, куполь и арка? Сколько другихъ еще образовъ нами вовсе не тронуты! Сколько прямая линія можетъ ломаться и измѣнять направленіе, сколько кривая выгибаться, сколько новыхъ

можно ввести украшеній, которыхъ еще ни одинъ архитекторъ не вносилъ въ свой кодексъ! — Въ нашемъ вѣкѣ есть такія пріобрѣтенія и такія новыя, совершенно ему принадлежащія стихіи, изъ которыхъ бездну можно заимствовать никогда прежде не воздвигаемыхъ зданій.— Возьмемъ, на примѣръ, тѣ висящія украшенія, которыя начали появляться недавно. Покамѣстъ висящая архитектура только показывается въ ложахъ, балконахъ и въ небольшихъ мостикахъ. Но если цѣлые этажи повиснуть, если перекинутся смѣлыя арки, если цѣлыя массы вмѣсто тяжелыхъ колоннъ очутятся на сквозныхъ чугунныхъ подпорахъ, если домъ обвѣсится снизу доверху балконами съ узорными чугунными перилами, и отъ нихъ висящія чугунные украшенія, въ тысячахъ разнообразныхъ видовъ, облекутъ его своею легкою сѣтью, и онъ будетъ глядѣть сквозь нихъ, какъ сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунные сквозныя украшенія, обвитыя около круглой, прекрасной башни, полетятъ вмѣстѣ съ нею на небо — какую легкость, какую эстетическую воздушность пріобрѣтутъ тогда дома наши! Но какое множество есть разбросанныхъ на всемъ намѣковъ, могущихъ зародить совершенно необыкновенную живую идею въ головѣ архитектора, если только этотъ архитекторъ—творецъ и поэтъ *).

1831.



*) Статья эта писана давно. Въ послѣднее время вкусъ въ Европѣ улучшился и особенно въ нашей любезной Россіи. Многіе архитекторы уже ей дѣлаютъ честь; изъ нихъ должно упомянуть о Брюловѣ, котораго зданія исполнены истиннаго вкуса и оригинальности.

АЛ-МАМУНЪ.

(Историческая характеристика).

Ни одинъ государь не принималъ правленія въ такую блестящую эпоху своего государства, какъ Ал-Мамунъ. Грозный калифатъ величественно возвышался на классической землѣ древняго міра. Онъ обнималъ на востокъ всю цвѣтущую юго-западную Азію и замыкался Индією; на западѣ онъ простирался по берегамъ Африки до Гибралтара. Сильный флотъ покрывалъ Средиземное море. Багдадъ, столица этого новаго чудеснаго міра, видѣлъ повелѣнія свои исполняющимися въ отдаленныхъ краяхъ провинцій; Бассора, Нигабуръ и Куфа зрѣли новообращенную Азію, стекающуюся въ свои блестящія школы. Дамаскъ могъ одѣть всѣхъ сластолюбцевъ дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, и арабъ уже думалъ, какъ бы осуществить на землѣ рай Магомета: создавалъ водопроводы, дворцы, цѣлые лѣса пальмъ, гдѣ сладострастно били фонтаны и дымились благовонія Востока. И къ такому развитію роскоши еще не успѣла привиться ни одна нравственная болѣзнь политическаго общества. Всѣ части этой великой имперіи, этого магометанскаго міра, были связаны довольно сильно, и связь эта укрѣплена была волею необыкновеннаго Гаруна, который

постигнулъ всѣ разнообразныя способности своего народа. Онъ не былъ исключительно государь-философъ, государь-политикъ, государь-воинъ, или государь-литераторъ. Онъ соединялъ въ себѣ все, умѣлъ ровно разлить свои дѣйствія на все и не доставить перевѣса ни одной отрасли надъ другою. Просвѣщеніе чужеземное онъ прививалъ къ своей націи въ такой только степени, чтобы помочь развитію ея собственнаго. Уже арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваній, но все еще были исполнены энтузіазма, и огненные страницы Корана перелистывались съ тѣмъ же благоговѣніемъ, исполнялись такъ же раблѣнно. Гарунъ умѣлъ ускорить весь административный государственный ходъ и исполненіе повелѣній страхомъ своей вездѣсушности. Намѣстники и эмиры, изъ которыхъ каждый обыкновенно стремится быть деспотомъ, опасались встрѣтить всезрящаго, переодѣтаго калифа — и правленіе безъ законовъ двигалось крѣпко и опредѣленно. Въ такомъ видѣ принялъ государство Ал-Мамунъ, государь, котораго Царьградъ называлъ великодушнымъ покровителемъ наукъ, котораго имя исторія внесла въ число благодѣтелей человѣческаго рода, и который замыслилъ государство политическое превратить въ государство музъ. Онъ былъ одаренъ всею живостію и способностію къ долговому изученію. Его характеръ исполненъ былъ благородства. Желаніе истины было его девизомъ. Онъ былъ влюбленъ въ науку, и влюбленъ совершенно безкорыстно: онъ любилъ науку для нея же самой, не думая о ея цѣли и примѣненіи. Онъ предался ей съ исключительною страстью. Тогда аравитяне только-что открыли Аристотеля. Многообъемлющій и точный философъ Греціи не могъ сойтись съ ихъ воображеніемъ, слишкомъ стремительнымъ, слишкомъ колоссальнымъ и восточнымъ; но аравійскіе ученые, занимаясь долгое время копотливою работою, уже нѣсколько привыкнули къ точности и формальности, и оттого принялись за него съ ученымъ энтузіазмомъ. Эти безконечныя выводы, это облеченіе въ видимость и порядокъ того, что они прежде

чувствовали въ душѣ пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашнихъ ученыхъ. Воспитанный подъ ихъ влияніемъ, Ал-Мамунъ, исполненный истинной жажды просвѣщенія, употреблялъ всѣ старанія ввести въ свое государство этотъ чуждый дотолѣ греческій міръ. Багдадъ распростеръ дружелюбныя длани всему ученому тогдашнему свѣту. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежалъ къ какому бы то ни было званію, какой бы ни былъ онъ религіи, какихъ бы ни былъ исполненъ противорѣчащихъ началъ. Естественно, что тогда болѣе всего приносили свои познанія въ Багдадъ тѣ, которые еще сохраняли въ душѣ своей образъ политеизма, облеченнаго христіанскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммонія Саккаса, Плотина и другихъ послѣдователей новоплатонизма, которые уже не находили поля для своихъ ученыхъ риставій въ Царьградѣ, слишкомъ занятомъ спорами о догматахъ христіанства. Багдадъ превратился въ республику разнородныхъ отраслей познаній и мнѣній. Въиценосный арабъ вслушивался внимательно въ усыпительную музыку ученыхъ толкованій и тонкостей. Правители государственныхъ мѣстъ не могли не увлечься примѣромъ государя, и тогда высшія ступени государства обняла какая-то литературная мономанія. Визиря и эмпры старались окружить свой дворъ учеными припельцами. Очевидно, что административная часть была какъ будто чѣмъ-то второстепеннымъ, что правители должны были многое, относящееся къ управленію, повѣрять усмотрѣнію своихъ секретарей и любимцевъ, что эти любимцы были иногда вовсе невѣжды, часто получали пронырствами мѣста, что все это должно было отозваться на народѣ и въ послѣдствіи времени обрушиться на самихъ правителей. Толпа теоретическихъ философовъ и поэтовъ, занявшихъ правительственныя мѣста, не можетъ доставить государству твердаго правленія. Ихъ сфера совершенно отдѣльна; они пользуются верховнымъ покровительствомъ и текутъ по своей дорогѣ. Отсюда исключаются тѣ великіе поэты,

которые соединяютъ въ себѣ и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человѣка, проникли мнѣе и прозрѣли будущее, которыхъ глаголь слынится всѣмъ народомъ. Они—великіе жрецы. Мудрые властители чествуютъ ихъ своею бесѣдою, берегутъ ихъ драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней дѣятельностью правителя. Ихъ призываютъ они только въ важныя государственныя совѣщанія, какъ вѣдателей глубины чело-вѣческаго сердца.

Благородный Ал-Мамунъ истинно желалъ сдѣлать счастливыми своихъ подданныхъ. Онъ зналъ, что вѣрный путе-водитель къ тому — науки, клонящіяся къ развитію чело-вѣка. Онъ всѣми силами заставлялъ своихъ подданныхъ принимать вводимое имъ просвѣщеніе. Но просвѣщеніе, вводимое Ал-Мамуномъ, менѣе всего отвѣчало природнымъ элементамъ и колоссальности воображенія арабовъ. Лишен-ныя энергіи начала политеизма, обратившіяся въ игру словъ, дерзко обезображенныя идеи христіанства, странно оварившія тогдашнія науки, не слившіяся съ ними, но, можно сказать, уничтожившія ихъ своимъ преобладаніемъ, представляли совершенный контрастъ пламенной природѣ араба, у котораго воображеніе слишкомъ потопляло тощія выводы холоднаго ума. Этотъ чудный народъ не шелъ, а летѣлъ къ своему развитію. Геній его вдругъ оказывался въ войнѣ, торговлѣ, искусствахъ, мануфактурахъ и въ роскошной поэзіи Востока. Его доселѣ небывалыя въ исторіи чело-вѣчества стихіи вспыхнули богато, ярко, странно и совершенно оригинально. Казалось, этотъ народъ общалъ дото-дѣ невиданное совершенство націи. Но Ал-Мамунъ не понялъ его. Онъ упустилъ изъ вида великую истину, что образование черпается изъ самого же народа, что просвѣ-щеніе наносное должно быть въ такой степени заимство-вано, сколько можетъ оно помогать собственному развитію, но что развиваться народъ долженъ изъ своихъ же націо-нальныхъ стихій. Но для арабовъ поле подвиговъ было заграждено этимъ бесплоднымъ чужестраннымъ просвѣще-

ціемъ. Самый космополитамъ Ал-Мамуна, открывшаго вѣходъ въ государство ученымъ всѣхъ партій, уже зашелъ нѣсколько далеко. Выгоды, которыя въ государствѣ получали христіане, не могли не возродить въ собственныхъ его подданныхъ ненависти, а вмѣстѣ и презрѣнія къ самимъ даже полезнымъ ихъ учрежденіямъ, — и народъ уже терялъ любовь къ своему калифу. Въ правленіи Ал-Мамунъ былъ больше философъ-теоретикъ, нежели философъ-практикъ, какимъ бы долженъ быть государь. Онъ зналъ жизнь своего народа изъ описаній, изъ разсказовъ другихъ, а не извѣдалъ самъ, какъ очевидецъ, какъ извѣдалъ его великій Гарунъ. Въ азіатскихъ образахъ правленія, не имѣющихъ опредѣленныхъ законовъ, вся административная часть падаетъ на самого монарха, и потому дѣятельность его должна быть необыкновенна, вниманіе его должно быть вѣчно напряжено; онъ не можетъ вѣрнѣе совершенно никому, и глазъ его долженъ имѣть многосторонность Аргуса: минуту зами опъ — и его полномочные намѣстники вдругъ возрастаютъ, и государство наполняется милліонами деспотовъ. Но Ал-Мамунъ въ своемъ Багдадѣ жилъ какъ въ государствѣ музъ, имъ же самимъ созданномъ и совершенно отдѣльномъ отъ міра политическаго. Христіане, которые стали, наконецъ, вмѣшиваться въ административныя должности, не могли узнать народнаго духа и обычая земли. Притомъ самое иновѣрство ихъ было невыносимо для араба, еще сохранившаго энтузіазмъ и нетерпимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось на устахъ всѣхъ ученыхъ тогдашняго вѣка, когда его гостепримство привлекало пестрые флаги къ берегамъ сирійскимъ, власть его внутри государства становилась между тѣмъ слабѣе. Жители провинцій, никогда не видавшіе своего калифа, мало дорожили его именемъ. Военная сила ослабла. Просвѣщеніе обыкновенно стремилось изъ Багдада, какъ изъ центра, уменьшаясь и угасая по мѣрѣ приближенія къ отдаленнымъ границамъ. На границахъ арабы еще сохраняли свой первый періодъ. На границахъ стояли войска, еще полныя фанатизма, еще

стремившіяся огнемъ и мечомъ водружать вѣру Магомета. Сильные эмпы ихъ, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамунъ уже при жизни своей видѣлъ отторженіе Персіи, Индіи и дальнихъ провинцій Африки. Но, можетъ-быть, все это невѣрное направленіе администраціи было бы еще исправимое зло, если бы Ал-Мамунъ не простеръ уже слишкомъ далеко своей любви къ истинѣ. Онъ захотѣлъ быть религіознымъ реформаторомъ своей націи. Исполненный ума чисто-теоретическаго, будучи выше суевѣрій и предразсудковъ, будучи ближе ознакомленъ съ нѣкоторыми догмами христіанства, нежели его предшественники, онъ не могъ не видѣть всѣхъ безчисленныхъ противорѣчій, пламенныхъ нелицъ остей, которыя вырывались всемѣстно въ постановленіяхъ изступленнаго творца Кораана. Онъ рѣшился очистить и преобразовать священную книгу магометанъ и — въ то самое время, когда еще всѣ низшія государственныя ступени, вся чернь была увѣрена, что она принесена съ неба, и когда усомниться въ маловажномъ постановленіи ея уже считалось величайшимъ преступленіемъ. Полугреческій образъ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слѣпому энтузіазма его подданныхъ. Первымъ шагомъ къ образованію своего народа онъ почиталъ истребленіе энтузіазма, — того энтузіазма, который составлялъ существованіе народа аравійскаго, — того энтузіазма, которому онъ обязанъ былъ всѣмъ своимъ развитіемъ и блестящею эпохою, подорвать который значило подорвать политическій составъ всего государства. Ему нелицъ, несообразнѣе всего казался Магометовъ рай, куда арабъ переносилъ всю чувственную земную жизнь свою, — жизнь, назначенную для наслажденія и сладострастія. Но Ал-Мамунъ не принялъ въ соображеніе того, что это постановленіе изверглось изъ огненнаго аравійскаго климата, изъ огненной природы араба, что этотъ рай для магометанина есть великій оазъ среди пустыни его жизни, что надежда въ этотъ рай одна только заставляла чувственнаго араба терпѣливо сносить бѣдность, притѣсненіе, пода-

влять въ душѣ своей зависть при видѣ утопающаго въ роскоши сибарита. Мысль, что и онъ будетъ, наконецъ, находиться среди гурій, среди роскоши, превышающей роскошь земныхъ владыкъ, одна могла быть доступна для такой чувственности и цвѣтистости воображенія, какими природа надѣлила араба, и что, можетъ-быть, съ дальнѣйшимъ только развитіемъ его, могла нечувствительно очиститься его вѣра. Ал-Мамунъ не постигалъ азіатской природы своихъ подданныхъ.

Можно себѣ представить силу негодованія многочисленнаго класса народа, когда распространились вѣсти о преобразованіяхъ калифовыхъ. Какъ долженъ былъ принять это народъ, который уже за одно покровительство христіанамъ и привязанность къ иностранцамъ обвинялъ гласно калифа въ мотализмъ, или ереси? Грубая толпа прежнихъ точныхъ исполнителей Корана жестокимъ упорствомъ своимъ, наконецъ, заставила калифа взяться за оружіе. И благородный, великодушный Ал-Мамунъ, проникнутый истинною любовію къ человѣчеству, явился гонителемъ своихъ подданныхъ. Гоненіемъ своимъ онъ воскресилъ опять въ арабахъ дикій фанатизмъ, но уже не тотъ фанатизмъ, который сдвинулъ прежде кочевыхъ обитателей Аравіи въ одну массу, — онъ произвелъ оппозиціонный фанатизмъ, — фанатизмъ, который растерзалъ массу, который посѣялъ плевелы въ нѣдрахъ государства, который разбудилъ дикія страсти араба, который далъ ножъ и ядъ ненависти въ руки изступленныхъ послѣдователей ислама, который произвелъ множество ослѣпленныхъ сектъ и ужаснѣе всего секту карматіановъ, долго еще свирѣпствовавшую подъ именемъ Сирійскихъ Убійцъ, во время крестовыхъ походовъ. Среди волнений, оказывавшихся въ разныхъ концахъ государства, среди смутъ и партій, разсыпая одною рукою благодѣянія и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорныхъ, изступленныхъ своихъ подданныхъ, умеръ благородный Ал-Мамунъ, — умеръ, не понявъ своего народа, не понятый своимъ народомъ. Во всякомъ

случай, онъ далъ поучительный урокъ. Онъ показалъ собою государя, который, при всемъ желаніи блага, при всей кротости сердца, при самоотверженіи и необыкновенной страсти къ наукамъ, былъ, между прочимъ, невольно одною изъ главныхъ пружинокъ, ускорившихъ паденіе государства.



АРАБЕСКИ.

—◆—
РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ

—◆—
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ЖИЗНЬ.

Бѣдному сыну пустыни снился сонъ.

Лежать и разстилается великое Средиземное море, и съ трехъ разныхъ сторонъ глядятъ на него палаціе берега Африки съ тонкими пальмами, сирійскія голыя пустыни и многолюдный, весь изрытый моремъ, берегъ Европы.

Стоить въ углу надъ неподвижнымъ моремъ древній Египеть. Пирамида надъ пирамидою; граниты глядятъ сѣрыми очами, обтесанные въ сфинксовъ; идутъ безчисленныя ступени. Стоить оцъ величавый, питаемый великимъ Ниломъ, весь убранный таинственными знаками и священными звѣрами. Стоить и неподвиженъ, какъ очарованный, какъ мумія, несокрушаемая тлѣніемъ.

Раскинула вольныя колоніи веселая Греція. Кипать на Средиземномъ морѣ острова, потопленные зелеными рощами; кинамонъ, виноградныя лозы, смоковницы помагають обливыми медомъ вѣтвями; колонны, бѣлыя какъ перси дѣвы, круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ; мраморъ страстный дышитъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо любитъ своею прекрасною наготою; увитый гроздіями, съ тирсами и чашами въ рукахъ, народъ остановился въ шумной пляскѣ. Жрицы, молодыя и стройныя, съ разметанными кудрями, вдохновенно вонзили свои черныя очи. Тростникъ, связанный въ цѣвницу, тимпаны, мусикійскія орудія мелькають, перевитыя плещемъ. Корабли какъ мухи толпятся близъ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающійся флагъ дыханію вѣтра. И все стоитъ неподвижно, какъ бы въ окаменѣломъ величїи.

Стоить и распростирается желѣзный Римъ, устремляя лѣсъ копій и сверкая грозною сталью мечей, вперивъ на

все завистливыя очи и протянувши свою жилистую десницу. Но онъ неподвиженъ, какъ и все, и не тронется львиными членами.

Весь воздухъ небеснаго океана висѣтъ сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелхнеть, какъ будто бы царства предстали всѣ на страшный судъ передъ кончиною міра.

И говорить Египеть, помавая тонкими пальмами, жилицами: его равнинъ, и устремляя иглы своихъ обелисковъ: «Народы, слушайте! Я одинъ постигъ и проникъ тайну жизни и тайну человѣка. Все тлѣнь. Никаки искусства, жалки наслажденія, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвуетъ надъ міромъ и человѣкомъ! Все пожираетъ смерть, все живетъ для смерти. Далеко, далеко до воскресенія! Да и будетъ ли когда воскресеніе? Прочь желанія и наслажденія! Выше строй пирамиду, бѣдный человѣкъ, чтобы хоть сколько-нибудь продить свое бѣдное существованіе».

И говорить ясный, какъ небо, какъ утро, какъ юность, свѣтлый міръ грековъ, и, казалось, вмѣсто словъ, слышалось дыханіе цѣвницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вмѣстѣ съ нею ея наслажденія. Все неси ему. Гляди, какъ выпукло и прекрасно все въ природѣ, какъ дышатъ все согласіемъ. Все въ мірѣ; все, чѣмъ ни владѣютъ боги, все въ немъ; умѣй находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель міра, вѣнчай дубомъ и лавромъ прекрасное чело свое! мчись на колесницѣ, искусно правя конями, на блистательныхъ играхъ! Далѣе корысть и жадность отъ вольной и гордой души! Рѣзецъ, палитра и цѣвница созданы быть властителями міра, а властительницею ихъ—красота. Увивай площемъ и гроздіемъ свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги! Жизнь создана для жизни, для наслажденія — умѣй быть достойнымъ наслажденія!»

И говорить покрытый желѣзомъ Римъ, потрясая блестящимъ лѣсомъ копій: «Я постигнулъ тайну жизни человѣка.

Низко спокойствіе для человѣка: оно уничтожаетъ его въ самомъ себѣ. Мать для души размѣръ искусствъ и наслажденій. Наслажденіе въ гигантскомъ желаніи. Презрѣнная жизнь народовъ и человѣка безъ громкихъ подвиговъ. Славы, славы жаждай, человѣкъ! Въ порывѣ неразсказаннаго веселія, омушленный звукомъ желѣза, несись на сомнутыхъ щитахъ бранноносныхъ легионовъ! Слышишь ли, какъ у ногъ твоихъ собрался весь міръ и, потрясая копьями, слился въ одно восклицаніе? Слышишь ли, какъ твое имя замираетъ страхомъ на устахъ племенъ, живущихъ на краяхъ міра? Все, что ни объемлетъ взоръ твой, наполняй своимъ именемъ. Стремись вѣчно: нѣтъ границъ міру — нѣтъ границъ и желанію. Дикій и суровый, дажь и дажь захватывай міръ — ты завоюешь, наконецъ, небо».

Но остановился Римъ и вперилъ орлиныя очи свои на востокъ. Къ востоку обратила и Греція свои влажныя отъ наслажденія, прекрасныя очи; къ востоку обратилъ Египетъ свои мутныя, безцвѣтныя очи.

Камениста земля; презрѣненъ народъ; немногочисленная весь прислонилась къ обнаженнымъ холмамъ, парѣдка, неровно отгнѣеннымъ иссохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградю стоитъ ослица. Въ деревянныхъ ясляхъ лежитъ младенецъ; надъ нимъ склонилась непорочная мать и глядитъ на него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко въ небѣ стоитъ звѣзда и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ.

Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижающая ниже свои пирамиды; безпокойно глянула прекрасная Греція; опустилъ очи Римъ на желѣзныя свои волея; приникла ухомъ великая Азія съ народами-пастырями; нагнулася Араратъ, древній прапращуръ земли...

1831.



ШЛЕЦЕРЪ, МИЛЛЕРЪ И ГЕРДЕРЪ.

Шлецерь, Миллеръ и Гердеръ были великіе зодчіе всеобщей исторіи. Мысль о ней была ихъ любимомъ мыслью и не оставляла ихъ во все время разнообразнаго ихъ поприща. Шлецерь, можно сказать, первый почувствовалъ идею объ одномъ великомъ цѣломъ, объ одной единицѣ, къ которой должны быть приведены и въ которую должны слиться всѣ времена и народы. Онъ хотѣлъ однимъ взглядомъ обнять весь міръ, все живущее. Казалось, какъ будто бы онъ сѣлся на сѣю аргусовыхъ глазъ, для того, чтобы разомъ видѣть сбывающееся во всѣхъ отдаленныхъ углахъ міра. Его слогъ — молнія, почти вдругъ блестящая то тамъ, то здѣсь, и освѣщающая предметы на одно мгновение, но за то въ ослѣпительной ясности. Я не знаю, исполнилъ ли бы онъ въ самомъ дѣлѣ то, что рѣзко показывалъ другимъ; но по крайней мѣрѣ никто такъ сильно не пораженъ былъ самъ своимъ предметомъ, какъ онъ. Онъ имѣлъ достоинство въ высшей степени сжимать все въ малообъемный фокусъ и двумя, тремя яркими чертами, часто даже однимъ эпитетомъ, обозначать вдругъ событіе и народъ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся ядомомъ одной счастливой минуты, одного внезапнаго вдохновенія, и такъ исполнены рѣзкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на умъ опредѣлившему себя на долгое, глубокое изслѣдованіе, выключая только, если этотъ изслѣдователь будетъ самъ Шлецерь. Онъ не былъ историкъ, и я думаю даже, что онъ не могъ быть историкомъ. Его мысли слишкомъ отрывисты, слишкомъ горячи, чтобы улечься въ гармоническую, стройную, текучесть повѣствованія. Онъ анализировалъ міръ и всѣ отжившіе и живу-

щіе народы, а не описывалъ ихъ; онъ разсѣкалъ весь міръ анатомическимъ ножомъ, рѣзалъ и дѣлилъ на массивныя части, располагалъ и отдѣлялъ народы такимъ же образомъ, какъ ботаникъ распредѣляетъ растенія по извѣстнымъ ему признакамъ. И оттого начертаніе его исторіи, казалось бы, должно быть слишкомъ скелетнымъ и сухимъ; но, къ удивленію, все у него сверкаетъ такими рѣзкими чертами, могущественный ударъ его глаза такъ вѣрнѣе, что, читая этотъ сжатый эскизъ міра, замѣчаешь съ изумленіемъ, что собственное воображеніе горитъ, расширяется и дополняетъ все по такому же самому закону, который опредѣлилъ Шлецеръ однимъ всемогущимъ словомъ; иногда оно стремится еще далѣе, потому что ему указана смѣлая дорога. Будучи однимъ изъ первыхъ, тревожимыхъ мыслью о величій и истинной цѣли всеобщей исторіи, онъ долженствовалъ быть непремѣнно гениемъ оппозиціоннымъ. Это положеніе сообщило ему сильную энергію, жаръ и даже досаду на близорукость предшественниковъ, прорывающіеся очень часто въ его сочиненіяхъ. Онъ уничтожаетъ ихъ однимъ громовымъ словомъ, и въ этомъ одномъ словѣ соединяется и наслажденіе, и сардоническая усмѣшка надъ пораженнымъ, и вмѣстѣ несокрушимая правда; его, справедливіе, нежели Канта, можно назвать всеокрушающимъ. Всегда почти дѣйствующіе въ оппозиціонномъ духѣ слишкомъ увлекаются своимъ положеніемъ и въ энтузіастическомъ порывѣ держатся только одного правила—противорѣчить всему, прежнему. Въ этомъ случаѣ нельзя упрекнуть Шлецера: германскій духъ его сталъ неколебимъ на своемъ мѣстѣ. Онъ—какъ строгій, всезрящій судія; его сужденія рѣзки, коротки и справедливы. Можетъ быть, нѣкоторымъ покажется страннымъ, что я говорю о Шлецерѣ, какъ о великомъ водчмѣ всеобщей исторіи, тогда какъ его мысли и труды по этой части улеглись въ небольшой книжкѣ, изданной имъ для студентовъ; но эта маленькая книжка принадлежитъ къ числу тѣхъ, читая которыя, кажется, читаешь цѣлые томы; ее можно сравнить съ небольшимъ окошкомъ, сквозь кото-

рое, приставивши къ нему ближе глазъ, можно увидѣть весь міръ. Онъ вдругъ осяняетъ свѣтомъ и показываетъ, какъ нужно понять, и тогда самъ собою, наконецъ, видишь все.

Миллеръ представляетъ собою историка совершенно въ другомъ родѣ. Спокойный, тихій, размышляющій, онъ представляетъ противоположность Шлецеру. Онъ съ какою-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слогъ не блеститъ тѣмъ рѣзкимъ отличіемъ, какимъ означенъ слогъ Шлецера; нѣтъ тѣхъ порывовъ, того мѣткаго лаконизма, какимъ исполненъ Шлецеръ. Онъ не схватываетъ вдругъ, однимъ взглядомъ всего и не сжимаетъ его мощною рукою; но онъ изслѣдываетъ все, находящееся въ мірѣ, спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и поспѣшности, съ какою выражается авторъ, опасующійся, чтобы у него не перехватилъ кто-нибудь мысли и не предупредилъ его. Слово «изслѣдованіе» весьма идетъ къ его стилю; его повѣствованіе именно изслѣдовательное. Какъ человѣкъ государственный, онъ болѣе всего занимается изложеніемъ формъ правленія и законовъ существующихъ и минувшихъ государствъ; но онъ не предпочитаетъ эту сторону до такой степени, чтобы оставить совершенно въ тѣни всѣ другія, къ чему способенъ бываетъ историкъ односторонній и чего не могъ избѣжать и Геренъ; напротивъ того, онъ обращаетъ вниманіе и на все сопредѣльное. Все, что не ясно въ исторіи, что менѣе разоблачено, все это болѣе другого подвергается его изслѣдованію. Замѣтно даже, что онъ охотнѣе занимается временами первобытными и вообще тѣми эпохами, когда народъ еще не былъ подверженъ образованности и порокамъ, сохранялъ свои простые нравы и независимость. Это время изображаетъ онъ съ ясною подробностію, съ тихимъ жаромъ, какъ будто позабываясь и воображая видѣть себя среди своихъ добрыхъ нивейцарцевъ. Главный результатъ, царствующій въ его исторіи, есть тотъ, что народъ тогда только достигаетъ своего счастья, когда сохраняетъ свято обычаи своей старины,

свою простую нраву и свою независимость. Вездѣ въ немъ видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь къ свободѣ проникають все его твореніе. Мысль о единствѣ и нераздѣльной цѣлости не служитъ такою цѣлью, къ которой бы явно устремлялось его повѣствованіе; онъ даже никогда не говоритъ о немъ, но единство чувствуется въ цѣломъ твореніи, несмотря на то, что онъ, кажется, забываетъ вовсе дѣла всего міра, занявшись однимъ народомъ. Исторія его не состоитъ изъ непрерывной движущейся цѣпи происшествій; драматическаго искусства въ немъ нѣтъ; вездѣ виденъ размышляющій мудрецъ. Онъ не высказываетъ слишкомъ ярко своихъ мыслей: онъ у него таятся такъ скромно, иногда въ такомъ незамѣтномъ уголкѣ, что ищущій не найдетъ ихъ никогда; но за то онъ такъ высоки и глубоки, что открывшему ихъ открывается, по выраженію Вагнера въ «Фаустѣ», на землѣ небо. Этотъ скромный, незамѣтный слогъ его и отсутствіе ослѣпляющей яркости производитъ въ душѣ невольное сожалѣніе: чрезъ него Миллеръ очень мало извѣстенъ, или, лучше сказать, не такъ извѣстенъ, какъ долженъ бы быть. Одни сильно проникнутые мыслью о исторіи и способные къ тонкому развитію могутъ только вполнѣ понимать его; другимъ же онъ кажется легкимъ и неглубокимысленнымъ.

Гердеръ представляетъ совершенно отличный образъ воззрѣнія. Онъ видитъ уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощаетъ осязательныя формы. Вездѣ онъ видитъ одного человѣка, какъ представителя всего человѣчества. Онъ выпытываетъ глубоко, вдохновенно, какъ браминъ природы, — названіе, которое придаютъ ему нѣмцы. У него крупнѣе группируются событія, его мысли всѣ высоки, глубоки и всемірны. Онъ у него являются мало соединенными съ видимою природою и какъ будто извлеченными изъ одного только чистаго ея горнила. Оттого онъ у него не имѣютъ исторической осязательности и видимости. Если событіе колоссально и заключается

въ идеѣ,—оно у него развертывается все, со всѣми своими сокровенными явленіями; но если слишкомъ коснулось жизни и практическаго, оно у него не получаетъ опредѣленнаго колорита. Если онъ нисходитъ до самыхъ лицъ и до дѣятелей исторіи, они у него не такъ ярки, какъ общія группы, они принимаютъ слишкомъ общую фізіогномію; они у него или добрые, или злые; все безчисленные оттѣнки характеровъ, все смѣшеніе и разнообразіе качествъ, познаніе которыхъ достается въ удѣлъ взирающему съ недоувѣрчивостію на другихъ, всѣ эти оттѣнки у него исчезали. Онъ мудрецъ въ познаніи идеальнаго человѣка и человѣчества, но младенецъ въ познаніи человѣка, по весьма естественному ходу вещей, какъ всегда мудрецъ бываетъ великъ въ своихъ мысляхъ и невѣжа въ мелочныхъ занятіяхъ жизни. Какъ поэтъ, онъ выше Шлецера и Миллера. Но, какъ поэтъ, онъ все создаетъ и перевариваетъ въ себѣ, въ своемъ уединенномъ кабинетѣ, полный одного высшаго откровенія, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой души. Но высокое и прекрасное вырывается часто изъ низкой и презрѣнной жизни, или оно вызывается натискомъ тѣхъ безчисленныхъ и разнохарактерныхъ явленій, которыя безпрестанно пестрятъ жизнь человѣческую, и которыхъ познаніе рѣдко дается отвлеченному отъ жизни мудрецу. Стиль его, болѣе нежели у кого другаго, исполненъ живописи и широкаго размѣра, потому что онъ поэтъ и этимъ рѣзко стлчается отъ Миллера, философа-законодателя, всегда спокойнаго и размышляющаго, и Шлецера, философа-критика, всегда почти рѣзкаго и недовольнаго.

Мнѣ кажется, что если бы глубокость результатовъ Гердера, нисходящихъ до самаго начала человѣчества, соединить съ быстрымъ, огненнымъ взглядомъ Шлецера и изыскательною, расторопною мудростію Миллера, тогда бы вышелъ такой историкъ, который бы могъ написать всеобщую исторію. Но при всѣмъ томъ, ему бы еще много кое-чего недоставало: ему бы недоставало высокаго драматическаго

искусства, котораго не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумью, однакожь, подъ словомъ «драматическаго искусства», не то искусство, которое состоитъ въ умѣнн вести разговоръ, но въ драматическомъ интересѣ всего творенія, который сообщилъ бы ему неодолимую увлекательность, тотъ интересъ, который иногда дышитъ въ историческихъ отрывкахъ Шиллера, особенно въ *Тридцатилѣтней войны*, и которымъ отличается почти всякое немногосложное происшествіе. Но я бы къ этому присоединилъ еще въ нѣкоторой степени занимательность разсказа Вальтеръ-Скотта и его умѣнн замѣчать самыя тонкія отгѣнки; къ этому присоединилъ бы шекспировское искусство развивать крупныя черты характеровъ въ тѣсныхъ границахъ, и тогда бы, мнѣ кажется, составился такой историкъ, какового требуетъ всеобщая исторія. Но до того времени Миллеръ, Шлецеръ и Гердеръ долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много освѣтили всеобщую исторію, и если въ нынѣшнее время мы имѣемъ нѣсколько замѣчательныхъ сочиненій, то этимъ обязаны имъ однимъ.

1832.

2

НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТЪ.

повѣсть.

Нѣтъ ничего лучше Невского проспекта, по крайней мѣрѣ въ Петербургѣ: для него онъ составляетъ все. Чѣмъ не блеститъ эта улица-красавица нашей столицы? Я знаю, что ни одинъ изъ блѣдныхъ и чиновныхъ ея жителей не промѣняетъ на всѣ блага Невского проспекта. Не только кто имѣетъ двадцать пять лѣтъ отъ роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртукъ, но даже тотъ, у кого, на подбородкѣ выскакиваютъ бѣлые волоса и голова гладка, какъ серебряное блюдо, и тотъ въ восторгѣ отъ Невского проспекта. А дамы! О, дамамъ еще больше пріятенъ Невскій проспектъ. Да и кому же онъ не пріятенъ? Едва только взойдешь на Невскій проспектъ, какъ уже пахнетъ однимъ гуляньемъ. Хотя бы имѣлъ какое-нибудь нужное, необходимое дѣло, но, взошедши на него, вѣрно, забудешь о всякомъ дѣлѣ. Здѣсь единственное мѣсто, гдѣ показываются люди не по необходимости, куда не загнала ихъ надобность и меркантильный интересъ, объемлющій весь Петербургъ. Кажется, человѣкъ, встрѣченный на Невскомъ проспектѣ, менѣе эгоистъ, нежели въ Морской, Гороховой, Литейной, Мѣщанской и другихъ улицахъ, гдѣ жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущихъ и летящихъ въ каретахъ и на дрожкахъ. Невскій проспектъ есть всеобщая коммуникація Петербурга. Здѣсь житель Петербургской или Выборгской части, нѣсколько лѣтъ не бывавшій у своего пріятеля на Пескахъ или у Московской заставы, можетъ быть увѣренъ, что встрѣтится съ нимъ непременно. Никакой адресъ-календарь и справочное мѣсто не доставятъ такого вѣрнаго извѣстія, какъ Невскій проспектъ. Всемогу-

щій Невскій проспект! Единственное развлеченіе бѣднаго на гулянья Петербурга! Какъ чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ногъ оставляетъ на немъ слѣды свои! И неуклюжій грязный сапогъ отставного солдата, подъ тяжестью котораго, кажется, трескается самый гранитъ, и миниатюрный, легкій, какъ дымъ, башмачокъ молодой дамы, оборачивающей свою головку къ блестящимъ окнамъ магазина, какъ подсолнечникъ къ солнцу, и гремящая сабля исполненнаго надеждъ прапорщика, проводящая по немъ рѣзкую царяину,—все вымещаетъ на немъ могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на немъ фантазмагорія въ теченіе одного только дня! Сколько вытерпитъ онъ перемѣнъ въ теченіе однѣхъ сутокъ! Начнемъ съ самаго ранняго утра, когда весь Петербургъ пахнетъ горячими, только-что выпеченными хлѣбами и наполненъ старухами въ изодранныхъ платьяхъ и салопахъ, совершающими свои наѣзды на церкви и на сострадательныхъ прохожихъ. Тогда Невскій проспектъ пустъ: плотные содержатели магазиновъ и ихъ коммисіоны еще сняты въ своихъ голландскихъ рубашкахъ или мылятъ свою благородную щеку и пьютъ кофе; нищія собираются у дверей кондитерскихъ, гдѣ сонный ганимедъ, летавшій вчера, какъ муха, съ шоколадомъ, вылѣзаетъ съ метлой въ рукѣ, безъ галстука, и швыряетъ имъ черствые пироги и объѣдки. По улицамъ плетется нужный народъ: иногда переходятъ ее русскіе мужики, спѣшащіе на работу, въ салогахъ, запачканныхъ известью, которыхъ и Екатерининскій каналъ, извѣстный своею чистотою, не въ состояніи бы былъ обмыть. Въ это время обыкновенно неприлично ходить дамамъ, потому что русскій народъ любитъ изъясняться такими рѣзкими выраженіями, какихъ онѣ, вѣрно, не услышатъ даже въ театрѣ. Иногда сонный чиновникъ пролѣзетъ съ портфелемъ подъ мышкою, если черезъ Невскій проспектъ лежитъ ему дорога въ департаментъ. Можно сказать рѣшительно, что въ это время, т. е. до 12 часовъ, Невскій проспектъ не составляетъ видъ для кого

цѣли, онъ служить только средствомъ: онъ постепенно наполняется лицами, имѣющими свои занятія, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о немъ. Русскій мужикъ говоритъ о гривнѣ или о семи грошахъ мѣди, старики и старухи размахиваютъ руками или говорятъ сами съ собою, иногда съ довольно разительными жестами, но никто ихъ не слушаетъ и не смѣется надъ ними, выключая только развѣ мальчишекъ въ пестрядевыхъ халатахъ, съ пустыми штофами или готовыми сапогами въ рукахъ, бѣгущихъ молніями по Невскому проспекту. Въ это время, что бы вы на себя ни надѣли, хотя бы даже, вмѣсто шляпы, картузь былъ у васъ на головѣ, хотя бы воротнички слинкомъ далеко высунулись изъ вашего галстука,—никто этого не замѣтитъ.

Въ 12 часовъ на Невскій проспектъ дѣлаютъ набѣги гувернеры всѣхъ націй съ своими питомцами въ батистовыхъ воротничкахъ. Англійскіе Джонсы и французскіе Коки идутъ подъ-руку съ ввѣренными ихъ родительскому попеченію питомцами и съ приличною солидностію изъясняютъ имъ, что вывѣски надъ магазинами дѣлаются для того, чтобы можно было посредствомъ ихъ узнать, что находится въ самыхъ магазинахъ. Гувернантки, блѣдныя миссъ и розовыя мадмуазели, идутъ величаво позади своихъ легенькихъ, вертлявыхъ дѣвчонокъ, приказывая имъ поднять нѣсколько лѣвое плечо и держаться прямѣе; короче сказать, въ это время Невскій проспектъ—педагогическій Невскій проспектъ. Но чѣмъ ближе къ двумъ часамъ, тѣмъ уменьшается число гувернантокъ, педагоговъ и дѣтей: они, наконецъ, вытѣняются нѣжными ихъ родителями, идущими подъ-руку съ своими пестрыми, разноцвѣтными, слабонервными подругами. Мало-по-малу присоединяются къ ихъ обществу всѣ, окончившіе довольно важныя домашнія занятія, какъ-то: поговорившіе съ своимъ докторомъ о погодѣ и о небольшомъ прыщикѣ, вскочившемъ на носу, узнавшіе о здоровьи лошадей и дѣтей своихъ, впрочемъ, показывающихъ большія дарованія, прочитавшіе афишу и вакъ-

ную статью въ газетахъ о прѣзжающихъ и отѣзжающихъ, наконецъ, выпившіе чашку кофею и чаю; къ нимъ присоединяются и тѣ, которыхъ завидная судьба надѣлила благословеннымъ званіемъ чиновниковъ по особымъ порученіямъ. Къ нимъ присоединяются и тѣ, которые служатъ въ иностранной коллегіи и отличаются благородствомъ своихъ занятій и привычекъ! Боже, какія есть прекрасныя должности и службы! какъ онѣ возвышаютъ и услаждаютъ душу! Но, увы, я не служу и лишень удовольствія видѣть тонкое обращеніе съ собою начальниковъ. Все, что вы ни встрѣтите на Невскомъ проспектѣ, все исполнено приличія: мужчины въ длинныхъ сюртукахъ съ заложеными въ карманы руками, дамы въ розовыхъ, бѣлыхъ и блѣдно-голубыхъ атласныхъ рединготахъ и щегольскихъ шляпкахъ. Вы здѣсь встрѣтите бакенбарды, единственныя, пропущенныя съ необыкновеннымъ и изумительнымъ искусствомъ подъ галстукъ, бакенбарды бархатныя, атласныя, черныя, какъ соболь или уголь, но, увы! принадлежація только одной иностранной коллегіи. Служащимъ въ другихъ департаментахъ Провидѣніе отказало въ черныхъ бакенбардахъ; они должны, къ величайшей несправедливости своей, носить рыжія. Здѣсь вы встрѣтите усы чудныя, никакимъ перомъ, никакою кистью неизобразимыя; усы, которымъ посвящена лучшая половина жизни, предметъ долгихъ бдѣній во время дня и ночи; усы, на которые излились восхитительнѣйшіе духи и которыхъ умастили всѣ драгоцѣннѣйшіе и рѣдчайшіе сорта помады; усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленовою бумагою; усы, къ которымъ дышитъ самая трогательная привязанность ихъ посессоровъ, и которымъ завидуютъ проходящіе. Тысячи сортовъ шляпокъ, платковъ, пестрыхъ, легкихъ, къ которымъ иногда въ теченіе цѣлыхъ двухъ дней сохраняется привязанность ихъ владѣтельница, ослѣплять хоть кого на Невскомъ проспектѣ. Кажется, какъ будто цѣлое море мотыльковъ поднялось вдругъ со стеблей и волнуется блестящею тучею надъ черными жуками мужескаго пола. Здѣсь вы встрѣтите такія

тали, какія даже вамъ не снились никогда: тоненькія, узенькія, тали никакъ не толще бутылочной шейки, встрѣтятся съ которыми, вы почтительно отойдете къ сторонѣ, чтобы какъ-нибудь неосторожно не толкнуть невѣжливымъ локтемъ; сердцемъ вашимъ овладѣтъ робость и страхъ, чтобы какъ-нибудь, отъ неосторожнаго даже дыханія вашего, не переломилось прелестнѣйшее произведеніе природы и искусства. А какіе встрѣтите вы дамскіе рукава на Невскомъ проспектѣ! Ахъ, какая прелесть! Они нѣсколько похожи на два воздухоплавательные шара, такъ что дама вдругъ бы поднялась на воздухъ, если бы не поддерживалъ ее мужчина; потому что даму такъ же легко и пріятно поднять на воздухъ, какъ подносимый ко рту бокаль, наполненный шампанскимъ. Нигдѣ при взаимной встрѣчѣ не раскланиваются такъ благородно и непринужденно, какъ на Невскомъ проспектѣ. Здѣсь вы встрѣтите улыбку единственную, улыбку—верхъ искусства, иногда такую, что можно растаять отъ удовольствія, иногда такую, что вы увидите себя вдругъ ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейскаго шпица и поднимете ее вверхъ. Здѣсь вы встрѣтите разговаривающихъ о концертѣ или о погодѣ съ необыкновеннымъ благородствомъ и чувствомъ собственнаго достоинства. Тутъ вы встрѣтите тысячу непостижимыхъ характеровъ и явленій. Создатель! какіе странные характеры встрѣчаются на Невскомъ проспектѣ! Есть множество такихъ людей, которые, встрѣтившись съ вами, непременно посмотрятъ на сапоги ваши и, если вы пройдете, они оборотятся назадъ, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сихъ поръ не могу понять, отчего это бываетъ. Сначала я думалъ, что они сапожники, но, однокоже, ничуть не бывало: они большею частію служатъ въ разныхъ департаментахъ, многіе изъ нихъ превосходнымъ образомъ могутъ написать отношеніе изъ одного казеннаго мѣста въ другое; или же—люди, занимающіеся прогулками, чтеніемъ газетъ по кондитерскимъ,—словомъ, большею частію все порядоч-

ные люди. Въ это благословенное время отъ 2-хъ до 3-хъ часовъ пополудни, которое можетъ назваться движущеюся столицею Невскаго проспекта, происходитъ главная выставка всѣхъ лучшихъ произведеній человѣка. Одинъ показываетъ щегольской сюртукъ съ лучшимъ бобромъ, другой— греческій прекрасный носъ, третій несетъ превосходныя бакенбарды, четвертая мару хорошенькихъ глазокъ и удивительную шляпку, пятый перстень съ талисманомъ на щегольскомъ мизинцѣ, шестая — ножку въ очаровательномъ башмачкѣ, седьмой—галстукъ, возбуждающій удивленіе, восьмой—усы, повергающіе въ изумленіе. Но бьетъ три часа—и выставка оканчивается, толпа рѣдѣтъ... Въ три часа новая перемѣна. На Невскомъ проспектѣ вдругъ настаетъ весна: онъ покрывается весь чиновниками въ зеленыхъ вицмундирахъ. Голодные титулярные, надворные и прочіе совѣтники стараются всѣми силами ускорить свой ходъ. Молодые коллежскіе регистраторы, губернскіе и коллежскіе секретари спѣшатъ еще воспользоваться временемъ и пройтись по Невскому проспекту съ осанкою, показывающею, что они вовсе не сидѣли 6 часовъ въ присутствіи. Но старые коллежскіе секретари, титулярные и надворные совѣтники идутъ скоро, потупивши голову: имъ не до того, чтобы заниматься разсматриваніемъ прохожихъ; они еще не вполне оторвались отъ заботъ своихъ; въ ихъ головѣ срашась и цѣлый архивъ начатыхъ и неконченныхъ дѣлъ; имъ долго, вмѣсто выѣски, показывается картонка съ бумагами или полное лицо правителя канцеляріи.

Съ четырехъ часовъ Невскій проспектъ пустъ, и врядъ ли вы встрѣтите на немъ хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея изъ магазина перебѣжитъ чрезъ Невскій проспектъ съ коробкою въ рукахъ; какая-нибудь жадная добыча челоуѣколюбиваго понытчика, пущенная по-міру во фризовой шинели; какой-нибудь заѣзжій чудакъ, которому всѣ часы равны; какая-нибудь длинная, высокая англичанка съ ридикюлемъ и книжкою въ рукахъ; какой-нибудь артельщикъ, русскій челоуѣкъ, въ демикотоновомъ сюртукѣ, съ

таліей на синіѣ, съ узенькою бородою, живущій всю жизнь на живую нитку, въ которомъ все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда онъ учтиво проходитъ по тротуару; иногда низкій ремесленникъ... больше никого не встрѣтите вы въ это время на Невскомъ проспектѣ.

Но какъ только сумерки упадутъ на дома и улицы, и будочникъ, накрывшись рогожею, вскарабкается на лѣстницу зажигать фонарь, а изъ низенькихъ окошекъ магазиновъ выглянуть тѣ астампы, которые не смѣютъ показаться среди дня, какъ уже Невскій проспектъ опять оживаетъ и начинаетъ шевелиться. Тогда настанетъ то таинственное время, когда лампы даютъ всему какой-то заманчивый, чудесный свѣтъ. Вы встрѣтите очень много молодыхъ людей, большею частію холостыхъ, въ теплыхъ сюртукахъ и шинеляхъ. Въ это время чувствуется какая-то цѣль, или, лучше, что-то похожее на цѣль, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всѣхъ ускоряются и становятся вообще очень неровны; длинныя тѣни мелькаютъ по стѣнамъ и мостовой, и чуть не достаютъ головами Полицейскаго моста. Молодые коллежскіе регистраторы, губернскіе и коллежскіе секретари очень долго прозаживаются; но старыя коллежскіе регистраторы, титулярные и надворные совѣтники, большею частію, сидятъ дома, или потому, что это народъ женатый, или потому, что имъ очень хорошо готовятъ кушанье живущія у нихъ въ домахъ кухарки-нѣмки. Здѣсь вы встрѣтите почтенныхъ стариковъ, которые съ такою важною и съ такимъ удивительнымъ благородствомъ прогуливались въ два часа по Невскому проспекту. Вы ихъ увидите бѣгущими такъ же, какъ молодые коллежскіе регистраторы, съ тѣмъ, чтобы заглянуть подъ шляпку издали завидѣнной дамы, которой толстыя губы и щеки, наштукатуренныя румянами, такъ нравятся многимъ гуляющимъ, а болѣе всего сидѣльцамъ, артельщикамъ, купцамъ, всегда, въ нѣмецкихъ сюртукахъ, гуляющимъ цѣлою толпою и обыкновенно подъ-руку.

«Стой!» закричалъ въ это время поручикъ Пироговъ, дер-

нужь шедшаго съ нимъ молодого человѣка во фракъ и въ плащъ. «Видѣль?»

«Видѣль; чудная, совершенно Перуджинова Біанка.»

«Да ты объ какой говоришь?»

«Объ ней, о той, что съ темными волосами... И какіе глаза! Боже, какіе глаза! Все положеніе и контура, и складъ лица—чудеса!»

«Я говорю тебѣ о блондинкѣ, что прошла за ней въ ту сторону. Что-жъ ты не идешь за брюнеткою, когда она такъ тебѣ понравилась?»

«О, какъ можно!» воскликнулъ покраснѣвшій молодой человѣкъ во фракъ. «Какъ будто она изъ тѣхъ, которыя ходятъ ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама», продолжалъ онъ, вздохнувши: «одинъ плащъ на ней стоить рублей восемьдесятъ!»

«Простаки!» закричалъ Пироговъ, насильно толкнувши его въ ту сторону, гдѣ развѣвался яркій плащъ ея: «ступай, простофиля, прозѣваешь! А я пойду за блондинкою». Оба пріятеля разошлись.

«Знаемъ мы васъ всѣхъ», думалъ про себя съ самодовольною и самонадѣянною улыбкою Пироговъ, увѣренный, что нѣтъ красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человѣкъ во фракъ и плащъ, робкимъ и трепетнымъ шагомъ, пошелъ въ ту сторону, гдѣ развѣвался вдали пестрый плащъ, то окидывавшійся яркимъ блескомъ, по мѣрѣ приближенія къ свѣту фонаря, то мгновенно покрывавшійся тьмою, по удаленіи отъ него. Сердце его билось, и онъ невольно ускорялъ шагъ свой. Онъ не смѣлъ и думать о томъ, чтобы получить какое-нибудь право на вниманіе улетавшей вдали красавицы, тѣмъ болѣе допустить такую черную мысль, о какой намекалъ ему поручикъ Пироговъ; но ему хотѣлось только видѣть домъ, замѣтить, гдѣ имѣеть жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетѣло съ неба прямо на Невскій проспектъ и, вѣрно, улетитъ неизвѣстно куда. Онъ летѣлъ такъ скоро, что сталкивался безпрестанно съ тротуара солидныхъ господъ, съ

сѣдими бакенбардами. Этотъ молодой человѣкъ принадлежалъ къ тому классу, который составляетъ у насъ довольно странное явленіе и столько же принадлежитъ къ гражданамъ Петербурга, сколько лицо, являющееся намъ въ сновидѣніи, принадлежитъ къ существенному міру. Это исключительное сословіе очень необыкновенно въ томъ городѣ; гдѣ всѣ или чиновники, или купцы, или ремесленники-нѣмцы. Это былъ художникъ. Не правда ли, странное явленіе—художникъ петербургскій? Художникъ въ землѣ снѣговъ, художникъ въ странѣ финновъ, гдѣ все мокро, гладко, ровно, блѣдно, сѣро, туманно! Эти художники вовсе не похожи на художниковъ итальянскихъ, гордыхъ, горячихъ, какъ Италия и ея небо; напротивъ того, это большею частію добрый, кроткій народъ, застѣнчивый, безпечный, любящій тихо свое искусство, пьющій чай съ двумя пріятелями своими въ маленькой комнатѣ, скромно толкующій о любимомъ предметѣ и вовсе небрегающій объ излишнемъ. Онъ вѣчно зазоветъ къ себѣ какую-нибудь нищую-старуху и заставитъ ее просидѣть битыхъ часовъ шесть, съ тѣмъ, чтобы перевести на полотно ея жалкую, безчувственную мину. Онъ рисуетъ перспективу своей комнаты, въ которой валяется всякій художественный вздоръ: гипсовые руки и ноги, сдѣлавшіяся кофейными отъ времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, пріятель, играющій на гитарѣ, стѣны, запачканныя красками, съ раствореннымъ окномъ, сквозь которое мелькаетъ блѣдная Нева и бѣдные рыбаки въ красныхъ рубашкахъ. У нихъ всегда почти на всемъ сѣренькій, мутный колоритъ—неизгладимая печать Сѣвера. При всемъ томъ, они съ истиннымъ наслажденіемъ трудятся надъ своею работою. Они часто питаютъ въ себѣ истинный талантъ, и если бы только дунуло на нихъ свѣжій воздухъ Италии, онъ бы, вѣрно, развился такъ же вольно, широко и ярко, какъ растеніе, которое выносятъ; наконецъ, изъ комнаты на чистый воздухъ. Они вообще очень робки: звѣзда и толстый эпюлетъ приводятъ ихъ въ такое замѣшательство, что они невольно по-

нижаютъ цѣну своихъ произведеній. Они любятъ иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на нихъ слишкомъ рѣзкимъ и нѣсколько походить на заплата. На нихъ встрѣтите вы иногда отличный фракъ и запачканный плащъ, дорогой бархатный жилетъ и сюртукъ весь въ краскахъ,— такимъ же самымъ образомъ, какъ на недоконченномъ ихъ пейзажѣ увидите вы иногда нарисованную внизъ головою нимфу, которую онъ, не найдя другого мѣста, набросалъ на запачканномъ грунтѣ прежняго своего произведенія, когда-то писаннаго имъ съ наслажденіемъ. Онъ никогда не глядитъ вамъ прямо въ глаза; если же глядитъ, то какъ-то мутно, неопредѣленно; онъ не вонзаетъ въ васъ ястребинаго взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерійскаго офицера. Это происходитъ оттого, что онъ въ одно и то же время видитъ и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсоваго Геркулеса, стоящаго въ его комнатѣ, или ему представляется его же собственная картина, которую онъ еще думаетъ произвести. Отъ этого онъ отвѣчаетъ часто несвязно, иногда невпопадъ, и мѣшающіеся въ его головѣ предметы еще болѣе увеличиваютъ его робость. Къ такому роду принадлежалъ и описываемый нами молодой человѣкъ, художникъ Пискаревъ, застѣнчивый, робкій, но въ душѣ своей носившій искры чувства, готовая, при удобномъ случаѣ, превратиться въ пламя. Съ тайнымъ трепетомъ снѣшилъ онъ за своимъ предметомъ, такъ сильно его поразившимъ, и, казалось, дивился самъ своей дерзости. Незнакомое существо, къ которому такъ прильнули его глаза, мысли и чувства, вдругъ поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какія божественныя черты! Ослѣпительной бѣлизны прелестнѣйшій лобъ освѣненъ былъ прекрасными, какъ агатъ, волосами. Они вились, эти чудныя локоны, и часть ихъ, падая изъ-подъ шляпки, касалась щеки, тронутой тонкимъ, свѣжимъ румянцемъ, проступившимъ отъ вечерняго холода. Уста были замкнуты цѣлымъ роємъ прелестнѣйшихъ грѣзь. Все, что остается отъ воспоминанія о дѣтствѣ, что даетъ мечтаніе и тихое вдохновеніе

при свѣтящейся лампадѣ,—все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось въ ея гармоническихъ устахъ. Она взглянула на Пискарева, и при этомъ взглядѣ затрепетало его сердце; она взглянула сурово: чувство негодованія проступило у ней на лицѣ при видѣ такого наглаго преслѣдованія; но на этомъ прекрасномъ лицѣ и самый гнѣвъ былъ обворожителенъ. Постигнутый стыдомъ и робостью, онъ остановился, потушивъ глаза; но какъ утратить это божество и не узнать даже того святилища, гдѣ оно опустилось гостить? Такія мысли пришли въ голову молодому мечтателю, и онъ рѣшился преслѣдовать. Но, чтобы не дать этого замѣтить, онъ отдалился на дальнее разстояніе, безпечно глядѣлъ по сторонамъ и разсматривалъ вывѣски, а между тѣмъ не упускалъ изъ виду ни одного шага незнакомки. Проходящіе рѣже начали мелькать, улица становилась тише, красавица оглянулась, и ему показалось, какъ будто легкая улыбка сверкнула на губахъ ея. Онъ весь задрожалъ и не вѣрилъ своимъ глазамъ. Нѣтъ, это фонарь обманчивымъ свѣтомъ своимъ выразилъ на лицѣ ея подобіе улыбки; нѣтъ, это собственныя мечты его смѣются надъ нимъ. Но дыханіе занялось въ его груди, все въ немъ обратилось въ неопредѣленный трепетъ, всѣ чувства его горѣли и все передъ нимъ окунулось какимъ-то туманомъ; тротуаръ несясь подъ нимъ, кареты со скачущими лошадьми казались недвижими, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка валилась къ нему навстрѣчу, и алебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами вывѣски и нарисованными ножницами, блестя, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ. И все это произвелъ одинъ взглядъ, одинъ поворотъ хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, онъ несясь по легкимъ слѣдамъ прекрасныхъ ножекъ, стараясь самъ умѣрить быстроту своего шага, летѣвшаго подъ тактъ сердца. Иногда овладѣвало имъ сомнѣніе, точно ли выраженіе лица ея было такъ благосклонно, и тогда онъ на минуту останавливался; но сердечное бѣненіе, непреодолимая сила и тревога всѣхъ

чувствъ стремилъ его впередъ. Онъ даже не замѣтилъ, какъ вдругъ возвысился передъ нимъ четырехэтажный домъ, всѣ четыре ряда оконъ, свѣтившіеся огнемъ, глянули на него разомъ, и перила у подъѣзда противопоставили ему желѣзный толчокъ свой. Онъ видѣлъ, какъ незнакомка лѣтѣла по лѣстницѣ, оглянулась, положила на губы палецъ и дала знакъ слѣдовать за собою. Колѣни его дрожали; чувства, мысли горѣли; молнія радости нестерпимымъ остриемъ вонзилась въ его сердце. Нѣтъ, это уже не мечта! Боже, столько счастья въ одинъ мигъ! такая чудесная жизнь въ двухъ минутахъ.

Но не во снѣ ли это все? Ужели та, за одинъ небесный взглядъ которой онъ готовъ былъ бы отдать всю жизнь, приблизиться къ жилищу которой уже онъ почиталъ за неизяснимое блаженство,—ужели та была сейчасъ такъ благосклонна и внимательна къ нему? Онъ взлетѣлъ на лѣстницу. Онъ не чувствовалъ никакой земной мысли; онъ не былъ разогрѣтъ пламенемъ земной страсти,—нѣтъ, онъ былъ въ эту минуту чистъ и непороченъ, какъ дѣвственный юноша, еще дышавшій неопредѣленною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы въ развратномъ человѣкѣ дерзкія помышленія, то самое, напротивъ, еще болѣе освятило ихъ. Это довѣріе, которое оказало ему слабое, прекрасное существо, это довѣріе наложило на него обѣтъ строгости рыцарской, обѣтъ рабски исполнять всѣ повелѣнія ея. Онъ только желалъ, чтобы эти велѣнія были какъ можно болѣе трудны и неудоисполняемы, чтобы съ большимъ напряженіемъ силъ лѣтѣть преодолевать ихъ. Онъ не сомнѣвался, что какое-нибудь тайное и вмѣстѣ важное происшествіе заставило незнакомку ему вѣрится; что отъ него, вѣрно, будутъ требоваться значительныя услуги, и онъ чувствовалъ уже въ себѣ силу и рѣшимость на все.

Лѣстница вилась, и вмѣстѣ съ нею вились его быстрыя мечты. «Идите осторожнѣе!» зазвучалъ, какъ арфа, голосъ и исполнилъ всѣ жилы его новымъ трепетомъ. Въ темной вышинѣ четвертаго этажа незнакомка постучала въ дверь;

она отворилась, и они вошли вмѣстѣ. Женщина, довольно недурной наружности, встрѣтила ихъ со свѣчою въ рукѣ, но такъ странно и нагло посмотрѣла на Пискарева, что онъ опустилъ невольно свои глаза. Они вошли въ комнату. Три женскія фигуры въ разныхъ углахъ представились его глазамъ. Одна раскладывала карты; другая сидѣла за фортепианомъ и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобіе стариннаго полонеза; третья сидѣла передъ зеркаломъ, расчесывая гребнемъ свои длинныя волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входѣ незнакомаго лица. Какой-то неприятный безпорядокъ, который можно встрѣтить только въ безпечной комнатѣ холостяка, царствовалъ во всемъ. Мебели, довольно хорошия, были покрыты пылью; паукъ застилалъ своею паутиною лѣнной карнизъ; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестялъ сапогъ со шпорою и краснѣла выпушка мундира; громкій мужской голосъ и женскій смѣхъ раздавались безъ всякаго принужденія.

Боже, куда зашелъ онъ! Сначала онъ не хотѣлъ вѣрить и началъ пристальнѣе всматриваться въ предметы, наполнявшіе комнату; но голыя стѣны и окна безъ занавѣсъ не показывали никакого присутствія заботливой хозяйки; изношенныя лица этихъ жалкихъ созданій, изъ которыхъ одна сѣла почти передъ его носомъ и такъ же спокойно его разсматривала, какъ пятно на чужомъ платьѣ, — все это увѣрило его, что онъ зашелъ въ тотъ отвратительный пріютъ, гдѣ основалъ свое жилище жалкій развратъ, порожденный мишурною образованностью и страшнымъ многолюдствомъ столицы, — тотъ пріютъ, гдѣ человѣкъ святотатственно подавилъ и посмѣялся надъ всѣмъ чистымъ и святымъ; украшающимъ жизнь, гдѣ женщина, эта красавица міра, вѣнецъ творенія, обратилась въ какое-то странное, двусмысленное существо, гдѣ она, вмѣстѣ съ чистотою души, лишилась всего женскаго и отвратительно присвоила себѣ ухватки и наглость мужчины и уже перестала быть тѣмъ слабымъ, тѣмъ прекраснымъ и такъ отличнымъ отъ насъ существомъ. Пискаревъ мѣрять ее съ ногъ до головы изу-

млевыми глазами, какъ бы еще желая увѣриться, та ли это, которая такъ околдовала и унесла его на Невскомъ проспектѣ. Но она стояла передъ нимъ такъ же хороша; волосы ея были такъ же прекрасны; глаза ея казались все еще небесными. Она была свѣжа; ей было только 17 лѣтъ; видно было, что еще недавно достигнулъ ее ужасный развратъ: онъ еще не смѣлъ коснуться къ ея щекамъ, онѣ были свѣжи и легко отгѣнены тонкимъ румянцемъ; она была прекрасна.

Онъ неподвижно стоялъ передъ нею и уже готовъ былъ такъ же простодушно позабыться, какъ позабылся прежде. Но красавица наскучила такимъ долгимъ молчаніемъ и значительно улыбнулась, глядя ему прямо въ глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости: она такъ была странна и такъ же шла къ ея лицу, какъ идетъ выраженіе набожности: рождѣ взяточника или бухгалтерская книга поуту. Онъ содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькія уста и стала говорить что-то, но все это было такъ глупо, такъ пошло... Какъ будто вмѣстѣ съ непорочною оставляетъ и умъ человѣка! Онъ уже ничего не хотѣлъ слышать. Онъ былъ чрезвычайно смѣшонъ и простъ, какъ дитя. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться такою благоклонностью, вмѣсто того, чтобы обрадоваться такому случаю, какому, безъ сомнѣнія, обрадовался бы на его мѣстѣ всякій другой, онъ бросился со всѣхъ ногъ, какъ дикая сайга, и выбѣжалъ на улицу.

Повѣсивши голову и опустивши руки, сидѣлъ онъ въ своей комнатѣ, какъ бѣднякъ, нашедшій безцѣнную жемчужину и тутъ же уронившій ее въ море. «Такая красавица, такія божественныя черты! И гдѣ-же? въ какомъ мѣстѣ?...» Вотъ все, что онъ могъ выговорить.

Въ самомъ дѣлѣ, никогда жалость такъ сильно не овладѣваетъ нами, какъ при видѣ красоты, тронутой тлетворнымъ дыханіемъ разврата. Пусть бы еще безобразіе дружилось съ нимъ, но красота, красота нѣжная... Она только съ одной непорочною и чистотою сливается въ нашихъ мысляхъ. Красавица, такъ околдовавшая бѣднаго Писка-

рева, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ея пребываніе въ этомъ презрѣнномъ кругу еще болѣе казалось необыкновеннымъ. Всѣ черты ея были такъ чисто образованы, все выраженіе прекраснаго лица ея было означено такимъ благородствомъ, что никакъ бы нельзя было думать, чтобы развратъ уже распустилъ надъ нею страшныя свои когти. Она бы составила неоцѣненный перлъ, весь міръ, весь рай, все богатство страстнаго супруга; она была бы прекрасной, тихой звѣздой въ незамѣтномъ семейномъ кругу и однимъ движеніемъ прекрасныхъ устъ своихъ давала бы сладкія приказанія. Она бы составила божество въ многолюдномъ залѣ, на свѣтломъ паркетѣ, при блескѣ свѣчей, при безмолвномъ благоговѣннѣ толпы поверженныхъ у ногъ ея поклонниковъ; но, увы! она была, какою-то ужасною волею адекаго духа, жаждущаго разрушить гармонію жизни, брошена съ хохотомъ въ эту страшную пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидѣлъ онъ передъ нагорѣвшею свѣчою. Уже и полночь давно минула, колоколь башни билъ половину перваго, а онъ сидѣлъ, неподвижный, безъ сна, безъ дѣятельнаго бдѣнія. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолаживать его, уже комната начала исчезать, одинъ только огонь свѣчи просвѣчивалъ сквозь одолѣвшія его грѣзы, какъ вдругъ стукъ у дверей заставилъ его вздрогнуть и очнуться. Дверь открылась, и вошелъ лакей въ богатой ливреѣ. Въ его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притомъ въ такое необыкновенное время... Онъ недоумѣвалъ и съ нетерпѣливымъ любопытствомъ смотрѣлъ въ оба на пришедшаго лакея.

«Та барыня», произнесъ съ учтивымъ поклономъ лакей: «у которой вы изволили за нѣсколько часовъ передъ симъ быть, приказала просить васъ къ себѣ и прислала за вами карету».

Пискаревъ стоялъ въ безмолвномъ удивленіи: «карету, лакей въ ливреѣ!... Нѣтъ, здѣсь, вѣрно, есть какая-нибудь ошибка»...

«Послушайте, любезный», произнесъ онъ съ робостью: «вы, вѣрно, не туда изволили зайти. Васъ барыня, безъ сомнѣнія, прислала за кѣмъ-нибудь другимъ, а не за мною».

«Нѣтъ, сударь, я не ошибся. Вѣдь вы изволили проводить барыню пѣшкомъ къ дому, что въ Литейной, въ комнату четвертаго этажа?»

«Я».

«Ну, такъ пожалуйста же скорѣе, барыня непременно желаетъ видѣть васъ и просить васъ уже пожаловать прямо къ нимъ на домъ».

Пискаревъ сбѣжалъ съ лѣстницы. На дворѣ, точно, стояла карета. Онъ сѣлъ въ нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремѣли подъ колесами и копытами — и освѣщенная перспектива домовъ, съ фонарями и вывѣсками, понеслась мимо каретныхъ оконъ. Пискаревъ думалъ всю дорогу и не зналъ, какъ разрѣшить это приключеніе. Собственный домъ, карета, лакей въ богатой ливреѣ... Все это онъ никакъ не могъ согласить съ комнатою въ четвертомъ этажѣ, нильными окнами и разстроеннымъ фортепіано. Карета остановилась передъ ярко освѣщеннымъ подъѣздомъ, и его разомъ поразили: рядъ экипажей, говоръ кучеровъ, ярко освѣщенные окна и звуки музыки. Лакей въ богатой ливреѣ высадилъ его изъ кареты и почтительно проводилъ въ сѣни съ мраморными колоннами, съ облитымъ золотомъ швейцаромъ, съ разбросанными плащами и шубами, съ яркою лампою. Воздушная лѣстница съ блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверхъ. Онъ уже былъ на ней, уже вошелъ въ первую залу, испугавшись и попятившись съ первымъ шагомъ отъ ужаснаго многолюдства. Необыкновенная пестрота лицъ привела его въ совершенное замѣшательство; ему казалось, что какой-то демонъ искрошилъ весь міръ на множество разныхъ кусковъ, и всѣ эти куски, безъ смысла, безъ толку, смѣшались вмѣстѣ. Сверкающія дамскія плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящія газы, воздушныя ленты и толстый

контрабасъ, выглядывавшій изъ-за перилъ великолѣпныхъ хоровъ— все было для него блистательно. Онъ увидѣлъ за однимъ разомъ столько почтенныхъ стариковъ и полустариковъ съ звѣздами на фракахъ, дамъ, такъ легко, гордо и граціозно выступавшихъ по паркету или сидѣвшихъ рядами; онъ слышалъ столько словъ французскихъ и англійскихъ; къ тому же молодые люди въ черныхъ фракахъ были исполнены такого благородства, съ такимъ достоинствомъ говорили и молчали, такъ не умѣли сказать ничего лишняго, такъ величаво шутили, такъ почтительно улыбались, такія превосходныя носили бакенбарды, такъ искусно умѣли показывать отличныя руки, поправляя галстукъ, дамы такъ были воздушны, такъ погружены въ совершенное самодовольство и упоеніе, такъ очаровательно потушили глаза, — что... но одинъ уже смиренный видъ Пискарева, прислонившагося съ боязнію къ колоннѣ, показывалъ, что онъ растерялся вовсе. Въ это время толпа обступила танцующую группу. Онѣ неслись, увитыя прозрачнымъ созданіемъ Парижа, въ платьяхъ, сотканыхъ изъ самого воздуха; небрежно касались онѣ блестящими ножками паркета и были болѣе эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ними всѣхъ лучше, всѣхъ роскошнѣе и блистательнѣе одѣта. Невыразимое, самое тонкое сочетаніе вкуса разлилось во всемя ея уборѣ, и при всемя томъ она, казалось, вовсе о немъ не заботилась, и оно вылилось неволью, само собою. Она и глядѣла, и не глядѣла на обступившую толпу зрителей, прекрасныя длинныя рѣсницы опустились равнодушно, и сверкающая бѣлизна лица ея еще ослѣпительнѣе бросилась въ глаза, когда легкая тѣнь осѣнила; при наклонѣ головы, очаровательный лобъ ея.

Пискаревъ употребилъ всѣ усилія, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, къ величайшей досадѣ, какая-то огромная голова, съ темными курчавыми волосами, заслоняла ее безпрестанно; притомъ толпа его притиснула такъ, что онъ не смѣлъ податься впередъ, не смѣлъ попытаться назадъ, опасаясь толкнуть какимъ-нибудь образомъ какого-

нибудь тайнаго совѣтника. Но вотъ онъ продрался-таки впередъ и взглянулъ на свое платье, желая прилично оправиться. Творецъ небесный! что это? На немъ было сюртукъ и весь запачканный красками: спѣша ѣхать, онъ позабылъ даже переодѣться въ пристойное платье. Онъ покраснѣлъ до ушей и, потупивъ голову, хотѣлъ провалиться, но провалиться рѣшительно было некуда: камеръ-юнкеры, въ блестящемъ костюмѣ, сдвинулись позади его с вершенною стѣною. Онъ уже желалъ быть какъ можно подалѣе стѣ красавицы съ прекраснымъ лбомъ и рѣсницами. Со страхомъ поднялъ онъ глаза посмотреть, не глядитъ ли она на него. Боже! она стоитъ передъ нимъ... Но что это? что это? «Это она!» вскрикнулъ онъ почти во весь голосъ. Въ самомъ дѣлѣ, это была она, — та самая, которую встрѣтилъ онъ на Невскомъ и которую проводилъ къ ея жилищу.

Она подняла между тѣмъ свои рѣсницы и глянула на всѣхъ своимъ яснымъ взглядомъ. «Ай, ай, ай, какъ хороша!...» могъ только выговорить онъ съ захватившимся дыханіемъ. Она обвела своими глазами весь кругъ, наперерывъ жаждавшій остановить ея вниманіе, но съ какимъ-то утомленіемъ и невниманіемъ она скоро отвратила ихъ и встрѣтилась съ глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! Дай силы, Создатель, перенести это! Жизнь не вмѣститъ его, онъ разрушитъ ее и унесетъ душу! Она подала знакъ, но не рукою, не наклоненіемъ головы, нѣтъ, въ ея сокрушительныхъ глазахъ выразился этотъ знакъ такимъ тонкимъ, незамѣтнымъ выраженіемъ, что никто не могъ его видѣть, но онъ видѣлъ, онъ понялъ его. Танецъ длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремѣла; наконецъ, танецъ кончился. Она сѣла; усталая грудь ея воздымалась подъ тонкимъ дымомъ газа; рука ея (Создатель, какая чудесная рука!) упала на колѣни, сжала подъ собою ея воздушное платье, и платье подъ нею, казалось, стало дышать музыкаю, и тонкій сиреневый цвѣтъ его еще

видѣе означилъ яркую бѣлизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ея — и ничего больше! Никакихъ другихъ желаній — они всё дерзки... Онъ стоялъ у ней за стуломъ, не смѣя говорить, не смѣя дышать. «Вамъ было скучно?» произнесла она: «я также скучала. Я замѣчаю, что вы меня ненавидите»... прибавила она, потупивъ свои длинныя рѣсницы.

«Васъ ненавидѣть? мнѣ?.. Я?..» хотѣлъ было произнести совершенно потерявшійся Пискаревъ и наговорилъ бы, вѣрно, кучу самыхъ несвязныхъ словъ, но въ это время подошелъ камергеръ съ острыми и пріятными замѣчаніями, съ прекраснымъ завитымъ на головѣ хохломъ. Онъ довольно пріятно показывалъ рядъ довольно недурныхъ зубовъ и каждую остротою своею вбивалъ острый гвоздь въ его сердце. Наконецъ, кто-то изъ постороннихъ, къ счастью, обратился къ камергеру съ какимъ-то вопросомъ.

«Какъ это несносно!» сказала она, поднявъ на него свои небесные глаза. «Я сяду на другомъ концѣ зала: будьте тамъ!» Она проскользнула между толпою и исчезла. Онъ, какъ помѣшанный, растолкалъ толпу и былъ уже тамъ.

Такъ, это она! Она сидѣла, какъ царица, всѣхъ лучше, всѣхъ прекраснѣе, и искала его глазами.

«Вы здѣсь?» произнесла она тихо. «Я буду откровенна передъ вами: вамъ, вѣрно, странными показались обстоятельства нашей встрѣчи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать къ тому презрѣнному классу твореній, въ которомъ вы встрѣтили меня? Вамъ кажутся странными мои поступки, но я вамъ открою тайну. Будете ли вы въ состояніи», произнесла она, устремивъ пристально на него глаза свои: «никогда не измѣнить ей?»

«О, буду! буду! буду!..»

Но въ это время подошелъ довольно пожилой человекъ, заговорилъ съ ней на какомъ-то непонятномъ для Пискарева языкѣ и подалъ ей руку. Она умоляющимъ взглядомъ посмотрѣла на Пискарева и дала знакъ остаться на своемъ мѣстѣ и ожидать ея прихода; но въ припадкѣ нетерпѣнія

онъ не въ силахъ былъ слушать никакихъ приказаній, даже изъ ея устъ. Онъ отправился вслѣдъ за нею, но толпа раздѣлила ихъ. Онъ уже не видѣлъ сиреневаго платья; съ безпокойствомъ продирался онъ изъ комнаты въ комнату и толкалъ безъ милосердія всѣхъ встрѣчныхъ, но во всѣхъ комнатахъ все сидѣли тузы за вистомъ, погруженные въ мертвое молчаніе. Въ углу комнаты спорило нѣсколько пожилыхъ людей о преимуществѣ военной службы передъ статскою; въ другомъ молодые люди, въ превосходныхъ фракахъ, бросали легкія замѣчанія о многотомныхъ трудахъ поэта-труженика. Пискаревъ чувствовалъ, что одинъ пожилой человѣкъ, почтенной наружности, схватилъ за пуговицу его фрака и представлялъ на его сужденіе одно весьма справедливое его замѣчаніе, но онъ грубо оттолкнулъ его, даже не замѣтивши, что у него на шеѣ былъ довольно значительный орденъ. Онъ перебѣжалъ въ другую комнату — и тамъ нѣтъ ея, въ третью — тоже нѣтъ. «Гдѣ же она? Дайте ее мнѣ! О, я не могу жить, не взглянувши на нее! Мнѣ хочется выслушать, что она хотѣла сказать!» Но всѣ поиски его оставались тщетными. Безпокойный, утомленный, онъ прижался къ углу и смотрѣлъ на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все въ какомъ-то неясномъ видѣ. Наконецъ, ему начали явственно показываться стѣны его комнаты. Онъ поднялъ глаза: передъ нимъ стоялъ подсвѣчникъ съ огнемъ, почти потухавшимъ въ глубинѣ его; вся свѣча истаяла; сало было налито на ветхомъ столѣ его...

Такъ это онъ спалъ! Боже, какой прекрасный сонъ! И зачѣмъ было просыпаться? Зачѣмъ было одной минуты не подождать? Она бы, вѣрно, опять явилась! Досадный разсвѣтъ неприятнымъ своимъ тусклымъ сіяніемъ глядѣлъ въ его окна. Комната въ такомъ сѣромъ, такомъ мутномъ беспорядкѣ... О, какъ отвратительна дѣйствительность! Что она противъ мечты? Онъ раздѣлся наскоро и легъ въ постель, закутавшись одѣяломъ, желая насильно призвать улетѣвшее сновидѣніе. Сонъ, точно, не замедилъ къ нему явиться,

но представлялъ ему вовсе не то, что бы желать онъ видѣть: то поручикъ Пироговъ являлся съ трубкою, то академической сторожъ, то дѣйствительный статскій совѣтникъ, то голова чухонки, съ которой онъ когда-то рисовалъ портретъ, и тому подобная чепуха.

До самаго полудня пролежалъ онъ въ постели, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасныя черты свои, хотя бы на минуту зашумѣла ея легкая походка, хотя бы ея обнаженная, яркая, какъ облачный снѣгъ, рука мелькнула передъ нимъ!

Все откинувши, все позабывши, сидѣлъ онъ съ сокрушеннымъ, съ безнадежнымъ видомъ, полный только одного сновидѣнія. Ни къ чему не думалъ онъ притронуться; глаза его безъ всякаго участія, безъ всякой жизни глядѣли въ окно, обращенное во дворъ, гдѣ грязный водовозъ лилъ воду, мерзнувшую на воздухъ, и козлийный голосъ разносчика дребезжалъ: *«старую платье продать»*. Вседневное и дѣйствительное странно поражало его слухъ. Такъ просидѣлъ онъ до самаго вечера и съ жадностью бросился въ постель. Долго боролся онъ съ бессонницею, наконецъ, пересилилъ ее. Опять какой-то сонъ, какой-то пошлый, гадкій сонъ. «Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Онъ опять ожидалъ вечера, опять заснулъ, опять снился какой-то чиновникъ, который былъ вмѣстѣ и чиновникъ, и фаготъ. О, это нестерпимо! Наконецъ, она явилась! ея голова и локоны... она глядитъ... О, какъ не надолго! опять туманъ, опять какое-то глупое сновидѣніе.

Наконецъ, сновидѣнія сдѣлались его жизнію, и съ этого времени вся жизнь его приняла странный оборотъ: онъ, можно сказать, спалъ наяву и бодрствовалъ во снѣ. Если бы его кто-нибудь видѣлъ сидящимъ безмолвно передъ пустымъ столомъ, или шедшимъ по улицѣ, то, вѣрно бы, принялъ его за лунатика или разрушеннаго крѣпкими напитками: взглядъ его былъ вовсе безъ всякаго значенія, природная разсѣянность, наконецъ, развилась и властительно

изгоняла на лицѣ его всѣ чувства, всѣ движенія. Онъ оживлялся только при наступленіи ночи.

Такое состояніе разстроило его силы, и самымъ ужаснымъ мученіемъ было для него то, что, наконецъ, сонъ началъ его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, онъ употреблялъ всѣ средства возстановить его. Онъ слышалъ, что есть средство возстановить сонъ — для этого нужно принять только опиумъ. Но гдѣ достать этого опиума? Онъ вспомнилъ про одного персіянина, содержавшаго магазинъ шалей, который всегда почти, когда ни встрѣчалъ его, просилъ нарисовать ему красавицу. Онъ рѣшился отправиться къ нему, предполагая, что у него, безъ сомнѣнія, есть этотъ опиумъ.

Персіянинъ принялъ его, сидя на диванѣ и поджавши подъ себя ноги. «На чтѣ тебѣ опиумъ?» спросилъ онъ его.

Пискаревъ разсказалъ ему про свою бессонницу.

«Хорошо, я дамъ тебѣ опиуму, только нарисуй мнѣ красавицу. Чтобъ хорошая была красавица! Чтобъ брови были черныя и очи большія, какъ маслины; а я сама чтобъ лежала возлѣ нея и курила трубку! Слышишь, чтобъ хорошая была! чтобъ была красавица!»

Пискаревъ обѣщалъ все. Персіянинъ на минуту вышелъ и возвратился съ баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлилъ часть ея въ другую баночку и далъ Пискареву съ наставленіемъ употреблять не больше, какъ по семи капель въ водѣ. Съ жадностію схватилъ онъ эту драгоценную баночку, которую не отдастъ бы за груду золота, и опростетью побѣжалъ домой.

Пришедши домой, онъ отлилъ нѣсколько капель въ стаканъ съ водою и, проглотивъ, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она, но уже совершенно въ другомъ мірѣ! О, какъ хорошо сидитъ она у окна деревенскаго свѣтлаго домика! Нарядъ ея дышитъ такою простотою, въ какую только облекается мысль поэта. Прическа на годовѣ ея... Создатель, какъ проста эта прическа и какъ она идетъ къ ней! Коротенькая косынка была слегка наки-

пуга на стройной ея шейкѣ; все въ ней скромно, все въ ней тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Какъ мила ея граціозная походка! Какъ музыкаленъ шумъ ея шаговъ и простенькаго платья! Какъ хороша рука ея, стиснутая волосянымъ браслетомъ. Она говоритъ ему со слезою на глазахъ: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнѣе и скажите: развѣ я способна къ тому; что вы думаете?»—«О, нѣтъ, нѣтъ! Пусть тотъ, кто осмѣлится подумать, пусть тотъ...»

Но онъ проснулся, растроганный, растерзанный, со слезами на глазахъ. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила въ мірѣ, а была бы созданіе вдохновеннаго художника! Я бы не отходилъ отъ холста, я бы вѣчно глядѣлъ на тебя и цѣловалъ бы тебя, я бы жилъ и дышалъ тобою, какъ прекраснѣйшею мечтою—и я бы былъ тогда счастливъ; никакихъ бы желаній не простиралъ далѣе. Я бы призывалъ тебя, какъ ангела-хранителя, передъ сномъ и бдѣніемъ, и тебя бы ждалъ я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы въ томъ, что она живетъ? Развѣ жизнь сумасшедшаго пріятна его родственникамъ и друзьямъ, нѣкогда его любившимъ? Боже, что за жизнь наша!—вѣчный раздоръ мечты съ существенностью!» Почти такія мысли занимали его безпрестанно. Ни о чемъ онъ не думалъ, даже почти ничего не ѣлъ и съ нетерпѣніемъ, со страстію любовника, ожидалъ вечера и желаннаго видѣнія. Безпрестанное устремленіе мыслей къ одному, наконецъ, взяло такую власть надъ всѣмъ бытіемъ его и воображеніемъ, что желанный образъ являлся ему почти каждый день, всегда въ положеніи противоположномъ дѣйствительности, потому что мысли его были совершенно чисты, какъ мысли ребенка. Черезъ эти сновидѣнія самый предметъ какъ-то болѣе дѣлался чистымъ и вовсе преображался.

Приемы опіума еще болѣе раскалили его мысли, и если былъ когда-нибудь влюбленный до послѣдняго градуса без-

умія, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный былъ—онъ.

Изъ всѣхъ сновидѣній его одно было радостнѣе для него всѣхъ: ему представилась его мастерская. Онъ такъ былъ веселъ, съ такимъ наслажденіемъ сидѣлъ съ палитрою въ рукахъ! И она тутъ же. Она была уже его женою. Она сидѣла возлѣ него, облокотившись прелестнымъ локоткомъ своимъ на спинку его стула, и смотрѣла на его работу. Въ ея глазахъ, томныхъ, усталыхъ, написано было бремя блаженства; все въ комнатѣ его дышало раемъ; было такъ свѣтло, такъ убрано. Создатель! она склонилась къ нему на грудь прелестную свою голову... Лучшаго сна онъ еще никогда не видывалъ. Онъ всталъ послѣ него какъ-то свѣжѣе и менѣе разсѣянный, нежели прежде. Въ головѣ его родились странныя мысли. «Можетъ-быть», думалъ онъ, «она вовлечена какимъ-нибудь невольнымъ, ужаснымъ случаемъ въ развратъ; можетъ-быть, движенія души ея склонны къ раскаянію; можетъ-быть, она желала бы сама вырваться изъ ужаснаго состоянія своего. И неужели равнодушно допустить ея гибель и притомъ тогда, когда только стѣбитъ подать руку, чтобы спасти ее отъ потопленія?» Мысли его простирались еще далѣе. «Меня никто не знаетъ», говорилъ онъ самъ себѣ: «да и кому какое до меня дѣло, да и мнѣ тоже нѣтъ до нихъ дѣла. Если она изъяснитъ чистое раскаяніе и перемѣнитъ жизнь свою, я женюсь на ней. Я долженъ на ней жениться и, вѣрно, сдѣлаю гораздо лучше, нежели многіе, которые женятся на своихъ ключницахъ и даже часто на самыхъ презрѣнныхъ тваряхъ. Но мой подвигъ будетъ безкорыстенъ и, можетъ-быть, даже великъ: я возвращу міру прекраснѣйшее его украшеніе!»

Составивши такой легкомысленный планъ, онъ почувствовалъ краску, всыхнувшую на его лицѣ; онъ подошелъ къ зеркалу и испугался самъ впалыхъ щекъ и блѣдности своего лица. Тщательно началъ онъ принаряжаться; приумылся, пригладилъ волоса, надѣлъ новый фракъ, ще-

гольской жилетъ, набросилъ плащъ и вышелъ на улицу. Онъдохнулъ свѣжимъ воздухомъ и почувствовалъ свѣжесть на сердцѣ, какъ выздоравливающій, рѣшившійся выйти въ первый разъ послѣ продолжительной болѣзни. Сердце его билось, когда онъ подходилъ къ той улицѣ, на которой нога его не была со времени роковой встрѣчи.

Долго онъ искалъ дома; казалось, память ему измѣнила. Онъ два раза прошелъ улицу и не зналъ, передъ которыми остановиться. Наконецъ, одинъ показался ему похожимъ. Онъ быстро забѣжалъ на лѣстницу, постучалъ въ дверь: дверь отворилась, и кто же вышелъ къ нему навстрѣчу? Его идеаль, его таинственный образъ, оригиналь мечтательныхъ картинъ, — та, которою онъ жилъ, такъ ужасно, такъ страдательно, такъ сладко жилъ—она, она сама стояла передъ нимъ. Онъ затрепеталъ; онъ едва могъ удержаться на ногахъ отъ слабости, обхваченный порывомъ радости. Она стояла передъ нимъ такъ же прекрасна, хотя глаза ея были заспаны, хотя блѣдность кралась на лицѣ ея, уже не такъ свѣжемъ; но она все была прекрасна.

«А!» вскрикнула она, увидѣвши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа): «зачѣмъ вы убѣжали тогда отъ насъ?»

Онъ въ изнеможеніи сѣлъ на стулъ и глядѣлъ на нее.

«А я только-что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра. Я была совсѣмъ пьяна», прибавила она съ улыбкою.

О, лучше бы ты была нѣма и лишена вовсе языка, чѣмъ произносить такія рѣчи! Она вдругъ показала ему, какъ въ панорамахъ, всю жизнь ея. Однакожь, несмотря на это, скрѣпившись сердцемъ, рѣшился попробовать онъ, не будутъ ли имѣть надъ нею дѣйствія его увѣщанія. Сбравшись съ духомъ, онъ дрожащимъ и вмѣстѣ пламеннымъ голосомъ началъ представлять ей ужасное ея положеніе. Она слушала его со внимательнымъ видомъ и съ тѣмъ чувствомъ удивленія, которое мы изъясняемъ при видѣ чего-нибудь неожиданнаго и страннаго. Она взгля-

нула, легко улыбнувшись, на сидѣвшую въ углу свою пріятельницу, которая, оставивши вычищать гребешокъ, тоже слушала съ вниманіемъ новаго проповѣдника.

«Правда, я бѣденъ», сказалъ, наконецъ, послѣ долгаго и поучительнаго увѣщанія Пискаревъ: «но мы станемъ трудиться, мы постараемся, наперерывъ одинъ передъ другимъ, улучшить нашу жизнь. Нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ быть обязану во всемъ самому себѣ. Я буду сидѣть за картинами, ты будешь, сидя возлѣ меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другимъ рукодѣліемъ,—и мы ни въ чемъ не будемъ имѣть недостатка».

«Какъ можно!» прервала она рѣчь съ выраженіемъ какого-то презрѣнія. «Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою».

Боже! въ этихъ словахъ выразилась вся низкая, вся презрѣнная жизнь,—жизнь, исполненная пустоты и праздности, вѣрныхъ спутниковъ разврата.

«Женитесь на мнѣ!» подхватила, съ наглымъ видомъ, молчавшая дотолѣ въ углу ея пріятельница. «Если я буду женою, я буду сидѣть вотъ какъ!» При этомъ она сдѣлала какую-то глупую мину на жалкомъ лицѣ своемъ, которою чрезвычайно разсмѣшила красавицу.

О, это уже слишкомъ! Этого нѣтъ силъ перенести! Онъ бросился вонъ, потерявши и чувства, и мысли. Умъ его помутился: глупо, безъ цѣли, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродилъ онъ весь день. Никто не могъ знать, ночевалъ-ли онъ гдѣ-нибудь, или нѣтъ; на другой только день какимъ-то глупымъ инстинктомъ зашелъ онъ на свою квартиру, блѣдный, съ ужаснымъ видомъ, съ растрепанными волосами, съ признаками безумія на лицѣ. Онъ заперся въ своей комнатѣ и никого не впускалъ, ничего не требовалъ. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконецъ, прошла недѣля, и комната все такъ же была заперта. Бросились къ дверямъ, начали звать его, но никакого не было отвѣта; наконецъ, выломали дверь и нашли бездыханный

трупъ его съ перерѣзаннымъ горломъ. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутымъ рукамъ и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была невѣрна, и что онъ долго еще мучился, прежде нежели грѣшная душа его оставила тѣло.

Такъ погибъ, жертва безумной страсти, бѣдный Пискаревъ, тихій, робкій, скромный, дѣтски-простодушный, носившій въ себѣ искру таланта, быть-можетъ, со временемъ бы выпыхнувшего широко и ярко. Никто не заплакалъ надъ нимъ; никого не видно было возлѣ его бездушнаго трупа, кромѣ обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городского лѣкаря. Гробъ его тихо, даже безъ всякихъ обрядовъ религiи, повезли на Охту; за нимъ идучи, плакалъ одинъ только солдатъ-сторожъ, и то потому, что выпилъ лишній штофъ водки. Даже поручикъ Пироговъ не пришелъ посмотрѣть на трупъ несчастнаго бѣдняка, которому онъ при жизни оказывалъ свое высокое покровительство. Впрочемъ, ему было вовсе не до того: онъ былъ занятъ чрезвычайнымъ происшествiемъ. Но обратимся къ нему.— Я не люблю труповъ и покойниковъ, и мнѣ всегда непрiятно, когда переходить мою дорогу длинная погребальная процессiя и инвалидный солдатъ, одѣтый какимъ-то капуциномъ, нюхаетъ лѣвою рукою табакъ, потому что правая занята факеломъ. Я всегда чувствую на душѣ досаду при видѣ богатаго катафалка и бархатнаго гроба; но досада моя смѣшивается съ грустью, когда я вижу, какъ ломовой извозчикъ тащить красный, ничѣмъ не покрытый гробъ бѣдняка, и только одна какая-нибудь нищяя, встрѣтившись на перекресткѣ, плетется за нимъ, не имѣя другого дѣла.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на томъ, какъ онъ разстался съ бѣднымъ Пискаревымъ и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интересное созданье. Она останавливалась передъ каждымъ магазиномъ и заглядывалась на выставленные въ окнахъ кушаки, косынки, серьги, перчатки и другiя бездѣлушки,

безпрестанно вертѣлась, глазѣла во всѣ стороны и оглядывалась назадъ. «Ты, голубушка, моя!» говорилъ съ самоувѣренностью Пироговъ, продолжая свое преслѣдованіе и закутавши лицо свое воротникомъ шинели, чтобы не встрѣтить кого-нибудь изъ знакомыхъ. Но не мѣшаетъ извѣстить читателей, кто таковъ былъ поручикъ Пироговъ.

Но прежде, нежели мы скажемъ, кто таковъ былъ поручикъ Пироговъ, не мѣшаетъ кое-что рассказать о томъ обществѣ, къ которому принадлежалъ Пироговъ. Есть офицеры, составляющіе въ Петербургѣ какой-то средній классъ общества. На вечерѣ, на обѣдѣ у статскаго совѣтника или у дѣйствительнаго статскаго, который выслужилъ этотъ чинъ сорокалѣтними трудами, вы всегда найдете одного изъ нихъ. Нѣсколько блѣдныхъ, совершенно безцвѣтныхъ, какъ Петербургъ, дочерей, изъ которыхъ ниня перезрѣли, чайный столикъ, фортепiano, домашніе танцы—все это бываетъ нераздѣльно съ свѣтлымъ эполетомъ, который блещетъ при лампѣ между благонаправной блондинкой и чернымъ фраккомъ братца или домашняго знакомаго. Этихъ хладнокровныхъ дѣвицъ чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смѣяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсѣмъ не имѣть никакого искусства. Нужно говорить такъ, чтобы не было ни слишкомъ умно, ни слишкомъ смѣшно, чтобы во всемъ была та мелочь, которую любятъ женщины. Въ этомъ надобно отдать справедливость означеннымъ господамъ. Они имѣютъ особенный даръ заставлять смѣяться и слушать этихъ безцвѣтныхъ красавицъ. Воскликанія, задупаемыя смѣхомъ: «Ахъ, перестаньте! Не стыдно ли вамъ такъ смѣшнить!» бывають имъ часто лучшею наградою. Въ высшемъ классѣ они попадаются очень рѣдко или, лучше, никогда: оттуда они совершенно вытѣснены тѣмъ, что называютъ въ этомъ обществѣ аристократами. Впрочемъ, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любятъ потолковать объ литературѣ; хвалятъ Булгарина, Пушкина и Греча и говорятъ съ презрѣніемъ и остроумными колкостями объ А. А. Орловѣ. Они не пропускають ни одной публичной лекціи, будь

она о бухгалтерии или даже о ѣздовствѣ. Въ театрѣ, ка-
кая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного изъ нихъ,
выключая развѣ, если уже играютъ какіе-нибудь «Филат-
ки»; которыми очень оскорбляется ихъ разборчивый вкусъ.
Въ театрѣ они безсмѣнно. Это самые выгодные люди для
театральной дирекціи. Они особенно любятъ въ пьесѣ хо-
рошіе стихи, также очень любятъ громко вызывать акте-
ровъ; многіе изъ нихъ, преподавая въ казенныхъ заведе-
ніяхъ или приготавливая къ казеннымъ заведеніямъ, заво-
дятся, наконецъ, кабриолетомъ и парой лошадей. Тогда
кругъ ихъ становится обширнѣе; они достигаютъ, наконецъ,
до того, что женятся на купеческой дочери, умѣющей играть
на фортепіано, съ сотнею тысячъ, или около того, налич-
ныхъ и кучею брадатой родни. Однакожь, этой чести они
не прежде могутъ достигнуть, какъ выслужившись, по край-
ней мѣрѣ, до полковничьяго чина, потому что русскія бо-
родки, несмотря на то, что отъ нихъ еще нѣсколько отзы-
вается капуста, никакимъ образомъ не хотятъ видѣть до-
черей своихъ ни за кѣмъ, кромѣ генераловъ или, по край-
ней мѣрѣ, полковниковъ. Таковы главные черты этого сорта
молодыхъ людей. Но проручикъ Пироговъ имѣлъ кромѣ этого
множество талантовъ, собственно ему принадлежавшихъ.
Онъ превосходно декламировалъ стихи изъ «Димитрія Дон-
скаго» и «Горе отъ ума» и имѣлъ особенное искусство пу-
скать изъ трубки дымъ кольцами такъ удачно, что вдругъ
могъ нанизать ихъ около десяти одно на другое; умѣлъ
очень пріятно разсказать анекдотъ о томъ, что пушка сама
по себѣ, а единорогъ самъ по себѣ. Впрочемъ, оно нѣ-
сколько трудно перечесть всѣ таланты, которыми судьба
наградила Пирогова. Онъ любилъ поговорить объ актрисѣ
и танцовщицѣ, но уже не такъ рѣзко, какъ обыкновенно
изясняется объ этомъ предметѣ молодой прапорщикъ. Онъ
былъ очень доволенъ своимъ чиномъ, въ который былъ про-
двигенъ недавно, и хотя иногда, лежа на диванѣ, онъ
говорилъ: «Охъ, охъ, охъ! Суета, все суета! Чтѣ изъ этого,
что я проручикъ?» но втайнѣ его очень льстило это новое

достоинство; онъ разговорѣ часто старался намекнуть о немъ обинякомъ, и одинъ разъ, когда попался ему на улицѣ какой-то писарь, показавшійся ему невѣжливымъ, онъ немедленно остановилъ его и въ немногихъ, но рѣзкихъ словахъ далъ замѣтить ему, что передъ нимъ стоялъ поручикъ, а не другой какой офицеръ. Тѣмъ болѣе старался онъ изложить это краснорѣчиво, что тогда проходили мимо его дѣлъ весьма недурныя дамы. Пироговъ вообще показывалъ страсть ко всему изящному и поощрялъ художника Пискарева; впрочемъ, это происходило, можетъ-быть, оттого, что ему весьма желалось видѣть мужественную физиогномію свою на портретѣ. Но довольно о качествахъ Пирогова. Человѣкъ такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдругъ всѣхъ его достоинствъ, и тѣмъ болѣе въ него вглядываешься, тѣмъ болѣе является новыхъ особенностей, и описаніе ихъ было бы безконечно. Итакъ, Пироговъ не переставалъ преслѣдовать незнакомку, отъ времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвѣчала рѣдко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли мокрыми Казанскими воротами въ Мѣщанскую улицу, — улицу табачныхъ и мелочныхъ лавокъ, нѣмцевъ-ремесленниковъ и чухонскихъ нимфъ. Блондинка бѣжала скорѣе и впригнула въ ворота одного довольно запачканнаго дома. Пироговъ за нею. Она взбѣжала по узенькой темной лѣстницѣ и вошла въ дверь, въ которую тоже смѣло пробрался Пироговъ. Онъ увидѣлъ себя въ большой комнатѣ съ черными стѣнами, съ законченнымъ потолкомъ. Куча желѣзныхъ винтовъ, слесарныхъ инструментовъ, блестящихъ кофейниковъ и подсвѣчниковъ была на столѣ; полъ былъ засоренъ мѣдными и желѣзными опилками. Пироговъ тотчасъ смекнулъ, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далѣе въ боковую дверь. Онъ было на минуту задумался, но, слѣдуя русскому правилу, рѣшился итти впередъ. Онъ вошелъ въ другую комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяйка была нѣмецъ. Онъ былъ пораженъ необыкновенно страннымъ

видомъ: передъ нимъ сидѣлъ Шиллеръ,—не тотъ Шиллеръ, который написалъ «Вильгельма Теля» и «Исторію тридцатилѣтней войны», но извѣстный Шиллеръ, жестяныхъ дѣлъ мастеръ въ Мѣщанской улицѣ. Возлѣ Шиллера стоялъ Гофманъ,—не писатель Гофманъ, но довольно хорошій сапожникъ съ Офицерской улицы, большой пріятель Шиллера. Шиллеръ былъ пьянъ и сидѣлъ на стулѣ, топая ногою и говоря что-то съ жаромъ. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положеніе обѣихъ фигуръ. Шиллеръ сидѣлъ, выставивъ свой довольно толстый носъ и поднявши вверхъ голову, а Гофманъ держалъ его за этотъ носъ двумя пальцами и вертѣлъ лезвеемъ своего сапожническаго ножа на самой его поверхности. Обѣ особы говорили на нѣмецкомъ языкѣ, и потому поручикъ Пироговъ, который зналъ по-нѣмецки только «гутъ-моргенъ», ничего не могъ понять изъ всей этой исторіи. Впрочемъ, слова Шиллера заключались вотъ въ чемъ: «Я не хочу, мнѣ не нуженъ носъ!» говорилъ онъ, размахивая руками. «У меня на одинъ носъ выходитъ три фунта табаку въ мѣсяцъ. И я плачу въ русскій скверный магазинъ,—потому что нѣмецкій магазинъ не держитъ русскаго табаку,—я плачу въ русскій скверный магазинъ за каждый фунтъ по 40 копѣекъ—это будетъ рубль двадцать копѣекъ; двѣнадцать разъ рубль двадцать копѣекъ—это будетъ четырнадцать рублей сорокъ копѣекъ. Слышишь, другъ мой Гофманъ? На одинъ носъ четырнадцать рублей сорокъ копѣекъ! Да по праздникамъ я нюхаю Рапѣ, потому что я не хочу нюхать по праздникамъ русскій скверный табакъ. Въ годъ я нюхаю два фунта Рапѣ, по два рубля фунтъ. Шесть да четырнадцать—двадцать рублей сорокъ копѣекъ на одинъ табакъ! Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой другъ Гофманъ, не такъ ли?» Гофманъ, который самъ былъ пьянъ, отвѣчалъ утвердительно.—«Двадцать рублей сорокъ копѣекъ! Я швабскій нѣмецъ; у меня есть король въ Германіи. Я не хочу носа! Рѣжь мнѣ носъ! Вотъ мой носъ!»

И если бы не внезапное появленіе поручика Пирогова,

то, безъ всякаго сомнѣнія, Гофманъ отрѣзалъ бы ни за что, ни про что Шиллеру носъ, потому что онъ уже привелъ ножъ свой въ такое положеніе, какъ бы хотѣлъ кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдругъ незнакомое, непрощенное лицо такъ некстати ему помѣшало. Онъ, несмотря на то, что былъ въ упительномъ чаду пива и вина, чувствовалъ, что нѣсколько неприлично въ такомъ видѣ и при такомъ дѣйствіи находиться въ присутствіи посторонняго свидѣтеля. Между тѣмъ Пироговъ слегка наклонился и съ свойственною ему пріятностью сказалъ: «Вы извините меня...»

«Пошелъ вонъ!» отвѣчалъ протяжно Шиллеръ.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращеніе ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лицѣ, вдругъ пропала. Съ чувствомъ огорченнаго достоинства онъ сказалъ: «Мнѣ странно, милостивый государь... Вы, вѣрно, не замѣтили... я офицеръ...»

«Что такое офицеръ! Я—швабскій нѣмецъ. Мой самъ» (при этомъ Шиллеръ ударилъ кулакомъ по столу) «будетъ офицеръ: полтора года юнкеръ, два года поручикъ, и я завтра сейчасъ офицеръ. Но я не хочу служить. Я съ офицеромъ сдѣлаю такъ: фу!» При этомъ Шиллеръ подставилъ ладонь и фукнулъ на нее.

Поручикъ Пироговъ увидѣлъ, что ему больше ничего не оставалось, какъ только удалиться; однакожь, такое обхожденіе, вовсе не приличное его званію, ему было неприятно. Онъ нѣсколько разъ останавливался на лѣстницѣ, какъ бы желая собраться съ духомъ и подумать о томъ, какимъ бы образомъ дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконецъ, разсудилъ, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивомъ и виномъ; къ тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и онъ рѣшился предать это забвенію. На другой день поручикъ Пироговъ рано поутру явился въ мастерской жестяныхъ дѣлъ мастера. Въ передней комнатѣ встрѣтила его хорошенькая блондинка и довольно суровымъ голосомъ, который очень шель къ ея личику, спросила: «Что вамъ угодно?»

«А, здравствуйте, моя миленькая! Вы меня не узнали? Плутовочка, какие хорошенькие глазки!»

При этом поручикъ Пироговъ хотѣлъ очень мило поднять пальцемъ ея подбородокъ; но блондинка произнесла пугливое восклицаніе и съ тою же суровостію спросила: «Что вамъ угодно?»

«Васъ видѣть, больше ничего мнѣ не угодно», произнесъ поручикъ Пироговъ, довольно пріятно улыбаясь и подступая ближе; но, замѣтивъ, что пугливая блондинка хотѣла проскользнуть въ дверь, прибавилъ: «Мнѣ нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мнѣ сдѣлать шпоры? Хотя для того, чтобы любить васъ, вовсе не нужно шпоръ, а скорѣе бы уздечку. Какія миленькія ручки!»

Поручикъ Пироговъ всегда бывалъ очень любезенъ въ изъясненіяхъ подобнаго рода.

«Я сейчасъ позову моего мужа», вскрикнула нѣмка и ушла, и черезъ нѣсколько минутъ Пироговъ увидѣлъ Шиллера, выходявшаго съ заспанными глазами, едва очнувшись отъ вчерашняго похмелья. Взглянувши на офицера, онъ припомнилъ, какъ въ смутномъ снѣ, происшествіе вчерашняго дня. Онъ ничего не помнилъ въ такомъ видѣ, въ какомъ было, но чувствовалъ, что сдѣлалъ какую-то глупость, и потому принялъ офицера съ очень суровымъ видомъ. «Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей», произнесъ онъ, желая отдѣлаться отъ Пирогова, потому что ему, какъ честному нѣмцу, очень совѣстно было смотрѣть на того, кто видѣлъ его въ неприличномъ положеніи. Шиллеръ любилъ пить совершенно безъ свидѣтелей, съ двумя, тремя пріятелями, и запирался на это время даже отъ своихъ работниковъ.

«Зачѣмъ же такъ дорого?» ласково сказалъ Пироговъ.

«Нѣмецкая работа», хладнокровно произнесъ Шиллеръ, поглаживая подбородокъ: «русскій возьмется сдѣлать за два рубля».

«Извольте, чтобы доказать, что я васъ люблю и желаю съ вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей!»

Шиллеръ минуту оставался въ размышленіи: ему, какъ честному нѣмцу, сдѣлалось немного совѣстно. Желая самъ отклонить его отъ заказыванія, онъ объявилъ, что раньше двухъ недѣль не можетъ сдѣлать. Но Пироговъ безъ всякаго прекословія изъявилъ совершенное согласіе.

Нѣмецъ задумался и сталъ размышлять о томъ, какъ бы лучше сдѣлать свою работу, чтобы она дѣйствительно стоила пятнадцати рублей.

Въ это время блондинка вошла въ мастерскую и начала рыться на столѣ, уставленномъ кофейниками. Поручикъ воспользовался задумчивостію Шиллера, подступилъ къ ней и пожалъ ей ручку, обнаженную до самаго плеча.

Это Шиллеру очень не понравилось. «Мейнъ фрау!» закричалъ онъ.

«Васъ волenziдохъ?» отвѣчала блондинка.

«Гензи на кухня!» — Блондинка удалилась.

«Такъ черезъ двѣ недѣли?» сказалъ Пироговъ.

«Да, черезъ двѣ недѣли», отвѣчалъ въ размышленіи Шиллеръ: «у меня теперь очень много работы».

«До свиданія, я къ вамъ зайду!»

«До свиданія», отвѣчалъ Шиллеръ, запирая за нимъ дверь.

Поручикъ Пироговъ рѣшился не оставлять своихъ исканій, несмотря на то, что нѣмка оказала явный отпоръ. Онъ не могъ понять, чтобы можно было ему противиться, тѣмъ болѣе, что любезность его и блестящій чинъ давали полное право на вниманіе. Надобно, однакоже, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочемъ, глупость составляетъ особенную прелесть въ хорошенькой женѣ. По крайней мѣрѣ, я зналъ много мужей, которые въ восторгѣ отъ глупости своихъ женъ и видятъ въ ней всѣ признаки младенческой невинности. Красота производитъ совершенныя чудеса. Всѣ душевные недостатки въ красавицѣ, вмѣсто того, чтобы произвести отвращеніе, становятся какъ-то необыкновенно привлекательны; самый порокъ дышитъ въ нихъ миловидностію; но исчезни она — и женщинѣ нужно быть въ двадцать разъ

умиѣ мужчины, чтобы внушить къ себѣ, если не любовь, то, по крайней мѣрѣ, уваженіе. Впрочемъ, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда вѣрна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успѣть въ смѣломъ своемъ предпріятіи; но съ побѣдою препятствій всегда соединяется наслажденіе, и блондинка становилась для него интереснѣе день-ото-дня. Онъ началъ довольно часто освѣдомляться о шпорахъ, такъ что Шиллеру это, наконецъ, наскучило. Онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы окончить скорѣй начатыя шпоры; наконецъ, шпоры были готовы.

«Ахъ, какая отличная работа!» закричалъ поручикъ Пироговъ, увидѣвши шпоры. «Господи, какъ это хорошо сдѣлано! У нашего генерала нѣтъ этакихъ шпоръ».

Чувство самодовольствія распустилось по душѣ Шиллера. Глаза его начали глядѣть довольно весело, и онъ въ мысляхъ совершенно примирился съ Пироговымъ. «Русскій офицеръ—умный человѣкъ», думалъ онъ самъ про себя.

«Такъ вы, стало-быть, можете сдѣлать и оправу, напримѣръ, къ кинжалу или другимъ вещамъ?»

«О, очень могу!» сказалъ Шиллеръ съ улыбкою.

«Такъ сдѣлайте мнѣ оправу къ кинжалу. Я вамъ принесу. У меня очень хорошій турецкій кинжалъ, но мнѣ бы хотѣлось оправу къ нему сдѣлать другую».

Шиллера это какъ бомбою хватило. Лобъ его вдругъ наморщился. «Вотъ тебѣ на!» подумалъ онъ про себя, внутренно ругая себя за то, что накликалъ самъ работу. Отказаться онъ почиталъ уже безчестнымъ; притомъ же русскій офицеръ похвалилъ его работу.—Онъ, нѣсколько покачавши головою, изъявилъ свое согласіе; но поцѣлуй, который, уходя, Пироговъ влѣпилъ нахально въ самыя губки хорошенькой блондинки, повергъ его въ совершенное недоумѣніе.

Я почитаю не излишнимъ познакомить читателя нѣсколько покороче съ Шиллеромъ. Шиллеръ былъ совершенный нѣмецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова. Еще съ двадцатилѣтняго возраста, съ того счастливаго времени, въ которое

русскій живетъ на фуфу, уже Шиллеръ размѣрилъ всю свою жизнь и никакого, ни въ какомъ случаѣ, не дѣлалъ исключенія. Онъ положилъ вставать въ семь часовъ, обѣдать въ два, быть точнымъ во всемъ и быть пьянымъ каждое воскресенье. Онъ положилъ себѣ въ теченіе 10 лѣтъ составить капиталъ изъ пятидесяти тысячъ, и уже это было такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели нѣмецъ рѣшится перемѣнить свое слово. Ни въ какомъ случаѣ не увеличивалъ онъ своихъ издержекъ, и если цѣна на картофель слишкомъ поднималась противъ обыкновеннаго, онъ не прибавлялъ ни одной копѣйки, но уменьшалъ только количество, и хотя оставался иногда нѣсколько голоднымъ, но скоро, однакоже, привыкалъ къ этому. Аккуратность его простиралась до того, что онъ положилъ цѣловать жену свою въ сутки не болѣе двухъ разъ, а чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, онъ никогда не клалъ перцу болѣе одной чайной ложечки въ свой супъ; впрочемъ, въ воскресный день это правило не такъ строго исполнялось, потому что Шиллеръ выпивалъ тогда двѣ бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однакоже, онъ всегда бранилъ. Пилъ онъ вовсе не такъ, какъ англичанинъ, который тотчасъ послѣ обѣда запираетъ дверь на крючокъ и нарѣзывается одинъ. Напротивъ, онъ, какъ нѣмецъ, пилъ всегда вдохновенно, или съ сапожникомъ Гофманомъ, или съ столяромъ Кунцомъ, тоже нѣмцемъ и большимъ пьяницею. Таковъ былъ характеръ благороднаго Шиллера, который, наконецъ, былъ приведенъ въ чрезвычайно затруднительное положеніе. Хотя онъ былъ флегматикъ и нѣмецъ, однакожъ поступки Пирогова возбудили въ немъ что-то похожее на ревность. Онъ ломалъ голову и не могъ придумать, какимъ образомъ ему избавиться отъ этого русскаго офицера. Между тѣмъ, Пироговъ, куря трубку въ кругу своихъ товарищей,—потому что уже такъ Провидѣніе устроило, что гдѣ офицеры, тамъ и трубки,—кура трубку въ кругу своихъ товарищей, намекалъ значительно и съ пріят-

ною улыбкою объ интрижкѣ съ хорошенькою нѣмкою, съ которою, по словамъ его, онъ уже совершенно былъ короткѣ и которую онъ, въ самомъ дѣлѣ, едва ли не терялъ уже надежды преклонить на свою сторону.

Въ одинъ день прохаживался онъ по Мѣщанской, поглядывая на домъ, на которомъ красовалась вывѣска Шиллера съ кофейниками и самоварами; къ величайшей радости своей увидѣлъ онъ головку блондинки, свѣсившуюся въ окошко и разглядывавшую прохожихъ. Онъ остановился, сдѣлалъ ей ручкою и сказалъ: *«гуть моргенъ»*. Блондинка поклонилась ему, какъ знакомому.

«Что, вашъ мужъ дома?»

«Дома», отвѣчала блондинка.

«А когда онъ не бываетъ дома?»

«Онъ по воскресеньямъ не бываетъ дома», сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно», подумалъ про себя Пироговъ: «этимъ нужно воспользоваться»—и въ слѣдующее воскресенье, какъ снѣгъ на голову, явился передъ блондинкою. Шиллера, дѣйствительно, не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пироговъ поступилъ на этотъ разъ довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показалъ всю красоту своего гибкаго, перетянутого стана. Онъ очень пріятно и учтиво шутилъ, но глупенькая нѣмка отвѣчала на все односложными словами. Наконецъ, заходивши со всѣхъ сторонъ и видя, что ничто не можетъ занять ее, онъ предложилъ ей танцовать. Нѣмка согласилась въ одну минуту, потому что нѣмки всегда охотницы до танцевъ. На этомъ Пироговъ очень много основывалъ надеждъ: во-первыхъ, это уже доставляло ей удовольствіе; во-вторыхъ, это могло показать его турнюру и ловкость; въ-третьихъ, въ танцахъ ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую нѣмку и проложить начало всему; короче, онъ выводилъ изъ этого совершенный успѣхъ. Онъ началъ напѣвать какой-то гавоть, зная, что нѣмкамъ нужна постепенность. Хорошенькая нѣмка выступила на средину комнаты и под-

няла прекрасную ножку. Это положеніе такъ восхитило Пирогова, что онъ бросился ее цѣловать; нѣмка начала кричать и этимъ еще болѣе увеличила свою прелесть въ глазахъ Пирогова; онъ ее засыпалъ поцѣлуйми, какъ вдругъ дверь открылась, и вошелъ Шиллеръ съ Гофманомъ и столяромъ Кунцомъ. Всѣ эти достойные ремесленники были пьяны, какъ сапожники.

Но... я предоставляю самимъ читателямъ судить о гнѣвѣ и негодованіи Шиллера.

«Грубіяны!» закричалъ онъ въ величайшемъ негодованіи: «какъ ты смѣешь цѣловать мою жену? Ты подлець, а не русскій офицеръ. Чортъ побери! не такъ ли, мой другъ Гофманъ? Я нѣмецъ, а не русская свинья» (Гофманъ отвѣчалъ утвердительно). «О! я не хочу имѣть роги! Бери его, мой другъ Гофманъ, за воротникъ; я не хочу», продолжалъ онъ, сильно размахивая руками, при чемъ все лицо его было похоже на красное сукно его жилета. «Я восемь лѣтъ живу въ Петербургѣ, у меня въ Швабii мать моя, и дядя мой въ Нюренбергѣ; я нѣмецъ, а не рогатая говядина! Прочь съ него все, мой другъ Гофманъ! Держи его за рука и нога, камрадъ мой Кунцъ!

И нѣмцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился онъ отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжій народъ изъ всѣхъ петербургскихъ нѣмцевъ и поступили съ нимъ такъ грубо и невѣжливо, что, признаюсь, я никакъ не нахожу словъ къ изображенію этого печальнаго событія.

Я увѣренъ, что Шиллеръ на другой день былъ въ сильной лихорадкѣ, что онъ дрожалъ, какъ листъ, ожидая съ минуты на минуту прихода полиціи, что онъ, Богъ знаетъ, чего бы не далъ, чтобы все происходившее вчера было во снѣ. Но чтѣ уже было, того нельзя перемѣнить. Ничто не могло сравниться съ гнѣвомъ и негодованіемъ Пирогова. Одна мысль объ такомъ ужасномъ оскорбленіи приводила его въ бѣшенство. Сибирь и плети онъ почиталъ самымъ малымъ наказаніемъ для Шиллера. Онъ летѣлъ домой, чтобы, одѣвшись,

оттуда идти прямо къ генералу, описать ему самыми разительными красками буйство нѣмецкихъ ремесленниковъ. Онъ разомъ хотѣлъ подать и письменную просьбу въ Главный Штабъ; если же назначеніе наказанія будетъ неудовлетворительно, тогда идти дальше и дальше.

Но все это какъ-то странно кончилось: по дорогѣ онъ зашелъ въ кондитерскую, съѣлъ два слоенныхъ пирожка, прочиталъ кое-что изъ «Сѣверной Пчелы» и вышелъ уже не въ столь гнѣвномъ положеніи. Притомъ, довольно пріятный прохладный вечеръ заставилъ его нѣсколько пройтись по Невскому проспекту; къ 9 часамъ онъ успокоился и нашелъ, что въ воскресенье не хорошо беспокоить генерала; притомъ онъ, безъ сомнѣнія, куда-нибудь отозванъ. И потому онъ отправился на вечеръ къ одному правителю контрольной комиссіи, гдѣ было очень пріятное собраніе многихъ чиновниковъ и офицеровъ его корпуса. Тамъ съ удовольствіемъ провелъ вечеръ и такъ отличился въ мазуркѣ, что привелъ въ восторгъ не только дамъ, но даже и кавалеровъ.

«Дивно устроены свѣтъ нашъ!» думалъ я, бредя третьяго дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествія. «Какъ странно, какъ непостижимо играетъ нами судьба наша! Получаемъ ли мы когда-нибудь то, чего желаемъ? Достигаемъ ли мы того, къ чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходитъ наоборотъ. Тому судьба дала прекраснѣйшихъ лошадей, и онъ равнодушно катается на нихъ, вовсе не замѣчая ихъ красоты, тогда какъ другой, котораго все сердце горитъ лошадиною страстью, идетъ пѣшкомъ и довольствуется только тѣмъ, что пощелкаетъ языкомъ, когда мимо его проводятъ рысака. Тотъ имѣетъ отличнаго повара, но, къ сожалѣнію, такой маленькій ротъ, что больше двухъ кусочковъ никакъ не можетъ пропустить; другой имѣетъ ротъ величиною въ арку Главнаго Штаба, но, увы! долженъ довольствоваться какимъ-нибудь нѣмецкимъ обѣдомъ изъ картофеля. Какъ странно играетъ нами судьба наша!»

Но страннѣе всего происшествія, случающіяся на Нев-

скомъ проспектъ. О, не вѣрьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрѣпче плащомъ своимъ, когда иду по немъ, и стараюсь вовсе не глядѣть на встрѣчающіеся предметы. Все обманъ, все мечта, все не то, чѣмъ кажется! Вы думаете, что этотъ господинъ, который гуляетъ въ отлично сшитомъ сюртучкѣ, очень богатъ?—ничуть не бывало: онъ весь состоитъ изъ своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившіеся передъ строящеюся церковью, судятъ объ архитектурѣ ея?—совсѣмъ нѣтъ: они говорятъ о томъ, какъ странно сѣли двѣ вороны одна противъ другой. Вы думаете, что этотъ энтузіастъ, размахивающій руками, говоритъ о томъ, какъ жена его бросила изъ окна шарикомъ въ незнакомаго ему вовсе офицера?—совсѣмъ нѣтъ: онъ говоритъ о Лафатѣ. Вы думаете, что эти дамы... но дамамъ меньше всего вѣрьте. Меньше заглядывайте въ окна магазиновъ: бездѣлушки, въ нихъ выставленныя, прекрасны, но пахнутъ страшнымъ количествомъ ассигнацій. Но Боже васъ сохрани заглядывать дамамъ подъ шляпки. Какъ привлекательно ни развѣвайся вечеромъ вдали плащъ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далѣе, ради Бога, далѣе отъ фонаря! и скорѣе, сколько можно скорѣе, проходите мимо! Это счастье еще, если отдѣляетесь тѣмъ, что онъ залететь щегольской сюртукъ вапъ воючимъ своимъ масломъ. Но, и кромѣ фонаря, все дышитъ обманомъ. Онъ лжетъ во всякое время, этотъ Невскій проспектъ, но болѣе всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжетъ на него и отдѣлитъ бѣлыя и палевныя стѣны домовъ, когда весь городъ превратится въ громъ и блескъ, мириады каретъ валятся съ мостовъ, фореиторы кричатъ и прыгаютъ на лошадяхъ, и когда самъ демонъ зажигаетъ лампы для того только, чтобы показать все не въ настоящемъ видѣ.



О МАЛОРОССИЙСКИХЪ ПѢСНЯХЪ.

Только въ послѣдніе годы, въ эти времена стремленія къ самобытности и собственной народной поэзіи, обратили на себя вниманіе малороссійскія пѣсни, бывшія до того скрытыми отъ образованнаго общества и державшіяся въ одномъ народѣ. До того времени одна только очаровательная музыка ихъ изрѣдка заносилась въ высшій кругъ, слова же оставались безъ вниманія и почти ни въ комъ не возбуждали любопытства. Даже музыка ихъ не появлялась никогда вполнѣ. Бездарный композиторъ безжалостно разрывалъ ее и клеилъ въ свое безчувственное, деревянное созданіе *). Но лучшія пѣсни и голоса слышали только одні украинскія степи: только тамъ, подъ сѣнью низенькихъ глиняныхъ хатъ, увѣнчанныхъ шелковицами и черешнями, при блескѣ утра, полудня и вечера, при лимонной желтизнѣ падающихъ колосьевъ пшеницы, онѣ раздаются, прерываемыя одними степными чайками, вереницами жаворонковъ и стелющимися иволгами.

Я не распространяюсь о важности народныхъ пѣсень. Это народная исторія, живая, яркая, исполненная красокъ, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была дѣятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтическаго, и онъ, при всей многосторонности ея, не по-

*) Впрочемъ, любители музыки и поэзіи могутъ нѣсколько утѣшиться: недавно издано прекрасное собраніе пѣсень Максимовичемъ, и при немъ голоса, переложенные Алябьевымъ.

лучилъ высшей цивилизаціи, то весь пылъ, все сильное, юное бытіе его выливается въ народныхъ пѣсняхъ. Онѣ—надгробный памятникъ былого, болѣе нежели надгробный памятникъ: камень съ краснорѣчивымъ рельефомъ, съ историческою надписью—ничто противъ этой живой, говорящей, звучащей о прошедшемъ лѣтописи. Въ этомъ отношеніи пѣсни для Малороссіи—все: и поэзія, и исторія, и отцовская могила. Кто не проникнулъ въ нихъ глубоко, тотъ ничего не узнаетъ о прошедшемъ бытѣ этой цвѣтущей части Россіи. Историкъ не долженъ искать въ нихъ показанія дня и числа битвы или точнаго объясненія мѣста, вѣрной реляціи; въ этомъ отношеніи немногія пѣсни помогутъ ему. Но когда онъ захочетъ узнать вѣрный бытъ, стихіи характера, всѣ изгибы и отгѣнки чувствъ, волненій, страданій, веселій изображаемаго народа, когда захочетъ выпытать духъ минувшаго вѣка, общій характеръ всего цѣлаго и порознь каждаго частнаго, тогда онъ будетъ удовлетворенъ вполне: исторія народа разоблачится передъ нимъ въ ясномъ величіи.

Пѣсни малороссійскія могутъ вполне назваться историческими, потому что онѣ не отрываются ни на мигъ отъ жизни и всегда вѣрны тогдашней минутѣ и тогдашнему состоянію чувствъ. Вездѣ проникаетъ ихъ, вездѣ въ нихъ дышитъ эта широкая воля козацкой жизни. Вездѣ видна та сила, радость, могущество, съ какою козакъ бросаетъ тишину и безопасность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзію битвъ, опасностей и разгульнаго пиршества съ товарищами. Ни чернобровая подруга, пылающая свѣжестью, съ карими очами, съ ослѣпительнымъ блескомъ зубовъ, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарѣлая мать, разливающаяся какъ ручей слезами, которой всѣмъ существованіемъ завладѣло одно материнское чувство,—ничто не въ силахъ удержать его. Упрямый, непреклонный, онъ спѣшитъ въ степи, въ вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьевъ,—все замѣняетъ ва-тага гуливыхъ рыцарей набѣговъ. Узы этого братства

для него выше всего, сильнѣе любви. Сверкаетъ Черное море; вся чудесная, неизмѣримая степь отъ Тамана до Дуная — дикій океанъ цвѣтовъ колеблется однимъ налетомъ вѣтра; въ безпредѣльной глубинѣ неба тонуть лебеди и журавли; умирающій козакъ лежитъ среди этой свѣжести дѣвственной природы и собираетъ всѣ силы, чтобъ не умереть, не взглянувъ еще разъ на своихъ товарищей.

То ще добре козацька голова знала,
Що безъ вѣйска козацького не вмирала.

Увидѣвши ихъ, онъ насыщается и умираетъ. Выступаетъ ли козацкое войско въ походъ съ тишиною и повиновениемъ; извергается ли изъ самопаловъ потопъ дыма и пуль; кружится ли вольно медъ, вино; описываются ли ужасная казнь гетмана, отъ которой дыбомъ подымается волосъ, мщеніе ли козаковъ, видъ ли убитаго казака, съ широко-раскинутыми руками на травѣ, съ разметаннымъ чубомъ, клетки ли орловъ въ небѣ, спорящихъ о томъ, кому изъ нихъ выдирать козацкія очи, — все это живетъ въ пѣсняхъ и окинуто смѣлыми красками. Остальная половина пѣсней изображаетъ другую половину жизни народа: въ нихъ разбросаны черты быта домашняго; здѣсь во всемъ совершенная противоположность. Тамъ одни казаки, одна, военная, бивачная и суровая жизнь; здѣсь, напротивъ, одинъ женскій міръ, нѣжный, тоскливый, дышашій любовію. Эти два пола видѣлись между собою самое короткое время и потомъ разлучались на цѣлыя годы. Годы эти были проводимы женщинами въ тоскѣ, въ ожиданіи своихъ мужей, любовниковъ, мелькнувшихъ передъ ними въ своемъ пышномъ военномъ убранствѣ, какъ сновидѣніе, какъ мечта. Оттого любовь ихъ дѣлается чрезвычайно поэтической. Свѣжая, невинная, какъ голубка, молодая супруга вдругъ узнала все блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Все начало весны ея, проведенное съ этимъ мощнымъ, вольнымъ питомцемъ войны, столпило для нея радость всей жизни въ одно быстро мелькнувшее мгнове-

ніе. Противъ него ничто вся остальная жизнь; она живетъ однимъ этимъ мгновениемъ. Тоскуя, ждетъ она съ утра до вечера возврата своего черноброваго супруга.

Ой черные бровенята!

Лыхо минн зъ вами:

Не хочете почеваты

Ни ноченьки сами.

Она вся живетъ воспоминаніемъ. Все, на что они глядѣли вмѣстѣ, куда они вмѣстѣ ходили, что вмѣстѣ говорили,—все это припомнаетъ она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видитъ въ природѣ, дышащей жизнью, и даже къ безчувственнымъ предметамъ, и всѣмъ имъ говоритъ и жалуется. И какъ просты, какъ поэтически-просты ея исполненныя души рѣчи! Ко всему примѣняетъ она состояніе свое и не можетъ наговориться, потому что человѣкъ многорѣчивъ всегда, когда въ его груди заключается тайная сладость. Наконецъ, съ тихимъ, но безнадежнымъ отчаяніемъ говоритъ она:

Да вжежъ минн не ходыты

Куды я ходыла!

Да вжежъ минн не любыты,

Кого я любила!

Да вжежъ минн не ходыты

Ранкомъ по-пидъ замкомъ!

Да вжежъ минн не стойты

Изъ моимъ коханкомъ!

Да вжежъ минн не ходыты

Въ лиски по оришки!

Да вжежъ минн минулися

Дивоцкія смишки!

Чтобы сколько-нибудь сдѣлать доступною для незнающихъ малороссійскаго языка глубину чувствъ, рассыпанныхъ въ этихъ пѣсняхъ, привожу одну изъ нихъ въ переводѣ.

Разсердился, разгнѣвался на меня мой милый! Вотъ онъ сѣдаетъ своего вороного коня и ѣдетъ далеко, далеко отъ меня.

Куда же ты, мой милый, голубчикъ мой сизый, куда ты уѣзжаешь? Кому ты меня беззащитную, молодую, кому оставляешь?

«Оставляю тебя, моя милая, одному Богу. Жди меня, пока не возвращусь изъ дальней дороги».

О, если-бъ я знала, если бы видѣла, откуда будетъ ѣхать мой милый, я бы ему по всей дорогѣ мостила мосты изъ зеленого тростника и все бы ждала его въ гости.

Боже Всесильный! выровняй всѣ долины и горы, чтобы вездѣ было ровно, чтобы отголѣ ему до самаго дому было хорошо ѣхать.

Чу! луга шумять, берега звенять, по дорогѣ зеленѣеть трава—это онъ! это мой милый ѣдетъ!

Чу! луга шумять, берега звенять, расцвѣтаетъ калина—вѣрно, гдѣ-нибудь мой милый, голубчикъ мой сизый, съ другою разговариваетъ.

Зачѣмъ же ты не пріѣхалъ, зачѣмъ не прилетѣлъ, какъ я тебѣ говорила? Коня ли не имѣлъ, дороги ли не зналъ, или мать не велѣла тебѣ?

«Я коня имѣю, я и дорогу знаю, и мать еще вчера съ вечера велѣла мнѣ сѣдлатъ коня.

«Но только лишь сяду на коня, только лишь выѣду за ворота, какъ уже бѣжить за мною другая и такъ жалко стонетъ, такъ плачетъ, что тоска ея хватаетъ за самое сердце».

Можно привести до тысячи подобныхъ пѣсенъ, можетъ-быть, даже гораздо лучшихъ. Всѣ онѣ благозвучны, душисты, разнообразны чрезвычайно. Вездѣ новыя краски, вездѣ простота и невыразимая нѣжность чувствъ. Гдѣ же мысли въ нихъ коснулись религіознаго, тамъ онѣ необыкновенно поэтически. Онѣ не изумляются колоссальнымъ созданіямъ вѣчнаго Творца: это изумленіе принадлежитъ уже ступившему на высшую ступень самопознанія; но ихъ вѣра такъ невинна, такъ трогательна, такъ непорочна, какъ непорочна душа младенца. Онѣ обращаются къ Богу, какъ дѣти къ отцу; онѣ вводятъ Его часто въ бытъ своей жизни съ такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображеніе становится у нихъ величественнымъ въ самой простотѣ своей. Отъ этого самые обыкновенные предметы въ пѣсняхъ ихъ облакаются невыразимою поэзіей, чему еще болѣе помогаютъ остатки обрядовъ древней славянской мѣологии, которые онѣ покорили христіанству. Часто тоскующая дѣва умоляетъ Бога, чтобы Онъ засвѣтилъ на небѣ восковую свѣчку, пока ея милый перебредетъ черезъ рѣку Дунай. На всемъ печать чистаго первоначальнаго младенчества, стало-быть — и высокой поэзіи. Изложеніе

пѣсней ихъ, какъ женскихъ, такъ и козацкихъ, почти всегда драматическое — признакъ развитія народнаго духа и дѣятельной, безпокойной жизни, долго обнимавшей народъ. Пѣсни ихъ почти никогда не обращаются въ описательныя и не занимаютъ долго изображеніемъ природы. Природа у нихъ едва только скользитъ въ куплетѣ, но тѣмъ не менѣе черты ея такъ новы, тонки, рѣзки, что представляютъ весь предметъ. Впрочемъ, къ нимъ прибѣгаютъ для того только, чтобы сильнѣе выразить чувства души, и потому явленія природы послушно влекутся у нихъ за явленіями чувства. То же самое у нихъ представляется разомъ и во внѣшнемъ, и во внутреннемъ мірѣ. Часто, вмѣсто цѣлаго внѣшняго, находится только одна рѣзкая черта, одна часть его. Въ нихъ нигдѣ нельзя найти подобной фразы: *былъ вечеръ*; но вмѣсто этого говорится то, что бываетъ вечеромъ, напр.

Шли коровы изъ дубровы, а овечки съ поля:
Выплакала кари очи, край милого стоя.

Оттого весьма многіе, не понявъ, считали подобные обороты бессмыслицей. Чувство у нихъ выражается вдругъ, сильно, рѣзко и никогда не охлаждается длиннымъ періодомъ. Во многихъ пѣсняхъ нѣтъ одной общей мысли, такъ что онѣ походятъ на рядъ куплетовъ, изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себѣ отдѣльную мысль. Иногда онѣ кажутся совершенно беспорядочными, потому что сочиняются мгновенно, и такъ какъ взглядъ народа живъ, то обыкновенно тѣ предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помѣщаются и въ пѣсни; но за то изъ этой пестрой кучи вышибаются такіе куплеты, которые поражаютъ самую очаровательную безотчетностью поэзіи. Самая яркая и вѣрная живопись и самая звонкая звучность словъ разомъ соединяются въ нихъ. Пѣсня сочиняется не съ перомъ въ рукѣ, не на бумагѣ, не съ строгимъ расчетомъ, но въ вихрѣ, въ забвеніи, когда душа звучитъ и всѣ члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положеніе, становятся свободнѣе, руки вольно вскидываются на воздухъ и дикія волны ве-

селья уносить его отъ всего. Это примѣчается даже въ самыхъ заунывныхъ пѣсняхъ, которыхъ раздрающіе звуки съ болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться изъ души человѣка въ обыкновенномъ состояніи, при настоящемъ возрѣніи на предметъ. Только тогда, когда вино перемѣшаетъ и разрушить весь прозаическій порядокъ мыслей, когда мысли непостижимо-странно въ разногласіи звучатъ внутреннимъ согласіемъ, — въ такомъ-то разгулѣ, торжественномъ больше, нежели веселомъ, душа, къ непостижимой загадкѣ, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдѣніе! Весь таинственный составъ его требуетъ звуковъ, однихъ звуковъ. Оттого поэзія въ пѣсняхъ неуловима, очаровательна, граціозна, какъ музыка. Поэзія мыслей болѣе доступна каждому, нежели поэзія звуковъ, или, лучше сказать, поэзія поэзіи. Ее одинъ только избранный, одинъ истинный въ душѣ поэтъ понимаетъ; и потому-то часто самая лучшая пѣсня остается незамѣченною, тогда какъ незавидная выигрываетъ своимъ содержаніемъ.

Стихосложеніе малороссійское самое выгодное для пѣсень: въ немъ соединяются вмѣстѣ и размѣръ, и тоника, и рима. Паденіе звуковъ въ нихъ скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бываетъ слишкомъ длинна; если же это и случается, то цезура посерединѣ, съ звонкою римою, перерѣзываетъ ее. Чистые, протяжные ямбы рѣдко попадаютъ; большею частію быстрые хорей, дактили, амфибрахи летятъ шибко, одинъ за другимъ, прихотливо и вольно мѣшаются между собою, производятъ новые размѣры и разнообразятъ ихъ до чрезвычайности. Римы звучатъ и сливаются одна съ другою, какъ серебряныя подковы танцующихъ. Вѣрность и музыкальность уха—общая принадлежность ихъ. Часто вся строка созвучивается съ другою, несмотря, что иногда у обѣихъ даже римы нѣтъ. Близость римъ изумительна. Часто строка два раза терпитъ цезуру и два раза римуется до замыкающей римы, которой сверхъ того даетъ отвѣтъ вторая строка, тоже два

раза созвучившись на серединѣ. Иногда встрѣчается такая рѣма, которую повидимому нельзя назвать рѣмою, но она такъ вѣрна своимъ отголоскомъ звуковъ, что нравится иногда болѣе, нежели рѣма, и никогда бы не пришла въ голову поэту съ перомъ въ рукѣ.

Характеръ музыки нельзя опредѣлить однимъ словомъ: она необыкновенно разнообразна. Во многихъ пѣсняхъ она легка, граціозна, едва только касается земли и, кажется, шалить, рѣзвится звуками. Иногда звуки ея принимаютъ мужественную физиогномію, становятся сильны, могучи, крѣпки; стопы тяжело ударяютъ въ землю, и, кажется, какъ будто бы подъ нихъ можно плясать одного только гонака. Иногда же звуки ея становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантскіе, сягающіе обхватить бездну пространства, вслушиваясь въ которые танцующій чувствуетъ себя исполиномъ: душа его и все существованіе раздвигается, расширяется до безпредѣльности. Онъ отдѣляется вдругъ отъ земли, чтобы сильнѣе ударить въ нее блестящими подковами и взвестись опять на воздухъ. Что же касается до музыки грусти, то она нигдѣ не слышна такъ, какъ у нихъ. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на безпріютное положеніе тогдашней Малороссіи... но звуки ея живутъ, жгутъ, раздражаютъ душу. Русская заунывная музыка выражаетъ, какъ справедливо замѣтилъ М. Максимовичъ, забвеніе жизни: она стремится уйти отъ нея и заглушить всѣдневныя нужды и заботы; но въ малороссійскихъ пѣсняхъ она слилась съ жизнью: звуки ея такъ живы, что, кажется, не звучатъ, а говорятъ,—говорятъ словами, выговариваютъ рѣчи, и каждое слово этой яркой рѣчи проходитъ душу. Взвизги ея иногда такъ похожи на крикъ сердца, что оно вдругъ и внезапно вздрагиваетъ, какъ будто бы коснулось къ нему острое желѣзо. Безотрадное, равнодушное отчаяніе иногда слышится въ ней такъ сильно, что заслушавшійся забывается и чувствуетъ, что надежда давно улетѣла изъ міра. Въ другомъ мѣстѣ отрывистыя стenanія, вопли, такіе яркіе,

живые, что съ трепетомъ спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирѣпое насиліе вырываетъ младенца, чтобы съ звѣрскимъ смѣхомъ расшибить его о камень. Ничто не можетъ быть сильнѣе народной музыки, если только народъ имѣлъ поэтическое расположеніе, разнообразіе и дѣятельность жизни; если натиски насилій и непреодолимыхъ вѣчныхъ препятствій не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали изъ него жалобы, и если эти жалобы не могли иначе и нигдѣ выразиться, какъ только въ его пѣсняхъ. Такова была беззащитная Малороссія въ ту минуту, когда хищно ворвалась въ нее унія. По нимъ, по этимъ звукамъ, можно догадываться о ея минувшихъ страданіяхъ, такъ точно, какъ о бывшей бурѣ съ градомъ и проливнымъ дождемъ можно узнать по брильянтовымъ слезамъ, унизывающимъ снизу до вершины освѣженныя деревья, когда солнце мечетъ вечерній лучъ, разрѣженный воздухъ чистъ, вдали звонко дребезжитъ мычаніе стада, голубоватый дымъ, вѣстникъ деревенскаго ужина и довольства, несется свѣтлыми кольцами къ небу, и вечеръ, тихій, ясный вечеръ обнимаетъ успокоенную землю.

1833.



МЫСЛИ О ГЕОГРАФИИ.

(для дѣтскаго возраста).

Велика и поразительна область географіи: край, гдѣ кипитъ югъ и каждое твореніе бьется двойною жизнью, и край, гдѣ въ искаженныхъ чертахъ природы прочитывается ужась, и земля превращается въ оледенѣлый трупъ; исполины-горы, парящія въ небо, наброшенный небрежно, дышущій всею роскошью растительной силы и разнообразія видъ, и раскаленные пустыни и степи; оторванный кусокъ земли посреди безграничнаго моря, люди и искусство, и предѣлъ всего живущаго! — Гдѣ найдутся предметы, сильнѣе говорящіе юному воображенію? — Какая другая наука можетъ быть прекраснѣе для дѣтей, можетъ быстрѣе возвысить поэзію младенческой души ихъ? И не больно ли, если показываютъ имъ, вмѣсто всего этого, какой-то безжизненный, сухой скелетъ, холодно говоря: «Вотъ земля, на которой живемъ мы; вотъ тотъ прекрасный міръ, подаренный намъ непостижимымъ его Зодчимъ!» — Этого мало: его совершенно скрываютъ отъ нихъ и даютъ имъ вмѣсто того грызть политическое тѣло, превышающее міръ ихъ понятій и несвязное даже для ума, обладающаго высшими идеями. — Невольно при этомъ приходитъ на мысль: неужели великій Гумбольдтъ и тѣ отважные изслѣдователи, принесшіе такъ много свѣдѣній въ область науки, истолковавшіе дивные іероглифы, коими покрытъ міръ нашъ, — должны быть доступны немногому числу ученыхъ, а возрастъ, болѣе другихъ нуждающійся въ ясности и опредѣлительности, долженъ видѣть передъ собою одни непонятныя изображенія?

Дѣтскій возрастъ есть еще одна жажда, одно безотчетное стремленіе къ познанію. Онъ всего требуетъ, все хочетъ узнать. Его болѣе всего интересуютъ отдаленныя земли: какъ тамъ? что тамъ такое? какіе тамъ люди? какъ живутъ? Эти вопросы стремятся у него толпою и всѣ они относятся прямо къ физической географіи, и потому міръ, въ его физическомъ состояніи, величественный, роскошный, грозный, плѣнительный, — долженъ болѣе и обширнѣе занять его.

Во многихъ заведеніяхъ нашихъ, по невозможности воспитанниковъ узнать въ одинъ годъ всей географіи, читаютъ ее въ двухъ и даже въ трехъ классахъ. Это хорошо, и географія стѣдитъ, чтобъ ее проходили не въ одномъ классѣ; но преподаватели впадаютъ въ большую ошибку: размежевываютъ земной шаръ на двѣ или, смотря по классамъ, на три части и самому начальному классу достается Европа, рассматриваемая обыкновенно въ политическомъ отношеніи съ подробнѣйшими подробностями, тогда какъ высшіе классы блуждаютъ по степямъ и пескамъ африканскимъ и бесѣдуютъ съ дикарями. Не говоря уже о безразсудности и странной формѣ такого преподаванія, нужно имѣть необыкновенную память, чтобы удержать въ ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феноменъ въ природѣ, то въ головѣ этого феномена никогда не удержится одно прекрасное цѣлое. — Это будутъ тщательно отдѣланныя, разрозненныя части, которыми не управляетъ одна мощная жизнь, бьющая ровнымъ пульсомъ по всѣмъ жиламъ. Это народъ, созданный для монархическаго правленія и утратившій его въ бурѣ политическихъ потрясеній.

Гораздо лучше, если воспитанникъ будетъ проходить географію въ два разные періода своего возраста. Въ первомъ онъ долженъ узнать одинъ только великій очеркъ всего міра, но очеркъ такой, который бы пробудилъ всю внимательность его, который бы показалъ всю обширность и колоссальность географическаго міра. Въ этотъ курсъ

должны ниспослать отъ себя дань и естественная исторія, и физика, и статистика, и все, что только соприкасается къ міру, чтобы міръ составилъ одну яркую, живописную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему всѣ концы его. Ничего въ подробности, но только одні рѣзкія черты, но только, чтобы онъ чувствовалъ, гдѣ стужа, гдѣ болѣе растительность, гдѣ выше мануфактурность, гдѣ сильнѣе образованность, гдѣ глубже невѣжество, гдѣ ниже земля, гдѣ стремительнѣе горы.—Во второмъ періодѣ его возраста этотъ міръ долженъ быть передъ нимъ раздвинутъ. Онъ долженъ рассмотреть въ микроскопъ тѣ предметы, которые доселѣ видѣлъ простымъ глазомъ. Тогда уже онъ узнаетъ всѣ исключенія и переходы, менѣе рѣзкіе и болѣе исполненные тонкаго отличія.

Воспитанникъ не долженъ имѣть вовсе у себя книги. Она, какая бы ни была, будетъ сжимать его и умерщвлять воображеніе: передъ нимъ должна быть одна только карта. Ни одного географическаго явленія не нужно объяснять, не укрѣпивши на мѣстѣ, хотя бы это было только яркое, живописное описаніе, чтобы воспитанникъ, внимая ему, глядѣлъ на мѣсто въ своей картѣ, и чтобы эта маленькая точка какъ бы раздвигалась передъ нимъ и вмѣстила бы въ себѣ всѣ тѣ карты, которыя онъ видитъ въ рѣчахъ преподавателя. Тогда можно быть увѣреннымъ, что онѣ останутся въ памяти его вѣчно, и, взглянувши на скелетный очеркъ земли, онъ его вмигъ наполнить красками.

Фигура земли прежде всего должна удержаться въ его памяти. Черченіе картъ, надъ которыми заставляють воспитанниковъ трудиться, мало приносятъ пользы. Множество мелкихъ подробностей, множество отдѣльныхъ государствъ можетъ только въ головѣ ихъ уничтожиться одно другимъ. Гораздо лучше дать имъ прежде сильную, рѣзкую идею о видѣ земли: для этого я бы совѣтовалъ сдѣлать всю воду бѣлою и всю землю черною, чтобы онѣ со-

вершенно отдѣлились, рѣзкостью своею невольно вторгнулись въ мысли ихъ и преслѣдовали бы ихъ неотступно неправильною своею фигурою. Послѣ этого будетъ имъ гораздо легче начертить видъ земли, но никакъ не допускать до подробностей, т. е. означать всѣ мелкіе мысы и искривленія береговъ. Пусть лучше они вначалѣ совѣмъ не знаютъ ихъ, но за то удержать общій видъ земли.

Гораздо лучше проходить вначалѣ разомъ весь міръ, глядѣть разомъ на всѣ части свѣта: чрезъ это очевиднѣе будутъ ихъ взаимныя противоположности. Замѣтивши ихъ въ общей массѣ, они могутъ тогда погрузиться глубже въ каждую часть свѣта. Но въ порядкѣ частей свѣта я бы совѣтовалъ лучше слѣдовать за постепеннымъ развитіемъ челоуѣка, стало-быть, вмѣстѣ и за постепеннымъ открытіемъ земли: начать съ Азіи, съ его колыбели, съ его младенчества, перейти въ Африку, въ его пламенное и вмѣстѣ грубое юношество, обратиться къ Европѣ, къ его быстрому разоблаченію и зрѣлости ума, шагнуть вмѣстѣ съ нимъ въ Америку, гдѣ, развитый и властительный, встрѣтился онъ съ первообразнымъ и чувственнымъ, и окончить разрозненными по необозримоу океану островами.

Такое раздѣленіе, мнѣ кажется, будетъ гораздо естественнѣе. Прежде всего воспитанникъ долженъ составить себѣ общее характеристическое понятіе о каждой изъ нихъ. Во-первыхъ, объ Азіи, гдѣ все такъ велико и обширно, гдѣ люди такъ важны, такъ холодны съ вида и вдругъ кипятъ неукротимыми страстями; при дѣтскомъ умѣ своемъ думаютъ, что они умнѣ всѣхъ; гдѣ все гордость и рабство; гдѣ все одѣвается и вооружается легко и свободно, все наѣздничаетъ; гдѣ турокъ радъ просидѣть цѣлый вѣкъ, поджавъ ноги и курая кальянъ свой, и гдѣ бедуинъ, какъ вихорь, мчится по пустынѣ; гдѣ вѣра переходитъ въ фанатизмъ, и вся страна — страна вѣроисповѣданій, разлившихся отсюда по всему міру. Объ Африкѣ, гдѣ солнце жжетъ, и океаны песчаныхъ степей растягиваются на не-

измѣримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и человѣкъ, мало чѣмъ разнящійся наружностью и своими чувственными наклонностями отъ обезьянъ, кочующихъ по ней ордами, и т. далѣе.

Начертивъ видъ части свѣта, воспитанникъ указываетъ всѣ высочайшія и низменныя мѣста на ней, рассказываетъ, какъ развѣтвляются по ней горы и протягиваютъ свои длинныя, безобразныя цѣпи. Въ этомъ смыслѣ можно съ пользою употреблять Риттерово барельефное изображеніе Европы, хотя оно не совсѣмъ еще удобно для дѣтей, по причинѣ неяснаго отдѣленія свѣта отъ тѣней. Всего бы лучше на этотъ случай отлить изъ крѣпкой глины, или изъ металла, настоящей барельефъ. Тогда воспитаннику стѣило бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда въ памяти всѣ высокія и низменныя мѣста.

Такъ какъ горы сообщили форму всей землѣ, то познаніе ихъ должно составить, такъ сказать, начало всей географіи. Показавъ развѣтвленіе ихъ по лицу земли, должно показать видъ ихъ, форму, составъ, образованіе и, наконецъ, характеръ и отличіе каждой цѣпи,—все это не сухо, не съ подробною ученостью, но такъ, чтобы онъ зналъ, что такая-то цѣпь изъ темныхъ и твердыхъ гранитовъ, что внутренность другой бѣлая, известковая или глинистая: рыхлая, желтая, темная, красная или, наконецъ, самыхъ яркихъ цвѣтовъ земель и камней. Можно даже рассказать, какъ въ нихъ лежатъ металлы и руды и въ какомъ видѣ—и можно рассказать занимательно. Что же касается до поверхности ихъ, то, само собою разумѣется, что нужно показать высочайшія точки, примѣчательныя явленія на нихъ и высоту, до которой подымался человѣкъ.

Не мѣшало бы коснуться слегка подземной географіи. Миѣ кажется, нѣтъ предмета болѣе поэтическаго, какъ она, хотя совершенно понять ее можетъ только возрастъ вышій.

Тутъ всё явленія и факты дышатъ исполинскою колоссальностью. Здѣсь встрѣчаются цѣлыя массы. Тутъ на всемъ отпечатокъ величественныхъ потрясеній земли; душа сильнѣе чувствуетъ великія дѣла Творца. Тутъ лежатъ погребенными цѣлыя цѣпи подземныхъ лѣсовъ. Тутъ лежитъ въ глубокомъ уединеніи раковина и уже превращается въ мраморъ. Тутъ дышатъ вѣчные огни, и отъ взрыва ихъ измѣняется поверхность земли. Часть этихъ явленій, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя чтобъ не тронула его воображенія.

Процессъ и разселеніе растительной силы по землѣ должно показать на картѣ лѣстницею градусовъ: гдѣ растеніе Юга—хозяинъ, куда перешло оно какъ гость, подъ какимъ градусомъ умираетъ, гдѣ начинается растеніе Сѣвера, гдѣ и оно, наконецъ, гибнетъ, прозябаніе прекращается, природа обмираетъ въ объятіяхъ студенаго океана, и чудный полюсъ закутывается недоступными для человѣка льдами. Такимъ же образомъ и разселеніе животныхъ. Но почва требуетъ другого раздѣленія земли по полосамъ, изъ которыхъ каждая должна заключать въ себѣ особенный видъ ея.

Произведенія искусства вообще являются доселѣ у географовъ отрывисто. Перехода нѣтъ никакого отъ природы къ произведеніямъ человѣка. Они отрублены, какъ топоромъ, отъ своего источника. Я уже не говорю о томъ, что у нихъ не представленъ вовсе этотъ брачный союзъ человѣка съ природою, отъ котораго рождается мануфактурность. И такъ, прежде нежели воспитанникъ приступитъ къ обзорѣнню мануфактуръ и произведеній рукъ человѣка, нужно, чтобы онъ былъ приуготовленъ къ тому произведеніями земли, чтобы онъ самъ собою могъ вывести, какія мануфактуры должны быть въ такомъ-то государствѣ; если же встрѣтится исключеніе, тогда необходимо показать, отчего оно произошло: можетъ-быть, безпечный характеръ народа, можетъ, сторовнія обстоятельства, или излишнее богатство

сосѣдей, или невозможность дальнѣйшихъ сообщеній, или другія подобныя имъ — воспрепятствовали. Приготовивши себя мануфактурностью, онъ можетъ уже переходить къ торговлѣ, которая безъ того будетъ тоже незанимательна и непонятна.

При исчисленіи народовъ, преподаватель необходимо обязанъ показать каждаго фізіогномію и тѣ отпечатки, которые принялъ его характеръ, такъ сказать, отъ географическихъ причинъ. Всѣ народы міра онъ долженъ сгруппировать въ большія семейства и представить прежде общія черты каждой группы, потомъ уже развѣтвленіе ихъ. И потомъ физическую ихъ исторію, т. е. исторію измѣненія ихъ характера, чтобъ объяснилось, отчего, напримѣръ, тевтонское племя среди своей Германіи означено твердостью флегматическаго характера, и отчего оно, перейдя Альпы, напротивъ, принимаетъ всю игривость характера легкаго.

Весьма полезны для дѣтей карты, изображающія разселеніе просвѣщенія по земному шару. Это польза превращается въ необходимость, когда проходятъ они Европу. Но какъ у насъ нѣтъ такихъ картъ, то преподавателю небольшого труда стоить сдѣлать онія самому. Мѣста, гдѣ просвѣщеніе достигло высочайшей степени, означать свѣтомъ и бросать легкія тѣни, гдѣ оно ниже. Тѣни сіи становятся, чѣмъ далѣе, тѣмъ крѣпче, и наконецъ превращаются въ мракъ, по мѣрѣ того, какъ природа дичаетъ, и человѣкъ оканчивается бездушнымъ эскимосомъ.

Величину земель, государствъ, никогда нельзя заучивать исчисленіемъ квадратныхъ миль. Нужно только смотреть на карту — вотъ одно средство узнать ее. Не мѣшало бы вырѣзать каждое государство особенно, такъ, чтобы оно составляло отдѣльный кусокъ и, будучи сложено съ другими, составило бы часть міра. Тогда будетъ видима и величина ихъ и форма.

При изображеніи каждаго города, непременно должно означить рѣзко его мѣстоположеніе: подымается ли онъ на горѣ, опрокинуть ли внизъ; его жизнь, его значительность, его средства — и, вообще, сильными и немногими чертами обозначить характеръ его. Преподаватель обязанъ исторгнуть изъ обширнаго матеріала все, что бросаетъ на городъ отличіе и отдѣляетъ его отъ множества другихъ. Пусть воспитанникъ знаетъ, что такое Римъ, что Парижъ, что Петербургъ. Пусть не мѣряетъ своимъ масштабомъ, составившимся въ его понятіяхъ при видѣ Петербурга, другихъ городовъ Европы. Все общее городамъ должно быть исключено въ опредѣленіи отдѣльно каждаго города. Во многихъ нашихъ географіяхъ и до сихъ поръ еще въ опредѣленіяхъ губернскаго города рассказывается, что въ немъ есть гимназія, соборная церковь; уѣзднаго — что въ немъ есть уѣздное училище и т. п. Къ чему? Воспитаннику довольно сказать сначала, что у насъ гимназія во всѣхъ губернскихъ городахъ, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Пале-рояля, Фальконетова Петра, Киевопечерской лавры, Кингъ-Бенча — нѣтъ другихъ въ мірѣ. Объ нихъ дитя, вѣрно, потребуеть подробнаго свѣдѣнія. Не нужно заниматься ничтожнымъ и скучнымъ для воспитанника вычисленіемъ числа домовъ, церквей, развѣ только въ такомъ случаѣ, когда оно, по своей величинѣ или отрицательно, выходитъ изъ категоріи обыкновеннаго. Въмѣсто этого, можно занять его архитектурой города, — въ какомъ вкусѣ онъ выстроенъ, колоссальны ли, прекрасны ли его строенія. Если онъ древнѣй, то какъ величественна, даже въ самой странности своей, его старинная, повитая столѣтіями и на чудо взлелѣянная самими потрясеніями архитектура, и какъ, напротивъ того, легка и изящна архитектура другого города, созданнаго однимъ столѣтіемъ. При мысли о какомъ-нибудь германскомъ городѣ, ученикъ тотчасъ долженъ представить себѣ тѣсныя улицы, небольшіе, узенькіе и высокие домики, гдѣ все такъ просто, такъ мило, такъ bucolически, и рядомъ съ ними угловатыя, просѣкающіе остриемъ

воздухъ, шпиги церквей. При мысли о Римѣ, гдѣ глухо отозвался весь канувшій въ пучину столѣтій древній міръ, у него должна быть неразлучна съ тѣмъ мысль о зданіяхъ-исполидахъ, которыя, свободно подыавшись отъ земли и опершись на стройные портики и гигантскія колонны, дряхлѣютъ, какъ бы размышляя объ утекшихъ событіяхъ великой своей юности. Для этого не мѣшаетъ чаще показывать фасады примѣчательнѣйшихъ зданій: тогда необыкновенный видъ ихъ врѣжется въ памяти; притомъ это послужитъ полезно и нечувствительно къ образованію юнаго вкуса.

Исторія изрѣдка должна только озарять воспоминаніями географическій міръ ихъ. Протекшее должно быть слишкомъ разительно, и развѣ уже происходитъ изъ чисто-географическихъ причинъ, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанникъ проходитъ въ это время и исторію, тогда ему необходимо показать область ея дѣйствія: тогда географія сливается и составляетъ одно тѣло съ исторіей.

Слогъ преподавателя долженъ быть увлекающій, живописный: всѣ поразительныя мѣстоположенія, великія явленія природы—должны быть окинуты яркими красками. Что дѣйствуетъ сильно на воображеніе, то не скоро выбѣтается изъ головы. Слогъ его долженъ болѣе подходить къ слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не можетъ удержаться въ головѣ отрока, особливо если она распространена въ мелочахъ: Дитя тогда только удерживаетъ систему, когда не видитъ ея глазами, когда она искусно скрыта отъ него. Его система—интересъ, нить происшествій или нить описаній. Все, что истинно нужно, что болѣе относится къ нашей жизни, что болѣе можемъ мы впоследствии приспособить къ себѣ,—все это уже интересно. Да впрочемъ, что не интересно въ географіи? Она такое глубокое море, такъ раздвигаетъ наши самыя дѣйствія, и, несмотря на то, что показываетъ границы каждой земли, такъ скрываетъ свои собственныя, что даже для взрослого пред-

ставляетъ философически-увлекательный предметъ. Короче, нужно стараться познакомить сколько можно болѣе съ міромъ, со всѣмъ безчисленнымъ разнообразіемъ его, но чтобы это никакъ не обременило памяти, а представлялось бы свѣтло нарисованною картиною. Богатый для сего запасъ заключается въ описаніяхъ путешественниковъ, которыхъ множество и изъ которыхъ, кажется, донинѣ, въ этомъ отношеніи, мало умѣли извлекать пользы.

Лѣньность и непонятливость воспитанника обращается въ вину педагога и суеть только вывѣски его собственнаго не-радѣнія: онъ не умѣлъ, онъ не хотѣлъ овладѣть вниманіемъ своихъ юныхъ слушателей; онъ заставилъ ихъ съ отвращеніемъ принимать горькія свои пилюли. Совершенной неспособности невозможно предполагать въ дитяти. Мнѣ часто случалось быть свидѣтелемъ, какъ ребенокъ, признанный за неспособнаго ни къ чему, обиженнаго природою; слушалъ съ неразвлекаемымъ вниманіемъ страшную сказку; и на лицѣ его, почти бездушномъ, не оживляемомъ до того никакимъ чувствомъ участія, попеременно прорывались черты безпокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого вниманія въ пользу науки?

1829.



ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ.

(Картина Брюлова.).

Картина Брюлова—одно изъ яркихъ явленій XIX вѣка. Она—свѣтлое воскресеніе живописи, пребывавшей долгое время въ какомъ-то полудетаргическомъ состояніи. Не стану говорить о причинѣ этого необыкновеннаго застоя, хотя она представляетъ занимательный предметъ для изслѣдованія; замѣчу только, что если конецъ XVIII столѣтія и начало XIX вѣка ничего не произвели полнаго и колоссальнаго въ живописи, то за то они много разработали ея части. Она распалась на безчисленные атомы и части. Каждый изъ этихъ атомовъ развить и постигнуть несравненно глубже, нежели въ прежнія времена. Замѣтили такія тайныя явленія, какихъ прежде никто не подозрѣвалъ. Вся та природа, которую чаще видитъ человѣкъ, которая его окружаетъ и живетъ съ нимъ, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которую пренебрегали великіе художники, достигли изумительной истины и совершенства. Всѣ наперерывъ старались замѣтить тотъ живой колоритъ, которымъ дышитъ природа. Все тайное въ ея лонѣ, весь этотъ нѣмой языкъ пейзажа, подмѣчены или, лучше сказать, украдены, вырваны изъ самой природы, хотя все это украдено отрывками, хотя всѣ произведенія этого вѣка похожи болѣе на опыты или, лучше сказать, записки, матеріалы, свѣжія мысли, которыя наскоро вносятъ путешественникъ въ свою книгу съ тѣмъ, чтобы не позабыть ихъ и чтобы составить изъ нихъ послѣ

нѣчто цѣлое. Живопись раздробилась на низшія ограниченныя ступени: гравировка, литографія и многочисленныя мелкія явленія были съ жадностію разрабатываемы въ частяхъ. Этимъ обязаны мы XIX вѣку. Колоритъ, употребляемый XIX вѣкомъ, показываетъ великій шагъ въ знаніи природы. Взгляните на эти безпрестанно появляющіеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые рѣшительно въ XIX вѣкѣ опредѣлили сліяніе челоуѣка съ окружающею природою: какъ въ нихъ дѣлится и выходитъ окинутая мракомъ и освѣщенная свѣтомъ перспектива строеній! какъ сквозитъ освѣщенная вода, какъ дышитъ она въ сумракѣ вѣтвей! какъ ярко и знойно уходитъ прекрасное небо и оставляетъ предметы передъ самыми глазами зрителя! какое смѣлое, какое дерзкое употребленіе тѣней тамъ, гдѣ прежде вовсе ихъ не подозрѣвали! и вмѣстѣ, при всей этой рѣзкости, какая роскошная нѣжность, какая подмѣчена тайная музыка въ предметахъ обыкновенныхъ, безчувственныхъ! Но что сильнѣе всего постигнуто въ наше время, такъ это освѣщеніе. Освѣщеніе придаетъ такую силу и, можно сказать, единство всѣмъ нашимъ твореніямъ, что они, не имѣя въ себѣ никакого глубокаго достоинства, показывающаго гениі, необыкновенно, однакоже, пріятны для глазъ. Они общимъ выраженіемъ своимъ не могутъ не поразить, хотя, внимательно разсматривая, иногда увидишь въ творцѣ ихъ необширное познаніе искусства.

Возьмите всѣ безпрестанно являющіяся гравюры, эти отпрыски яркаго таланта, въ которыхъ дышитъ и вѣетъ природа такъ, что они, кажется, какъ будто оцвѣчены колоритомъ. Въ нихъ заря такъ тонко свѣтлѣетъ на небѣ, что, всматриваясь, кажется, видишь алый отблескъ вечера; деревья, облитыя сіяніемъ солнца, какъ будто покрыты тонкою пылью; въ нихъ яркая бѣлизна сладострастно сверкаетъ въ самомъ глубокомъ мракѣ тѣни. Разсматривая ихъ, кажется, боишься дохнуть на нихъ. Весь этотъ эффектъ, который разлитъ въ природѣ, который происходитъ отъ сраженія свѣта съ тѣнью, весь этотъ эффектъ сдѣлался цѣлюю-

и стремленіемъ всѣхъ нашихъ артистовъ. Можно сказать, что XIX вѣкъ есть вѣкъ эффектовъ. Всякій, отъ перваго до послѣдняго, топорщится произвести эффектъ, начиная отъ поэта до кондитера, такъ что эти эффекты, право, уже надѣдають, и, можетъ-быть, XIX вѣкъ, по странной причудѣ своей, наконецъ, обратится ко всему безъэффектному. Впрочемъ, можно сказать, что эффекты болѣе всего выгодны въ живописи и вообще во всемъ томъ, что видимъ нашими глазами: тамъ, если они будутъ ложны и неумѣстны, то ихъ ложность и неумѣстность тотчасъ видна всякому. Но въ произведеніяхъ, подверженныхъ духовному оку, совершенно другое дѣло: тамъ они, если ложны, то вредны тѣмъ, что распространяють ложь, потому что простодушная толпа безъ разсужденія кидается на блестящее. Въ рукахъ истиннаго таланта они вѣрны и превращають человѣка въ исполнина; но когда они въ рукахъ поддѣльнаго таланта, то для истиннаго понятеля они отвратительны, какъ отвратительнень карло, одѣтый въ платье великана, какъ отвратительнень подлый человѣкъ, пользующійся незаслуженнымъ знакомъ отличія. Но все это, однакожь, не относится къ нынѣшнему дѣлу. Должно признаться, что въ общей массѣ стремленіе къ эффектамъ болѣе полезно, нежели вредно: оно болѣе двигаетъ впередъ, нежели назадъ, и даже въ послѣднее время подвинуло все къ усовершенствованію. Желая произвести эффектъ, многіе болѣе стали разсматривать предметъ свой, сильнѣе напрягать умственныя способности. И если вѣрный эффектъ оказывался болѣею частью только въ мелкомъ, то этому виною безлюдье крупныхъ гениевъ, а не огромное раздробленіе жизни и познаній, которымъ обыкновенно приписываютъ. Притомъ, стремленіе къ эффектамъ обдѣлало многія мелкія части чрезвычайно удовлетворительно и рѣзкою своею очевидностію сдѣлало ихъ доступными для всѣхъ. Не помню, кто-то сказалъ, что въ XIX вѣкѣ невозможно появленіе генія всемірнаго, обнявшаго бы въ себѣ всю жизнь XIX вѣка. Это совершенно несправедливо, и такая мысль исполнена безнадежности и

отзывается какимъ-то малодушіемъ. Напротивъ, никогда полетъ генія не будетъ такъ ярокъ, какъ въ нынѣшнія времена; никогда не были для него такъ хорошо приготовлены матеріалы, какъ въ XIX вѣкѣ. И его шаги уже, вѣрно, будутъ исполненски и видимы всѣми отъ мала до велика.

Картина Брюлова можетъ назваться полнымъ, всемірнымъ созданиемъ. Въ ней все заключилось. По крайней мѣрѣ, она захватила въ область свою столько разнороднаго, сколько до него никто не захватывалъ. Мысль ея принадлежитъ совершенно вкусу нашего вѣка, который вообще, какъ бы самъ чувствуя свое страшное раздробленіе, стремится совокуплять всѣ явленія въ общія группы и выбираетъ сильныя кризисы, чувствуемые цѣлою массою. Всякому извѣстны прекрасныя созданія, къ которымъ принадлежать: «Видѣніе Валтазара,» «Разрушеніе Ниневіи» и нѣсколько другихъ, гдѣ въ страшномъ величіи представлены эти великія катастрофы, которыя составляютъ совершенство освѣщенія, гдѣ молнія въ грозномъ величіи озаряетъ ужасный мракъ и скользитъ по верхушкамъ головъ молящагося народа. Общее выраженіе этихъ картинъ поразительно и исполнено необыкновеннаго единства; но въ нихъ вообще только одна идея этой мысли. Онѣ похожи на отдаленные виды; въ нихъ только общее выраженіе. Мы чувствуемъ только страшное положеніе всей толпы, но не видимъ человѣка, въ лицѣ котораго былъ бы весь ужасъ имъ самимъ зримаго разрушенія. Ту мысль, которая видѣлась намъ въ такой отдаленной перспективѣ, Брюловъ вдругъ поставилъ передъ самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и какъ будто насъ самихъ захватила въ свой міръ. Созданіе и обстановку своей мысли произвелъ онъ необыкновеннымъ и дерзкимъ образомъ: онъ схватилъ молнію и бросилъ ее цѣлымъ потокомъ на свою картину. Молнія у него залила и потопила все, какъ будто бы съ тѣмъ, чтобы все выказать, чтобы ни одинъ предметъ не укрылся отъ зрителя. Оттого на всемъ у него разлита необыкновен-

ная яркость. Фигуры онъ кинулъ сильно, такую рукою, какую мечетъ только могущественный гений: эта вся группа, остановившаяся въ минуту удара и выразившая тысячи разныхъ чувствъ; этотъ гордый атлетъ, издавшій крикъ ужаса, силы, гордости и безсилія, закрывшійся плащомъ отъ летящаго вихря каменьевъ; эта грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся въ такой красотѣ руку; этотъ ребенокъ, вонзившій въ зрителя взоръ свой; этотъ несомый дѣтми старикъ, въ страшномъ тѣлѣ котораго дышитъ уже могила, оглушенный ударомъ, котораго рука окаменѣла въ воздухѣ съ распростертыми пальцами; мать, уже не желающая бѣжать и непреклонная на моленія сына, котораго просьбы, кажется, слышитъ зритель; толпа, съ ужасомъ отступающая отъ строевой или со страхомъ, съ дикимъ забвеніемъ страха взвращающая на страшное явленіе, наконецъ, знаменующее конецъ міра; жрецъ въ бѣломъ саванѣ, съ безнадежною яростію мечущій взглядъ свой на весь міръ,—все это у него такъ мощно, такъ смѣло, такъ гармонически сведено въ одно, какъ только могло это возникнуть въ головѣ генія всеобщаго.

Я не стану изъяснять содержаніе картины и приводить толкованія и поясненія на изображенныя событія. Для этого у всякаго есть глазъ и мѣрило чувства; притомъ же это слишкомъ очевидно, слишкомъ касается жизни человѣка и той природы, которую онъ видитъ и понимаетъ, потому-то они доступны всѣмъ отъ мала до велика: я замѣчу только тѣ достоинства, тѣ рѣзкія отличія, которыя имѣетъ въ себѣ стиль Брюлова, тѣмъ болѣе, что эти замѣчанія, вѣроятно, сдѣлали немногіе. Брюловъ первый изъ живописцевъ, у котораго пластика достигла верховнаго совершенства. Его фигуры, несмотря на ужасъ всеобщаго событія и своего положенія, не вмѣщаютъ въ себѣ того дикаго ужаса, наводящаго содроганіе, какимъ дышатъ суровыя созданія Микель-Анжело. У него нѣтъ также того высокаго преобладанія небесно-непостижимыхъ и тонкихъ чувствъ, которыми

весь исполненъ Рафаэль. Его фигуры прекрасны при всемъ ужасѣ своего положенія. Онѣ заглушаютъ его своею красотою. У него не такъ, какъ у Микель-Анжелю, у котораго тѣло только служило для того, чтобы показать одну силу души, ея страданія, ея вопль, ея грозныя явленія; у котораго пластика погибала, контура человѣка пріобрѣтала исполнинскій размѣръ, потому что служила только одеждою мысли, эмблемою; у котораго являлся не человѣкъ, но только—его страсти. Напротивъ того, у Брюлова является человѣкъ для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, вѣрныя, огненные, выражаются на такомъ прекрасномъ обликѣ, въ такомъ прекрасномъ человѣкѣ, что наслаждаешься до упоенія. Когда я глядѣлъ въ третій, въ четвертый разъ, мнѣ казалось, что скульптура,—та скульптура, которая была достигнута въ такомъ пластическомъ совершенствѣ древними, что скульптура эта перешла, наконецъ, въ живопись и сверхъ того проникнула какой-то тайной музыкой. Его человѣкъ исполненъ прекрасно-гордыхъ движеній; женщина его блещетъ, но она не женщина Рафаэля: съ тонкими, незамѣтными, ангельскими чертами,—она женщина страстная, сверкающая, южная, итальянка, во всей красотѣ полудня, мощная, крѣпкая, пылающая всю роскошью страсти, всемъ могуществомъ красоты,—прекрасная, какъ женщина. Нѣтъ ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотою, гдѣ бы человѣкъ не былъ прекрасенъ. Всѣ общія движенія группъ его дышать мощнымъ размѣромъ и въ своемъ общемъ движеніи уже составляютъ красоту. Въ созданіи ихъ онъ такъ же крѣпко и сильно правитъ своимъ воображеніемъ, какъ житель пустыни арабскимъ бѣгуномъ своимъ. Оттого вся картина упруга и роскошна.

Вообще, во всей картинѣ выказывается отсутствіе идеальности, т. е. идеальности отвлеченной, и въ этомъ-то состоитъ ея первое достоинство. Явись идеальность, явись перевѣсъ мысли, и она бы имѣла совершенно другое выраженіе, она бы не произвела того впечатлѣнія; чувство жалости и страст-

наго трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и вѣрной истины, утратилась бы вовсе. Намъ не разрушеніе, не смерть страшны; напротивъ, въ этой минутѣ есть что-то поэтическое, стремящее вихремъ душевное наслажденіе; намъ жалка наша милая чувственность, намъ жалка прекрасная земля наша. Онъ постигнулъ во всей силѣ эту мысль. Онъ представилъ человека какъ можно прекраснѣе, его женщина дышитъ всѣмъ, что есть лучшаго въ мірѣ. Ея глаза, свѣтлыя какъ звѣзды, ея дышащая нѣгою и силою грудь, обѣщаютъ роскошь блаженства. И эта прекрасная, этотъ вѣнецъ творенія, идеаль земли, должна погибнуть въ общей гибели, наряду съ послѣднимъ презрѣннымъ твореніемъ, которое не достойно было и ползати у ногъ ея. Слезы, испугъ, рыданіе — все въ ней прекрасно.

Видимое отличіе или манера Брюлова уже представляетъ тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шагъ. Въ его картинахъ цѣлое море блеска. Это его характеръ. Тѣни его рѣзки, сильны, но въ общей массѣ тонуть и исчезаютъ въ свѣтъ. Онъ у него, такъ же какъ въ природѣ, незамѣтны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекраснаго тѣла у него какъ будто просвѣчиваетъ и кажется фарфоровою; свѣтъ, обливая его сіяніемъ, вмѣстѣ проникаетъ его. Свѣтъ у него такъ нѣженъ, что кажется фосфорическимъ. Самая тѣнь кажется у него какъ будто прозрачною и, при всей крѣпости, дышитъ какою-то чистою, тонкою нѣжностью и поэзіей.

Его кисть остается навѣки въ памяти. Я прежде видѣлъ одну только его картину—семейство Витгенштейна. Она съ перваго раза, вдругъ, врѣзалась въ мое воображеніе и осталась въ немъ вѣчно въ своемъ яркомъ блескѣ. Когда я шелъ смотрѣть картину «Разрушеніе Помпей», у меня прежняя вовсе вышла изъ головы. Я приближался вмѣстѣ съ толпою къ той комнатѣ, гдѣ она стояла, и на минуту, какъ всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, я позабылъ все о томъ, что иду смотрѣть картину Брюлова; я даже позабылъ

о томъ, есть ли на свѣтѣ Брюловъ. Но когда я взглянулъ на нее, когда она блеснула передо мною, въ мысляхъ моихъ, какъ молнія, пролетѣло слово: «Брюловъ!» Я узналъ его. Кисть его вмѣщаетъ въ себѣ ту поэзію, которую только чувствуешь и можешь узнать всегда: чувства наши всегда знаютъ и видятъ даже отличительные признаки, но слова ихъ никогда не расскажутъ. Колоритъ его такъ ярокъ, какимъ никогда почти не являлся прежде; его краски горятъ и мечутся въ глаза. Они были бы нестерпимы, если бы явились у художника градусомъ ниже Брюлова, но у него они облечены въ ту гармонію и дышатъ тою внутреннею музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признакъ, и что выше всего въ Брюловѣ— такъ это необыкновенная многосторонность и обширность генія. Онъ ничѣмъ не пренебрегаетъ: все у него, начиная отъ общей мысли и главныхъ фигуръ, до послѣдняго камня на мостовой, живо и свѣжо. Онъ силится обхватить всѣ предметы и на всѣхъ разлить могучую печать своего таланта. Обыкновенно художникъ прежнихъ временъ всегда почти избиралъ себѣ какую-нибудь одну сторону и въ нее погружалъ весь талантъ свой, развивавшійся оттого въ необыкновенномъ и какомъ-то отвлеченномъ величіи. Рафаэль обыкновенно писалъ одни только лица, одно развитіе на нихъ небесныхъ страстей и помышленій; все прочее, даже одежду, бросалъ онъ додѣлывать ученикамъ своимъ. Всѣ другіе великіе художники, настроенные высокою религіозною или высокою страстей, небрегли объ окружающемъ и второстепенномъ въ ихъ картинахъ. У нихъ небо является всегда бурое; облака похожи болѣе на копны сѣна или на гранитныя массы; дерево или дѣтски-однообразно своею правильностью, или негармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюлова, напротивъ, всѣ предметы, отъ великихъ до малыхъ, для него драгоценны. Онъ силится схватить природу исполинскими объятіями и сжимаетъ ее со страстью любовника. Можетъ-быть, въ этомъ ему помогла много раздробленная разработка въ частяхъ, которую приго-

товилъ для него XIX вѣкъ. Можетъ-быть, Брюловъ, явившись прежде, не получилъ бы такого разносторонняго и вмѣстѣ полнаго и колоссальнаго стремленія. Оттого-то его произведенія, можетъ-быть, первыя, которыя живостью, чистымъ зеркаломъ природы доступны всякому. Его произведенія первыя, которыя можетъ понимать (хотя неодинаково) и художникъ, имѣющій высшее развитіе вкуса, и не знающій, что такое художество. Они первыя, которымъ сужденъ завидный удѣлъ пользоваться всемірною славою, и высшею степенью ихъ есть до сихъ поръ—*Последній день Помпеи*, которую, по необыкновенной обширности и соединенію въ себѣ всего прекраснаго, можно сравнить развѣ съ оперою. Если только опера есть дѣйствительно соединеніе тройственнаго міра искусствъ: живописи, поэзіи и музыки.

1834, августъ.



ПЛѢННИКЪ.

(Отрывокъ изъ историческаго романа).

Въ 1543 году, въ началѣ весны, ночью, тишина маленькаго городка Лукомья была смущена отрядомъ реестровыхъ коронныхъ войскъ. Ущербленный мѣсяцъ, вырѣзываясь блестящимъ рогомъ своимъ сквозь непрерывно обступившія его тучи, на мгновение освѣщаль дно провала, въ которомъ лѣпился этотъ небольшой городокъ. Къ удивленію немногихъ жителей, успѣвшихъ проснуться, отрядъ, котораго одно уже появленіе служило предвѣстіемъ буйства и грабительствъ, ѣхалъ съ какою-то ужасающею тишиною. Замѣтно было, что всю силу напряженнаго вниманія его останавливаль тащившійся среди его плѣнникъ, въ самомъ странномъ нарядѣ, какой когда-либо налагало насиліе на челоуѣка: онъ былъ весь съ ногъ до головы увязанъ ружьями, вѣроятно, для сообщенія неподвижности его тѣлу. Пушечный лафетъ былъ укрѣпленъ на спинѣ его. Конь едва ступалъ подъ нимъ. Несчастный плѣнникъ давно бы свалился, если бы толстый канатъ не прирастилъ его къ сѣдлу. Освѣтитъ бы мѣсячному лучу хоть на минуту его лицо—и онъ бы, вѣрно, блеснулъ въ капляхъ кроваваго пота, катившагося по щекамъ его! Но мѣсяцъ не могъ видѣть его лица, потому что оно было заковано въ желѣзную рѣшетку. Любопытные жители, съ разинутыми ртами, иногда рѣшались подступить поближе, но, увидя угрожающій кулакъ или саблю одного изъ провожатыхъ, пятились и бѣжали въ свои тщедушные домики, закутываясь покрѣпче въ наброшенные на плеча татарскіе тулупы и продрагивая отъ свѣжести ночного воздуха.

Отрядъ минулъ городъ и приближался къ уединенному монастырю. Это строеніе, составленное изъ двухъ совершенно противоположныхъ частей, стояло почти въ концѣ города на косогорѣ. Нижняя половина церкви была каменная, и, можно сказать, вся состояла изъ трещинъ, обожжена, закурена порохомъ, почернѣвшая, позеленѣвшая, покрытая крапивою, хмелемъ и дикими колокольчиками, но-

сившая на себѣ всю лѣтопись страны, терпѣвшей кровавыя жатвы. Верхъ церкви, съ тѣми изгибистыми деревянными пятью куполами, которые установила испорченная архитектура византійская, еще болѣе изуродованная варваризмомъ подражателей, былъ весь деревянный. Новыя доски, желтѣвшія между почернѣлыми старыми, придавали ей пестроту и показывали, что еще не такъ давно она была починена богомольными прихожанами. Блѣдный лучъ серпо-рогаго мѣсяца, продравшись сквозь кудрявыя яблоня, укравшія вѣтвями въ своей гущѣ часть зданія, упалъ на низкія двери и на выдавшійся надъ ними вызубренный (карнизъ), покрытый небольшими, своевольно выросшими желтыми цвѣтами, которые на тотъ разъ блестяли и казались огнями или золотою надписью на дикомъ карнизѣ. Одинъ изъ толпы съ неизмѣримыми, когда-либо виданными усами, длиннѣе даже локтей рукъ его, котораго, по замашкамъ и дерзкому повелительному взгляду, признать можно было начальникомъ отряда, ударилъ дуломъ ружья въ дверь. Дряхлыя монастырскія стѣны отозвались и, казалось, испустили умирающій голосъ, уныло потерявшійся въ воздухъ. Послѣ сего молчаніе снова заступило свое мѣсто. Брань на разныхъ нарѣчійхъ посыпалась изъ-подъ огромнѣйшихъ усовъ начальника отряда. «Теремте-те, поповство проклятое! Ато я знаю, чѣмъ васъ разбудить!» Раздался пистолетный выстрѣлъ, пуля пробилла ворота и шлепнулась въ церковное окно, стекла котораго съ дребезгомъ посыпались во внутренность церкви. Это произвело смятеніе въ кельяхъ, которыя примыкали къ церкви; показались огни; связка ключей загремѣла; ворота со скрипомъ отворились—и четыре монаха, предшествуемые игуменомъ, предстали блѣдные, съ крестами въ рукахъ.

«Изыдите, нечистые! кромѣшники!» произнесъ едва слышнымъ, дрожащимъ голосомъ настоятель. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, изыди, діаволъ!»

«Але то еще и брешеть, поганый», прогремѣлъ начальникъ языкомъ, которому ни одинъ человекъ не могъ бы

дать имени: изъ такихъ разнородныхъ стихій былъ онъ составленъ. «То брешешь, лайдакъ, же говоришь, что мы дьяволы; ато мы не дьяволы, мы — коронныя».

«Что вы за люди? я не знаю васъ! Зачѣмъ вы пришли смущать православную церковь?»

«Я тебѣ, псяюха, порохомъ прочищу глаза! Давай намъ ключи отъ монастырскихъ погребовъ».

«На что вамъ ключи отъ нашихъ погребовъ?»

«Я, глупый попъ, не буду съ тобой говорить. А если ты хочешь, басамазенята, поговори зъ моимъ конемъ!»

«Принеси имъ, антихристамъ, ключи, братъ Касьянъ!» простоналъ настоятель, оборотившись къ одному монаху. «Только у меня нѣтъ вина! Какъ Богъ святъ, нѣтъ! Ни одной бочки, ни боченка и ничего такого, что бы вамъ было нужно».

«А мнѣ какое дѣло? Ребята хотятъ пить. Я тебѣ говорю, если ты, глупый попъ, сѣна, стоила и пшеницы не дашь лошадямъ, то я ихъ въ костель вашъ поставлю и тебя сапогомъ до морды».

Настоятель, не говоря ни слова, возвелъ на нихъ оловянные свои глаза, которые, казалось, давно уже не принадлежали міру сему, потому что не выражали никакой страсти, и встрѣтился съ злобно устремившимися на него глазами іезуита. Онъ отворотился отъ него и остановилъ ихъ на странномъ плѣнникѣ съ желѣзнымъ наличникомъ. Видъ этотъ, казалось, поразилъ почти безчувственного ко всему, кромѣ церкви, старца.

«За что вы скватили этого человѣка? Господи, накажи ихъ трехипостасною силою своею! Вѣрно, опять какой-нибудь мученикъ за вѣру Христову!»

Плѣнникъ испустилъ только слабое стenanіe.

Ключи были принесены, и при свѣтѣ сонно горѣвшей свѣтильни вся эта ватага подошла ко входу пещеры, находившейся за церковью. Какъ только опустились они подъ земляные безобразные своды, могильная сырость обдала всѣхъ. Въ молчаніи шель начальствовавшій отрядомъ, и

непостоянный огонь свѣтильни, окруженный туманнымъ кружкомъ, бросалъ въ лицо ему какое-то блѣдное привидѣннѣе свѣта, тогда какъ тѣнь отъ безконечныхъ усовъ его подымалась вверхъ и двумя длинными полосами покрывала всѣхъ. Однѣ только грубо закругленныя оконечности лица его были опредѣлительно тронуты свѣтомъ и давали разглядѣть глубоко-безчувственное выраженіе его, показывавшее, что все мягкое умерло и застыло въ этой душѣ, что жизнь и смерть—трѣнь-трава, что величайшее наслажденіе—табакъ и водка, что блаженство тамъ, гдѣ все дребезжитъ и валится отъ пьяной руки. Это было какое-то смѣшеніе пограничныхъ націй: родомъ сербъ, буйно искоренившій изъ себя все человѣческое въ венгерскихъ попойкахъ и грабительствахъ, по костюму и нѣсколько по языку полякъ, по жадности къ золоту жидъ, по расточительности его козакъ, по желѣзному равнодушію дьяволъ. Во все время казался онъ спокоенъ; по временамъ только шумѣла между усами его обыкновенная брань, особенно когда неровный земляной полъ, часть отъ часу уходявшій глубже внизъ, заставлялъ его оступаться. Тщательно осматривалъ онъ находившіяся въ земляныхъ стѣнахъ норы, совершенно обсыпавшіяся, служившія когда-то кельями и единственными убѣжищами въ той землѣ, гдѣ въ рѣдкій годъ не проходило по степямъ и полямъ разрушеніе, гдѣ никто не строилъ крѣпкихъ строеній и замковъ, зная, какъ непрочно ихъ существованіе. Наконецъ, показалась деревянная, заросшая мхомъ, зацвѣтшая гнилью, дверь, закиданная тяжелыми бревнами и камнями. Предъ ней остановился онъ и оглянулъ ее значительно снизу доверху. «А ну!» сказалъ онъ, мигнувши бровью на дверь, и отъ его волосистой брови, казалось, пахнулъ вѣтеръ. Нѣсколько человѣкъ принялись и не безъ труда отваливали бревна. Дверь отворилась. Боже, какое ужасное обиталище открылось глазамъ! Присутствовавшіе взглянули безмолвно другъ на друга, прежде нежели осмѣлились войти туда. Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Тамъ царствуетъ въ оцѣпенѣломъ величій

смерть, распутившая свои костистые члены подъ всѣми цвѣтущими весями и городами, подъ всѣмъ веселящимся, живущимъ міромъ. Но если эта дышащая смертью внутренность земли населена еще живущими, тѣми адскими гномами, которыхъ одинъ видъ уже наводитъ содроганіе, тогда она еще ужаснѣе. Запахъ гнили пахнулъ такъ сильно, что сначала заняло у всѣхъ духъ. Почти исполинскаго роста жаба остановилась, неподвижно выпучивъ свои страшные глаза на нарушителей ея уединенія. Это была четырехугольная, безъ всякаго другого выхода, пещера. Цѣлые доскутья паутины висѣли темными клоками съ земляного свода, служившаго потолкомъ. Обсыпавшаяся со сводовъ земля лежала кучами на полу. На одной изъ нихъ торчали человѣческія кости; летавшія молніями ящерицы быстро мелькали по нимъ. Сова или летучая мышь были бы здѣсь красавицами.

«А чѣмъ не свѣтлица? Свѣтлица хорошая!» проревѣлъ предводитель. «Але тебѣ, псяюхъ, тутъ добре будетъ спать. Самъ ложись на ковалки, а подъ голову подмости ту жабу, али возьми за жѣнку на ночь!»

Одинъ изъ коронныхъ вздумалъ было засмѣяться на это, но смѣхъ его такъ странно-беззвучно отдался подъ сырими сводами, что самъ засмѣявшійся испугался. Плънникъ, который стоялъ до того неподвижно, былъ столкнутъ на середину и слышалъ только, какъ захрипѣла за нимъ дверь и глухо застучали заваливаемые бревна. Свѣтъ пропалъ и мракъ поглотилъ пещеру.

Несчастный вздрогнулъ. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась надъ нимъ, и стукъ бревенъ, завалившихъ входъ его, показался стукомъ заступа, когда страшная земля валится на послѣдній признакъ существованія чловѣка, и могильно-равнодушная толпа говорить, какъ сквозь сонъ: «Его нѣтъ уже, но онъ былъ». Послѣ перваго ужаса, онъ предался какому-то бессмысленному вниманію, бездушному существованію, которому предается чловѣкъ, когда ударъ бываетъ такъ ужасенъ, что онъ даже не собирается съ духомъ подумать о немъ, но вмѣсто того устремляетъ глаза

на какую-нибудь бездѣлицу и разсматриваетъ ее. Тогда онъ принадлежитъ къ другому міру и ничего не раздѣляетъ человѣческаго: видитъ безъ мыслей; чувствуетъ, не чувствуя; странно живетъ. Прежде всего вниманіе его впилося въ темноту. Все было на время забыто—и ужасъ ея, и мысль о погребеніи живого. Онъ всѣми чувствами вселился въ темноту. И тогда предъ нимъ развернулся совершенно новый, странный міръ: ему начали показываться во мракѣ свѣтлыя струи,—последнее воспоминаніе свѣта! Эти струи принимали множество разныхъ узоровъ и цвѣтовъ. Совершенного мрака нѣтъ для глаза. Онъ всегда, какъ ни зажмурь его, рисуетъ и представляетъ цвѣты, которые видѣлъ. Эти разноцвѣтные узоры принимали или видъ пестрой шали, или волнистаго мрамора, или, наконецъ, тотъ видъ, который поражаетъ насъ своею чудною необыкновенностью, когда разсматриваемъ въ микроскопѣ часть крылышка или ножки насѣкомаго. Иногда стройный переплетъ окна, котораго, увы! не было въ его темницѣ, проносился передъ нимъ. Лазурь фантастически мелькала въ черной его рамѣ, потомъ измѣнялась въ кофейную, потомъ исчезала совсѣмъ и обращалась въ черную, усьянную или желтыми, или голубыми, или неопредѣленнаго цвѣта крапинами. Скоро весь этотъ міръ началъ исчезать: плѣнникъ чувствовалъ что-то другое. Сначала чувствованіе это было безотчетное; потомъ начало пріобрѣтать опредѣлительность. Онъ слышалъ на рукѣ своей что-то холодное; пальцы его невольно дотронулись къ чему-то слизкому. Мысль о жабѣ вдругъ осѣнила его!... Онъ вскрикнулъ и разомъ переселился въ міръ дѣйствительный. Мысли его окунулись вдругъ въ весь ужасъ сущности. Къ тому еще присоединилось изнуреніе силъ, ужасный спертый воздухъ: все это повергло его въ продолжительный обморокъ.

Между тѣмъ отрядъ коронныхъ войскъ размѣстился въ монастырскихъ кельяхъ, какъ дома, высылалъ монаховъ подчищать конюшни и пировалъ, радуясь, что, наконецъ, схватилъ того, кто былъ имъ нуженъ.

О ДВИЖЕНИИ НАРОДОВЪ ВЪ КОНЦѢ V ВѢКА.

Великое странствіе народовъ, произведшее нынѣшнее населеніе Европы, касается началомъ своимъ глубокой древности. Оно было, можетъ-быть, современно основанію Рима, если еще не прежде. Когда Средиземное море омывало еще возрождающіяся государства, видѣло первые шаги возникающей торговли и развивался духъ народовъ, составившихъ цвѣтъ древняго міра, — во глубинѣ Азіи скрывался другой, невѣдомый міръ, которому опредѣлено было уничтожить, убить все древнее величіе, древній духъ, древнія формы прежняго и замѣстить его всѣмъ новымъ. Средняя Азія совершенно противоположна южной, юго-западной, африканскимъ и европейскимъ берегамъ Средиземнаго моря, гдѣ цвѣтущее разнообразіе природы, почвы, произведеній, смѣсь земли и моря, куча безчисленныхъ острововъ, мысовъ, заливовъ, казалось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить дѣятельность и умъ человѣка. Природа Средней Азіи совершенно другого рода: она однообразна и неизмѣрима. Степи ея безбрежны, какъ-то огромно ровны, какъ будто похожи на пустынный океанъ, нигдѣ не останавливаемый островомъ. Неподвижныя озера безпредѣльныхъ равнинъ не могли возбудить никакой дѣятельности. Казалось, сама природа опредѣлила эту землю народамъ пастушескимъ, чтобы по нимъ имѣли мы познаніе о первобытной жизни первоначальныхъ людей. Неизмѣримость равнинъ не могла внушить человѣку никакой идеи о постоянномъ жилищѣ, которая обыкновенно возрождается у него при видѣ утесистой горы, берега, моря острова и

вообще, гдѣ только есть возможность укрѣпиться. Гдѣ же природа усыплена и недвижима, тамъ и человѣкъ безпечень: онъ заботится только о слишкомъ нужномъ. Патриархальные обитатели степей питались только молокомъ, сыромъ, доставляемыми ихъ полудикими животными, и рѣдко питались мясомъ. Оттого стада ихъ множились необыкновеннымъ образомъ: владѣльцы ихъ чаще должны были переходить съ мѣста на мѣсто, степей требовалось съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе—и тѣ земли, которыя ужасають донынѣ своею неизмѣримостью, земли, бывшія вдвое болѣе тогдашняго образованнаго міра, земли, съ которыми бы земледѣльцы всего свѣта не знали, что дѣлать, — эти земли сдѣлались тѣсными. Сильнѣйшіе властители должны были вытѣснить слабѣйшихъ. Народы пастушескіе, не имѣя неподвижной собственности, укрѣпленной давностію владѣнія, легко уступаютъ первому напору и уходятъ съ своими стадами далѣе. И такимъ образомъ Азія сдѣлалась народовержущимъ вулканомъ. Съ каждымъ годомъ выбрасывала она изъ нѣдръ своихъ новыя толпы и стада, которыя, въ свою очередь, стогнали съ мѣстъ изверженныхъ прежде. Они перешли горы и потянулись въ Европу. Народы, можно сказать, не шли впередъ, а машинально сталкивали другихъ съ мѣстъ. Это не были завоеватели, а какіе-то невольники, дѣйствовавшіе только отъ страха наказанія. Цѣпь народовъ отъ востока и сѣверо-востока протянулась такимъ образомъ по всей Европѣ къ самому югу. На югѣ они встрѣтили первое сопротивленіе, ощутили огромную власть римлянъ и встрѣтились съ древнимъ міромъ. Между тѣмъ, Азія продолжала извергать новыя толпы. Толчокъ отъ cadaго новаго изверженія проходилъ по всей цѣпи: новыя тѣснили прежнихъ, предъидущіе — послѣдующихъ. Стремленіе народовъ становилось сильно, но за то и отпоръ со стороны римлянъ былъ очень силенъ, и потому-то на границахъ Римской имперіи накопилось такое множество народовъ. Послѣ cadaго новаго изверженія это накопленіе становилось сильнѣе, и рим-

лянамъ труднѣе было сопротивляться имъ. Наконецъ, римляне уступили — и тогда орды стремительнѣе хлынули на югъ Европы. Не имѣй Европа южною границею своею Средиземнаго моря, или имѣй эти толпы народовъ какое-нибудь понятіе о мореплаваніи, это переселеніе долго бы не остановилось, — потому что Азія не переставала извергать новыя толпы, — народы перешли бы въ Африку, Европа еще бы нѣсколько лѣтъ не устоялась, хаосъ бы продолжился надолго, государства составились бы гораздо позже, и, вообще, весь ходъ образованія отодвинулся бы на дальнѣйшія времена. Но какъ только народы, овладѣвшіе югомъ Европы, увидѣли позади себя море и невозможность ити далѣе, то рѣшились всѣми силами сопротивляться нападавшимъ на нихъ непріятелямъ. Сія послѣдніе, встрѣтивши неожиданный отпоръ, рѣшились отразить и своихъ непріятелей, которые съ своей стороны употребили то же съ своими, и такимъ образомъ толчокъ получилъ обратное направленіе, и движеніе вдругъ остановилось. Слѣдствіе этого почувствовалось даже въ Азіи, гдѣ нѣкоторые пастушескіе народы принуждены были заняться земледѣліемъ.

Это переселеніе совершилось бы гораздо быстрѣе, если бы Европа состояла изъ такихъ гладкихъ, открытыхъ равнинъ, какими исполнена Азія. Но въ ней, напротивъ того, природа на небольшомъ пространствѣ показала страшную нерегулярность и разнообразіе: со всѣхъ сторонъ она изрыта морями, берега ея всѣ изъ полуострововъ и мысовъ, средина почти нигдѣ не имѣетъ ровной поверхности: она идетъ то вверхъ, то внизъ, то подымается безобразными высокими горами, то опускается долинами, какъ будто провалившіеся между ними. Къ этому нужно прибавить, что она въ то время вся была облечена дремучимъ, непроходимымъ лѣсомъ и пронята топкими болотами. И потому движеніе народовъ, чѣмъ глубже касалось Европы, тѣмъ происходило медленнѣе: они должны были продираться сквозь лѣса, перелѣзая черезъ горы и обходить болота. Они селились оазами и были такъ скрыты одинъ отъ другого лѣсами и невѣдомыми

мѣстами, что часто долго были безопасны отъ всякихъ нападений. И когда новое наводненіе толпы, слишкомъ многочисленной, водимой предприимчивымъ повелителемъ, освѣщало Европу великолѣпными иллюминаціями, зажигая вѣковые лѣса ея, и лѣса исчезали,—тогда изумленнымъ глазамъ ихъ представлялся народъ, котораго существованія они даже и не подозрѣвали, и который нравами своими, хотя уже отдалившимися, все еще сходствовалъ съ ними. Вся Европа состояла, можно сказать, изъ клочковъ и отрывковъ, отторженныхъ другъ отъ друга самою природою; оттого покореніе ея и соединеніе подъ одну власть было вовсе невозможно, и оттого произошли ея безчисленныя націи, которыя, безъ всякаго сомнѣнія, слились бы и изгладились, если бы она состояла изъ открытыхъ равнинъ. Это былъ новый невидимый міръ, о которомъ древніе просвѣщенные народы ничего не знали, и который, можно сказать, самъ мало зналъ себя.

Основу его составляло множество разныхъ отраслей германскихъ племенъ, простиравшихся по всему западу. Берега Нѣмецкаго моря, Рейна и Дуная и вся середина Европы до Балтійскаго моря были заняты ими. Состояніе ихъ во время перваго знакомства съ ними римлянъ уже показывало давнюю осѣдлость въ Европѣ и—что переселеніе ихъ совершилось въ глубокой древности. Но что оно истекло изъ Азіи, тому доказательствомъ служить странное сходство нѣкоторыхъ коренныхъ словъ языка германскаго съ персидскимъ *). Выбросила ли Азія, въ первоначальной древности, за однимъ разомъ племена на югъ, образовавшіяся среди горъ въ народъ персидскій, и на сѣверъ, превратившіяся въ лѣсахъ Европы въ германцевъ, или позже тяжѣлое вліяніе пареянъ, ринувшихся изъ середины Азіи, принесло въ языкъ персидскій множество словъ, раздававшихся дотошъ въ неизмѣримыхъ стѣняхъ ея и распространившихся уже и въ Европѣ **),—какъ бы то ни было, но первона-

*) Шлегель.

**) Миллеръ.

чальное происхождение германцевъ было изъ Азіи, и переселеніе ихъ совершилось въ отдаленныя времена.

Эти народы представляли совершенно противоположный и вовсе отличный міръ отъ римскаго. Физическая и духовная ихъ природа носила рѣзкій отпечатокъ самобытности и особенности. Ихъ организація физическая совершенно спорила съ организаціей народовъ древняго міра. Черные блестящіе глаза, темные волосы, выразительныя, южныя черты лица, казалось, дышавшія потребностью роскоши и пресыщающихъ наслажденій, — общей фізіогноміей уже остановившагося древняго міра, — встрѣчали здѣсь совершенную противоположность: голубоглазые, свѣтловолосые, рослые, крѣпкіе, съ однимъ только свирѣпымъ выраженіемъ войны на лицѣ, германцы показали собою совершенно новую природу, которою означился новый міръ. Ихъ религія, ихъ жизнь, ихъ темпераментъ, первообразныя стихіи характера разлились во всемъ отъ образованныхъ тогдашнихъ народовъ. Религія германскихъ народовъ отличалась особенною оригинальнію. Ихъ божество и предметъ поклоненія была земля. Казалось, какъ будто мрачный видъ тогдашней Европы внушилъ имъ идею этой религіи. Будучи рѣдко освѣщаемы солнцемъ и находясь вѣчно подъ мрачною тѣнью вѣковыхъ дубовъ, рѣя пещеры для первоначальныхъ своихъ жилищъ или сохраненія сокровищъ, видя одну только землю, могущественно выбрасывавшую на поверхность растенія, приносившія имъ бѣдную пищу, и величественныя высокія деревья, шумѣвшія надъ ними, они почитали ее зиждительницею всего. Отъ ней производили они бога своего Туистона или Тевта, у котораго былъ сынъ Манъ, а отъ него различныя вѣтви германскихъ народовъ, которые, по мнѣнію ихъ, были древнѣйшими обитателями міра. Повидимому, такое понятіе о религіи совершенно отдѣляетъ ихъ отъ Азіи, но мы должны вспомнить, что владычество природы и положенія земли всегда было сильно. Природа деспотически властвуетъ надъ первоначальнымъ человѣкомъ. Развиваясь и зрѣя умомъ, онъ получаетъ надъ

нею верхъ и предписываетъ ей законы, но въ первобытномъ, но въ дикомъ состояніи онъ долженъ самъ исполнять ея законы: онъ рабъ ея. Въ Средней Азіи небо все открыто передъ глазами. Тамъ оно необозримо и велико. Земля передъ нимъ кажется слишкомъ низменною. Никакое высокое растеніе, никакая остроконечная, высокая, узкая скала не останавливаетъ взора; разстилающаяся по необозримымъ пространствамъ трава представляетъ ее еще низменнѣе. Солнце тамъ течетъ величественно, обливая все своимъ свѣтомъ; звѣзды усыпаютъ густо небесный небосклонъ и однѣ только могутъ остановить человѣка и препятствовать совертаться съ пути. Оттого во всей Азіи царствовало всегда поклоненіе солнцу и небеснымъ свѣтиламъ. Передвигаясь въ Европу, народы рѣже видѣлись съ солнцемъ. Густой и величественный мракъ европейскихъ лѣсовъ сильнѣе поражалъ ихъ дикое воображеніе. Туманы Сѣвера и болотныя испаренія скрывали вовсе небо; самая необходимость заниматься иногда земледѣіемъ заставляла ихъ болѣе привязаться къ землѣ. И потому-то у германскихъ народовъ было очень слабо поклоненіе свѣтиламъ; едва у немногихъ сохранилась о немъ память. Во глубинѣ и глуши лѣсовъ, непроницаемыхъ солнцемъ, они приносили свои жертвы богинѣ—матери Гертѣ. Казалось, мракъ считался у нихъ чѣмъ-то священнымъ, и потому-то ихъ религія уже въ самомъ началѣ не сходствовала съ другими. Они вѣрили въ безсмертіе. Но ихъ небеса были мрачны. Они въ своемъ Валгалѣ видѣли продолженіе воинственной ихъ жизни: туда переселяли они свои германскіе дубы, пылающіе костры и громъ оружія; небеса облекали въ свинцовыя тучи и населяли темными тѣнями своихъ великихъ, уже погибшихъ на войнѣ, героевъ. Поклоненіе Гертѣ разошлось между всѣми почти германскими племенами. Къ предметамъ поклоненія ихъ принадлежали также тѣни умершихъ героевъ; которыхъ они представляли въ колоссальномъ видѣ. Такія же почести раздѣляли ихъ товарищи-кони, изъ которыхъ бѣлые почитались, по свидѣтельству Тацита, священными

и хранились въ зановѣдныхъ рощахъ. Ихъ взирали въ священную колесницу, за которою шелъ король, жрецы, и по хранивию ихъ узнавали будущее.

Германскіе народы долго сохраняли первобытный образъ жизни. Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звукѣ ея, какъ молодые, исполненные отваги, титры. Думали о томъ только, чтобы помѣряться силами и повеселиться битвой. Ихъ мало занимала корысть или добыча: блеснуть бы только подвигомъ, чтобы послѣ пересказали его дѣло въ пѣсняхъ. Съ именемъ прославившагося въ бояхъ соединялись у нихъ всѣ выгоды и счастье жизни. Его выбирали въ предводители; къ нему чувствовалось у всѣхъ народовъ уваженіе и изумленіе. Онъ былъ посредникъ и судья во всѣхъ спорахъ, на войнѣ полный распорядитель добычи; ему даже чуждыя, отдаленныя племена присылали конныя сбруи; ему родныя и подвластныя племена добровольно приносили въ даръ произведенія полей своихъ—плоды, скоть и лошадей. Храбрость казалась чѣмъ-то божескимъ; подъ его знамена всѣ спѣшили наперерывъ и сражались, не для добычи, но чтобы показаться передъ нимъ и заслужить его одобрительное слово. Его имя долго поминалось въ пѣсняхъ, и по смерти его, въ честь ему, совершались пиршества; и долго племя, имѣвшее его, превозносилось его подвигами передъ другими; тѣнь его становилась божествомъ и служила предметомъ поклоненія. Такой удѣлъ былъ завиденъ, потому что жажда безсмертія уже кипитъ и въ неразвившемся чловѣкѣ. Всѣ наперерывъ стремились прошумѣть подвигами; битвы были часты, и германцы, по первому призванію, готовы были летѣть съ своими дикими силами.

Они сражались почти наги, выказывая во всей простотѣ атлетическую свою силу. Плащъ, застегнутый вмѣсто пряжки терновымъ шипомъ, кожа дикаго звѣря на плечѣ—вотъ ихъ убранство. Они строились густо, кучами, въ видѣ клина; дѣйствовали вблизи и вдаль короткими копьями, называемыми фремеями; львиная сила мышцъ ихъ бросала ихъ

такъ далеко, сколько нужно было, чтобы достать непріятеля; одни щиты ихъ показывали роскошь, испепряемые яркими цвѣтами; толпа женъ, дѣтей слѣдовала за ними въ битву, сопровождала ихъ своимъ крикомъ и была причиною новаго мужества: они не мыслили предаться бѣгству, при мысли о рабствѣ, ожидающемъ ихъ женъ и дѣтей, усугубляли дикій напоръ свой, и непріатели уступали. Ихъ жены тутъ же, среди битвы, высасывали раны мужей своихъ, залѣчивали ихъ и даже уносили на плечахъ своихъ. Смерть предводителя, вмѣсто того, чтобы разстроить ихъ, связывала желѣзною силою мести и дѣлала ихъ несокрушимыми. Бросить щитъ было верхъ безчестія, и несчастный, жертва всеобщаго презрѣнія, убивалъ самъ себя. Предводитель, силою одного уваженія, безъ власти, правилъ самовластно племенами, и воины, съ изумительною покорностью, исполняли его велѣнія. Предводя на войнѣ, они оставляли при себѣ власть эту иногда и среди мира и назывались гериманами *).

Они были вольны и не хотѣли никакой имѣть надъ собою власти. Правленія у нихъ почти не было. Они собирались на народныя собранія, стекавшіяся при новолуніи и полнолуіи каждаго мѣсяца, а въ случаяхъ чрезвычайныхъ и во всякое время. На эти собранія они приходили лѣниво и медленно, желая показать, что дѣлаютъ это по своей волѣ; нѣсколько дней протекало, пока мѣсть могло составиться нужное число для совѣщанія. Они сидѣли въ полномъ вооруженіи; одни только жрецы могли приказать наблюдать молчаніе; предсѣдательствовали старѣйшины семействъ, сѣдовласые (grawion), послѣ измѣнившіе это названіе въ графовъ; говорили князья и прославившіеся въ битвахъ; рѣчи ихъ были просты, но исполнены того сильнаго и сжатаго лаконизма, которымъ отличается безхитростное краснорѣчіе народовъ свѣжихъ.

Они были просты, прямодушны; ихъ преступленія были слѣдствіе невѣжества, а не разврата. То, что было безче-

*) Тацитъ.

стие и низость духа, называлось только преступлением; переметчики, изменники были вшаны и предаваемы мучительной казни; за низкие и безчестные поступки бросали въ болото, забрасывали тиною и фапинникомъ, какъ бы желая скрыть то, что не должно бы никогда показываться. Жена, изменившая мужу, была въ его власти: онъ могъ отрѣзать ей волосы, лишить одѣянія и обнаженную, покрытую стыдомъ, гнать розгами чрезъ веси и деревни, и никто не смѣлъ изъявлять сожалѣнія, несмотря на всю красоту ея; но примѣры эти были рѣдки, потому что германцы были дики и жестки нравами, и что у нихъ были только обычаи, которые обыкновенно сильнѣе самихъ законовъ.

Они были безпечны, бездѣйственны въ домашней жизни и представляли совершенную противоположность безпокойному быту воинскому. Они были безчувственно-лѣнны и лежали въ своихъ хижинахъ, не трогаясь съ мѣста. Чѣмъ болѣе кто почиталъ себя храбрымъ, тѣмъ болѣе считалъ для себя низкимъ всякое занятіе; поля обрабатывали старики, безсильные, малолѣтніе и рабы, которые пользовались совершенною свободою и платили только небольшую подать отъ полей своихъ. Всѣ домашнія заботы лежали на женахъ. Жена не приносила мужу приданого; напротивъ, онъ долженъ былъ самъ, наканунѣ свадьбы, принести въ даръ быка въ ярмѣ, вооруженную лошадь и копье, какъ бы желая этимъ дать знать, что она должна раздѣлить всѣ его занятія.

Они одѣвались совершенно противоположно римскому міру и всѣмъ народамъ южнымъ, любителямъ вольныхъ, широкихъ одеждъ: они носили платье узкое, которое совершенно обвивалось около ихъ тѣла; звѣриныя кожи, носимыя ими, придавали имъ что-то дикое и звѣрообразное. Одѣянія женъ ихъ мало отличались отъ мужскихъ; у иныхъ платье было льняное алое, доходившее только до пояса, такъ что шея, грудь и руки были открыты. Дѣти были совершенно преданы своей волѣ и росли вмѣстѣ съ домашнимъ скотомъ. Когда они достигали совершеннаго возраста, тогда только

получали право носить оружіе и засѣдать въ собраніяхъ. Гостепрѣимство, свойственное почти всѣмъ дикарямъ и первобытнѣмъ нравамъ, было ихъ принадлежностью. Гости дарили подарками; не могшій угостить его, стводилъ самъ къ другому.

Не болѣе всего можно было видѣть древняго германца въ его пиршествахъ, въ которыхъ проводили они напролетъ цѣлыя ночи, гдѣ зажженные дубы величественно освѣщали дѣса, и хлѣбный напитокъ изъ ячменя, можетъ-быть, прашуръ нынѣшняго пива, такъ употребительнаго въ Германіи, разрѣшалъ ихъ мысли, рѣчи и намѣренія. Въ этихъ-то пиршествахъ созрѣвали всѣ ихъ предпріятія. Тутъ они задумывали свои смѣлыя и дерзкія дѣла, которыя не всегда и не всѣмъ могли притти въ голову во время медленныхъ народныхъ собраній. Они были стремительны, азартны, и какъ только были разбужены, потрясены и выходили изъ своего хладнокровнаго положенія, то уже не знали предѣловъ своему стремленію. Азартность ихъ болѣе всего оказывалась въ игрѣ, въ которую заигрывался дикій германецъ до того, что проигрывалъ свой домъ, оружіе, жену, дѣтей, наконецъ, самого себя и становился рабомъ,—состояніе нестерпимѣе для него самой смерти! Эта азартность, можетъ-быть, служила основаніемъ тѣхъ дерзкихъ, сильныхъ страстей, которыми исполнены европейцы.

Таковы были народы германскіе—грубыя стихіи, изъ которыхъ образовалась новая Европа. Они дѣлились на безчисленные племена и, какъ густые европейскіе лѣса, усѣивали сѣверную Европу. Чтобы яснѣе обозрѣть ихъ, начнемъ съ тѣхъ мѣстъ, гдѣ древній міръ уже видѣлъ этихъ первоначальныхъ зиждителей новаго, т. е. отъ рѣки Дуная, служившаго предѣломъ для римлянъ. Тутъ обитали уже входившіе въ сношеніе съ древнимъ просвѣщеннымъ Римомъ, все еще вольные, но уже не столь одичавшіе, какъ-то гермундуры, нариски, маркоманы и квады. Потомъ великая цѣпь племенъ германскихъ толпилась по Рейну, отъ устья и видѣлъ до впаденія его въ море: вангіоны, трибоки, гѣметы,

матіаки, убіа; за ними слѣдовали тенктеры, бывшіе первыми наѣздниками, которыхъ конница славилась и у римлянъ, которыхъ все имущество были лошади и оставлялись въ наслѣдство только храбрымъ; за ними узипетры и у самаго впаденія Рейна въ море — сильные батавы. Средина Германіи, погруженная въ лѣса, скрывала самыхъ свирѣпыхъ и сильныхъ народовъ. Начиная съ запада и на востокъ, первые встрѣчались хаты, предки нынѣшнихъ гессенцовъ, жившіе при рѣкѣ Майнѣ, гдѣ Германія состоитъ изъ частыхъ возвышенностей, — народъ, страшившій своею пѣхотою, регулярнымъ устройствомъ ея, осмотрительностію въ нападеніяхъ и дикимъ выраженіемъ лицъ своихъ. Ихъ обычаи неволью поражали своею оригинальнію. Ни одинъ юноша не смѣлъ отрѣзать волосъ своихъ до тѣхъ поръ, пока не омылъ рукъ своихъ въ крови непріятели; въ битвахъ они должны были находиться впереди и своими обросшими косматыми лицами наводили робость на врага. Всякій хать носилъ на рукѣ своей желѣзное кольцо, что считалось безчестіемъ, потому что напоминало цѣпи; сбросить его онъ могъ тогда только, когда поражалъ собственною рукою непріятели. На югъ отъ хатовъ были херуски, обитатели Гарца; далѣе слѣдовали фозы, сигамбры, бруктеры, ангуаріи, хазуаріи, наконецъ, ариэне, отличавшіеся совершенно особеннымъ родомъ нападеній, которыя они производили въ глухія, мрачныя ночи, и, желая облечь ихъ страхомъ, выкрашивали тѣло, носили щиты, покрытые черною краскою, и, въ видѣ погребальной процессіи, представлялись изумленнымъ глазамъ непріятели, не могшихъ выносить такого зрѣлища. За ними на востокъ, въ пространствахъ нѣсколько болѣе открытыхъ, обитали свевы, состоявшіе изъ множества разныхъ племенъ и ведшіе долго еще жизнь пастушескую, несмотря на то, что положеніе земли, еще болотной, мало представляло для ней удобства.

Вообще можно сказать: чѣмъ ближе къ западу и юго-западу, тѣмъ болѣе было занимавшихся земледѣліемъ, или,

но крайней мѣрѣ, оно мѣшалось у нихъ съ пастушескою жизнью; чѣмъ ближе къ востоку, къ Венгріи, Дакіи и Падѣшѣ, тѣмъ болѣе преобладала пастушеская жизнь; чѣмъ глубже въ лѣса Гарца, тѣмъ мрачнѣе и сильнѣе становились германскія племена. Но самые опасные, которыхъ римляне даже вовсе почти не знали и которые были истинные разрушители ихъ владычества — это были всѣ, населявшіе берега морей и прибалтійскія земли. Сюда никогда не досягали римляне. Здѣсь жили пираты, самые предприимчивые изъ германцевъ, которыхъ уже положеніе земли и моря заставляло отваживаться на дерзкія дѣла. Такимъ образомъ, по Нѣмецкому морю жили фризы и хавки; за ними самые сильные корсары Сѣвера — саксы, въ Голштиніи — кимвры, по Балтійскому морю — готы, варны, ругіи, бургунды, и въ Пруссіи — ломбарды, вандалы, герулы. Кромѣ того, въ срединѣ Германіи находилось еще множество разныхъ отродій, совершенно скрытыхъ болотами и лѣсами, которыя, во время частыхъ битвъ между ея племенами, были вытѣсняемы и видѣли необходимость избирать неприступныя мѣста. Горы Альпъ и Карпата заключали въ себѣ множество клочковъ или остатковъ разныхъ племенъ галльскихъ, германскихъ и вендскихъ, бандитствовавшихъ въ дикой Европѣ. Сѣверо-востокъ ея, совершенно бѣдностію почвы, уединеніемъ и страшнымъ пространствомъ, не могъ образовать и возростить сильныхъ народовъ. Въ разсѣянныхъ, бездомовныхъ, безпріютныхъ его обитателяхъ, финнахъ, и отроствахъ народовъ этскихъ замирала жизнь, какъ и въ самой природѣ того края.

Вотъ каковъ былъ тотъ отдѣльный міръ дикой Европы! Вотъ каковы были тѣ народы, которыхъ мощную силу прежде всего должны были испытать римляне. И если всемірная имперія не пала гораздо ранѣе, то причиною этого были чрезвычайное раздробленіе народовъ германскихъ, положеніе Европы, препятствовавшее имъ слиться въ одно, простота нравовъ, заставлявшая ихъ довольств-

ваться грубыми произведеніями своей земли, незнаніе ко-рысти, такъ свойственной разрушающимъ дикарямъ, осѣд-лость и любовь въ свободѣ, заставлявшая ихъ удаляться въ глубину своихъ лѣсовъ. Римляне чувствовали всю опас-ность отъ этихъ свѣжихъ силъ европейскихъ народовъ. И оттого никакая изъ границъ имперіи — ни восточно-азійская, ни южно-африканская, не была такъ защищена, какъ сѣверо-европейская. Сюда, можно сказать, стеклась вся сила ихъ. И должно признаться, что средства защиты, при тогдашнемъ изнемогающемъ состояніи имперіи, были приняты самая благоразумныя. Имперія отдавала опасныя границы свои свѣжимъ воинственнымъ народамъ, которые лучше всего могли защищать ихъ и были довольны вна-чаль немногимъ. Но къ чести народовъ германскихъ нужно сказать, что одна только сильная необходимость заставляла ихъ принимать этотъ даръ римлянъ. Эта зависимость ка-залась для нихъ рабствомъ, и они спѣшили въ глубину лѣсовъ своихъ — скрыть тамъ свою свободу. Покушенія римлянъ принуждали ихъ составлять сильныя между собою союзы, но эти союзы никогда не были нападательны; цѣль ихъ была только привести въ безопасность свою волю, бывшую для нихъ дороже всего. Одинъ изъ сихъ союзовъ, извѣстный подъ именемъ союза франковъ, болѣе другихъ возросъ и усилился, благодаря благопріятному положенію земли и умножавшимся натискамъ со стороны всѣхъ наро-довъ. Разнородныя племена, его составившія, заняли часть Вестфалии и Гессена и такъ тѣсно слились, что составили, наконецъ, одну націю подъ именемъ франковъ. Но этотъ союзъ не былъ бы такъ страшенъ для римлянъ, и вся Германія долѣ пребывала бы неподвижною, если бы не дѣйствовали на нее постороннія силы выходившихъ изъ Азіи народовъ. Восточная часть Европы была очень странна своими равнинами. Это были широкія ворота въ западную Европу, большая дорога, черезъ которую пере-ходили попеременно разноцвѣтные народы; лѣса были здѣсь болѣе выжжены, нежели въ другихъ мѣстахъ; болота скорѣе

высохли, и съ каждымъ столѣтіемъ она становилась просторнѣе и удобнѣе для переходовъ. Открытыя мѣста явдали средство народамъ и племенамъ соединяться въ большія массы, представляли удобность для кочующей жизни, которая даетъ средства производить великіе набѣги. Народъ вдругъ могъ подняться съ легкихъ жилищъ своихъ и произвести всею массою самое страшное, ничѣмъ не отражимое, разрушительное нападеніе.

Одному изъ народовъ германскихъ опредѣлено было прежде всѣхъ другихъ произвести всеобщее движеніе. Этотъ народъ былъ готы *), народъ, надъ которымъ, казалось, тяготѣло какое-то проклятіе, осудившее его на скитаніе. Долго блуждалъ онъ и показывался то въ Скандинавіи, на противоположныхъ берегахъ Балтійскаго моря, то, наконецъ, на широкомъ востокѣ Европы. По свидѣтельству историка Юрнанда, онъ первобытную жизнь велъ въ Скандинавіи. Можетъ быть даже, что это былъ одинъ изъ первоначальныхъ народовъ Европы. Перевравшись изъ сѣвѣрной своей отчины, онъ устремился на берегъ Пруссіи и произвелъ страшный всемірный переворотъ, вытѣснивъ оттуда вандаловъ, ломбардовъ, геруловъ, бургундовъ и саксовъ, и, противъ ихъ собственной воли, заставилъ ихъ быть одними изъ ревностныхъ дѣятелей въ разрушеніи Западной имперіи. Всеобщее потрясеніе ощутилось во всей Европѣ: вся эта цѣпь сильныхъ прибалтійскихъ народовъ придвинулась ближе къ границамъ римскимъ, потѣснила въ горы и болота множество племенъ, сжала сильнѣе ихъ силу, и римляне должны были завести новое знакомство: герулы, вандалы, ломбарды уже стали появляться въ войскахъ ихъ.

Между тѣмъ, готы, прочистивши передъ собою дорогу, отчасти разогнали, отчасти покорили придунайскихъ народовъ—маркомановъ, квадовъ; соединились въ южныхъ равнинахъ Дакии въ многочисленныя массы и, съ приведенными подъ власть свою народами, устремились къ Черному морю. Чѣмъ далѣе къ югу, тѣмъ удобнѣе была имъ дорога

*) О готахъ Прокопій, Юрнандъ, Гиббонъ.

и тѣмъ быстрее былъ ихъ путь; наконецъ, они очутились въ срединѣ Греціи и въ Малой Азіи, выжгли берега Чернаго моря. Халкедонъ, Эфесъ были обращены въ пепелъ; Аонны были разграблены страшно; безжалостно. Императоръ Децій видѣлъ опасность восточныхъ границъ обширной своей имперіи, и, между тѣмъ какъ на западныхъ границахъ войска его сражались съ вандалами, свевами, герулами, сдвинутыми съ мѣстъ готами, онъ самъ предводитель войсками на востокъ и погибъ съ оружіемъ въ рукахъ. Готы съ великою добычею возвратились, заняли тѣмъ же Россію, приобрѣли трактатомъ отъ римлянъ всю Дакию и остались здѣсь, владычествуя надъ придунайскими народами и тревожа присутвіемъ своимъ безпечную имперію. Тогда всемірные императоры, узнавшіе несчастнымъ опытомъ дикое мужество готовъ, составили планъ принимать ихъ въ свои войска и выдавать жалованье этимъ неодолимымъ дикарямъ. Симъ приобрѣли они сильныхъ защитниковъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ приобрѣли и сильныхъ неприятелей, потому что открыли имъ тайну благоустроенной тактики, которая еще болѣе могла придать имъ перевѣса. Но, впрочемъ, тактика готовъ и безъ того была неодолима. Она соединяла въ себѣ вмѣстѣ и тактику народовъ легкихъ и кочующихъ, и тактику неподвижныхъ народовъ. Они строились густыми, великими массами и сохраняли одинаковую крѣпость въ порывѣ перваго нападенья, въ разгарѣ битвы и въ потухающей силѣ ея окончанія. Какъ бы долго ни длилась битва, ихъ ряды невозможно было сдвинуть съ мѣста. Нападенья свои они сопровождали такъ же, какъ и другія германскія племена, пѣснями. Въ пѣсняхъ провозглашались имена древнихъ героевъ: Фридигера, Видигана, Этесбамера и другихъ. Власть религіозная заключалась въ одномъ лицѣ, который былъ вмѣстѣ и царь, и предводитель войскъ, и верховный жрецъ, и при всемъ томъ зависѣлъ отъ совѣта храбрыхъ.

У готовъ съ незапамятныхъ временъ тянулось царственное поколѣніе Вальтовъ, изъ которыхъ только однихъ мож-

но было избирать царей. Поклонялись Водану, бывшему въ отдаленные вѣка ихъ предводителемъ вмѣстѣ съ Оденомъ, этимъ сѣвернымъ Улисомъ *). Изъ всѣхъ народовъ германскихъ готы болѣе другихъ способны были принять цивилизацію. До середины четвертаго вѣка, власть готовъ признавалась болѣе или менѣе народами на Дунаѣ, на западѣ и на востокѣ нынѣшней Россіи. Имя царя ихъ Германриха было уважаемо отъ береговъ Чернаго моря до Ливоніи... Но владычество готовъ было смущено великимъ азіатскимъ нашествіемъ гунновъ.

Гуны или гюнгну, по свидѣтельству Дегине, были племена сильныя, занимавшія великія степи Татаріи, Манджуріи, потрясшія Китай, но неумѣвшія противиться китайской лукавой политикѣ и обратившіяся впоследствии въ данниковъ китайскихъ монарховъ. Однакоже, многочисленная часть поднялась съ своими кибитками и табунами, направляясь на западъ, заняла закаспійскія земли и скрылась такимъ образомъ изъ виду Китая. Поселеніе ихъ на берегахъ каспійскихъ историки римскіе относятъ ко времени Домиціана. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что образованный тогдашній римско-греческій міръ ничего не зналъ даже о томъ, существуетъ ли на свѣтѣ этотъ народъ, до времени императора Валента, т. е. до того времени, когда увидѣли вдругъ извергавшіяся изъ горъ Азіи толпы гунновъ и съ ними аваровъ, гуннуяровъ, ульзингуровъ и другихъ народовъ, которыхъ имена дико звучали для утонченнаго и вмѣстѣ испорченнаго слуха римлянъ-грековъ. Набѣгъ этихъ обитателей Азіи, разрушительный, неотразимый, обычай ихъ ѣсть сырое мясо, пить изъ непріятельскихъ череповъ и приносить на окровавленномъ кострѣ въ жертву тѣнямъ своихъ предковъ первыхъ попадавшихся плѣнниковъ, самыя ихъ калмыцкія лица, плоскія, неуклюжія, смуглыя, наводившія робость однимъ своимъ свирѣпымъ движеніемъ, ихъ приземистый ростъ, весь состоявшій изъ однихъ мускуловъ,—привели въ такой ужасъ азіатско-римскія провинціи, что

*) Шагелъ.

жители не смѣли производить ихъ отъ человѣческаго племени. Они думали, что маги и волшебники неизмѣримыхъ каспійскихъ пустынь вѣшли въ нечистое сношеніе съ дьяволами, и отъ этого союза произошли гунны.

Гунны, по какому-то странному инстинкту, или, можетъ-быть, испугавшись слишкомъ пестрой поверхности римской Азіи, усѣянной садами и городами, которыхъ всегда убѣгаютъ кочевые народы, считающіе ихъ темницами, или не находя вольныхъ пустынныхъ степей, необходимыхъ для ихъ неисчисляемыхъ стадъ,—какъ бы то ни было, только они двинулись, вмѣсто того, чтобы на югъ,—на сѣверо-западъ, зацѣпили путемъ своимъ Кавказа, сорвали съ его подошвы нѣсколько народовъ кавказскихъ и увлекли съ собою. Вся эта кочевая толпа высыпала въ Европу. Великій аванпостъ Европы занять былъ, какъ мы уже видѣли, владычествомъ готовъ. Ихъ многочисленныя племена и покоренные ими народы были передовыми ея стражами и наполняли ея обширныя ворота, къ несчастію, слишкомъ обширныя для такой небольшой части свѣта, какова Европа. И готы, тѣ готы, которые считались непобѣдимымъ ея оплотомъ и силою, уступили передъ ними. Это такъ и должно было быть. Тайна азіатскаго многочисленнаго набѣга была совершенно не извѣстна готамъ. Если бы они знали, что азіатское нападеніе болѣе всего страшно силою перваго порыва, что умѣніе долѣе противустать ему и продлить битву одни только могутъ выиграть,—если бы готы знали это, то гунны убралась бы снова за Кавказъ, и Европа не почувствовала бы сильнаго потрясенія, измѣнившаго снова ея видъ. Но эта тайна не была постигнута готами. Впрочемъ, надобно сказать и то, что нужно было имѣть нечеловѣческую храбрость и крѣпость духа, чтобы выдержать первый напоръ гунновъ. Нападенія ихъ были производимы съ такимъ ужаснымъ крикомъ; многочисленная масса ихъ летѣла такъ густо и съ такою силою на лошадяхъ, бѣшеныхъ, почти дикихъ, какъ будто бы была сброшена съ крутого утеса и не въ состояніи была сама удержать бѣга; узкій,

почти пропадавшій между пухлыхъ щекъ ихъ глазъ былъ такъ быстръ и вѣренъ, въ одно мгновеніе они давали столько измѣненій ходу битвы, такъ быстро могли рассыпаться и исчезнуть изъ виду, такъ скоро собраться въ кучи, такъ мѣтко высылать летящій лѣсъ стрѣлъ; даже убѣгая, такъ ловко они умѣли отстрѣливаться, и все это сопровождали такимъ дикимъ, оглушительнымъ крикомъ, что врядъ ли могъ сыскаться предводитель, чей глазъ не разбѣжался бы и голова не закружилась въ битвѣ съ ними.

Погнавши готовъ, гунны заняли нынѣшній польскій западъ Россіи да сѣверныя и дунайскія земли,—и географія Европы измѣнилась снова. Занявши такое огромное пространство, гунны необходимо должны были произвести сильное потрясеніе и всеобщую перемѣну мѣстъ. Сдвинутые готы, хотя съ трудомъ, но подались на западъ и югъ; вандалы и свевы, съ которыми римляне, или, лучше сказать, римскіе германцы мѣрились уже на самыхъ границахъ своими силами, ворвались чрезъ Францію и Альпы въ Испанію. И въ Испаніи, ко всеобщему изумленію, столкнулись народы совершенно съ противоположныхъ странъ свѣта: свевы съ береговъ Балтики и снѣжной Скандинавіи, и алане, оторванные гуннскимъ порывомъ съ подошвы Кавказа.

Гунны бродили по степямъ Россіи, переносили свои кибитки и перегоняли табуны въ теченіе цѣлыхъ пятидесяти лѣтъ, не производя дальнихъ завоеваній, потому что западную Европу и на этотъ разъ спасало лѣсистое и неровное положеніе и потому что гуннамъ не доставало предприимчиваго предводителя. Они производили свои набѣги на сосѣдей, которые обыкновенно состояли въ хищничествѣ женъ, дѣтей и въ угонкѣ стадъ въ свои предѣлы. Эти хищничества болѣе всего должны были испытать готы, какъ ближайшіе къ нимъ народы. Готы въ это время раздѣлились на двѣ великія вѣтви: на визиготовъ, которыхъ цари были избираемы изъ прежней царственной линіи Бальтовъ, и остроготовъ, избравшихъ царей изъ новой царственной вѣтви Амаловъ. Столкнутые гуннами, они притѣснились къ самому

югу нынѣшней Украйны и Молдавіи. Не нашедшая безопасности часть визиготовъ, подъ начальствомъ Фридитера, Алета, Сафраха, обратилась съ просьбою къ римскому императору о позволеніи перейти черезъ Дунай и, поселившись на южной сторонѣ его, защищать провинціи отъ нападенія усиливавшихся варваровъ. Императоръ Валентиніанъ, управлявшій имперіей вмѣстѣ съ братомъ своимъ Валентомъ, принялъ съ радостію неожиданную помощь — и визиготы перешли чрезъ Дунай. Между тѣмъ остроготы и часть визиготовъ, жившихъ на юго-востокѣ, терпѣли часто голодъ и видѣли безпрестанно увеличивающіяся свои нужды, просили императора Валента, который имѣлъ надзоръ надъ восточными провинціями и жилъ въ Константинополѣ, снабдить ихъ нужными произведеніями и позволить имъ торговать съ тамошними жителями. Императоръ поручилъ удовольствовать ихъ во всемъ еракійскимъ правителямъ, Луципину и Максиму, которые были совершенные греки временъ византійскихъ—коварные, готовые оказать злодѣйскіе поступки даже безъ побудительныхъ причинъ и почитавшіе позволительными всѣ поступки съ варварами. Они не торговали, но просто грабили готовъ и доводили ихъ до крайности продавать женъ и дѣтей; наконецъ, подъ видомъ пріязни, призывали доблестнѣйшихъ готовъ и рѣшились тайно умертвить ихъ. Это пробудило мщеніе въ дикомъ, но сохранявшемъ первоначальныя человѣческія чувства народѣ. Многочисленныя толпы готовъ ворвались во Фракію и до самаго Константинополя жгли, грабили и обратили въ пепель всѣ находившіеся по дорогѣ города и окрестности. Императоръ Валентъ находился въ весьма неблагоприятномъ положеніи. Онъ былъ ревностный арианецъ, и потому гналъ безъ милосердія противниковъ секты, потому имѣлъ враговъ, и самъ братъ его Валентиніанъ, императорствовавшій въ Римѣ, отказался подать ему помощь. Кромѣ того, императоръ Валентъ былъ жестокъ и ужасно подозрителенъ: ему предсказали, что гибель его послѣдуетъ отъ человѣка, котораго имя начинается словомъ *Тео*—и онъ перерѣзалъ и передошлялъ

всѣхъ Теодориковъ, Теодотовъ и Теодосіевъ, которые только занимали какія-нибудь значительныя должности. Само собою разумѣется, что такіе поступки не внушили его подданнымъ излишняго жара защищать своего монарха. Притомъ, и самые подданные были жалкій, безхарактерный народъ; войска умѣли только бунтоваться и готовы были бѣжать при первомъ случаѣ; финансы разбрелись по рукамъ евнуховъ, любимцевъ, любовницъ и пронырливаго духовенства. Итакъ, Валенту, наконецъ, пришлось поплатиться за прежнюю жизнь свою. Оставленный бѣгущими войсками, онъ спрятался въ бѣдную хижину и былъ сожженъ вмѣстѣ съ нею мстительными готами. Константинополь уцѣлѣлъ, благодаря незнанію готовъ осаждать города. Готы съ торжествомъ, съ безчисленною добычею, возвратились въ свои жилища, оставивъ римлянамъ страшную память своего посѣщенія.

Скоро послѣ этого произошло совершенное раздѣленіе Римской имперіи. Императоръ Теодосій думалъ спасти ее черезъ эту секуляризацию, приписывая слабость ея неизмѣримости и невозможности одному управлять. Восточная имперія, которая очень справедливо стала называться Греческою, а еще справедливѣе могла бы назваться имперіей евнуховъ, комедіантовъ, любимцевъ, ристалищъ, заговоровъ, низкихъ убійцъ и диспутствующихъ монаховъ, досталась Аркадію, которымъ управлялъ пронырливый опекунъ его Руфимъ; Западная, которая тоже весьма несправедливо называлась Римскою, потому что всѣ административныя значительныя мѣста были заняты выслужившимися варварами изъ готовъ, вандаловъ и другихъ германцевъ, получившихъ только слабый наружный лоскъ римскаго образованія, которая уже въ собственномъ сердцѣ своемъ видѣла насильно тѣснимыхъ враговъ, которая въ живомъ трупѣ своемъ видѣла и чувствовала онемѣніе жизни, — эта Западная имперія вручена была малолѣтнему Гонорію, которымъ управлялъ Стиликонъ, родомъ вандалъ, бывшій вѣрнымъ и храбрымъ при Теодосіи и сдѣлавшійся низкимъ и слабымъ при ничтож-

номъ его сынѣ, Опекуны, правительствовавшіе въ разныхъ углахъ Европы, ненавидѣли другъ друга. Первый подарокъ, который Руфимъ, хитрый, какъ византійскій грекъ, препроводилъ къ своему непріятелю Стиликону, состоялъ въ сильныхъ войскахъ визиготовъ, которыхъ онъ настроилъ воевать Италію, обѣщая съ своей стороны не подавать никакой помощи. Всѣ визиготы поднялись со своихъ становищъ въ Дакію и съ береговъ Дуная и вступили въ Италію. Но Стиликонъ, вмѣсто того, чтобы устрашиться такого нашествія, втайнѣ былъ радъ ему. Онъ основывалъ на немъ кучу плановъ. Прежде всего онъ думалъ этими свѣжими, многочисленными и сильными варварами истребить другихъ варваровъ, уже втѣснявшихся въ самыя предѣлы Римской имперіи. Тогда Галлія и принадлежала, и не принадлежала римлянамъ. Сильный франкскій союзъ стоялъ на границахъ ея вмѣстѣ съ накопленными подъ его эгидомъ племенами; на востокѣ и на югѣ, т. е. въ нѣдрѣ самой Франціи, вольно расположились алеманы и бургунды. Въ Испаніи свевы, алане и вандалы захватили всю лучшую часть ея, т. е. югъ. Среди ихъ римскіе префекты и начальники играли самую жалкую роль, имѣли достоинство безъ власти. Кажется, вмѣсто Римской имперіи лежала надъ полуміромъ одна только величественная длинная тѣнь ея. Имперія была похожа на тысячелѣтній дубъ, который изумляетъ своею страшною толщиною и котораго середина давно уже обратилась въ гниль и прахъ. Стиликонъ искусно отклонилъ Алариха отъ желанія поселиться въ Италіи и предложилъ ему богатую, цвѣтущую Испанію. Онъ даже замышлялъ обратить этихъ варваровъ противъ врага своего Руфима; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ располагалъ даже, въ случаѣ удачи, объявить себя императоромъ вмѣсто слабого Гонорія, но черезчуръ перехитрилъ, и собственная голова слетѣла съ плечъ его. Слабый, ничтожный Гонорій, не появившій ни одного проекта Стиликона, велѣлъ одному изъ своихъ, также неразумительныхъ, полководцевъ напасть съ тыла на готовъ, уже выступавшихъ въ Испанію, съ тѣмъ, чтобы нанести имъ

какой-нибудь зредъ. Аларихъ вдругъ обратился и очутился подъ стѣнами Рима. Гонорій по обыкновенію бѣжалъ. Сенатъ, видѣвши безсиліе свое, умолялъ могущественнаго гота отступить, общая дань, часть которой ему была выдана тогда же; остальной рѣшился побѣдитель ждать и отступить отъ Рима. Какъ только узналъ Гонорій, что опасность миновала, какъ уже вновь прибылъ въ Римъ и вовсе не думалъ платить дани. На этотъ разъ Аларихъ явился подѣ стѣнами уже гнѣвный, грозившій обратитъ въ пепелъ вѣчный городъ. 23 августа 409 года стѣны всемірной столицы увидѣли среди себя предводителя готовъ. Великолѣпные дома и дворцы были разграблены, но грозный Аларихъ запретилъ зажигательство и пролитіе крови. Изъ этого можно видѣть силу воли и власть, какую онъ имѣлъ надъ своими дикарями, удержавъ ихъ отъ того, отъ чего иногда не властенъ удержатъ и начальникъ образованныхъ войскъ. Гонорія и слѣда уже не было въ Римѣ, онъ давно умѣлъ скрыться. Но за то побѣдитель показалъ въ величайшей степени презрѣніе, какое чувствовалъ къ римлянамъ: возвелъ имъ царя ихъ же префекта Атала, и заставилъ его ползати у дверей палатъ своихъ. Насытивъ свое мщеніе, оставилъ онъ Римъ и обратился на югъ Италиі. Здѣсь онъ замышлялъ великіе планы, строилъ флотъ и намѣревался перенести свои побѣдительныя знамена на берега Африки, но смерть остановила его подвиги. Для гробницы его визиготы отвели теченіе рѣки Везанто, вырыли на бывшемъ днѣ ея глубокую могилу, въ которую зарыли трупъ, и потомъ снова возвратили ее на прежнее лоно, чтобы никто не могъ осквернить и поругаться надъ могилою великаго гота. Избранный послѣ него Астольфъ, наконецъ, вывелъ готовъ въ Испанію, гдѣ они быстро утвердились и составили сильное Готское королевство, изгнавъ не имѣвшихъ значенія римскихъ начальниковъ.

Вторженіе визиготовъ было сильно почувствовано во всѣхъ концахъ Испаніи. Алане и свевы были крѣпко стѣснены, и большая часть ихъ должна была признать власть готовъ.

Даже вандалы, бывшіе сильнѣйшими въ Испаніи, были сильно притѣснены и придвинуты къ Средиземному морю. Уже король ихъ, Гензерихъ, помышлялъ о переправѣ въ Африку. Но одно происшествіе, какъ будто нарочно, ускорило исполненіе его мысли. Въ Римѣ управлялъ, именемъ малолѣтняго Валентиніана и его матери, знаменитый Аэцій, предприимчивый, честолюбивый, хитрый, не слишкомъ разборчивый на средства къ достиженію желаемого. Онъ имѣлъ сильнаго противника въ Бонифаціѣ, правитель Африки, и рѣшился его погубить; для этого призывалъ его именемъ императора въ Римъ. Бонифацій, проникнувши умысль, рѣшился остаться въ Африкѣ и призвать на помощь Гензериха. Въ 427 году Гензерихъ съ вандалами и частію алановъ высадился на берегъ Африки и означилъ путь своей пожарами и опустошеніями. Бонифацій увидѣлъ, наконецъ, свою ошибку, что призвалъ такого гостя. Онъ успѣлъ уже примириться съ императоромъ и рѣшился поставить преграду безпокойному своему союзнику. Но съ Гензерихомъ не такъ было легко управиться; Бонифацій былъ разбитъ. Гензерихъ зажегъ Карфагенъ, ограбилъ дома, рубилъ жителей и извлекъ, гдѣ только могли скрываться, сокровища. Быстрые успѣхи разожгли его хищное честолюбіе. Скоро весь сѣверный берегъ Африки подвергнулся его вандальскому владычеству. Огнемъ и мечомъ окрестилъ онъ его въ аріанство и составилъ сильнѣйшее въ этотъ мятежный и темный вѣкъ государство. Съ этого времени разгулялся Гензерихъ. Страшный флотъ его распылялся по Средиземному морю и прекратилъ своимъ корсарствомъ всякое плаваніе. Каждый годъ этотъ нумидійскій левъ появлялся у всѣхъ береговъ Средиземнаго моря, отъ Греціи и Илиріи до Гибралтара, собирая, какъ жатву на собственномъ полѣ, все, что могла только произвести цвѣтущая населенность ихъ. Испанія, Сицилія, Сардинія, Далмація попеременно чувствовали ужасную, разрушительную руку этого вѣчнаго пирата, который такъ быстро воздвигнулъ первое государство христіанскихъ корсаровъ. Но, наконецъ, среди

величія и награбленныхъ богатствъ, имъ овладѣло то состояніе духа, та свирѣпая задумчивость, которая сунитъ, мучить душу и служить близкимъ предвѣстіемъ тиранства, ужасной нравственной болѣзни властителя. Онъ сталъ подозрѣвать всѣхъ окружающихъ и подозрѣніе, наконецъ, простеръ на жену свою, дочь визиготскаго короля: ему вообразилось, что она имѣетъ умысль отравить его. Наполненный этою мыслию, онъ приказалъ отрѣзать ей носъ и уши и въ такомъ видѣ отправить къ ся отцу. Но, испугавшись самъ мщенія готовъ, пригласилъ Аттилу, предводителя гунновъ, напасть съ сѣвера на Испанію и Италію.

Аттила имѣлъ свою резиденцію въ Дакіи, гдѣ, недалеко отъ Дуная, находилось становище изъ грубыхъ деревянныхъ юртъ, среди которыхъ возвышался неуклюжіи дворецъ его. Аттила былъ именно такой предводитель, какого дотолдъ не доставало гуннамъ. Онъ показалъ, какъ можетъ быть ужасна стремительная азіатская сила. Весь сѣверо-востокъ Европы признавалъ его владычество. Цѣль народовъ, несшихъ дань непобѣдимому царю гунновъ, начиналась у Кавказа и оканчивалась у Рейна. Готы, гениды, алане, герулы, аказиры, туринги и славяне очутились въ границахъ его быстро раздавшейся кочевой имперіи. Греческій императоръ, испытывавшій его презрѣніе, униженно присылалъ ему дань и ползалъ передъ его могуществомъ. Это былъ маленькій человѣчекъ, почти карло, съ огромною головою, съ небольшими калмыцкими глазами, но такъ быстрыми, что ни одинъ изъ подданныхъ его не могъ выносить ихъ безъ невольнаго трепета. Однимъ этимъ взглядомъ онъ двигалъ всѣми своими племенами, которыя, несмотря на разбросанное свое положеніе, различіе жизни, нравовъ и обычаевъ, слились его словомъ въ одну душу. Посреди своихъ придворныхъ, блиставшихъ награбленнымъ золотомъ, этотъ необыкновенный человѣкъ, носилъ грубую широкую одежду, лежалъ на простомъ войлокѣ, пилъ почти одну воду изъ деревяннаго котла; ни сѣдло, ни лошадь его не выдали на себѣ драгоцѣнныхъ камней, и самъ себя называлъ

Бичомъ Божиимъ, посланнымъ для того, чтобы исправить міръ. Власть его надъ войскомъ была безпредѣльна: оно вѣрило, что у него находится чудесный мечъ, который долженъ завоевать ему весь міръ. Повиновеніе покоренныхъ народовъ было изумительно. Впрочемъ, невозможно было и думать имъ о возмущеніи, потому что Аттила могъ выставить возлѣ своей ставки такую пирамиду изъ отрубленныхъ головъ, глядя на которую немного находилось охотниковъ. Онъ не любилъ заводить напрасно войны, особенно, когда міръ могъ ему доставить то же самое. Справедливость его была ужасна. Онъ показывалъ и великодушіе, но только рабамъ, простертымъ у ногъ его. Мщеніе же Аттилы... но вызвать его мщеніе никто не имѣлъ духа.

Предложеніе Гензериха, казалось, упредило его собственную мысль. Властительно собралъ онъ безчисленныя племена свои и шелъ на западъ. Римская имперія почувствовала всю опасность. Всѣ народы, составлявшіе тогда западъ Европы, встревожились. И тогда случилось странное событіе: вся западная дикая Европа сдвинулась въ одинъ союзъ. Ризияне соединились съ своими разрушителями, визиготами, аланами, франками. Народы кочующіе и пастушескіе шли на неподвижныхъ и уже отчасти земледѣльцевъ, стремительная и деспотическая Азія—на крѣпкую и вольную Европу. Нужно замѣтить, что германскіе народы, чѣмъ ближе къ западу, тѣмъ болѣе означались вольнымъ духомъ. Альпы были древнимъ хранилищемъ европейской свободы, и вокругъ ихъ, на далекое разстояніе, племена хранятъ еще и донныя черты независимости. Равнинамъ близъ Марны во Франціи опредѣлено было быть театромъ этой единственной битвы. Западная вольная Европа изъ римлянъ, визиготовъ, армориканъ, бреоновъ, бургундовъ, саксоновъ, алановъ и франковъ, подъ начальствомъ королей, военныхъ предводителей и подъ высшимъ распоряженіемъ искуснаго Аэція, и восточная кочевая Европа изъ остроготовъ, алановъ, гепидовъ, маркомановъ, венедовъ, ломбардовъ, геруловъ, аказировъ, аваровъ, туринговъ, роксола-

новъ и некоторыхъ племенъ славянскихъ, подъ начальствомъ своихъ князей, королей и принцевъ, и движимыхъ одною всемогущею волею Аттилы, должны были рѣшить многое важное въ потомствѣ. Вольная Европа устояла. Неотразимая, разрушительная конница Аттилы была опрокинута вмѣстѣ съ союзными народами, и непобѣдимый гуннь, употребившій все возможное напряженіе своей воли, повернуть свои табуны и народы въ равнины Венгрии и Паннони. Аэцій, не желая дать перевѣса визиготамъ, дѣйствовавшимъ сильнѣе другихъ въ этой кровопролитной сѣчѣ, облегчилъ ему удаленіе. Великая лига, исполнившая свое назначеніе, разошлась и обратилась въ прежнія начала, увидя минувшею опасность.

Но ужасный предводитель гунновъ рвалъ на себѣ благородный клокъ волосъ своихъ отъ гнѣва, и черезъ годъ, пополнивши свои войска новыми, вступилъ въ Италію, гдѣ безпечный императоръ Валентиніанъ и даже самъ Аэцій не мыслили объ опасности. Первый городъ, испытавшій его тяжелую руку, былъ Аквилея. Онъ его обратилъ въ пепель и заставилъ горсть спасшихся жителей зародить на Адриатическомъ морѣ Венецію. Отсюда прошелъ онъ всю Италію, дѣйствуя какъ огненный бичъ. Города: Конкордія, Бресція, Виченца, Падуа, Верона, Мантуа, Миланъ, Модена, Парма—представили однѣ обнаженные стѣны. «Клянусь», гордо провозгласилъ дикій гуннь: «что, гдѣ коснется копыто коня моего, тамъ болѣе не вырастетъ трава!» Наконецъ, и Римъ увидѣлъ подъ стѣнами своими Аттилу. Испуганный пала, въ облаченіи, со всѣмъ крестнымъ ходомъ, вышелъ навстрѣчу неумолимому гунну, и великолѣпный ли обрядъ христіанства, или мысль, разсѣянная между дикими, даже языческими народами, о пребываніи чего-то священнаго въ Римѣ,—что бы то ни было, но Аттила отступилъ, взявши великій выкупъ, и вышелъ изъ Итали.

Теперь предстояла очередь испытать его мщеніе и силу соединенной лигѣ западныхъ народовъ, но внезапная смерть его спасла ее. Аттила умеръ необыкновеннымъ образомъ.

Суровый, воздержный, не позволявший золотым украше-
ніямъ и камнямъ убраться даже рукояти сабли и войлочнаго
сѣдла своего, онъ въ одинъ день измѣнилъ свою жизнь.
Сочетавшись бракомъ съ дочерью бактрианскаго царя, необы-
кновенною красавицею, упоенный виномъ и пиршествомъ,
онъ съ такимъ неистовствомъ предался сладострастію, что вы-
пилъ за однимъ разомъ всю желѣзную жизнь свою. Кровь у
него пошла изъ ушей, изъ носа, изъ рта—и онъ задохнулся.

Въ невѣдомой пустынѣ, среди глубокой ночи, копали мо-
гилу Аттилы, сопровождая пѣснями о его подвигахъ. Тѣло
его было положено въ тройной гробъ—изъ золота, серебра
и мѣди; съ нимъ легли его оружія, его конныя сбруи. На
могилѣ его были заколоты всѣ рабы и копавшіе землю,
чтобы никто изъ живущихъ не вѣдалъ о мѣстѣ, гдѣ ле-
жать кости великаго человѣка*).

По смерти Аттилы, гунны вдругъ разсѣялись и разсы-
пались, какъ всякій азіатскій народъ, связанный только
могуществомъ волею предводителя. Тогда европейскіе
народы шире и вольнѣе раздѣлись и болѣе приняли са-
мостоятельности, и на востокъ начали виднѣе показываться
племена славянъ, которыя мало-по-малу разрослись въ
шестьдесятъ разныхъ вѣтвей**), протянулись до Тироля, про-
шумѣли по уходѣ остроготовъ на границахъ имперіи Гре-
ческой и, углубившись въ великія пространства, наконецъ,
превратились въ осѣдлыхъ народовъ.

Италія еще дымилась послѣ опустошеній Аттилы, но и
среди полуразрушенныхъ развалинъ ея крылись еще происки.
И въ этомъ изнеможенномъ государствѣ еще нашлись жалкіе
честолюбцы! Сенаторъ Максимъ успѣлъ очернить передъ
безсильнымъ императоромъ Валентиніаномъ единственную
опору его шаткаго трона—Азція, и неблагодарный Валенти-
ніанъ убилъ его собственною рукою. Но, лишившись этой
опоры, онъ самъ погибъ, умерщвленный Максимомъ, кото-
рый надѣлъ на свою дѣтски-честолюбивую голову импера-

*) О гуннахъ и объ Аттилѣ: Горнандъ, Дегине, Фицгеръ.

**) Конрадъ Геснеръ.

торскую корону и женился на его вдовѣ Евдоксіи. Мстительная вдова, раздраженная низкимъ умерщвленіемъ своего супруга и мало заботившаяся объ участи всей Италіи, тайно пригласила Гензериха вступить въ Римъ и отмстить за смерть императора, его союзника и друга.

Гензерихъ не любилъ заставлять долго ждать себя; онъ немедленно поднялся съ береговъ Африки съ толпами своихъ вандаловъ, на пиратскихъ судахъ, и высадился въ Италію. И что только уцѣлѣло отъ меча Аттилы, все то истребилъ, по своему обыкновенію, Гензерихъ. Онъ не очень разбиралъ, кто правъ, кто виноватъ, и кому онъ долженъ оказать помощь. Все испытало равную участь. Гензерихъ имѣлъ необыкновенное искусство грабить: послѣ него уже никто не могъ ничѣмъ поживиться. Римъ, который дотолѣ щажень былъ даже язычниками, былъ ограбленъ безъ милосердія этимъ христіанскимъ королемъ; все, что только можно было взять, онъ взялъ. Корабли свои онъ наполнилъ множествомъ плѣнниковъ, съ которыми самъ не зналъ, что дѣлать; вывезъ множество артистовъ и художниковъ, увезъ даже супругу императора, къ которой пришелъ самъ на помощь, вмѣстѣ съ дочерью ея, наконецъ, даже сорвалъ золотой куполь съ Капитолія и утащилъ его вмѣстѣ съ другими сокровищами въ Африку.

Послѣ всѣхъ этихъ событій, Италія не походила и на тѣнь прежней своей славы. Цвѣтущая, прекрасная, вѣнецъ европейской природы, она представила дикій видъ опустошенной, уничтоженной страны. Титло императора едва слышалось въ опустѣлыхъ городахъ. Римскій императоръ уже не могъ имѣть никакихъ доходовъ. Онъ не былъ въ состояніи даже платить жалованья собственному войску, набранному изъ геруловъ, ругіевъ и турцелинговъ. И тогда предводитель ихъ, Одоакръ, отрѣшилъ своего императора отъ должности, сдѣлался неограниченнымъ и независимымъ и уже не хотѣлъ принять императорскаго достоинства, но назвался, просто, королемъ геруловъ. Еще часть римскаго войска находилась какъ бы отрѣзанною за Альпами въ Галліи, и предводитель ея, Сиагрій, не зная ничего о

пронснествіяхъ въ Италіи, защищать не существующую имперію противъ соединеннаго франкскаго союза, который сдѣлался уже слишкомъ страшнымъ, потому что имѣлъ предпріимчиваго короля и полководца Кловиса. Сіагрию, отрѣзанному отъ своего государства; не получавшему никакихъ подкрѣпленій, трудно было противоборствовать этимъ свѣжимъ силамъ: онъ уступилъ—и Галлія потопилась франкскими народами. Скоро послѣ того остроготы, предводимые Феодорикомъ, двинулись съ сѣверныхъ границъ имперіи Восточной и заняли Италію, подчинивъ ей народы своей власти. Скоро послѣ того англосаксы, на своихъ неуклюжихъ дерзкихъ корабляхъ, переправились черезъ море и овладѣли Англіею—и потомъ великія эмиграціи народовъ большими массами совершенно остановились, но въ частности, и малыми силами, онѣ производились безпрерывно. Дикіе охотники, воспитанные этими всеобщими странствіями и безпрерывною перемѣною мѣстъ, получили страсть къ приключеніямъ и путешествіямъ, и вся Европа, несмотря на то, что повидимому уже казалась неподвижною, двигалась и шевелилась подобно огромному рынку. Всѣ націи перемѣшались между собою такъ, что уже невозможно было отыскать совершенно цѣльной, и только въ послѣдствіи постоянный образъ правленія или занятій сообщилъ главнымъ изъ нихъ нѣкоторую особенность и нѣкоторые признаки отличія. Тогда было четыре первенствующихъ великихъ собраній или массъ народа, четыре главные пункта европейской силы: въ Испаніи—визиготы, вторгнувшіеся туда съ частію покоренныхъ народовъ и присоединившіе къ себѣ уже въ Испаніи алановъ, свевовъ, вандаловъ и разныхъ подданныхъ имъ народовъ, зародившіе толпу сильныхъ противъ себя бандитовъ въ горахъ Астурійскихъ. Въ Галліи франки, уже составившіе націю изъ прежнихъ сосѣдей римлянъ, дунайскихъ и рейнскихъ германцевъ: узипетровъ, ситамбровъ, херусковъ, хатовъ, бруктеровъ, ангриваріевъ, хазуаріевъ и другихъ, соединившіеся съ туземцами римскими галлами, соединившіеся, но не слившіеся съ покоренными

армориганами, бретонами, алеманами, бургундами, отчасти бауарами и фризами, и простершіе владычество за Альпы и Рейнъ.—Это было одно изъ сильѣйшихъ собраній народовъ. Въ сѣверной Германіи саксоны, страшные своею дикостью и пиратствомъ, менѣе смѣшавшіеся съ другими народами, и въ Италиі остроготы, имѣвшіе въ толпахъ своихъ множество отродій народовъ, странствовавшихъ по восточной Европѣ—свевскихъ, аланскихъ, аварскихъ, славянскихъ, гепидскихъ—и, подъ расторопнымъ, твердымъ правленіемъ Теодорика, получившіе на время перевѣсъ въ Европѣ. Сверхъ того еще, всѣ эти великія массы народовъ распространяли покровительственную власть свою надъ многими отдаленными племенами.—Взаимныя границы ихъ часто терялись въ неопредѣленныхъ пространствахъ; въ этихъ промежуткахъ земли, иногда черезполосно и независимо, сохранялись многіе народы: такимъ образомъ, въ средней Германіи—ломбарды, потомъ блеснувшіе въ Италиі, часть бауаровъ, всѣ народы, жившіе въ неизмѣримыхъ прежде лѣсахъ Гарца и въ гористыхъ уклоненіяхъ Альпъ. Востокъ Европы занимали совершенно разбросанныя племена славянскія, которыя, находясь подъ вѣчнымъ угнетеніемъ всѣхъ стремившихся изъ Азіи народовъ, еще не успѣли явиться дѣятелями всемірной исторіи. За означеннымъ кругомъ, на сѣверъ и на востокъ, разсѣивались народы, еще покрытые темною недѣятельностью.

Такова была Европа въ это шумное окончаніе V вѣка, когда непостижимою волею Провидѣнія величественный хаосъ, носившій темныя начала новаго свѣта, опустился на Европу, когда разрушающіе народы безобразными массами текали на народы, колоссально совершались мрачныя событія; когда имена Алариха, Гензериха и Аттилы пронеслись безпокойными кометами, когда между тѣмъ древній міръ долго дотлѣвалъ на востокъ, робкое римское просвѣщеніе прижалось къ берегамъ Сириі, Александріи, Цареграда, и среди Несторіи и Евтихіи раздирали дряхлыя, старческія его силы.

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШАГО.

Октября 3.

Сегодняшняго дня случилось необыкновенное приключе-
ніе. Я всталъ поутру довольно поздно, и когда Мавра при-
несла мнѣ вычищенные сапоги, я спросилъ, который часъ.
Услышавши, что уже давно било десять, я поспѣшилъ по-
скорѣе одѣться. Признаюсь, я бы совсѣмъ не пошелъ въ
департаментъ, зная заранѣе, какую кислую мину сдѣлаетъ
нашъ начальникъ отдѣленія. Онъ уже давно мнѣ говоритъ:
«Что это у тебя, братецъ, въ головѣ всегда ералашъ такой? Ты
иной разъ метаешься, какъ угорѣлый, дѣло подчасъ такъ
спутаешь, что самъ сатана не разберетъ, въ титулѣ поста-
вишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера».
Проклятая цапля! онъ, вѣрно, завидуетъ, что я сижу въ
директорскомъ кабинетѣ и очиниваю перья для его пр-ва.
Словомъ, я не пошелъ бы въ департаментъ, если бы не
надежда видѣться съ казначеемъ и, авось-либо, выпросить
у этого жида хоть сколько-нибудь изъ жалованья впередъ.
Вотъ еще созданіе! Чтобы онъ выдалъ когда-нибудь впередъ
за мѣсяць деньги—Господи, Боже мой, да скорѣе страш-
ный судъ придетъ. Проси, хоть тресни, хоть будь въ раз-
нуждѣ,—не выдастъ, сѣдой чортъ. А на квартирѣ собствен-
ная кухарка бьетъ его по щекамъ; это всему свѣту из-
вѣстно. Я не понимаю выгодъ служить въ департаментѣ:
никакихъ совершенно рессурсовъ. Вотъ въ губернскомъ пра-
вленіи, гражданскихъ и казенныхъ палатахъ совсѣмъ дру-

гое дѣло: тамъ, смотришь, иной прижался въ самомъ углу и пописываетъ, фрачишка на немъ гадкѣй, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую онъ дачу нанимаетъ! Фарфоровой вызолоченной чашки и не носи къ нему: «Это», говоритъ, «докторскій подарокъ»; а ему давай или пару рысаковъ, или дрожки, или боберь рублей въ триста. Съ виду такой тихенькѣй, говоритъ такъ деликатно: «одолжите ножичка починить перышко», а тамъ обчистить такъ, что только одну рубашку оставить на проситель. Правда, у насъ зато служба благородная, чистота во всемъ такая, какой вовѣки не видѣтъ губернскому правленію, столы изъ краснаго дерева, и всѣ начальники на *см...* Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставилъ департаментъ.

Я надѣлъ старую шинель и взялъ зонтикъ, потому что шелъ проливной дождикъ. На улицахъ не было никого; одиѣ только бабы, накрывшись полами платья, да русскіе купцы подъ зонтиками, да курьеры попадались мнѣ на глаза. Изъ благородныхъ только нашъ братъ, чиновникъ, попался мнѣ. Я увидѣлъ его на перекресткѣ. Я, какъ увидѣлъ его, тотчасъ сказалъ себѣ: «Эге! нѣтъ, голубчикъ, ты не въ департаментъ идешь, ты спѣшишь вонъ за тою, что бѣжить впереди, и глядишь на ея ножки». Что это за бестія нашъ братъ, чиновникъ! Ей Богу, не уступить никакому офицеру: пройди только какая-нибудь въ шляпкѣ, непременно зацѣпить. Когда я думалъ это, увидѣлъ подъѣхавшую карету къ магазину, мимо котораго я проходилъ. Я сейчасъ узналъ ее: это была карета нашего директора. «Но ему не зачѣмъ въ магазинъ», я подумалъ: «вѣрно, это его дочка». Я прижался къ стѣнкѣ. Лакей отворилъ дверцы, и она выпорхнула изъ кареты, какъ птичка. Какъ взглянула она направо и налево, какъ мелькнула своими бровями и глазами... Господи, Боже мой, пропалъ я, пропалъ совсѣмъ! И зачѣмъ ей выѣзжать въ такую дождевую пору! Утверждай теперь, что у женщины не велика страсть до всѣхъ этихъ тряпокъ. Она не узнала меня, да и я самъ нарочно

старался закутаться, какъ можно болѣе, потому что на мнѣ была шинель очень запачканная и притомъ стараго фасона. Теперь плащи носятъ съ длинными воротниками, а на мнѣ были коротенькіе, одинъ на другомъ; да и сукно совсѣмъ не дегатированное. Собачонка ея, не успѣвши вскочить въ дверь магазина, осталась на улицѣ. Я знаю эту собачонку. Ее зовутъ—Меджи. Не успѣлъ я пробыть минуту, какъ вдругъ слышу тоненькій голосокъ: «Здравствуй, Меджи!» Вотъ тебѣ на! кто это говоритъ? Я обсмотрѣлся и увидѣлъ шедшихъ подъ зонтикомъ двухъ дамъ: одну старушку, другую молоденькую; но онѣ уже прошли; а возлѣ меня опять раздалось: «Грѣхъ тебѣ, Меджи!» Чтѣ за чортъ! я увидѣлъ, что Меджи обнюхивалась съ собачонкою, шедшею за дамами. «Эге!» сказалъ я самъ себѣ: «да, полно, не пьянъ ли я! Только это, кажется, со мною рѣдко случается».— «Нѣтъ, Фидель, ты напрасно думаешь», произнесла,—я видѣлъ самъ, что произнесла Меджи: «я была, авъ, авъ! я была, авъ, авъ, авъ! очень больна!» Ахъ ты-жъ собачонка! вишь! Признаюсь, я очень удивился, услышавъ ее говорящую по-человѣчески; но послѣ, когда я сообразилъ все это хорошенько, то тогда же пересталъ удивляться. Дѣйствительно, на свѣтѣ уже случилось множество подобныхъ примѣровъ. Говорятъ, въ Англіи выплыла рыба, которая сказала два слова на такомъ странномъ языкѣ, что ученые уже три года стараются опредѣлить и еще до сихъ поръ ничего не открыли. Я читалъ тоже въ газетахъ о двухъ коровахъ, которыя пришли въ лавку и спросили себѣ фунтъ чаю. Но, признаюсь, я гораздо болѣе удивился, когда Меджи сказала: «Я писала къ тебѣ, Фидель; вѣрно, Полканъ не принесъ письма моего!» Чортъ возьми! Я еще въ жизнь не слышалъ, чтобы собака могла писать. Правильно писать можетъ только дворянинъ. Оно конечно, нѣкоторые и купчики-конторщики и даже крѣпостной народъ пописываетъ иногда; но ихъ писаніе болѣею частью механическое: ни запятыхъ, ни точекъ, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, съ недавняго времени я

начинаю иногда слышать и видѣть такія вещи, которыхъ никто еще не видывалъ и не слыхивалъ. «Пойду-ка я», сказалъ я самъ въ себѣ, «за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думаетъ». Я развернулъ свой зонтикъ и отправился за двумя дамами. Перешли въ Гороховую, повертели въ Мѣщанскую, оттуда въ Столярную, наконецъ, къ Кокушкину мосту и остановились передъ большимъ домомъ. «Этотъ домъ я знаю», сказалъ я самъ въ себѣ: «это домъ Звѣркова». Эка машина! Какого въ немъ народа не живетъ: сколько кухарокъ, сколько пріѣзжихъ! а нашей брати—чиновниковъ, какъ собакъ, одинъ на другомъ сидитъ, а третьимъ погоняетъ. Тамъ есть и у меня одинъ пріятель, который хорошо играетъ на трубѣ. Дамы взошли въ пятый этажъ. «Хорошо», подумалъ я: «теперь не пойду, а замѣчу мѣсто и при первомъ случаѣ не премину воспользоваться».

Октября 4.

Сегодня среда, и потому я былъ у нашего начальника въ кабинетѣ. Я нарочно пришелъ пораньше и, засѣвши, перечинилъ всѣ перья. Нашъ директоръ долженъ быть очень умный человекъ. Весь кабинетъ его уставленъ шкафами съ книгами. Я читалъ названіе нѣкоторыхъ: все ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нѣтъ,—все или на французскомъ, или на нѣмецкомъ. А посмотрѣть въ лицо ему: фу, какая важность сіяетъ въ глазахъ! Я еще никогда не слышалъ, чтобы онъ сказалъ лишнее слово. Только, развѣ, когда подашь бумаги, спросить: «Каково на дворѣ?»—«Сыро, ваше превосходительство!» Да, не нашему брату чета! Государственный человекъ.—Я замѣчаю, однакоже, что онъ меня особенно любитъ. Если бы и дочка... эхъ, канальство!.. Ничего, ничего, молчаніе!—Читалъ Пчелку. Эка глупый народъ французы! Ну, чего хотятъ они? Взялъ бы, ей Богу, ихъ всѣхъ да и перепоролъ розгами! Тамъ же читалъ очень пріятное изображеніе бала, описанное курскимъ помѣщикомъ. Курскіе помѣщики хо-

рошо пинуть. Послѣ этого замѣтилъ я, что уже было половину перваго, а нашъ не выходилъ изъ своей спальни. Но около половины второго случилось происшествіе, котораго никакое перо не опишетъ. Отворилась дверь, я думалъ, что директоръ, и вскочилъ со стула съ бумагами; но это была она, она сама! Святители, какъ она была одѣта! Платье на ней было бѣлое, какъ лебедь,—фу, какое пышное! А какъ глянула—солнце! ей Богу, солнце! Она поклонилась и сказала: «Палъ здѣсь не было?» Ай, ай, ай! какой голосокъ! Канарейка, право, канарейка! «Ваше превосходительство», хотѣлъ я было сказать: «не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою»; да, чортъ возьми, какъ-то языкъ не повернулся, и я сказалъ только: «никакъ нѣтъ-съ». Она поглядѣла на меня, на книги, я уронила платокъ. Я кинулся со всѣхъ ногъ, поскользнулся на проклятомъ паркетѣ и чуть-чуть не расклеилъ носа, однакожь удержался и досталъ платокъ. Святые, какой платокъ! тончайшій, батистовый—амбра, совершенная амбра! такъ и дышитъ отъ него генеральствомъ. Она поблагодарила и чуть-чуть усмѣхнулась, такъ что сахарныя губки ея почти не тронулись, и послѣ этого ушла. Я еще часъ сидѣлъ, какъ вдругъ пришелъ лакей и сказалъ: «Ступайте, Аксентій Ивановичъ, домой, баринъ уже уѣхалъ изъ дому». Я терпѣть не могу лакейскаго круга: всегда развалится въ передней и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: одинъ разъ одна изъ этихъ бестій вздумала меня, не вставая съ мѣста, потчивать табачкомъ. Да знаешь ли ты, глупый холопъ, что я чиновникъ, я благороднаго происхожденія? Однакожь, я взялъ шляпу и надѣлъ самъ на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадутъ, и вышеть. Дома большею частію лежалъ на кровати. Потомъ переписалъ очень хорошіе стишки: «Душеньки часокъ не видя, Думалъ, годъ ужъ не видаль; Жизнь мою возненавидя, Лъзя ли жить мнѣ, я сказалъ». Должно-быть, Пушкина сочиненіе. Вечеру, закутавшись въ шинель, ходилъ къ подъѣзду ея пр—ва и поджидать долго, не выйдетъ ли

сѣсть въ карету, чтобы посмотрѣть еще разикъ; но нѣтъ, не выходила.

Ноября 6.

Разбѣсилъ начальникъ отдѣленія. Когда я пришелъ въ департаментъ, онъ подозвалъ меня къ себѣ и началъ мнѣ говорить такъ: «Ну, скажи пожалуйста, что ты дѣлаешь?»— «Какъ, что? Я ничего не дѣлаю», отвѣчалъ я.— «Ну, размысли хорошенько! Вѣдь тебѣ уже за сорокъ лѣтъ—пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себѣ? Ты думаешь, я не знаю всѣхъ твоихъ проказъ? Вѣдь ты волочишься за директорскою дочерью! Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты! Вѣдь ты нуль, болѣе ничего. Вѣдь у тебя нѣтъ ни гроша за душою. Взгляни хоть въ зеркало на свое лицо—куда тебѣ думать о томъ!» Чортъ возьми, что у него лицо похоже нѣсколько на аптекарскій пузырекъ, да на головѣ клочокъ волосъ, завитый хохолкомъ, да держитъ ее кверху, да примазываетъ ее какою-то розеткою, такъ ужъ и думаетъ, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего онъ злится на меня. Ему завидно: онъ увидѣлъ, можетъ-быть, предпочтительно мнѣ оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный совѣтникъ! Вывѣсилъ золотую цѣпочку къ часамъ, заказываетъ сапоги по тридцати рублей—да чортъ его побери! Я развѣ изъ какихъ-нибудь разночинцевъ, изъ портныхъ, или изъ унтеръ-офицерскихъ дѣтей? Я дворянинъ. Что-жъ, и я могу дослужиться. Мнѣ еще сорокъ два года—время такое, въ которое, по-настоящему, только-что начинается служба. Погоди, пріятель! будемъ и мы полковникомъ, а, можетъ быть, если Богъ дастъ, то чѣмъ-нибудь и побольше. Заведемъ и мы себѣ квартиру и еще, можетъ-быть, получше твоей. Что-жъ ты себѣ забралъ въ голову, что кромѣ тебя уже нѣтъ вовсе порядочнаго человека? Дай-ка мнѣ ручевскій фракъ, сшитый по модѣ, да повяжи я себѣ такой же, какъ ты, галстукъ,—тебѣ тогда

не стать мнѣ и въ подметки. Достатковъ нѣтъ — вотъ бѣда.

Ноября 8.

Былъ въ театрѣ. Играли русскаго дурака Филатку. Очень смѣялся. Былъ еще какой-то водевиль съ забавными стишками на стряпчихъ, особенно на одного коллежскаго регистратора, весьма вольно написанные, такъ что я дивился, какъ пропустила цензура; а о купцахъ прямо говорятъ, что они обманываютъ народъ, и что сынки ихъ дебошничаютъ и лѣзутъ въ дворяне. Про журналистовъ тоже очень забавный куплетъ: что они любятъ все бранить, и что авторъ просить у публики защиты. Очень забавныя піесы пишутъ нынче сочинители. Я люблю бывать въ театрѣ. Какъ только грошъ заведется въ карманѣ—никакъ не утерпишь не пойти. А вотъ изъ нашей брати чиновниковъ есть такія свиньи: рѣшительно не пойдетъ, мужикъ, въ театръ; развѣ уже дашь ему билетъ даромъ. Пѣла одна актриса очень хорошо. Я вспомнилъ о той... эхъ, канальство!.. Ничего, ничего... молчаніе.

Ноября 9.

Въ восемь часовъ отправился въ департаментъ. Начальникъ отдѣленія показалъ такой видъ, какъ будто бы онъ не замѣтилъ моего прихода. Я тоже съ своей стороны, какъ будто бы между нами ничего не было. Пересматривалъ и свѣрялъ бумаги. Вышелъ въ четыре часа. Проходилъ мимо директорской квартиры, но никого не было видно. Послѣ обѣда большею частью лежалъ на кровати.

Ноября 11.

Сегодня сидѣлъ въ кабинетѣ нашего директора, починилъ для него 23 пера, и для ея... ай! ай!.. для ея превосходительства четыре пера. Онъ очень любитъ, чтобы стояло побольше перьевъ. У, долженъ быть голова! Все молчить, а въ головѣ, я думаю, все обсуживаетъ. Желаетъ

лось бы мнѣ узнать, о чемъ онъ больше всего думаетъ, что такое затѣвается въ этой головѣ. Хотѣлось бы мнѣ рассмотреть поближе жизнь этихъ господъ, всѣ эти экивоки и придворныя штуки: какъ они, что они дѣлаютъ въ своемъ кругу—вотъ что бы мнѣ хотѣлось узнать! Я думалъ нѣсколько разъ завести разговоръ съ его пр—вомъ, только, чортъ возьми, никакъ не слушается языкъ; скажешь только, холодно или тепло на дворѣ, а больше рѣшительно ничего не выговоришь. Хотѣлось бы мнѣ заглянуть въ гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь, за гостиною еще въ одну комнату. Эхъ, какое богатое убранство! Какіе зеркала и фарфоры! Хотѣлось бы заглянуть туда, на ту половину, гдѣ ея пр—во,—вотъ куда хотѣлось бы мнѣ! въ будуаръ, какъ тамъ стоятъ всѣ эти баночки, скляночки, цвѣты такіе, что и дохнуть на нихъ страшно, какъ лежитъ тамъ разбросанное ея платье, больше похожее на воздухъ, чѣмъ на платье. Хотѣлось бы заглянуть въ спальню... тамъ-то, я думаю, чудеса, тамъ-то, я думаю, рай, какого и на небесахъ нѣтъ. Посмотрѣть бы ту скамеечку, на которую она становитъ, вставая съ постели, свою ножку, какъ надѣвается на эту ножку бѣлый, какъ снѣгъ, чулочекъ... Ай! ай! ай! ничего, ничего... молчаніе.

Сегодня, однакожь, меня какъ бы свѣтомъ озарило: я вспомнилъ тотъ разговоръ двухъ собачонокъ, который слышалъ я на Невскомъ проспектѣ. «Хорошо», подумалъ я самъ въ себѣ: «я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянныя собачонки. Тамъ я, вѣрно, кое-что узнаю». Признаюсь, я даже подождалъ было къ себѣ одинъ разъ Меджи и сказалъ ей: «Послушай, Меджи, вотъ мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, такъ что никто не будетъ видѣть,—расскажи мнѣ все, что знаешь про барышню: что она и какъ? Я тебѣ побожусь, что никому не открою». Но хитрая собачонка поджала хвостъ, съежилась вдвое и вышла тихо въ двери, такъ, какъ будто бы ничего не слышала. Я давно подозрѣвалъ, что собака гораздо умнѣе человѣка; я даже

былъ увѣренъ, что она можетъ говорить, но что въ ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политикъ: все замѣчаетъ, всѣ шаги человѣка. Нѣтъ, во что бы то ни стало, я завтра же отправляюсь въ домъ Звѣркова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу всѣ письма, которыя писала къ ней Меджи.

Ноября 12.

Въ два часа пополудни отправился я съ тѣмъ, чтобы непременно увидѣть Фидель и допросить ее. Я терпѣть не люблю капусты, запахъ которой валитъ изъ всѣхъ мелочныхъ лавочекъ въ Мѣщанской; къ тому же изъ-подъ воротъ каждаго дома несетъ такой адъ, что я, заткнувъ носъ, бѣжалъ во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускаютъ копоти и дыму изъ своихъ мастерскихъ такое множество, что человѣку благородному рѣшительно невозможно здѣсь прогуливаться. Когда я пробрался въ шестой этажъ и зазвонилъ въ колокольчикъ, вышла дѣвчонка не совсѣмъ дурная собою, съ маленькими веснушками. Я узналъ ее: это была та самая, которая шла вмѣстѣ со старушкою. Она немножко покраснѣлась, и я тотчасъ смекнулъ—ты, голубушка, жениха хочешь. «Что вамъ угодно?» сказала она. «Мнѣ нужно поговорить съ вашей собачонкой». Дѣвчонка была глупа! Я сейчасъ узналъ, что глупа! Собачонка въ это время прибѣжала, съ лаемъ; я хотѣлъ ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за носъ. Я увидалъ, однакоже, въ углу ея лукошко. Э, вотъ этого мнѣ и нужно! Я подошелъ къ нему, перерылъ солону въ деревянной коробкѣ и, къ необыкновенному удовольствію своему, вытащилъ небольшую связку маленькихъ бумажекъ. Скверная собачонка, увидѣвши это, сначала укусила меня за икру, а потомъ, когда пронюхала, что я взялъ бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказалъ: «Нѣтъ, голубушка, прощай!» и бросился бѣжать. Я думаю, что дѣвчонка приняла меня за сумасшедшаго, потому что испу-

галась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотѣлъ было тотъ же часъ приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свѣчахъ нѣсколько дурно вижу; но Мавра ~~вздумала~~ мыть полъ. Эти глупыя чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошелъ прохаживаться и обдумывать это происшествіе. Теперь-то, наконецъ, я узнаю всѣ дѣла, помышленія, всѣ эти пружины, и доберусь, наконецъ, до всего. Эти письма мнѣ все откроютъ. Собаки народъ умный, онѣ знаютъ всѣ политическія отношенія и потому, вѣрно, тамъ будетъ все про нашего: портретъ и всѣ дѣла этого мужа. Тамъ будетъ что-нибудь и о той, которая... ничего, молчаніе! Къ вечеру я пришелъ домой. Бѣльшую частію лежалъ на кровати.

Ноября 13.

А ну, посмотримъ! Письмо довольно четкое, однакоже въ почеркѣ все есть какъ будто что-то собачье. Прочитаемъ:

«Милая Фидель! я все не могу привыкнуть къ твоему мѣщанскому имени. Какъ будто бы уже не могли дать тебѣ лучшаго? Фидель, Роза — какой пошлый тонъ! Однакожъ, все это въ сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать другъ къ другу».

Письмо писано очень правильно. Пунктуація и даже буква *ъ* вездѣ на своемъ мѣстѣ. Да этакъ, просто, не напишетъ и нашъ начальникъ отдѣленія, хотя онъ и толкуетъ, что гдѣ-то учился въ университетѣ. Посмотримъ далѣе.

«Мнѣ кажется, что раздѣлять мысли, чувства и впечатлѣнія съ другимъ есть одно изъ первыхъ благъ на свѣтѣ».

Гм!.. мысль почерпнута изъ одного сочиненія, переведеннаго съ нѣмецкаго. Названія не припомню.

«Я говорю это по опыту, хотя и не бѣгала по свѣту далѣе воротъ нашего дома. Моя ли жизнь не протекаетъ въ довольствѣ? Моя барышня, которую папа называетъ Софя, любить меня безъ памяти».

Ай, ай!... ничего, ~~ничего!~~ Молчаніе!

«Папа тоже очень часто ласкаетъ. Я пью чай и кофій со сливками. Ахъ, та сѣгѣ, я должна тебѣ сказать, что я вовсе не вижу удоволь-

ствія въ большихъ обглоданныхъ костяхъ, которыя жрѣть на кухнѣ нашъ Полканъ. Кости хороши только изъ дичи и притомъ тогда, когда еще ничто не высосалъ изъ нихъ мозга. Очень хорошо мѣшать нѣсколько соусовъ вмѣстѣ, но только безъ каперсовъ и безъ зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновенія давать собакамъ скатанные изъ хлѣба шарики. Какой-нибудь сидящій за столомъ господинъ, который въ рукахъ своихъ держалъ всякую дрянь, начнетъ мять этими руками хлѣбъ, подзоветъ тебя и сунетъ тебѣ въ зубы шарикъ. Отказаться какъ-то неучтиво,—ну, и ѣшь, съ отвращеніемъ, а ѣшь»...

Чортъ знаетъ, чтò такое! Экой вздоръ! Какъ будто бы не было предмета получше, о чемъ писать. Посмотримъ на другой страницѣ, не будетъ ли чего подѣльнѣе.

«...Я съ большою охотою готова тебя увѣдомлять о всѣхъ бывающихъ у насъ происшествіяхъ. Я уже тебѣ кое-что говорила о главномъ господинѣ, котораго Софія называетъ папа. Это очень странный человѣкъ»...

А, вотъ наконецъ! Да, я зналъ; у нихъ политическій взглядъ на всѣ предметы. Посмотримъ, чтò папа.

«...очень странный человѣкъ. Онъ больше все молчитъ; говорить очень рѣдко. Но недѣлю назадъ безпрестанно говорилъ самъ съ собою: «Получу, или не получу?» Возьметъ въ одну руку бумажку, другую сложить пустую и говорить: «Получу, или не получу?» Одинъ разъ онъ обратился и ко мнѣ съ вопросомъ: «Какъ ты думаешь, Меджи, получу, или не получу?» Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапогъ и ушла прочь. Потомъ, ма сѣге, черезъ недѣлю папа пришелъ въ большой радости. Все утро ходили къ нему господа въ мундирахъ и съ чѣмъ-то поздравляли. За столомъ онъ былъ такъ веселъ, какъ я еще никогда не видала, отпускалъ анекдоты. А послѣ обѣда поднялъ меня къ своей шеѣ и сказалъ: «А посмотри, Меджи, чтò это такое». Я увидѣла какую-то ленточку. Я нюхала ее, но рѣшительно не нашла никакого аромата; наконецъ, потихоньку лизнула: соленое немного».

Гмъ! Эта собачонка, мнѣ кажется, уже слишкомъ... чтобы ее не высѣкли! А, такъ онъ честолобецъ! Это нужно взять къ свѣдѣнію.

«...Прощай, ма сѣге! Я бѣгу и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо.—Ну, здравствуй! я теперь снова съ тобою. Сегодня барышня моя Софія»...

А! ну, посмотримъ, чтò Софія. Эхъ, канальство!... Ничего, ничего... будемъ продолжать.

«...барышня моя Софи была въ чрезвычайной суматохѣ. Она собралась на балъ, и я очень обрадовалась, что въ отсутствіе ея могу писать къ тебѣ. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ѣхать на балъ, хотя при одѣваніи всегда почти сердится. Я не могу понять, отчего люди одѣваются. Почему не ходить такъ, напримѣръ, какъ мы? И хорошо, и покойно. Я никакъ не понимаю, ша сѣге, удовольствія ѣхать на балъ. Софи призываетъ всегда съ балу домой въ 6 часовъ утра, и я всегда почти угадываю по ея блѣдному и тощому виду, что ей, бѣдняжкѣ, не давали тамъ ѣсть. Я, признаюсь, никогда бы не могла такъ жить. Если бы мнѣ не дали соуса съ рябчикомъ, или жаркого куриныхъ крылышекъ, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорошъ также соусъ съ кашкою; а морковь, или рѣпа, или артишоки — никогда не будутъ хороши».

Чрезвычайно неровный слогъ! Тотчасъ видно, что не человекъ писалъ: начнетъ такъ, какъ слѣдуетъ, а кончитъ собачиною. Посмотримъ-ка еще въ одно письмецо. Что-то длинновато. Гмъ! и числа не выставлено.

«Ахъ, милая, какъ опутительно приближеніе весны! Сердце мое бьется, какъ будто все кого-то ожидаетъ. Въ ушахъ у меня вѣчный шумъ, такъ что я часто, поднявши ножку, стою нѣсколько минутъ, прислушиваясь къ дверямъ. Я тебѣ открою, что у меня много куртизановъ. Я часто, сидя на окнѣ, разсматриваю ихъ. Ахъ, если-бъ ты знала, какіе между ними есть уроды! Иной преаляповатый, дворняга, глупъ страшно, на лицѣ написана глупость, преважно идетъ по улицѣ и воображаетъ, что онъ прензатная особа, думаетъ, что такъ на него и заглядятся всѣ. Ничуть! Я даже и вниманія не обратила—такъ, какъ бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается передъ моимъ окномъ! Если бы онъ сталъ на заднія лапы, чего, грубіянь, онъ, вѣрно, не умѣетъ, то онъ бы былъ цѣлою головою выше папа моей Софи, который тоже довольно высокаго роста и толстѣ собою. Этотъ болванъ, должно-быть, наглець преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало: хотя бы поморщился! высунулъ свой языкъ, повѣсилъ огромныя уши и глядитъ въ окно—такой мужикъ! Но неужели ты думаешь, ша сѣге, что сердце мое равнодушно ко всѣмъ исканіямъ? Ахъ, нѣтъ... Если бы ты видѣла одного кавалера, перелѣзающаго черезъ заборъ сосѣдняго дома, кенемъ Тревора... Ахъ, ша сѣге, какая у него мордочка!»...

Тѣфу, къ чорту!.. Экая дрянь! И какъ можно наполнять чисьма такими глупостями! Мнѣ подавайте человекъ! Я хочу видѣть человекъ, я требую духовной пищи, — той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вмѣсто того

этакіе пустяки... Перевернемъ черезъ страницу, не будетъ ли лучше?

«...Софи сидѣла за столикомъ и что-то шила. Я глядѣла въ окно, потому что я люблю разсматривать прохожихъ, какъ вдругъ вошелъ давай и сказала: «Тепловъ!»—«Проси!» закричала Софи и бросилась меня обнимать. «Ахъ, Меджи, Меджи! Если-бъ ты знала, кто это: брюнетъ, камеръ-юнкеръ, а глаза какіе! черные, какъ агаты!» И Софи убѣжала къ себѣ. Минуту спустя, вошелъ молодой камеръ-юнкеръ, съ черными бакенбардами, подошелъ къ зеркалу, поправилъ волоса и осмотрѣлъ комнату. Я поворчала и сѣла на свое мѣсто. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себѣ такъ, какъ будто не замѣчая ничего, продолжала глядѣть въ окошко; однакожь, голову наклонила нѣсколько на-бокъ и старалась услышать, о чемъ они говорятъ. Ахъ, ша сѣге, о какомъ вздорѣ они говорили! Они говорили о томъ, какъ одна дама въ танцахъ, вмѣсто одной какой-то фигуры, сдѣлала другую; также, что какой-то Бобовъ былъ очень похожъ въ своемъ жабо на аиста, и чуть было не упалъ, что какая-то Лидина воображаетъ, что у нея голубые глаза, между тѣмъ какъ они зеленые,—и тому подобное. «Куда-жь», подумала я сама въ себѣ: «если сравнить камеръ-юнкера съ Трезоромъ! Небо! какая разница! Во-первыхъ, у камеръ-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокругъ бакенбарды, какъ будто бы онъ обвязалъ его чернымъ платкомъ; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самомъ лбу бѣлая лысинка. Тялю Трезора и сравнить нельзя съ камеръ-юнкерскою. А глаза; приемы, хватки совершенно не тѣ. О, какая разница! Я не знаю, ша сѣге, что она нашла въ своемъ Тепловѣ. Отчего она такъ имъ восхищается?»...

Мнѣ самому кажется, здѣсь что-нибудь да не такъ. Не можетъ быть, чтобы ее могъ такъ обворовать Тепловъ. Посмотримъ далѣе:

«Мнѣ кажется, если этотъ камеръ-юнкеръ нравится, то скоро будетъ нравится и тотъ чиновникъ, который сидитъ у папа въ кабинетѣ. Ахъ, ша сѣге, если бъ ты знала, какой это уродъ! Совершенно черепаша въ мѣшкѣ»...

Какой же бы это чиновникъ?....

«Фамилія его престранная. Онъ всегда сидитъ и чинить перья. Волоса на головѣ его очень похожи на сѣно. Папа иногда посылаетъ его вмѣсто слуги»....

Мнѣ кажется, что эта мерзкая собачонка мѣтитъ на меня. Гдѣ-жь у меня волоса, какъ сѣно?

«Софи никакъ не можетъ удержаться отъ смѣху, когда глядитъ на него».

Врешь ты, проклятая собачонка! Экій мерзкій языкъ! Какъ будто я не знаю, что это дѣло зависти? Какъ будто я не знаю, чьи здѣсь штуки? Это штуки начальника отдѣленія. Вѣдь поклялся же человекъ непримиримою ненавистью—и вотъ вредить да и вредить, на каждомъ шагу вредить. Посмотримъ, однакоже, еще одно письмо. Тамъ, можетъ-быть, дѣло раскроется само собою.

«Ма сѣге Фидель, ты извини меня, что такъ давно не писала. Я была въ совершенномъ упоеніи. Подлинно справедливо сказалъ какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притомъ же у насъ въ домъ теперь большія переменны. Камеръ-юнкеръ теперь у насъ каждый день. Софи влюблена въ него до безумія. Папа очень веселъ. Я даже слышала отъ нашего Григорія, который мететь полъ и всегда почти разговариваетъ самъ съ собою, что скоро будетъ свадьба, потому что папа хочетъ непременно видѣть Софи или за генераломъ, или за камеръ-юнкеромъ, или за военнымъ полковникомъ»....

Чортъ возьми! я не могу больше читать... Все или камеръ-юнкеръ, или генераль. Все, что есть лучшаго на свѣтѣ, все достается или камеръ-юнкерамъ, или генераламъ. Найдешь себѣ бѣдное богатство, думаешь достать его рукою,—срываетъ у тебя камеръ-юнкеръ или генераль. Чортъ побери! Желалъ бы я самъ сдѣлаться генераломъ, не для того, чтобы получить руку и прочее,—нѣтъ, хотѣлъ бы быть генераломъ для того только, чтобы увидѣть, какъ они будутъ увиваться и дѣлать всѣ эти разныя придворныя штуки и эквивоки, и потомъ сказать имъ, что я плюю на васъ обоихъ. Чортъ побери, досадно! Я изорвалъ въ клочки письма глупой собачонки:

Декабря 3.

Не можетъ быть. Враки! Свадьбъ не бывать! Что-жъ изъ того, что онъ камеръ-юнкеръ? Вѣдь это больше ничего, кромѣ достоинство: не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять въ руки. Вѣдь черезъ то, что камеръ-

юнкеръ, не прибавится третій глазъ на лбу. Вѣдь у него же носъ не изъ золота сдѣланъ, а такъ же, какъ и у меня, какъ и у всякаго; вѣдь онъ имъ нюхаетъ, а не ѣстъ, чихаетъ, а не кашляетъ. Я нѣсколько разъ уже хотѣлъ добратся, отчего происходятъ всѣ эти разности. Отчего я титулярный совѣтникъ и съ какой стати я титулярный совѣтникъ? Можетъ-быть, я совсѣмъ не титулярный совѣтникъ? Можетъ-быть, я какой-нибудь графъ или генералъ, а только такъ кажусь титулярнымъ совѣтникомъ. Можетъ-быть, я самъ еще не знаю, кто я таковъ. Вѣдь сколько примѣровъ по исторіи: какой-нибудь простой, не то уже, чтобы дворянинъ, а просто какой-нибудь мѣщанинъ или даже крестьянинъ — и вдругъ открывается, что онъ какой-нибудь вельможа или баронъ, или какъ его... Когда изъ мужика да иногда выходитъ этакое, что же изъ дворянина можетъ выйти? Вдругъ, напримѣръ, я вхожу къ нашему въ генеральскомъ мундирѣ: у меня и на правомъ плечѣ эполета, и на лѣвомъ плечѣ эполета, черезъ плечо голубая лента—что? какъ тогда запоетъ красавица моя? что скажетъ и самъ папа, директоръ нашъ? О, это большой честолюбецъ! Это — масонъ, непременно масонъ; хотя онъ и прикидывается такимъ и этакимъ, но я тотчасъ замѣтилъ, что онъ масонъ: онъ если даетъ кому руку, то высовываетъ только два пальца. Да развѣ я не могу быть сию же минуту пожалованъ генералъ-губернаторомъ, или интендантомъ, или тамъ другимъ какимъ-нибудь? Мнѣ бы хотѣлось знать, отчего я титулярный совѣтникъ? Почему именно титулярный совѣтникъ?

Декабря 5.

Я сегодня все утро читалъ газеты. Странныя дѣла дѣлаются въ Испаніи. Я даже не могъ хорошенько разобрать ихъ. Пишутъ, что престолъ упраздненъ, и что чины находятся въ затруднительномъ положеніи о избраніи наследника, и отъ того происходятъ возмущенія. Мнѣ кажется это чрезвычайно страннымъ. Какъ же можетъ быть престолъ

упраздненъ? Говорятъ, какая-то донна должна взойти на престоль. Не можетъ взойти донна на престоль, никакъ не можетъ. На престоль долженъ быть король. «Да», говорятъ, «нѣтъ короля». Не можетъ статься, чтобы не было короля. Государство не можетъ быть безъ короля. Король есть, да только онъ, вѣрно, гдѣ-нибудь находится въ неизвѣстности. Онъ, статься-можетъ, находится тамъ же, но какія-нибудь или фамилныя причины, или опасенія со стороны сосѣдственныхъ державъ, какъ-то: Франціи или другихъ земель, заставляють его скрываться, или есть какія-нибудь другія причины.

Декабря 8.

Я было уже совсѣмъ хотѣлъ итти въ департаментъ, но разныя причины и размышленія меня удержали. У меня все не могли выйти изъ головы испанскія дѣла. Какъ же можетъ это быть, чтобы донна сдѣлалась королевою? Не позволять этого. И, во-первыхъ, Англія не позволитъ. Да притомъ и дѣла политическія всей Европы, австрійскій императоръ, нашъ государь... Признаюсь, эти происшествія такъ меня убили и потрясли, что я рѣшительно ничѣмъ не могъ заняться во весь день. Мавра замѣчала мнѣ, что я за столомъ былъ чрезвычайно развлеченъ. И точно, я двѣ тарелки, кажется, въ разсѣянности бросилъ на полъ, которыя тутъ же расшиблись. Послѣ обѣда ходилъ подъ горы: ничего поучительнаго не могъ извлечь. Большею частию лежалъ на кровати и разсуждалъ о дѣлахъ Испаніи.

Годъ 2000-й апрѣля 43 числа.

Сегодняшній день есть день величайшаго торжества! Въ Испаніи есть король. Онъ отыскался. Этотъ король — я! Именно только сегодня объ этомъ узналъ я. Признаюсь, меня вдругъ какъ будто молніей освѣтило. Я не понимаю, какъ я могъ думать и воображать себѣ, что я титулярный

совѣтникъ. Какъ могла войти мнѣ въ голову эта сумасбродная, сумасшедшая мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда въ сумасшедшій домъ. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все, какъ на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною въ какомъ-то туманѣ. И это все происходитъ, думаю, оттого, что люди воображаютъ, будто человѣческій мозгъ находится въ головѣ; совсѣмъ нѣтъ: онъ принисется вѣтромъ со стороны Каспійскаго моря. Сначала я объявилъ Мавръ, кто я. Когда она услышала, что передъ нею испанскій король, то всплеснула руками и чуть не умерла отъ страха: она, глупая, еще никогда не видала испанскаго короля. Я, однакоже, старался ее успокоить, и въ милостивыхъ словахъ старался ее увѣрить въ благосклонности, сказавши, что я вовсе не сержусь за то, что она мнѣ иногда дурно мнѣ стила сапоги. Видь это черный народъ: имъ нельзя говорить о высокихъ матеріяхъ. Она испугалась оттого, что находится въ увѣренности, будто всѣ короли въ Испаніи похожи на Филиппа II. Но я растолковалъ ей, что между мною и Филиппомъ нѣтъ никакого почти сходства и что у меня нѣтъ ни одного капуцина. Въ департаментъ не ходилъ. Чортъ съ ними! Нѣтъ, пріятель, теперь не заманийте меня: я не стану переписывать гадкихъ бумагъ вашихъ!

*Мартобря 86 числа, между
днемъ и ночью.*

Сегодня приходилъ нашъ экзекуторъ съ тѣмъ, чтобы я шелъ въ департаментъ, что уже болѣе трехъ недѣль, какъ я не хожу на должность.

Но люди несправедливы: ведутъ счеты по недѣлямъ. Это жиды ввели, потому равнинъ ихъ въ это время моется. Я, однакоже, для шутки пошелъ въ департаментъ. Начальникъ отдѣленія думалъ, что я ему поклонюсь и стану извиняться; но я посмотрѣлъ на него равнодушно, не слишкомъ гнѣвно и не слишкомъ благосклонно. и сѣлъ на свое мѣсто, какъ

будто никого не замѣчая. Я глядѣлъ на всю канцелярскую сволочь и думалъ: «что если бы вы знали, кто между вами сидитъ?»... Господи Боже, какую бы вы ералашъ подняли! Да и самъ начальникъ отдѣленія началъ бы мнѣ такъ же кланяться въ поясъ, какъ онъ теперь кланяется передъ директоромъ. Передо мною положили какія-то бумаги, чтобы я сдѣлалъ изъ нихъ экстрактъ. Но я и пальцемъ не при- тронулся. Черезъ нѣсколько минутъ все засуетилось. Сказали, что директоръ идетъ. Многіе чиновники побѣжали напере- рывъ, чтобы показать себя передъ нимъ, но я ни съ мѣста. Когда онъ проходилъ черезъ наше отдѣленіе, всѣ застег- нули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директоръ? Чтобы я всталъ передъ нимъ—никогда! Какой онъ директоръ? Онъ пробка, а не директоръ. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего—вотъ, ко- терою закупориваютъ бутылки! Мнѣ больше всего было за- бавно, когда подсунули мнѣ бумагу, чтобы я подписалъ. Они думали, что я напишу на самомъ кончикѣ листа: столо- начальникъ такой-то—какъ бы не такъ! А я на самомъ главномъ мѣстѣ, гдѣ подписывается директоръ департамента, черкнулъ: «Фердинандъ VIII». Нужно было видѣть, какое благоговѣйное молчаніе воцарилось; но я кивнулъ только рукою, сказавъ: «Не нужно никакихъ знаковъ подданниче- ства!» и вышелъ. Оттуда я пошелъ прямо въ директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотѣлъ меня не впу- стить, но я ему такое сказалъ, что онъ и руки опустилъ. Я прямо пробрался въ уборную. Она сидѣла передъ зерка- ломъ, вскочила и отступила отъ меня. Я, однакоже, не ска- залъ ей, что я испанскій король. Я сказалъ только, что счастье ее ожидаетъ такое, какого она и вообразить себѣ не можетъ, и что, несмотря на козни непріятелей, мы бу- демъ вмѣстѣ. Я больше ничего не хотѣлъ говорить и вы- шелъ. О, это коварное существо—женщина! Я теперь только постигалъ, что такое женщина. До сихъ поръ никто еще не узнавалъ, въ кого она влюблена: я первый открылъ это. Женщина влюблена въ чорта. Да, не шутя. Физики пишутъ

глупости, что она то и то,—она любить только одного чорта. Вонъ видите, изъ ложи перваго яруса она наводитъ лорнетъ. Вы думаете, что она глядитъ на этого тодстяка съ звѣздою? Совсѣмъ нѣтъ: она глядитъ на чорта, что у него стоитъ за спиною. Вонъ онъ спрятался къ нему во фракъ. Вонъ онъ киваетъ оттуда къ ней пальцемъ! И она выйдетъ за него, выйдетъ. А вотъ эти всѣ, чиновные отцы ихъ, вотъ эти всѣ, что колятъ во всѣ стороны и лѣзутъ ко двору, и говорятъ, что они патриоты, и то, и сѣ: аренды, аренды хотятъ эти патриоты! Мать, отца, Бога продадутъ за деньги, честолюбцы, хриstopродавцы! Все это честолюбие, и честолюбие оттого, что подъ язычкомъ находится маленькій пузрырекъ и въ немъ небольшой червячокъ, величиною съ булавочную головку, и это все дѣлаетъ какой-то цырюльникъ, который живетъ въ Гороховой. Я не помню, какъ его зовутъ; но достовѣрно извѣстно, что онъ, вмѣстѣ съ одною повивальною бабкою, хочетъ по всему свѣту распространить магометанство, и оттого, уже, говорятъ, во Франціи большая часть народа признаетъ вѣру Магомета.

*Никотораго числа. День былъ
безъ числа.*

Ходилъ инкогнито по Невскому проспекту. Проѣзжалъ государь императоръ. Весь городъ снялъ шапки и я также; однакоже, не подаль никакого вида, что я испанскій король. Я почелъ неприличнымъ открыться тутъ же при всѣхъ, потому что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сихъ поръ не имѣю испанскаго національнаго костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотѣлъ было заказать портному, но это совершенные ослы; притомъ же они совсѣмъ небрегутъ своею работою, ударились въ аферу и большею частію мостятъ камни на улицѣ. Я рѣшился сдѣлать мантию изъ новаго вицъ-мундира, который надевалъ, всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не

могли испортить, то я самъ рѣшился шить, заперли дверь, чтобы никто не видалъ. Я изрѣзалъ ножницами его весь, потому что покрой долженъ быть совершенно другой.

Числа не помню. Мѣсяца тоже не было. Было, чортъ знаетъ, что такое.

Мантия совершенно готова и спита. Мавра вскрикнула, когда я надѣлъ ее. Однакоже, я еще не рѣшаюсь представляться ко двору: до сихъ поръ нѣтъ депутаціи изъ Испаніи. Безъ депутатовъ неприлично: никакого не будетъ вѣса моему достоинству. Я ожидаю ихъ съ часа на часъ.

Числа 1-го.

Удивляетъ меня чрезвычайно медленность депутатовъ. Какія бы причины могли ихъ остановить? Неужели Франція? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходить справляться на почту, не прибыли ли испанскіе депутаты; но почтмейстеръ чрезвычайно глупъ, ничего не знаетъ. «Нѣтъ», говоритъ, «здѣсь нѣтъ никакихъ испанскихъ депутатовъ, а письма если угодно написать, то мы примемъ по установленному курсу». Чортъ возьми! что письмо? Письмо — вздоръ. Письма пишутъ аптекари, да и то прежде смочивши уксусомъ языкъ, потому что безъ этого все лицо было бы въ лишаяхъ.

Мадридъ. Февруарій тридцатый.

Итакъ, я въ Испаніи, и это случилось такъ скоро, что я едва могъ очнуться. Сегодня поутру явились ко мнѣ депутаты испанскіе, и я вмѣстѣ съ ними сѣлъ въ карету. Мнѣ показалась странною необыкновенная скорость. Мы ѣхали такъ шибко, что черезъ полчаса достигли испан-

скихъ границъ. Впрочемъ, вѣдь теперь по всей Европѣ чугунныя дороги, и пароходы ѣздятъ чрезвычайно скоро. Странная земля Испанія! Когда мы вошли въ первую комнату, то я увидѣлъ множество людей съ выбритыми головами. Я, однакоже, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреютъ головы. Мнѣ показалось чрезвычайно страннымъ обхожденіе государственнаго канцлера, который велъ меня за руку: онъ толкнулъ меня въ небольшую комнату и сказалъ: «Сиди тутъ, и если ты будешь называть себя королемъ Фердинандомъ, то я изъ тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего, кромѣ искушеніе, отвѣчалъ отрицательно, за что канцлеръ ударилъ меня два раза палкою по спинѣ такъ больно, что я чуть было не вскрикнулъ, но удержался, вспомнивши, что это рыцарскій обычай при вступленіи въ высокое званіе, потому что въ Испаніи еще и донинѣ ведутся рыцарскіе обычаи. Оставшись одинъ, я рѣшился заняться дѣлами государственными. Я открылъ, что Китай и Испанія совершенно одна и та же земля, и только по невѣжеству считаютъ ихъ за разные государства. Я совѣтую всѣмъ нарочно написать на бумагѣ Испанія, то и выйдетъ Китай. Но меня, однакоже, чрезвычайно огорчало событіе, имѣющее быть завтра. Завтра въ семь часовъ совершится странное явленіе: земля сядетъ на луну. Объ этомъ и знаменитый англійскій химикъ Велингтонъ пишетъ. Признаюсь, я ощутилъ сердечное безпокойство, когда вообразилъ себѣ необыкновенную вѣжность и непрочность луны. Луна вѣдь обыкновенно дѣлается въ Гамбургѣ, и прескверно дѣлается. Я удивляюсь, какъ не обратить на это вниманіе Англія. Дѣлалъ ее хромой бочарь, и видно, что, дуракъ, никакого понятія не имѣлъ о лунѣ. Онъ положилъ смоляной канатъ и часть деревяннаго масла; и оттого по всей землѣ вонь страшная, такъ что нужно затыкать носъ. И оттого самая луна такой вѣжнѣй шаръ, что люди никакъ не могутъ жить, и тамъ теперь живутъ только одни носы. И

потому-то самому мы не можем видѣть носовъ своихъ, ибо они всё находятся въ лунѣ. И когда я вообразилъ, что земля вещество тяжелое и можетъ, насѣвши, раззолотъ въ муку носы наши, то мною овладѣло такое безпокойство, что я, надѣвши чулки и башмаки, поспѣшилъ въ залу государственнаго совѣта, съ тѣмъ, чтобы дать приказъ полиціи не допустить землѣ сѣсть на луну. Вритые гранды, которыхъ я засталъ въ залѣ государственнаго совѣта великое множество, были народъ очень умный, и когда я сказалъ: «Господа, спасемъ луну, потому что земля хочетъ сѣсть на нее!» то всё въ ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желаніе и многіе полѣзли на стѣну съ тѣмъ, чтобы достать луну; но въ это время вошелъ великій канцлеръ. Увидѣвши его, всё разбѣжались. Я, какъ король, остался одинъ. Но канцлеръ, къ удивленію моему, ударилъ меня палкою и прогналъ въ мою комнату. Такую имѣютъ власть въ Испаніи народные обычаи!

*Январь того же года, случив-
шійся послѣ февруарія.*

До сихъ поръ не могу понять, что это за земля Испанія. Народные обычаи и этикетки двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, рѣшительно не понимаю ничего. Сегодня выбрали мнѣ голову, несмотря на то, что я кричалъ изо всей силы о нежеланіи быть быть монахомъ. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мнѣ на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствовалъ. Я готовъ былъ впасть въ бѣшенство, такъ что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значенія этого страшнаго обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для меня непостижима безразсудность королей, которые до сихъ поръ не уничтожаютъ его. Судя по всѣмъ вѣроятіямъ, догадываюсь, не попался ли я въ руки инквизиціи, и тотъ, кото-

раго я принялъ за канцлера, не есть ли самъ великій инквизиторъ. Только я все не могу понять, какъ же могъ король подвергнуться инквизиціи. Оно, правда, могло со стороны Франціи и особенно Полиніякъ. О, это бестія Полиніякъ! Поклялся вредить мнѣ по смерти. И вотъ гонить да и гонить; но я знаю, пріятель, что тебя водить англичанинъ. Англичанинъ большой политикъ. Онъ вездѣ юлитъ. Это уже извѣстно всему свѣту, что когда Англія нюхаетъ табакъ, то Франція чихаетъ.

Число 25.

Сегодня великій инквизиторъ опять пришелъ въ мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался подъ стулъ. Онъ, увидѣвши, что нѣтъ меня, началъ звать. Сначала закричалъ: «Поприщинъ!» — Я ни слова. Потомъ: «Аксентій Ивановъ! Титулярный совѣтникъ! Дворянинъ!» — Я все молчу. — «Фердинандъ VIII, король испанскій!» — Я хотѣлъ было высунуть голову, но послѣ подумалъ: «Нѣтъ, братъ, не надуешь! Знаемъ мы тебя: опять будешь лить холодную воду мнѣ на голову». Однакоже, онъ увидѣлъ меня и выгналъ палкою изъ-подъ стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочемъ, за все это вознаградило меня нынѣшнее открытіе: я узналъ, что у всякаго пѣтуха есть Испанія, что она у него находится подъ перьями, недалеко возлѣ хвоста. Великій инквизиторъ, однакоже, ушелъ отъ меня, разгнѣванный и грозя мнѣ какимъ-то наказаніемъ. Но я совершенно пренебрегаю его безсильною злобою, зная, что онъ дѣйствуетъ какъ машина, какъ орудіе англичанина.

Чи 34 сло Ми. издао. 1849р 349.

Нѣтъ, я больше не имѣю силъ терпѣть. Боже! что они дѣлаютъ со мною! Они льютъ мнѣ на голову холодную воду! Они не внемлютъ, не видятъ, не слушаютъ меня. Что я

сдѣлать имъ? За что они мучать меня? Чего хотятъ они отъ меня бѣднаго? Что могу дать я имъ? Я ничего не имѣю. Я не въ силахъ, я не могу вынести всѣхъ мукъ ихъ, голова горитъ моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мнѣ тройку быстрыхъ какъ вихорь коней! Садись, мой ящикъ, звени, мой колокольчикъ, взвейтеса, кони, и несите меня съ этого свѣта! Далѣе, далѣе, чтобы не видно было ничего, ничего. Вонъ небо клубится передо мною; звѣздочка сверкаетъ вдали; лѣсъ несется съ темными деревьями и мѣсяцемъ; низый туманъ стелется подъ ногами; струна звенитъ въ туманѣ; съ одной стороны море, съ другой Италія; вонъ и русскія избы виднѣются. Домъ ли то мой синѣтъ вдали? Мать ли моя сидитъ передъ окномъ? Матушка, спаси твоего бѣднаго сына! Урони слезинку на его больную головушку! Посмотри, какъ мучать они его! Прижми ко груди своей бѣднаго спротку! Ему нѣтъ мѣста на свѣтѣ! его гонять!—Матушка, пожалѣй о своемъ больномъ дитяткѣ!... А знаете ли, что у алжирскаго бея подъ самымъ носомъ шишка?

КОНЕЦЪ «АРАБЕСОНЪ».

III.

ПРОИЗВЕДЕНІЯ

(1834—январь 1842 г.)

НЕ ВОШЕДШІЯ ВЪ ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ

СОЧИНЕНІЙ ГОГОЛЯ.

АЛЬФРЕДЪ.

НАЧАЛО ТРАГЕДИИ ИЗЪ АНГЛІЙСКОЙ ИСТОРИИ.

ДѢЙСТВІЕ I.

Народъ толпится по набережной.

Одинъ изъ народа. Ай, что ты такъ тѣснишь! Пустите хоть душу на покаянье!

Другой изъ народа. Да посторонитесь, ради Бога!

Голосъ третій. Эхъ, какъ продирается! Чего тебѣ? Ну, море, вода—больше ничего. Чтò, не видѣлъ (развѣ) никогда? Думаешь, такъ прямо и увидишь короля?

[Туркиль]. Ну, теперь, какъ Богъ дастъ, авось будетъ лучшее время, когда прійдетъ король. Вотъ не прогонить ли собакъ датчанъ?

[Другой]. Ты откудава, братъ?

[Туркиль]. Изъ графства Гертингаль, Томсъ Туркиль, сеорль.

[Другой]. Не знаю.

[Туркиль]. Бѣжалъ изъ Колдинггама.

[Другой]. Знаю—гдѣ монахинь сожгли. Ахъ, страхъ тамъ какой! Такого нехристіанства и отъ жидовъ, чтò распяли Христа, не было.

Женщина изъ толпы. А чтò же тамъ было?

[Другой]. А вотъ чтò. Когда узнали монахини, что уже подступаетъ Игваръ съ датчанами, которые, тетка, такой народъ, что не спустятъ ни одной женщины, будь хоть немного смазлива... дѣло женское... ну, понимаешь... такъ игуменья,—вотъ святая, такъ, точно, святая,—уговорила всѣхъ

монахинь и сама первая изрѣзала себѣ все лицо; да, изуродовала совсѣмъ себя. И какъ увидѣли эти звѣри — нѣтъ хорошихъ лицъ, то его не оставили, а пережгли огнемъ всѣхъ монахинь.

Голось. Боже ты мой!

Голось въ толпѣ. Эхъ, англосаксы!

Другой. Сильный народъ, проклятый! конечно, нечистая сила.

[Третій]. Что, какъ въ вашемъ графствѣ?

[Первый]. Что въ нашемъ графствѣ! Вотъ я другой мѣсяцъ обѣдни не слушалъ.

[Третій]. Какъ?

[Первый]. Всѣ церкви пусты, епископа со свѣчой не сыщешь.

[Другой]. Отъ датчанъ дурно, а отъ нашихъ еще хуже. Всякій такъ подличаетъ съ датчаниномъ, чтобы больше земли притянуть къ себѣ. А если какой-нибудь сеорль, чтобы убѣжать этой проклятой чужеземной собачьей власти, и поддастся въ покровительство тану, думая, что если платить повинности, то ужъ лучше своему, чѣмъ чужому, — еще хуже: такъ закабалитъ его, что и бретонъ такого рабства не знаетъ.

[Третій]. Ну, наконецъ, мы приободримся немного. Теперь у насъ, говорятъ, будетъ такой король, какъ и не бывало, — мудрый, какъ въ писаніи Давидъ.

[Третій]. Отчего-жъ онъ не здѣсь, а за моремъ?

[Другой]. А гдѣ это — за моремъ?

[Первый]. Въ городъ, въ Римъ.

[Третій]. Зачѣмъ же тамъ онъ?

[Первый]. Тамъ онъ обучался, потому что умный городъ, и выучился, говорятъ, (онъ тамъ) всему, всему, что ни есть на свѣтѣ.

Другой голось. Какой городъ, ты сказалъ?

[Первый]. Римъ.

[Другой]. Не знаю.

[Первый]. Рима не знаешь? Ну, умень ты!

[Третій]. Да что это Римъ? Тамъ, гдѣ святѣйшій живетъ?

Первый. Ну, да. Пресвятая Дѣва! если бы мнѣ довелось побывать когда-нибудь въ Римѣ! Говорятъ, городъ больше всей Англїи и дома изъ чистаго золота.

Другой. Мнѣ не такъ Римъ, какъ бы хотѣлось увидѣть папу. Вѣдь посуди ты: выше ужъ нѣтъ никого на свѣтѣ, какъ папа. И епископъ, и самъ король ниже папы. Такой святой, что, какіе ни есть грѣхи, то можетъ отпустить.

[Первый]. Вонъ, слышишь ли? кто-то говоритъ, что видѣлъ папу.

Голоса народа на другой сторонѣ. Ты видѣлъ папу?

Брифринъ (изъ толпы). Видѣлъ.

[Голоса народа]. Гдѣ-жъ ты его видѣлъ?

[Брифринъ]. Въ самомъ Римѣ.

[Голоса народа]. Ну, какъ же? Что онъ? Какой?

(Народъ сталкивается въ ту сторону).

Голоса. Да пустите! Ну, чего вы лѣзете? Не слышали разказовъ глупыхъ?

Брифринъ. Я разкажу по порядку, какъ я его видѣлъ. Когда тетка моя Маркинда умерла, то оставила мнѣ всего только половину *hydes* земли. Тогда я сказалъ себѣ: «За чѣмъ тебѣ, Брифринъ, сынъ Квикельма, обрабатывать землю, когда ты можешь оружіемъ добиться чести?» Сказавши это себѣ, я поѣхалъ кораблемъ къ французскому королю. А французскій король набиралъ себѣ дружину изъ людей самыхъ сильныхъ, чтобъ охраняли его въ случаѣ сраженія, или когда выѣдетъ куда, то и они бы выѣзжали, чтобы, если посмотрѣть, такъ хорошей видъ былъ. Когда я попросился, меня приняли. Славный народъ! Латы лучше же во сто мѣръ нашихъ. Кольчуги такія-жъ, какъ и у насъ, только не всѣ желѣзныя: въ одномъ мѣстѣ—смотришь ~ рядъ колець мѣдныхъ, а въ другомъ есть и серебряныя. Мечъ при каждомъ; стрѣлъ нѣтъ, только конья. Топоръ больше чѣмъ въ полпуда,—о, куда больше! А желѣзо такое... фи! то, что у стараго Вульфинга на бердышѣ, ни къ чорту не годится!

Вульфингъ (изъ толпы). Знай себя!

[Брифринъ]. Вотъ мы отправились съ французскимъ королемъ въ Римъ, чтобъ папѣ почтеніе отдать. Городъ такой, что никакъ нельзя рассказать; а дома и храмы Божіи не такъ какъ у насъ строятся, что крыши вострыя, какъ копье, а вотъ круглыя совсѣмъ такъ, какъ бы натянутый лукъ, и шпицовъ совсѣмъ нѣтъ. А столпы вездѣ, и такъ много и рѣзьбы; и золота... великолѣпіе такое—такъ и ослѣпило глаза. Да, теперь насчетъ папы скажу. Въ одинъ вечеръ пришелъ товарищъ мой, нѣмецъ Арнуль, славный воинъ... перстней у него и золотыхъ крестовъ, добытыхъ на войнѣ, куча, и на гитарѣ такъ славно играетъ... «Хочешь», говоритъ, «видѣть папу?»—«Ну, хочу».—«Такъ смотри же, завтра я приду къ тебѣ пораньше. Будетъ самъ папа служить». Пошли мы съ Арнулемъ. Народу по улицамъ—Боже ты мой! Больше, чѣмъ здѣсь. Римлянки и римляне въ такихъ нарядахъ—такъ и ослѣпило глаза. Мы протолкались на лучшее мѣсто, но и тамъ, если бы я немножко былъ ниже, то ничего бы не увидѣлъ за народомъ. Прежде всѣхъ пошли мальчишки лѣтъ десяти, со свѣчами, въ вышитыхъ золотомъ (платяхъ), и какъ вышли они—такъ и ослѣпили глаза. (А ходъ-то весь) для всѣхъ былъ выстланъ краснымъ сукномъ, краснымъ, краснымъ, вотъ какъ кровь... Ей Богу, такое красное сукно, какого я и не видалъ. Если-бъ изъ этого сукна да мнѣ верхнюю мантию, то вотъ, говорю вамъ передъ всѣми, что не только бы свой новый шлемъ, что съ камнемъ и позолотою, который вы знаете, но если бы прибавить къ этому ту сбрую, которую промѣнялъ Кеифусъ рыжіи за гнѣдого коня, да бердышъ и рукавицы стараго Вульфinga и еще коня въ придачу—ей Богу, отдалъ бы за эту мантию! Красная, красная, какъ огонь...

Голосъ въ народѣ. Чортъ знаетъ что! Ты рассказывай о папѣ, а какая нужда до твоихъ мантий!

Вульфingъ (*изъ толпы*). Хвастунъ! расхвастался!

Брифринъ. Сейчасъ. Вотъ, вслѣдъ за ребятами поиди тѣ—какъ ихъ? Они съ одной стороны сдають на епископовъ,

только не епископы, а такъ, какъ наши таны, или бароны въ рясахъ, имя не помню, шепелявое какое-то имя, — то эти всѣ таны, или епископы, какъ вышли, такъ и ослѣпили глаза. А какъ показался самъ папа, то такой блескъ пошелъ — такъ и ослѣпилъ глаза. На епископахъ-то все серебряное, а на папѣ золотое. Гдѣ епископы выступаютъ, тамъ серебряный полъ, а гдѣ папа, тамъ золотой; гдѣ епископы стоятъ, тамъ серебряный полъ, а гдѣ папа, тамъ золотой.

Голосъ изъ толпы. Бровингъ, корабль! ей Богу, корабль!
(*Всѣ бросаются, Брифрикъ первый, и тѣнутся еще около набережной.*)

Голоса въ толпѣ. Да ну, стой, ради Бога! — Задавила! — Да дайте хоть назадъ выбраться.

Голосъ женщины. Ай, ай! косолапый медвѣдь, руку выломилъ! Ой, пропусти! Кто въ Христа вѣруеть, пропустите!

Брифрикъ (*оборачиваясь*). Чего лѣзешь на плечи? Разгѣя тебѣ дошадь верховая? Гдѣ-жъ король? Гдѣ-жъ корабль? Экая тѣснота!

Голосъ въ народѣ. Да нѣтъ корабля никакого!

[Голосъ изъ толпы]. Кто выдумалъ, что король ѣдетъ?

[Голосъ въ народѣ]. Да кто же? ты говорилъ!

[Голосъ изъ толпы]. И не думалъ.

[Голоса въ народѣ]. Да кто-жъ сказалъ, что король? — Джонъ Шпингъ сказалъ, что король ѣдетъ. — Эй, Шпингъ, зачѣмъ ты сказалъ, что король ѣдетъ?

[Шпингъ]. Ей Богу, любезный народъ, совсѣмъ было похоже на корабль!

[Брифрикъ]. Впередъ молчи, дуракъ, если не хочешь самъ поплыть.

Старуха (*пролзая впередъ*). Нашли, чего толпиться! И куда? Вѣдь никого нѣтъ.

[Брифрикъ]. А, Кудредъ! Откудова, пріятель?

[Кудредъ]. Изъ дому.

[Брифрикъ]. Короля видѣть пришелъ?

[Кудредъ]. И побольше чѣмъ видѣть.

[Брифрикъ]. А что еще.

[Кудредь]. Жалобу прямо самому королю.

[Брифринь]. На кого?

[Кудредь]. На королевскаго тана Этельбальда.

[Брифринь]. Ты шутишь, братецъ?

[Кудредь]. Нѣтъ, не шучу.

Голоса въ народѣ. Вишь, на Этельбальда жалуются!—Онъ сошелъ съ ума.— Да онъ вѣдь сильнѣе всѣхъ въ королевствѣ.— Войска и богатства у него больше, чѣмъ у короля.

Эгбертъ. Кто несетъ жалобу на Этельбальда, тотъ подай мнѣ руку; хотя ты и простой сеорль, а я танъ, но я пожимаю, потому что ты честный человекъ. Я тебѣ буду помогать.

Кисса. Эй, другъ, напрасно ты связываешься съ... А я разскажу королю, что ты жидъ, а не христіанинъ, язычникъ скверный, что ты никогда не крестишься. Я знаю, кому ты молишься: у тебя на дому есть деревянный болванъ, ты ему цѣлуешь руки, язычникъ скверный! Тебѣ нужно монастырское покаяніе, если не....

Брифринь. За что-жь жалуешься?

[Кудредь]. За что?— Этельбальдъ, хоть и королевскаго тановъ всѣхъ старше, но подлець и мошенникъ. Когда датчане ворвались въ Вессексъ и начали грабить, я прибѣгнулъ къ нему, свинѣ. Думалъ: онъ богатъ и столько имѣетъ земли, что зачѣмъ ему бы обижать меня. Я обѣщала ему, если надобность, первому явиться въ его войскъ и лошадь привести свою и все вооруженіе мое... А онъ, мошенникъ, какъ только датчане ушли, совсѣмъ зачислилъ меня въ свои рабы. За что я долженъ ему мостить чертовскій мостъ къ его замку и на моихъ двухъ лошадяхъ, самыхъ благородныхъ, возить фашинникъ? А теперь, когда я отлучился по надобности въ графство Гексганъ, онъ взялъ мою собственную землю, родительскую землю, которой было у меня больше двухъ гидесъ, и отдалъ въ ленъ какому-то; а мнѣ отдалъ двадцать шаговъ песчанку за кладбищемъ. «Вотъ тебѣ», говорить, «земля!» Да развѣ я, старый плутъ, рабъ твой? Я вольный, я сеорль. Я, если-бъ только захотѣлъ, прику-

пиль еще два *hydes* земли, да выстроилъ церковь и домъ,— я бы самъ былъ таномъ! Никто, по законамъ англосакскимъ, не можетъ обидѣть и закабалить вольнаго челоуѣка. Развѣ я сдѣлалъ какое преступленіе?

[Брифрикъ]. Да ходилъ ли ты съ жалобою въ наицъ ширгемотъ?

[Кудредъ]. Подлецы! всѣ держатъ его сторону.

[Брифрикъ]. Ну, да все-таки какъ же порѣшили?

[Кудредъ]. Вотъ, на тебѣ бумагу, если ты прочтешь.

[Брифрикъ]. Чтѣ ты? Такъ у васъ судьи пишутъ? Слышь, ты, народъ? писанная бумага! У насъ во всемъ ширствѣ, да и [во всемъ] Вестъ-Вессексѣ, ни одинъ ширъ, ни алдерманъ не умѣетъ писать. Вишь ты, какія каракульки! Тутъ гдѣ-нибудь должно быть А В С, я ужъ знаю: меня было начиналъ учить одинъ церковникъ.

Туркиль (*Вульфину*). Я думаю, нѣтъ мудренѣе науки, какъ письмо.

[Вульфингъ]. Попы все-таки прочтутъ.

Брифрикъ (*обращаясь къ Киссъ*). Высокородный танъ, прочти-ка; ты, вѣрно, знаешь?

Кисса. Поди прочи! я тебѣ не поицъ.

Гунтингъ. Давай, я прочту.

Туркиль. Кто оицъ?

Вульфингъ. Не знаю.

Голосъ. Это, видишь, тотъ, чтѣ былъ школьнымъ учителемъ. Да теперъ датчане разорили школу.

[Гунтингъ] *читаетъ*. «Да будетъ вѣдомо: Schirgeimot Агельмостангъ, въ графствѣ Герефоргъ, во время царствованія Этельреда, гдѣ...»

[Голосъ]. А, при покойномъ королѣ! Храбрый былъ король, всю жизнь бился съ этими мерзкими датчанами.

[Гунтингъ] (*продолжаетъ*). «...гдѣ засѣдали: Дунстанъ, епископъ, Кеолрикъ, алдерманъ, Варвикъ, его сынъ, и Эсквинъ, сынъ Центвина, и Туркиль-косоглазый, какъ комиссары короля, засѣдали...»

Вульфингъ. Слышишь, Туркиль? это ты!

Туркиль. Развѣ я косоглазый?

[Гунтингъ] *(продолжаетъ)*. «...въ присутствіи Брининга, шерифа, Агельварда де-Фрома, Леофина де-Фрома черного, Годрига де-Штока и всѣхъ тановъ графства Гереворта, Кудредь, сынъ Эгвиновъ, представилъ суду противъ высокороднаго графа и тана королевства въ томъ, что якобы онъ, Кудредь, отъ него, высокороднаго графа Этельвальда...»

Въ народѣ крикъ и давка. Пусти, пусти!—Куда теперь сторониться?—Балюшки, балюшки, тресну! Со всѣхъ сторонъ придавили!

Высокій *(болтаетъ сверху руками)*. Что эти бабы лѣзутъ? Желаль...

Брифрикъ. Чего народъ лѣзетъ? *(Продирается)*.

[Кто-то въ толпѣ]. Да взбѣленился, просто: никого нѣтъ. Какой-то дуракъ опять пронесъ, что корабль показался...

Кричитъ Кудредь. Бумагу, бумагу, бумагу дай!... Экій трусь, изорвалъ!

Кисса. Да кто сказалъ, что король ѣдетъ?

[Голоса]. Я не говорилъ.—Я не говорилъ.—Опять, вѣрно, Шпингъ.

Шпингъ. Нѣтъ, высокородный танъ, и языкомъ не ворошилъ.

Брифрикъ. Ей Богу, глупый народъ! Ну, что, хоть бы и въ самомъ дѣлѣ былъ король?

Вульфингъ. А самъ, небось, первый полѣзъ.

Брифрикъ. Что-жь? только посмотрѣть.

Одинъ изъ народа. Вотъ таны поѣхали на лошадяхъ. Это, вѣрно, встрѣчать короля.

Рыцарь *на лошади*. Дорогу, дорогу! Народъ, посторонись!

[Эгбертъ]. Кому дорогу?

[Рыцарь]. Посторонись, говорятъ тебѣ. Дорогу королевскому тану Этельвальду!

Эгбертъ. Отнеси ему эту пощечину. *(Бьетъ его и убегаетъ)*.

Рыцарь *(кричитъ)*. Мы увидимся, проклятый длиннорукой чортъ!

[Вульфингъ]. Вонъ поѣхалъ графъ Эдвигъ. Видѣлъ?

[Туркиль]. Видѣлъ. Славное вооруженіе.

[Вульфингъ]. Вонъ Этельбальдъ. Гляди, какой около него строй стоятъ: въ толпѣ рыцарей, какъ въ лѣсу. Эхъ, какъ одѣты славно! Какія кирасы, щиты! Ей Богу, если-бъ хотѣли, побили датчанъ.

[Туркиль]. Отчего-жъ не хотятъ?

[Вульфингъ]. А такъ; сами держатъ руку неприятелей.

[Туркиль]. Ну, вотъ!

[Вульфингъ]. Почему-жъ не побить? Вѣдь нашихъ впятеро будетъ больше. Если собрать всѣхъ саксоновъ и англовъ, то однихъ всадниковъ будетъ на всю дорогу отъ Лондона до Йорка; а датчанъ всѣхъ-на-всѣхъ трехъ тысячъ не будетъ.

[Туркиль]. Э, любезный пріятель мой! какъ твое имя? Вульфингъ?

[Вульфингъ]. Вульфингъ.

[Туркиль]. Такъ будемъ пріятелями.

[Вульфингъ]. Вотъ тебѣ рука моя.

[Туркиль]. Не говори этого, любезный Вульфингъ: имъ помогаетъ нечистая сила, — тотъ самый сатана, о которомъ читалъ намъ въ церкви священникъ, что искушаетъ людей. Они, братъ, море заговариваютъ: вдругъ изъ бурнаго сдѣлается тихо, какъ ребенокъ; а захотятъ — начнетъ выть, какъ волкъ. Наши всадники давно бы совладали съ ними... Народъ опять стѣснился, да и сами тапы махаютъ шанками. Посмотримъ: вѣрно, король, наконецъ, ѣдетъ.

Голось въ народѣ. Ну, теперь корабль, такъ корабль!

Туркиль. Опять пошла тѣснота.

Голоса. Корабль съ тремя вѣтрилами! — Зачѣмъ дерешься? — Не лѣзь впередъ!

[Вульфингъ]. Вотъ и люди, какъ мухи, стоятъ на палубѣ.

[Туркиль]. А что-жъ не видно короля?

[Вульфингъ]. Гдѣ-жъ теперь его увидишь? Людей многое множество. Вонъ что-то блеснуло передъ солнцемъ.

[Туркиль]. Скоро идетъ корабль; видно, что заморской ра-

боты: вонъ какъ окошечки блестятъ! У насъ такихъ кораблей нѣтъ!

[Вульфингъ]. Это долженъ быть, что блестятъ, танъ.

[Туркиль]. Нѣтъ, вонъ тотъ больше блестятъ. Смотри, какой шлемъ, какое богатое убранство.

[Вульфингъ]. Это все тѣ таны, что поѣхали за нимъ въ Римъ съ посольствомъ.

[Туркиль]. Гдѣ-жъ король? Вѣдь король въ коронѣ?

Вульфингъ. Да еще не короновался.

[Туркиль]. А вонъ снялъ шляпу... Таны машутъ... Вивать, король!

Весь берегъ кричитъ: Вивать, король! Здравствуй, король!

Воины вновь машутъ.

[Туркиль]. Здравствуй, король!

Народъ. Здравствуй, король!

Всадникъ на лошади. Разступись, народъ! *(Машетъ алебардой).*

Народъ пятится. Прижатые кричатъ: Что онъ такъ кричитъ? Кто это?

[Туркиль]. Танъ Кенульфъ, сынъ Эгальдовъ, танъ изъ Мидльсекса, славный воинъ.

(Корабль подходитъ къ самому берегу. За столпившимся народомъ видны только головы).

Альфредъ *(сходя съ корабля).* Здравствуйте, добрые мои подданные!

[Народъ]. Здравствуй, король! Вивать!

(Король и свита поднимаются на лошадей въ народъ).

Народъ. Вивать, вивать, король!

Альфредъ. Благодарю, благодарю васъ, мои добрые. Я самъ не менѣе радъ видѣть васъ и мою отцовскую землю Англосаксію.

Эгбертъ. Слышишь? Англосаксію! Онъ, вѣрно, не знаетъ, что Мерси и Эстъ-Англь ужъ не наши.

(Король утѣшаетъ. Таны и народъ съ восклицаніями тлнутъ за нимъ).

[Вульфингъ]. Молодецъ король — видный, рослый, лучше

всѣхъ! Какъ онъ славно выступалъ, славно... Я думаю, латы его стоятъ больше, чѣмъ твоя жизнь.

[Эгбертъ]. Пойдемъ, посмотримъ.

[Турниль]. Постой, зачѣмъ же итти? Намъ за ними не угнаться: они на лошадахъ и во всю рысь поѣдутъ въ Йоркъ.

[Вульфингъ]. Отчего же не въ Лондонъ?

[Турниль]. Видишь, въ Лондонѣ приготовить все, какъ слѣдуетъ, а когда приготовить, тогда и онъ поѣдетъ.

Эгбертъ (*возвращаясь*). Нѣтъ, я не хочу быть послѣднимъ. Я такой же танъ. У меня тоже было въ услуженьи 16 тановъ Sith, ситкундменовъ. Правда, я потерялъ много въ войну, у меня теперь нѣтъ этого; но я защищалъ землю нашу. Отчего графъ Эдвигъ, Кенульфъ, не говоря ужъ о собакѣ Этельвальдѣ, молокососъ сынъ его, рыжебородый Киль, — почему они имѣютъ право провожать короля въ первомъ ряду? Отчего я долженъ слѣдовать еще за двумя танами? Я хотѣлъ было сбить съ сѣдла копьемъ плута Киль, да не хотѣлъ только сдѣлать этого при королѣ.

Кисса. Дьяволъ ему на шею! Я радъ, по крайней мѣрѣ, что король пріѣхалъ. Датчанъ — опять за море, завоеземъ опять Эстъ-Англъ, Мерси и Нортумберландъ также: хоть и разоренная страна, однакоже, есть добрыя земли для скота и для пашень.

[Эгбертъ]. Мнѣ король понравился — добрый молодецъ! Пойду къ нему прямо и суну ему руку, по древнему саксонскому обычаю. Скажу: «Король, вотъ тебѣ рука! при первой надобности, всегда привожу 14 тебѣ всадниковъ, вооруженныхъ, съ добрыми конями, и самъ пятнадцатый; а надежный ли человекъ? — вонъ, гляди, сколько рубцовъ у меня!» Пойдемъ, Кисса, выпьемъ его здоровье. Эй, Кудредъ! тебѣ обидно на Этельвальда. Будь завтра въ Лондонѣ, спроси тана Эгберта, тана изъ графства Сомерсетскаго. Мѣня знаютъ.

Кудредъ. Ну, теперь, я думаю, король укротитъ немного тановъ.

[Вульфингъ]. Да что-жь король? Вѣдь король не можетъ сказать тану: «Отдай такую-то землю, я тебѣ приказываю». Что скажетъ витенагемоть?

[Кудредь]. Да безпорядковъ, вѣрно, будетъ меньше. Что ни скажетъ, а все будетъ лучше. По крайней мѣрѣ, можно будетъ по дорогѣ пройти безопасно. Чѣмъ живешь, Вульфингъ?

[Вульфингъ]. Одинъ hides земли держу отъ тана.

[Кудредь]. (Платишь хлѣбомъ?)

[Вульфингъ]. Нѣтъ, еще никогда не маралъ рукъ своихъ въ землѣ.

[Кудредь]. Кто-жь ты?

[Вульфингъ]. Пастухъ. Шестъ десятковъ овецъ и три десятка рогатой скотины моей собственной выгоняю на Гельгудскую пажить. Если же хочешь, пришлецъ, отдохни у меня. Ты будешь есть сыръ и молоко, какихъ не сыщешь во всемъ Вессексѣ. А завтра раннимъ утромъ мы отправимся въ Лондонъ смотрѣть королевскій праздникъ. Гляди: чего народъ опять смотреть? Чего вы, храбрые мужи, столпились?

Голось въ народѣ. Корабль, опять корабли!

[Вульфингъ]. Въ самомъ дѣлѣ корабли! Что-жь это? Вѣрно, тоже королевская свита?

Туркиль. Вишь, это уже не такой! Мачта и паруса совсѣмъ не такъ сдѣланы. Постой, разсмотрѣть поближе: и народъ какъ будто не такъ одѣтъ.

Одинъ изъ толпы, всплескивая руками. Саксонцы! убѣжимъ, убѣжимъ!

Кудредь. Что такое?

[Туркиль]. Морской король!

[Кудредь]. Нѣтъ, что ты?

Туркиль. Какъ христіанинъ, не лгу! Развѣ вы не видите, что датскій корабль?

Народъ. Ай, народъ, точно—датчане! Вонъ машутъ, чтобы остались! Да, какъ бы не такъ! Бѣжимъ, друзья!

(Вся въ безпорядкѣ убѣгаютъ).

(Корабль виденъ у берега. Руальдъ виситъ на мачтѣ).

Голосъ Губбо. Перекидай канатъ.

Руальдъ (сверху). Кормщикъ, бери ниже: тамъ мель.

(Нормандъ плыветъ съ канатомъ въ зубахъ).

Руальдъ. Еще ниже, еще ниже. А, народъ проклятый! весь разбѣжался. Теперь прямо. Нормандъ, хватай крюкомъ.

[Нормандъ]. Стой!

Губбо (выходитъ съ корабля). Ну, вотъ мы и въ Англии. Тащите старшую лодку на берегъ. (Вытаскиваютъ лодку).

Губбо. Чтò, мои храбрые берсеркеры, дожидаться ли намъ Ингвара, или теперь налетѣть и окропить наши доспѣхи алою, какъ вечерняя заря, передъ бурнымъ вечеромъ заря, кровью саксонцевъ, а?

[Воины]. Наши конья готовы!

[Руальдъ]. Не лучше ли, король мой Губбо, послать провѣдать и узнать о числѣ непріятелей?

[Губбо]. Это ты, Руальдъ, говоришь? Тебя, вѣрно, не море пеленало. За эти слова тебя стоить вышвырнуть въ море. «Какой храбрый, когда спрашиваетъ о числѣ?» говорилъ отецъ мой Лодбродъ, побѣдившій на 33 сраженіяхъ.

[Руальдъ]. Губбо, сынъ Лодбродовъ! ты меня укоряешь трусостью. Когда же мы вмѣстѣ съ братомъ Гримуальдомъ срамили себя предъ дружиною? Развѣ я когда-нибудь въ жизни грѣлся у очага, или спалъ подъ крышей? Развѣ платье мое на мачтѣ сушилось, а не на мнѣ?

[Губбо]. Прости, Руальдъ. Братъ твой Гримуальдъ былъ славный воинъ. Мы лишились, други, храброго товарища. Великій Оденъ! какая была буря и битва! Вѣтеръ оборвалъ... наши платья, и морскія брызги насъ... Капли сынались на лицо наше... Клянусь моимъ мечомъ и копьемъ, ничего бы не пожалѣлъ за такую участь! Завидная участь! Теперь Гримуальдъ пируетъ съ легиономъ храбрыхъ; самъ Оденъ наливаєтъ ему чашу изъ широкаго черепа и говоритъ ему: «А сколько ты, Гримуальдъ, получилъ ранъ на послѣдней битвѣ?»—«Ранъ 17 и 4», отвѣчаетъ ему Гримуальдъ, «сильный воинъ».—«Вотъ тебѣ, Гримуальдъ, безсмертныя лани,

съ лоснящеюся, какъ серебро, шерстью. Веселись, храбрый витязь, поражая ихъ далеко достающимъ копьемъ». — Слушай, Стемидъ, теперь [не] время; но когда будемъ пировать на покрытыхъ пылью саксонскихъ трунахъ и зажжемъ альбионскіе дубы, ты спой намъ пѣсню о подвигахъ Гримвальда. Знаешь, какую пѣсню? — такую, чтобы въ груди все встрепенулось — отвага, самое бѣшеное веселье, и руки схватились за рукоятки мечей. Но слѣдуетъ теперь сказать вамъ, мои товарищи, что мы будемъ дѣлать. Англія — земля хорошая: скота, пажитей и земель въ ней много. Въ Нортумберландіи и въ Мерси, гдѣ уже поселились соотечественники наши, жители бѣдны; но здѣсь жилища, а болѣе всего церкви очень богаты, и золота въ нихъ много. Каждому достанется на золотую цѣпь. Мечи у англосаксовъ славны; они достаютъ ихъ издалека. Мы можемъ тутъ себѣ выбрать любые мечи и копыя, и все вооруженіе. А еще я скажу теперь такое, что больше всего нравится, товарищи, и мнѣ, и вамъ: это англосаксонскія дѣвы, бѣлизною лица, какъ наши скандинавскіе снѣга, окропленные алою кровью молодыхъ ланей. Но стойте, товарищи: въ Англіи воиновъ, которые станутъ подъ мечомъ и копьемъ на коняхъ, несметное множество. Только изъ нихъ Оденъ никого не приметъ въ Валгалу къ себѣ, потому что они презрѣнные христіане. Помните и то, что нынѣ будутъ наши соотечественники, и какъ только нападемъ съ одной стороны, они нападутъ съ другой.

[Одинъ изъ воиновъ]. Видите ли, какъ тутъ хорошо и тепло? Въ нашей Скандинавіи нѣтъ этого. Тутъ зимы всего только два мѣсяца.

Руальдъ. Я себѣ отвоюю лучшій замокъ во всей Англіи. Девять десятковъ англосаксонскихъ рабовъ будетъ прислуживать мнѣ за чашею пиршества.

[Одинъ изъ воиновъ]. Что, конунгъ Губбо, правда ли, что есть гдѣ-то земля еще теплѣе?

[Губбо]. Есть.

[Одинъ изъ воиновъ]. И что зимы совсѣмъ не бываетъ?

Губбо. Ну, этого нѣтъ, чтобы зимы совсѣмъ не было; зима есть. Нужно, однакожь, попробовать. Мы съ тобою, Элгадъ, пустимся потомъ далѣе, — скучно долго жить на одномъ мѣстѣ, — чтобы и тамъ, по ту сторону океана, вспоминали насъ въ пѣсняхъ. Клянусь всей моей сбруей, прїѣдемъ оттуда на вызолоченномъ кораблѣ; красная какъ огонь мантия, и вся будетъ убрана дорогими камнями; шлемъ... крыло на немъ будетъ, какъ вечерняя звѣзда, сіять. Потомъ прїѣду къ первой царевнѣ въ мїрѣ, скажу: «Прекрасная царевна, я король, пришелъ, горя любовью къ твоимъ голубымъ очамъ. Его рука поразила сто и сто десятковъ витязей; и прїѣхалъ король Губбо взять тебя этою самою рукой вмѣстѣ съ приданнымъ, которое приготовилъ тебѣ престарѣлый отецъ твой».

[Воины]. Вивать, король Губбо!

[Губбо]. Вивать и вы, товарищи! Теперь идемъ. Вы два, Авлугъ и Ролло, оставайтесь беречь лодки. А мы — никому не спускать и насыщать кровью мечи наши, пока есть!...

Альфредъ (*окруженный танами и графами королевства*). Благодарю, благодарю васъ, благородные таны, за ваше поздравленіе. Я надѣюсь, что вы окажете, съ своей стороны, мнѣ всякую помощь, разогнать варварство и невѣжество, въ которомъ тяготѣетъ англосакская нація.

Графъ Эдвигъ. Я всегда готовъ. 50 вооруженныхъ всадниковъ всякую минуту можешь требовать, государь.

Графъ Этельвальдъ. Рука моя и моихъ 80 вассаловъ принадлежатъ тебѣ, государь мой.

Сифредъ. Всякое законное требованіе государя готовъ исполнить. 20 конныхъ и 140 пѣшихъ стрѣлковъ!

Клеобальдъ. Въ моей странѣ лошадей мало, но пѣшихъ, сколько могу собрать...

[Альфредъ]. Вы ошибаетесь, друзья: не этой помощи я требовалъ отъ васъ, на которую конечно имѣю всегда право. Но я разумѣлъ о томъ благодѣтельномъ просвѣщеніи, кото-

раго нѣтъ въ Англіи; я васъ просилъ споспѣшествовать мнѣ научить англосаксовъ, искоренить грубость нравовъ, которая, какъ старая кора, пристала къ нимъ.

(Тамъ въ безмолвіи. Нѣкоторые разставляютъ руки, разсуждая, что это значитъ).

Эдвигъ. Какъ же, государь, ты говоришь, что англѣ и саксы грубы? Да вѣдь они покорили Англію!

Альфредъ. Ну, противъ этого мнѣ ничего не остается говорить. Этотъ, кажется, кромѣ войны и думать ни о чемъ не хочетъ. Видѣлъ ли ты, Эдвигъ, своего сына?

[Эдвигъ]. Видѣлъ, государь.

[Альфредъ]. Что-жь, какъ нашель его?

[Эдвигъ]. Хорошъ малый, да чуть ли къ чернокнижію не пристрастенъ и копьемъ плохо владѣетъ.

[Альфредъ]. Нѣтъ, Эдвигъ, ты долженъ благодарить Бога за такого сына. Этотъ день побудь съ нимъ, а завтра пришли ко мнѣ. Мы съ нимъ были друзья во всю бытность въ Римѣ. Давно не видѣлъ я Англіи. Препрежне время свое какъ сквозь сонъ помню. Вѣдь тутъ должны уцѣлѣть еще остатки римскихъ памятниковъ. Существуетъ ли та стѣна, которую выстроилъ императоръ Константинъ въ Лондонѣ, и бани, вы[строенныя] близъ Юрка римлянами?

[Эдвигъ]. Не знаю, государь, о какихъ ты римлянахъ говоришь.

[Альфредъ]. Римляне—народъ, который завоевалъ Англію и которому были подвластны бритты.

[Эдвигъ]. Бритты были, это правда; а римлянъ, государь, нѣтъ.

[Альфредъ]. Ты не знаешь, потому что не читалъ. Римляне были народъ великій; они покорили весь міръ, и въ томъ числѣ бриттовъ.

[Эдвигъ]. Воля твоя, король, римляне и живутъ въ Римѣ. Нѣтъ, король, это тебѣ солгали. У насъ есть старики, которые помнятъ, какъ покорили саксы, народъ, котораго храбрѣе еще никого не было,—и тѣ говорятъ, что были здѣсь только бритты.

[Альфредъ]. Ну, объ этомъ тоже нечего долго толковать. Хороши наши таны! Я, любезные, хочу слышать отчетъ объ нынѣшнемъ положеніи государства и о всѣхъ происшествіяхъ, бывшихъ безъ меня, по кончинѣ брата моего Этельреда. Объ отдыхѣ моемъ не беспокойтесь: отдохнуть я успѣю. Ты, Этельбальдъ, такъ какъ старшій въ государствѣ и первый совѣтникъ въ витенагемотѣ, расскажи мнѣ подробно все.

[Этельбальдъ]. Все хорошо, государь; со стороны датчанъ только худо. Впрочемъ, дорога отъ Йорка до Лондона поправлена и была мощена все время; звѣринецъ твой въ исправности; всѣ королевскія твои латы, щиты отцовскіе и добытые покойнымъ братомъ твоимъ Этельредомъ я сохранилъ въ исправности.

[Эдвигъ]. Вретъ, старый медвѣдь: лучшее копые стянулъ себѣ.

[Альфредъ]. Ты, Этельбальдъ, говоришь о моемъ хозяйствѣ. Это дѣло пустое. Я просилъ тебя рассказать, какъ государство, въ какомъ положеніи?

Графъ Эдвигъ. Въ гадкомъ положеніи государство; сеорлы и бретонскіе рабы ничего не выплачиваютъ, поля очень опустошены датчанами; не на что вооружить рыцаря, лошади — мерзость.

[Альфредъ]. Зачѣмъ вы позволили датчанамъ взять Мерси и Эстъ-Англию?

[Эдвигъ]. Чтò же дѣлать, король? Покойный король, братъ твой, храбро сражался, да сильнѣе перетянула сила. Они знаются съ дьяволомъ; съ ними изъ моря приходятъ морскія чудовища.

[Альфредъ]. Братъ мой Этельредъ сражался, какъ должно славному, доблестному саксонцу; но вы были виною; непокорность вассаловъ была причиною.

Сифредъ. Если-бъ я имѣлъ землю въ Эстъ-Англии или Мерси, я бы защищалъ ее моею рукою и руками моихъ вассаловъ; но у меня свои земли есть.

Альфредъ. Да умѣли ли вы свои защитить? Отчего по всей дорогѣ, которой мы ѣхали, пустыя пажити и двѣ раз-

валившіяся церкви? Малолюдный гирдь датчанъ издѣвался надъ вами, а вы, хорошо вооруженные и христіане могли вынести это?

[Окружающіе]. Браво, король! Вотъ король! Прозорливъ, какъ горный орелъ! Такого намъ нужно короля!

[Сифредъ]. Я никогда не былъ безчестнымъ и всегда готовъ, и если бы графъ Мидльсексъ не поссорился со мною, я бы не выпустилъ датчанъ: и Вессексъ, и его бы владѣнія спасъ.

[Альфредъ]. И виною вы же, вы черезъ свои мелкія ссоры! Мнѣ очень не нравится это ваше феодальное обыкновеніе; Богъ знаетъ, что такое! Всякій управляетъ, какъ ему хочется, высшему не повинуются, между собою несогласны. [Въ] государствѣ должно быть такъ, какъ въ римской имперіи: государь долженъ повелѣвать всѣмъ по своему усмотрѣнію, какъ ему захочется.

[Одонъ (потупляетъ глаза)]. Гм! я что-то не вполнѣ понялъ это. Вѣдь англосакскій всякій танъ—вольный и свободный человекъ, развѣ возьметъ землю собственно отъ короля.

[Альфредъ]. Отчего я не вижу здѣсь ни одного епископа? Одинъ только дряхлый старикъ и вышелъ меня встрѣтить.

[Одонъ]. Епископъ вессекскій убитъ во время войны съ датчанами, а Адельстанъ изъ Кента умеръ.

[Альфредъ]. И никто не позаботился о томъ, чтобы избрать на мѣсто!

[Арвальдъ]. Нѣтъ, король, въ томъ нѣтъ намъ укоризны. Всѣ танъ нарочно собрались, но некого было избрать: не нашли такого, который могъ бы читать Святое Письмо.

[Альфредъ]. Будто ужъ въ Англіи нѣтъ ни одного священника, умѣющаго читать? Вѣдь еще отцомъ Этельвульфомъ заведена была коллегія.

[Сифредъ]. Коллегія давно ужъ нѣтъ.

[Альфредъ]. Гдѣ же она?

[Сифредъ]. Сожжена датчанами.

[Альфредъ]. Опять датчане! Да что это за бичъ такой—датчане? Или Англія состоитъ вся изъ трусовъ, или въ

сѣмомъ дѣлѣ датчане... (*Входитъ вѣстникъ*). Чтò это за человекъ? Что ты?

[Вѣстникъ]. Король!

[Альфредъ]. Чтò?

[Вѣстникъ]. Датчане ворвались и грабятъ Лондонъ.

Король (*въ изумленіи*). Какъ легки на поминѣ! Ну, господа таны и графы, намъ приходится сію минуту думать о вооруженіи. Нечего дѣлать, нужно все отложить въ сторону.

[Эдвигъ]. Я готовъ; всѣ вассалы при мнѣ, государь.

Этельвальдъ. Для тебя, государь, все радъ принесть.

Арвальдъ. Въ одну минуту буду снаряженъ. (*Уходитъ*).

[Альфредъ]. Да, шумно начинается мое царствованіе! Дайте же и вы всѣ, благородные таны, клятву: ни пяди земли не уступить датчанамъ!

[Таны]. Спасителемъ Іисусомъ и Дѣвой Маріей клянемся!

[Альфредъ]. Идемъ и сейчасъ на коней! Но прежде я хочу осмотрѣть войска ваши. Ну, король, яви теперь дѣятельность души. Вотъ тебѣ то поле, которое ты рвался воздѣлать! Много работы предстоитъ. Страшная перспектива: внести туда пламенный наукъ и познаній, гдѣ ихъ въ поминѣ нѣтъ, гдѣ нѣтъ букваря во всемъ государствѣ; подвести подъ законы и укротить своевольное неустройство этихъ безпокойныхъ магнатовъ государства, глядящихъ лѣснымъ [звѣремъ]; а вдобавокъ и на плечахъ непріятель. Дай, Боже, силы! (*Уходитъ*).

Цеолинъ. Какъ мнѣ нравится король!

Эдринъ. Ты не знаешь его еще, Цеолинъ, хорошо: это Богъ, (а не человекъ).

Эдринъ. Чтò, Кеовалла, у тебя всѣ вооружены?

[Кеовалла]. Всѣ.

[Эдвигъ]. Чтò, король? Вѣдь, кажется, молодецъ?

[Кеовалла]. Да, кажется, храбръ; да что-то такъ...

[Эдвигъ]. Чтò?

Кеовалла. Мудреный что-то.

ДѢЙСТВІЕ II.

Альфредъ, графъ Этельвальдъ, графъ Эдвигъ, Цеолинъ и Кедовалла
(съ толпою воиновъ, входятъ на сцену).

Альфредъ. Мнѣ еще не вѣрится, чтобы мы были побѣждены. Горсть, разбойничья шайка, не болѣе,—и передъ этой шайкой не могли устоять пятнадцать тысячъ всадниковъ и цвѣтъ саксонской націи, и 90 тысячъ пѣшихъ.—Что скажете вы на это, столпы этой націи, благородные таны?

Графъ Эдвигъ. Король, распусти насъ. Я соберу всѣхъ слугъ своего замка, самъ выгоню моихъ вассаловъ. Пусть каждый сдѣлаетъ то же.

[Альфредъ]. Графъ, ты сѣдъ волосомъ и даешь такой совѣтъ! Нѣтъ, благородные таны, все теперь зависитъ отъ насъ самихъ и отъ нашей рѣшительности. Уступимъ—мы потеряемъ все, возрастимъ гордость непріятельскую; клянусь, мы имъ дадимъ и увѣренность въ ихъ непобѣдимости—и тогда, кто противъ нихъ? Вы видѣли, какъ они неслись въ битвѣ. Одинъ шагъ назадъ—и дерзость ихъ возрастетъ, какъ Голаеъ. Бароны, одно намъ средство. Здѣсь нечего думать о жизни. Съ этими же самыми силами обратимъ отступленіе въ нападеніе, покамѣстъ не узнала о нашемъ пораженіи нація.

[Кедовалла]. Король, ты видѣлъ самъ, что наша храбрость не заслужила упрека. Я никогда не думалъ о своей жизни; но, клянусь Пресвятой Матерью, за нихъ стоитъ демонъ! Я видѣлъ самъ, какъ его темный образъ мчался рядомъ съ этимъ непобѣдимымъ Губбо. Мои вассалы въ первый разъ поблѣднѣли отъ страха.

[Альфредъ]. Какое черное невѣжество вѣетъ отъ Кедовалла!... Тебя, я знаю, не увѣришь, потому что твоя душа (зачерствѣла) въ старой корѣ. Но, таны, какъ видно, что недавно приняли христіанскую вѣру и не смыслите ничего въ ней! Вы испугались злого духа: развѣ злой духъ можетъ устоять противъ Бога? развѣ есть что на свѣтѣ больше христіанскаго Бога? Вы видѣли, съ какимъ крикомъ и

устремл [еннымъ] копьемъ стремились въ наши ряды эти морскіе люди,—а отчего? потому что призывали поминутно языческаго бога ихъ Одена, который пыль и прахъ предъ Богомъ христіанскимъ. А вы не надѣтесь. Какіе вы христіане? За васъ Христосъ и Пресвятая Дѣва... (*Король идетъ*). Ни двухъ шаговъ земли датчанамъ!

Часть народа и всадниковъ (*бѣжитъ*). Король, датчане гонятся!

[Альфредъ]. Стой! Всѣ таны, ни съ мѣста! Далеко датчане?

[Часть народа и всадниковъ]. По пятамъ нашимъ (*летятъ*).

[Альфредъ]. Во имя Святой Маріи, не подавайся, какъ кельданскія скалы!

(*Врывается на сцену дружина датчанъ. Саксонцы встрѣчаютъ копьями. Начинается сѣча*).

Губбо. Сыны Одена! не полонъ будетъ пиръ нашъ, если не сокрушимъ англосаксовъ.

[Альфредъ]. Англосаксы! не забывайте: съ нами Христосъ и Марія!

Губбо. Ринальдъ, Ринальдъ! тихо гремитъ твой мечъ! Мало искръ вышибаетъ твое копье изъ непріятельскихъ латы!

Ринальдъ. Нѣтъ, король Губбо, кровь отъ вражескихъ труповъ отуманиваетъ твой взоръ. Оденъ! готовъ мнѣ мѣсто въ Валгалѣ.

Альфредъ. Христіане, крѣпитесь! Святой Георгій на бѣломъ (конѣ) за насъ.

Губбо. Оденъ! рука моя дымится кровью, а Ингвара нѣтъ со мною. Ринальдъ, Ринальдъ! зачѣмъ избить племя твой?... Не дрожать ли твои перси?

[Ринальдъ]. Еще станеть, король мой Губбо!.. Вотъ тебѣ, собака! Сыны Одена доставятъ череповъ на пиршественныя чаши.

[Альфредъ]. За Марію, за Христа, англосаксы!

[Губбо]. Уста мои запеклись, языкъ сохнетъ, а Ингваръ мой не летитъ на помощь.

[Ринальдъ]. Оденъ! готовъ мнѣ мѣсто въ Валгалѣ!

[Эдвигъ]. Вотъ тебѣ, собака датчанинъ! (*Протыкаетъ ему голову копьемъ*).

Альфредъ. Англосаксы! побѣда за нами!

Губбо. О... не будетъ тебѣ, Альфредъ, по коиъ поръ мечъ играетъ въ рукахъ моихъ!

Альфредъ. Остановитесь, датчане! Сдавайся, Губбо, и положи твое оружіе.

Губбо. Никогда! Ты думаешь, что сыны Одена когда-нибудь соглашались быть чьими бы то ни было рабами?

[Альфредъ]. Мнѣ не нужно, Губбо, твоей свободы; я не отнимаю и на два слова, Губбо... (*Объ стороны опускаютъ копья.*)

[Альфредъ]. Я готовъ заключить съ тобою [миръ] и пощадить остатокъ твоихъ товарищей, съ тѣмъ, чтобы ты теперь же, немедля, отправлялся за море, принеся клятву, по обычаю твоей религіи, никогда не являться у береговъ Англии. Оружіе все при васъ остается; все, что ни имѣете на себѣ, не будетъ тронуто.

[Губбо]. Король Альфредъ, я соглашаюсь.

[Альфредъ]. И такъ, храбрый, произнеси клятву.

[Губбо]. Клянусь самимъ Оденомъ, моею сбруею, моимъ вызубреннымъ мечомъ, что никогда я и вся храбрая моя дружина не будемъ нападать на твои владѣнія! И когда не выполню моей клятвы, да будемъ желты, какъ мѣдь на латахъ нашихъ! да обратятся наши копья на насъ же самихъ!

Альфредъ. Слышите вы всѣ клятву? Губбо, ты свободенъ,—ступай. Твои ладьи ждутъ у береговъ.

Губбо. Пойдемъ, товарищи! Намъ не стыдно глядѣть другъ на друга: мы бились храбро. Не сегодня—завтра, не здѣсь—въ другомъ мѣстѣ, нанесутъ наши ладьи гибель непріателямъ, носящимъ золотое убранство!



О ДВИЖЕНІИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

въ 1834 и 1835 году.

Журнальная литература, эта живая, свѣжая, говорливая, чуткая литература, такъ же необходима въ области наукъ и художествъ, какъ пути сообщенія для государства, какъ ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочаетъ вкусомъ толпы, обращаетъ и пускаетъ въ ходъ все выходящее наружу въ книжномъ мірѣ, и которое безъ того было бы, въ обоихъ смыслахъ, мертвымъ капиталомъ. Она—быстрый, своенравный развѣтъ всеобщихъ мнѣній, живой разговоръ всего тиснимаго типографскими станками; ея голосъ есть вѣрный представитель мнѣній цѣлой эпохи и вѣка,—мнѣній, безъ нея бы исчезнувшихъ безгласно. Она волею и неволею захватываетъ и увлекаетъ въ свою область девять десятыхъ всего, что дѣлается принадлежностію литературы. Сколько есть людей, которые судятъ, говорятъ и толкуютъ потому, что всѣ сужденія поднесены имъ почти готовыя, и которые сами отъ себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. И такъ, журнальная литература во всякомъ случаѣ имѣетъ право требовать самаго пристальнаго вниманія.

Можетъ-быть, давно у насъ не было такъ рѣзко замѣтно отсутствія журнальной дѣятельности и живого современнаго движенія, какъ въ послѣдніе два года. Безцвѣтность была выраженіемъ большей части повременныхъ изданій. Многіе старыя журналы прекратились, другіе тянулись медленно и вяло; новыхъ, кромѣ «Библиотеки для чтенія»

и впоследствии «Московского Наблюдателя», не показалось, между тѣмъ какъ именно въ это время была замѣтна всеобщая потребность умственной пищи и значительно возросло число читающихъ. Какъ ни бѣдна эта эпоха, но она такое же имѣетъ право на наше вниманіе, какъ и та, которая бы кипѣла движеніемъ, ибо также принадлежитъ исторіи нашей словесности. Читатели имѣли полное право жаловаться на скудость и постный видъ нашихъ журналовъ: «Телеграфъ» давно потерялъ тотъ рѣзкій тонъ, который давало ему воинственное его положеніе въ отношеніи журналовъ петербургскихъ; «Телескопъ» наполнялся статьями, въ которыхъ не было ничего свѣжаго, животрепещущаго. Въ это время книгопродавецъ Смирдинъ, давно уже извѣстный своею дѣятельностью и добросовѣстностью, который одинъ только, къ стыду прочихъ недалънозоркихъ своихъ товарищей, показалъ предприимчивость и своими оборотами далъ движеніе книжной торговлѣ,—книгопродавецъ Смирдинъ рѣшился издавать журналъ, обширный, энциклопедическій, завоевать всѣхъ литераторовъ, сколько ни есть ихъ въ Россіи, и заставить ихъ участвовать въ своемъ предпріятіи. Въ программѣ были выставлены имена почти всѣхъ нашихъ писателей. Профессоръ арабской словесности, г. Сенковский, взялся быть распорядителемъ журнала; къ нему былъ присоединенъ редакторомъ г. Гречъ, извѣстный уже постояннымъ изданіемъ двухъ журналовъ: «Сѣверной Пчелы» и «Сына Отечества». Не знаемъ, сами ли они взялись за сіе дѣло, или упрощены были г. Смирдинымъ; но въ томъ и другомъ случаѣ книгопродавецъ, по общему мнѣнію, поступилъ нѣсколько неосмотрительно. Успѣвши соединить для своего изданія такое множество литераторовъ, онъ долженъ былъ предоставить ихъ суду избраніе редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важномъ вопросѣ: долженъ ли журналъ имѣть одинъ опредѣленный тонъ, одно уполномоченное мнѣніе, или быть складочнымъ мѣстомъ всѣхъ мнѣній и толковъ. Журналъ на сей счетъ отозвался глухо, обыкновеннымъ объявленіемъ, что критика будетъ

самая благонамѣренная и безпристрастная, чуждая всякой личности и неприличности,—общаніе, которое даетъ всякій журналистъ. Съ выходомъ первой книжки публика ясно увидѣла, что въ журналѣ господствуетъ тонъ, мнѣнія и мысли *одного*, что имена писателей, которыхъ блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавнаго листка, взята была только напрокатъ, для привлеченія большаго числа подписчиковъ.

Книгопродавецъ Смирдинъ исполнилъ съ своей стороны все, чего публика въ правѣ была *отъ него* требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показалъ онъ и въ изданіи журнала. Журналъ выходилъ съ необыкновенною исправностью: подписчики, вмѣстѣ съ первымъ числомъ каждаго мѣсяца, встрѣчали толстую книгу, какой у насъ въ прежнее время ни одна типографія не могла бы поставить въ два мѣсяца. Вмѣсто обѣщаннаго числа осмнадцати листовъ въ мѣсяцъ, выходило иногда вдвое болѣе. Теперь разсмотримъ, исполнили ли долгъ тѣ, которымъ онъ ввѣрилъ внутреннее распоряженіе журнала.— Главнымъ дѣятелемъ и движущею пружиною всего журнала былъ г. Сенковскій. Имя г. Греча выставлено было только для формы,—по крайней мѣрѣ никакого дѣйствія не было замѣтно съ его стороны. Г. Гречъ давно уже сдѣлался почетнымъ и необходимымъ редакторомъ всякаго предпринимаемаго періодическаго изданія: такъ обыкновенно почтеннаго, пожилого человѣка приглашаютъ въ посаженные отцы на всѣ свадьбы. Но какая цѣль была редакціи этого журнала, какую задачу предположила она рѣшить? Здѣсь поневолѣ должны мы задуматься, что, безъ сомнѣнія, сдѣлаетъ и читатель. Въ программѣ ничего не сказалъ г. Сенковскій о томъ, какой начерталъ для себя путь, какую выбралъ себѣ цѣль; всѣ увидѣли только, что онъ взошелъ незамѣтно въ первый номеръ и въ концѣ его развернулся, какъ полный хозяинъ.

Впрочемъ, нельзя жаловаться и на это: положимъ, для журналиста необходимъ рѣзкій тонъ и нѣкоторая даже дер-

зость (чего, однакожь, мы не одобряемъ, хотя намъ извѣстно, что съ подобными качествами журналисты всегда выигрываютъ въ мнѣніи толпы); но на что преимущественно было обращено вниманіе сего хозяина, какая мысль его пересиливала всѣ прочія, къ чему направлено было его пристрастіе, были ли гдѣ замѣтны тѣ неподвижныя правила, безъ коихъ человѣкъ дѣлается безхарактернымъ, которыя даютъ ему оригинальность и опредѣляютъ его физиогномію?

Прочитавши все, помѣщенное имъ въ этомъ журналѣ, слѣдуя за всѣми словами, сказанными имъ, невольно остановимся въ изумленіи: что это такое? что заставляло писать этого человѣка? Мы видимъ человѣка, который беретъ деньги вовсе не даромъ, который трудится до поту лица, не только заботится о своихъ статьяхъ, но даже переправляетъ чужія,—однимъ словомъ, является неутомимымъ. Для чего же вся эта дѣятельность? Послѣдуемъ за распорядителемъ во всѣхъ родахъ его сочиненій и скажемъ нѣсколько словъ о главныхъ качествахъ его статей. Это во всѣхъ отношеніяхъ необходимо.

Г. Сенковскій является въ журналѣ своимъ какъ критикъ, какъ повѣствователь, какъ ученый, какъ сатирикъ, какъ глашатай новостей и проч., и проч., является въ видѣ Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу-Оглу, А. Бѣлкина, наконецъ, въ собственномъ видѣ. Какъ ученый, г. Сенковскій помѣстилъ довольно большую статью о сагахъ,—статью, исполненную гипотезъ, не собственныхъ, но схваченныхъ наудачу изъ разныхъ бѣгло прочитанныхъ книгъ,—гипотезъ, вовсе не принадлежащихъ русской исторіи. Эти саги, которыя пронизательный Шлѣцеръ, не имѣющій донинѣ равнаго по строгому и глубокому критическому взгляду, призналъ за басни, недостойныя никакого вниманія,—эти саги онъ ставитъ краеугольнымъ камнемъ русской исторіи и не приводитъ ни одного доказательства, повѣреннаго критикомъ: онъ вовсе не опредѣлилъ ихъ истиннаго и единственнаго достоинства. Саги суть поэтическое созданіе народа, играващаго великую въ исторіи роль. Эта статья, испещренная

реторическими фигурами, понравилась добрымъ, но ограниченнымъ людямъ, а г. Булгаринъ даже написалъ рецензію, въ которой поставилъ г. Сенковского выше Шлёдера, Гумбольта и всѣхъ когда-либо существовавшихъ ученыхъ. Другое весьма важное притязаніе г. Сенковского и настоящій конекъ его есть Востокъ. Здѣсь онъ всегда возвышалъ голосъ, и какъ только выходило какое-нибудь сочиненіе о Востокѣ, или упоминалось гдѣ-нибудь о Востокѣ, хотя бы даже это было въ стихотвореніи, онъ гнѣвался и утверждалъ, что авторъ не можетъ судить и не долженъ судить о Востокѣ, что онъ не знаетъ Востока. Слово, сказанное съ сердцемъ, очень извинительно въ человѣкѣ, влюбленномъ въ свой предметъ и который, между тѣмъ, видитъ, какъ мало понимаютъ его другіе; но этотъ человѣкъ уже долженъ, по крайней мѣрѣ, утвердить за собою авторитетъ. Г. Сенковскому, точно, слѣдовало бы издать что-нибудь о Востокѣ. Человѣку, ничего не сдѣлавшему, трудно вѣрить на слово, особливо когда его сужденія такъ легковѣсны и проникнуты духомъ нетерпимости; а изъ нѣкоторыхъ его отрывковъ о Востокѣ видны тѣ же самые недостатки, которые онъ безпрестанно порицаетъ у другихъ. Ничего новаго не сказалъ онъ въ нихъ о Востокѣ,—ни одной яркой черты, сильной мысли, гениальнаго предположенія! Нельзя отвергать, чтобы г. Сенковскій не имѣлъ свѣдѣній; напротивъ, очень видно, что онъ много читалъ; но у него нигдѣ не замѣтно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его къ какой-нибудь цѣли. Всѣ эти свѣдѣнія находятся у него въ какомъ-то броженіи, другъ другу противорѣчатъ, между собой не уживаются. Разсмотримъ его мнѣнія, относящіяся собственно къ текущей изящной литературѣ. Въ критикѣ г. Сенковскій показалъ отсутствіе всякаго мнѣнія, такъ что ни одинъ изъ читателей не можетъ сказать навѣрное, что болѣе нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствамъ: въ его рецензіяхъ нѣтъ *ни положительнаго, ни отрицательнаго вкуса*,—*вовсе никакого*. То, что ему нравится сегодня, завтра

дѣлается предметомъ его насмѣшекъ. Онъ первый поставилъ г. Кукольника на ряду съ Гёте, и самъ же объявилъ, что это сдѣлано имъ потому только, что такъ ему вздумалось. Стало-быть, у него рецензія не есть дѣло убѣжденія и чувства, а просто—слѣдствіе расположенія духа и обстоятельство. Вальтеръ-Скоттъ, этотъ великій геній, коего безсмертныя созданія объемлютъ жизнь съ такою полнотою, Вальтеръ-Скоттъ названъ шарлатаномъ. И это читала Россія, это говорилось людямъ уже образованнымъ, уже читавшимъ Вальтеръ-Скотта. Можно быть увѣрену, что г. Сенковскій сказалъ это безъ всякаго намѣренія, изъ одной опрометчивости, потому что онъ никогда не заботится о томъ, что говорить, и въ слѣдующей статьѣ уже не помнить вовсе написаннаго въ предыдущей.

Въ разборахъ и критикахъ г. Сенковскій тоже никогда не говорилъ о внутреннемъ характерѣ разбираемаго сочиненія, не опредѣлялъ вѣрными и точными чертами его достоинства: критика его была или безусловная похвала, въ которой рецензентъ отъ всей души тѣшился собственными фразами, или хула, въ которой отзывалось какое-то странное ожесточеніе. Она состояла въ мелочахъ, ограничивалась выпискою двухъ-трехъ фразъ и насмѣшкою. Ничего не было сказано о томъ, что предполагалъ себѣ цѣлью авторъ разбираемаго сочиненія, какъ оно выполнилъ, и если не выполнилъ, какъ долженъ былъ выполнить. Больше всего г. Сенковскій занимался разборомъ разнаго литературнаго сора, множествомъ всякаго рода пустыхъ книгъ; надъ ними шутилъ, трунилъ и показывалъ то остроуміе, которое такъ нравится нѣкоторымъ читателямъ. Наконецъ, даже завязалъ цѣлое дѣло о двухъ мѣстоименіяхъ: *сей* и *оний*, которыя показались ему, неизвѣстно почему, неумѣстными въ русскомъ слогѣ. Объ этихъ мѣстоименіяхъ писаны имъ были цѣлые трактаты, и статьи его, рассуждавшія о какомъ бы то ни было предметѣ, всегда оканчивались тѣмъ, что мѣстоименія *сей* и *оний* совершенно неприличны. Это напомнило старыи процессъ Тредьяковского за букву ижицу

и десятиричное *i*, который впоследствии, еще не так давно, поддерживалъ одинъ профессоръ. Книга, въ которой г. Сенковскій встрѣчалъ эти двѣ частицы, была торжественно признаваема написанною дурнымъ слогомъ.

Его собственныя сочиненія, повѣсти и тому подобное являлись подъ фирмою Брамбеуса. Эти повѣсти и статьи въ родѣ повѣстей, своимъ близкимъ, неумѣреннымъ подражаніемъ нынѣшнимъ писателямъ французскимъ, произвели всеобщее изумленіе, потому что г. Сенковскій оуждалъ гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, какъ въ этомъ случаѣ онъ имѣлъ такъ мало смѣтливости и до такой степени считалъ простоватыми своихъ читателей. Не извѣстно тоже, почему называлъ онъ нѣкоторыя статьи свои фантастическими. Отсутствіе всякой истины, естественности и вѣроятности еще нельзя считать фантастическимъ. Фантастическія сочиненія Б. Брамбеуса напоминаютъ книги, какихъ нѣкогда было очень много, какъ-то: «Не любо—не слушай, а лгать не мѣшай», и тому подобныя: та же безотчетность и еще менѣе устремленія къ доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели замѣтили въ нихъ чрезвычайно много похищеній, сдѣланныхъ наскоро, на всемъ бѣгу: авторъ мало заботился о ихъ связи. То, что въ оригиналахъ имѣло смыслъ, то въ копіи было безъ всякаго значенія.

Таковы были труды и дѣйствія распорядителя «Б. для Чт.». Мы почли нужнымъ упомянуть о нихъ нѣсколько обстоятельнѣе потому, что онъ одинъ законодательствовалъ въ «Библиотекѣ для Чтенія», и что мнѣнія его разносились чрезвычайно быстро, вмѣстѣ съ четырьмя тысячами экземпляровъ журнала, по всему лицу Россіи.

Невозможно, чтобы журналъ, издаваемый при средствахъ, доставленныхъ книгопродавцемъ Смирдинымъ, былъ плохъ. Онъ уже выигрывалъ тѣмъ, что издавался въ большомъ объемѣ, толстыми книгами. Это для подписчиковъ была пріятная новость, особливо для жителей нашихъ городовъ и сельскихъ помѣщиковъ. Въ «Библиотекѣ» находились пе-

реводы иногда любопытныхъ статей изъ иностранныхъ журналовъ, въ отдѣлѣ стихотворномъ попадались имена свѣтилъ русскаго Парнасса. Но постоянно лучшимъ отдѣленіемъ ея была *смѣсь*, вмѣщавшая въ себѣ очень много разнообразныхъ свѣжихъ новостей, отдѣленіе живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная,—повѣсти и прочее,—оказывала очень мало вкуса и выбора. Въ «Библиотекѣ для Чтенія» случилось еще одно, дотогѣ неслыханное на Руси явленіе. Распорядитель ея сталъ переправлять и передѣлывать *всѣ* почти статьи, въ ней печатаемыя, и любопытно то, что онъ объявлялъ объ этомъ самъ довольно смѣло и откровенно. «У насъ», говоритъ онъ: «въ «Библиотекѣ для Чтенія», не такъ, какъ въ другихъ журналахъ: мы никакой повѣсти не оставляемъ въ прежнемъ видѣ, всякую передѣлываемъ; иногда составляемъ изъ двухъ одну, иногда изъ трехъ, и статья значительно улучшается нашими передѣлками». Такой странной опеки до сихъ поръ на Руси еще не бывало.

Многіе писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помѣщаемыхъ безъ подписи или подъ вымышленными именами, за ихъ собственныя, и потому начали отказываться отъ участія въ изданіи сего журнала. Число сотрудниковъ такъ умалилось, что на другой годъ издатели уже не выставили длиннаго списка именъ и упомянули глухо, что участвуютъ лучшіе литераторы, не означая какіе. Журналъ, хотя не измѣнился въ величинѣ и планѣ, но статьи замѣтно начали быть хуже; видно было менѣе старанія. «Библиотекѣ» уже менѣе читали въ столицахъ, но все такъ же много въ провинціяхъ, и мнѣнія ея такъ же обращались быстро. Обратимся къ другимъ журналамъ.

«Сѣверная Пчела» заключала въ себѣ официальные извѣстія и въ этомъ отношеніи выполнила свое дѣло. Она помѣщала извѣстія политическія, заграничныя и отечественныя новости. Редакторъ, г. Гречъ, довелъ ее до строгой исправности: она всегда выходила въ положенное время; но

въ литературномъ смыслѣ она не имѣла никакого опредѣленнаго тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ея мнѣнія. Она была какая-то корзина, въ которую сбрасывалъ всякій все, что ему хотѣлось. Разборы книгъ, всегда почти благосклонные, писались пріятелями, а иногда самими авторами. Въ «Сѣверной Пчелѣ» пробовали остроуту пера разные незнакомцы, скрывавшіеся подъ разными буквами,—безъ сомнѣнія, люди молодые, потому что въ статьяхъ выказывалось довольно удалства. Они нападали развѣ уже на самаго беззащитнаго и круглаго сироту. Насчетъ неопрятныхъ изданій являлись остроумныя колкости, нѣсколько похожія одна на другую. Сущность рецензій состояла въ томъ, чтобы расхвалить книгу и при концѣ сложить съ себя весь грѣхъ такою оговоркою: «Впрочемъ, желательно, чтобы почтенный авторъ исправилъ небольшія погрѣшности относительно языка и слога», или: «Хорошая книга требуетъ хорошаго изданія», и тому подобное, за что авторъ разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастіе рецензента. Книги часто были разбираемы тѣми же самыми рецензентами, которые писали извѣстія о новыхъ табачныхъ фабрикахъ, открывавшихся въ столицѣ, о помадѣ и проч.; сіи извѣстія иногда довольно остроумны и въ шуткахъ своихъ показывали ловкихъ и хорошо воспитанныхъ людей, безъ сомнѣнія, имѣвшихъ основательныя причины быть довольноными фабрикантами. Впрочемъ, отъ «Сѣверной Пчелы» больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ея дѣломъ было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публикѣ.

Журналъ, носившій названіе «Сына Отечества и Сѣвернаго Архива», былъ почти невидимкою во все время. О немъ никто не говорилъ, на него никто не ссылался, несмотря на то, что онъ выходилъ исправно еженедѣльно и что печаталъ такую огромную программу на своей оберткѣ, какую врядъ-ли гдѣ можно было встрѣтить. Въ «Сынѣ Отечества» (говорила программа) будетъ археологія, медицина, правовѣдѣніе, статистика, русская исторія, всеобщая исто-

рія, русская словесность, иностранная словесность, наконецъ, просто словесность, географія, этнографія, историческая галерея, и прочее. Иной ахнетъ, прочитавши такую ужасную программу, и подумаетъ, что это огромнѣйшее энциклопедическое изданіе, когда-либо существовавшее на свѣтѣ. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка въ три листа, начинавшаяся статьею о какихъ-нибудь болѣзняхъ, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тѣмъ еще болѣе живая и современная, не была въ немъ постоянною. Новости политическія были тѣ же сухіе факты, взятые изъ «Сѣверной Пчелы», слѣдственно уже всеѣмъ извѣстные. Помѣщаемыя какія-то оригинальныя повѣсти были довольно странны, чрезвычайно коротенькія и совершенно безцвѣтны. Если попадалось что-нибудь достойное замѣчанія, то оно оставалось незамѣтнымъ. Имена редакторовъ, гг. Булгарина и Греча, стояли только на заглавномъ листкѣ; но съ ихъ стороны рѣшительно не было видно никакого участія. Однакожь, журналъ существовалъ, стало-быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущіе въ провинціяхъ, которымъ что-нибудь почитать такъ же необходимо, какъ заснуть чашикъ послѣ обѣда или выбриться два раза въ недѣлю.

Издавалась еще въ Петербургѣ, въ продолженіе всего этого времени, газета чисто-литературная, освобожденная отъ всякихъ вторженій наукъ и важныхъ свѣдѣній,— не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница стараго, но при всеѣмъ томъ имѣвшая особенный характеръ. Названіе этой газеты: «Литературныя прибавленія къ Инвалиду». Въ ней помѣщались легонькія повѣсти, бесѣды деревенскихъ помѣщиковъ о литературѣ, бесѣды часто довольно обыкновенныя, но иногда мѣстами проникнутыя колкостями, близкими къ истинѣ: читатель, къ изумленію своему, видѣлъ, что помѣщики къ концу статьи дѣлались совершенными литераторами, принимали къ сердцу текущую литературу и приправляли свои мнѣнія ѣдкою насмѣлкою. Этотъ журналъ всегда оказывалъ оппозицію про-

тиву всякаго счастливаго наѣздника, хотя его вся тактика часто состояла только въ томъ, что онъ выписывалъ одно какое-нибудь мѣсто, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокуплялъ отъ себя довольно злое замѣчаніе, не длиннѣе строчки, съ восклицательнымъ знакомъ. Г. Воейковъ былъ чрезвычайно дѣятельный ловець и, какъ рыбакъ, сидѣлъ съ удой на берегу, не теряя терпѣнія, хотя на его уду попадалась бѣльшею частію мелкая рыба, а большая обрывалась. Въ редакторѣ была замѣтна чисто-литературная жизнь, и онъ съ неохлажденнымъ вниманіемъ не сводилъ глазъ съ журнальнаго поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стѣдила того, чтобы иногда въ нее заглянуть.

Въ Москвѣ издавался одинъ только «Телескопъ», съ большими листками прибавленія, подъ именемъ «Молвы», — журналъ, вначалѣ отозвавшійся живостью, но вскорѣ протывшій, наполнявшійся статьями безъ всякаго разбора, лишенный всякаго литературнаго движенія. Видно было, что издатели не прилагали о немъ никакого старанія и выдавали книжки какъ-нибудь.

Монополія, захваченная «Библіотекою для Чтенія», не могла не задѣть за живое другихъ журналовъ. Но «Съверная Пчела» была издаваема тѣмъ же самымъ г. Гречемъ, котораго имя нѣкоторое время стояло на заглавномъ листкѣ въ «Библіотекѣ», какъ главнаго ея редактора, хотя это званіе, какъ мы уже видѣли, было только почетное, и потому очень естественно, что «Съверная Пчела» должна была хвалить все, помѣщаемое въ «Библіотекѣ», и настоящаго ея движителя, являвшагося подъ множествомъ разныхъ именъ, называть русскимъ Гумбольтомъ. Но и безъ того она вряд ли бы могла явиться сильною противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. «Сынъ Отечества» долженъ былъ повторять слова «Пчелы». И такъ, всего только два журнала могли возстать противъ его мнѣній. Г. Воейковъ показалъ въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» что-то

похожее на оппозицію; но оппозиція его состояла въ легких замѣткахъ журнальныхъ промаховъ и иногда удачной остротѣ, выраженныхъ отрывисто, въ немногихъ словахъ, съ насмѣшкою, очень понятною для немногихъ литераторовъ, но незамѣтною для непосвященныхъ. Нигдѣ не помѣстилъ онъ обстоятельной и основательной критики, которая опредѣлила бы сколько-нибудь направленіе новаго журнала. «Телескопъ» въ соединеніи съ «Молвою» дѣйствовалъ противъ «Библиотеки для Чтенія», но дѣйствовалъ слабо, безъ постоянства, терпѣнія и необходимаго хладнокровія. Въ статьяхъ критическихъ онъ былъ часто исполненъ негодованія противъ новаго счастливица, шутилъ надъ баронствомъ г. Сенковскаго, сдѣлалъ нѣсколько справедливыхъ замѣчаній относительно его страннаго подражанія французскимъ писателямъ, но не видѣлъ дѣла во всей ясности. Въ «Молвѣ» повторялись тѣ же намеки на Брамбеуса, часто по поводу разбора совершенно посторонняго сочиненія. Кромѣ того, «Телескопъ» много вредилъ себѣ опаздываніемъ книжекъ, неаккуратностію изданія, и критическія статьи его чрезъ то еще менѣе были въ оборотѣ.

Очевидно, что силы и средства этихъ журналовъ были слишкомъ слабы въ отношеніи къ «Библиотецкѣ для Чтенія», которая была между ними, какъ слонъ между мелкими четвероногими. Ихъ бой былъ слишкомъ неравенъ, и они, кажется, не приняли въ соображеніе, что «Библиотека для Чтенія» имѣла около пяти тысячъ подписчиковъ, что мнѣнія «Библиотеки для Чтенія» разносились въ такихъ слояхъ общества, гдѣ даже не слышали, существуютъ ли «Телескопъ» и «Литературныя Прибавленія», что мнѣнія и сочиненія, помѣщаемыя въ «Библиотецкѣ для Чтенія», были расхвалены издателями той же «Библиотеки для Чтенія», скрывавшимися подъ разными именами, расхвалены съ энтузіазмомъ, всегда имѣющимъ вліяніе на большую часть публики; ибо то, что смѣшно для читателей просвѣщенныхъ, тому вѣрять со всѣмъ простодушіемъ читатели ограниченные, какихъ, по количеству подписчиковъ, можно предполагать болѣе

между читателями «Библиотеки», и къ тому же большая часть подписчиковъ были люди новые, дотоѣ не знавшіе журналовъ, слѣдственно принимавшіе все за чистую истину; что, наконецъ, «Библиотека для Чтенія» имѣла сильное для себя подкрѣпленіе въ 4000 экземплярахъ «Сѣверной Пчелы».

Ропотъ на такую неслыханную монополію сдѣлался силенъ. Въ Москвѣ, наконецъ, нѣсколько литераторовъ рѣшились издавать какой-нибудь свой журналъ. Новый журналъ нуженъ былъ не для публики, т. е. для большаго числа читателей, но собственно для литераторовъ, различно притѣняемыхъ «Библиотекою». Онъ былъ нуженъ: 1) для тѣхъ, которые желали имѣть пріютъ для своихъ мнѣній, ибо *В. д. Ч.* не принимала никакихъ критическихъ статей, если не были онѣ по вкусу главнаго распорядителя; 2) для тѣхъ, которые видѣли съ изумленіемъ, какъ на ихъ собственныя сочиненія наложена была рука распорядителя, ибо г. Сенковскій началъ уже переправлять, безо всякаго разбора лицъ, всѣ статьи, отдаваемые въ «Библиотеку». Онъ переправлялъ статьи военныя, историческія, литературныя, относящіяся къ политической экономіи и проч., и все это дѣлалъ безъ всякаго дурнаго намѣренія, даже безъ всякаго отчета, не руководствуясь никакимъ чувствомъ надобности или приличія. Онъ даже придѣлалъ свой конецъ къ комедіи Фонвизина, не рассмотрѣвши, что она и безъ того была съ концомъ.

Все это было очень досадно для писателей, рѣшительно не имѣвшихъ мѣста, куда бы могли подать жалобу свѣту и читателямъ.

Но уже одинъ слухъ о новомъ журналѣ возбудилъ негодованіе «Библиотеки для Чтенія» и подвинулъ ее къ неожиданному поступку: она увѣряла своихъ читателей и подписчиковъ съ необыкновеннымъ жаромъ, что новый журналъ будетъ бранчивый и неблагонамѣренный. Статья, помѣщенная по этому же случаю въ «Сѣверной Пчелѣ», казалось, была писана человѣкомъ, въ отчаяніи предвидѣвшимъ свою конечную погибель. Въ ней увѣдомляли публику, что по-

вый журналъ хотѣлъ уронить «Библиотеку для Чтенія», потому только, что издатели онаго объявили, что будутъ выпускать такое же число листовъ, какъ и «Б. д. Ч.». Поступокъ чрезвычайно неосмотрительный! Въ подобномъ дѣлѣ необходимо скрыть свои мелкія чувства искусно и потому, выждавъ удобный случай, нанести обдуманнѣйшій ударъ. Если я издаю журналъ, зачѣмъ же не издавать его и другому? И какъ могу гнѣваться, если другой скажетъ, что онъ будетъ брать меня въ образецъ? Не долженъ ли я, напротивъ, его благодарить? Не показываетъ ли онъ тѣмъ степень уваженія, мною заслуженнаго въ публикѣ? Чѣмъ больше соревнованія, тѣмъ больше выигрыша для читателей и для литераторовъ.

Но разсмотримъ, въ какой степени «Москов. Набл.» выполнилъ ожиданія публики, жадной до новизны, ожиданія читателей образованныхъ, ожиданія литераторовъ и опасеніе «Библиотеки для Чтенія».

Новый журналъ, несмотря на ревностное стараніе привести себя во всеобщую извѣстность, не имѣлъ средствъ огласить во всѣ углы Россіи о своемъ появленіи, потому что единственные глашатаи вѣстей были его противники «Сѣверная Пчела» и «Библиотека для Чтенія», которые, конечно, не помѣстили бы благопріятныхъ о немъ объявленій. Онъ начался довольно поздно, не съ новымъ годомъ, слѣдственно не въ то время, когда обыкновенно начинаются подписки; наконецъ, онъ пренебрегъ быстрымъ выходомъ книжекъ и срочною ихъ поставкою. Но важнѣйшія причины неуспѣха заключались въ характерѣ самого журнала. По первымъ вышедшимъ книжкамъ уже можно было видѣть, что предположеніе журнала было слѣдствиемъ одного горячаго мгновенія. Въ «Московскомъ Наблюдателѣ» тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходомъ всего журнала. Редакторъ его виденъ былъ только на заглавномъ листѣ. Имя его было почти неизвѣстно. Онъ написалъ доселѣ нѣсколько сочиненій статистическихъ, имѣющихъ много достоинства, но которыхъ

публика чисто-литературная не знала вовсе. Литературныя мнѣнія его были неизвѣстны. Въ этомъ состояла большая ошибка издателей «Московского Наблюдателя». Они позабыли, что редакторъ всегда долженъ быть виднымъ лицомъ. На немъ, на оригинальности его мнѣній, на живости его слога, на общепонятности и общезанимательности языка его, на постоянной свѣжей дѣятельности его основывается весь кредитъ журнала. Но г. Андросовъ явился въ «Московскомъ Наблюдателѣ» вовсе незамѣтнымъ лицомъ. Если желаніе издателей было постановить только почетнаго редактора, какъ вошло въ обычай у насъ на дѣлливой Руси, то въ такомъ случаѣ они должны были труды редакціи разложить на себя; но они оставили всю отвѣтственность на редакторѣ, и «Московскій Наблюдатель» сталъ похожъ на тѣ ученыя общества, гдѣ члены ничего не дѣлаютъ и даже не бываютъ въ присутствіи, между тѣмъ, какъ президентъ является каждый день, садится въ свои кресла и велитъ записывать протоколъ своего уединеннаго засѣданія. Въ журналѣ было нѣсколько очень хорошихъ статей; его украсили стихи Языкова и Баратынскаго, эти перлы русской поэзіи; но при всемъ томъ въ журналѣ не было замѣтно никакой современной живости, никакого хлопотливаго движенія; не было въ немъ разнообразія, необходимаго для изданія періодическаго. Замѣчательныя статьи, поступившія въ этотъ журналъ, были похожи на оазисы, зеленѣющіе посреди цѣлага моря песчаныхъ степей. Притомъ издатели, какъ кажется, мало имѣли свѣдѣнія о томъ, что нравится и что не нравится публикѣ. Статьи часто хорошія дѣлались скучными, потому только, что онѣ тянулись изъ одного нумера въ другой съ несносною подписью: *продолженіе впрредь*. Вотъ каковъ былъ журналъ, долженствовавшій бороться съ «Библіотекою для Чтенія».

«Наблюдатель» начался оппозиціонною статьею г. Шевырева о торговлѣ, зародившейся въ нашей литературѣ. Въ ней авторъ нападаетъ на торговлю въ ученомъ мірѣ, на всеобщее стремленіе составить себѣ доходъ изъ литературныхъ

занятій. Первая ошибка была здѣсь та, что авторъ статьи обратилъ вниманіе не на главный предметъ. Во-вторыхъ, онъ гремѣлъ противъ пишущихъ за деньги, но не разрушилъ никакого мнѣнія въ публикѣ касательно внутренней цѣнности товара. Статья сія была понятна однимъ литераторамъ, нанесла досаду «Библиотекѣ для Чтенія», но ничего не дала знать публикѣ, не понимавшей даже, въ чемъ состояло дѣло. Притомъ сіи нападенія были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный законъ всякаго дѣйствія. Литература должна была обратиться въ торговлю, потому что читатели и потребность чтенія увеличились. Естественное дѣло, что при этомъ случаѣ всегда больше выигрываютъ люди предприимчивые, безъ большого таланта, ибо во всякой торговлѣ, гдѣ покупщики еще простоваты, выигрываютъ больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, въ чемъ состоитъ обманъ, а не пересчитывать ихъ барыши. Что литераторъ купилъ себѣ доходный домъ или пару лошадей, это еще не бѣда; дурно то, что часть бѣднаго народа купила худой товаръ и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить вниманіе г. Шевыреву на бѣдныхъ покупателей, а не на продавцовъ. Продавцы обыкновенно бываютъ люди наѣздные: сегодня здѣсь, а завтра Богъ знаетъ гдѣ. При этомъ случаѣ сдѣланъ былъ несправедливый упрекъ книгопродавцу Смирдину, который вовсе не виноватъ, который за предприимчивость и честную дѣятельность заслуживаетъ одну только благодарность. Нѣтъ спора, что онъ далъ, можетъ-быть, много воли людямъ, которымъ приличнѣе было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талантъ не искатель, но корыстолюбіе искательно. На это такъ же смѣшно жаловаться, какъ было бы странно жаловаться на правительство, встрѣтивши недальновиднаго чиновника. Для таланта есть потомство, этотъ неподкупный ювелиръ, который оправляетъ одни чистые брильянты. Г. Шевыревъ показалъ въ статьѣ своей благородный порывъ негодованія на прозаическое, униженное направленіе литературы, но на

большинство публики эта статья рѣшительно не сдѣлала никакого впечатлѣнія. «Библіотека» отвѣчала коротко, въ духѣ обыкновенной своей тактики: обратившись къ зрителямъ, т. е. къ подписчикамъ, она говорила: «вотъ какое неблагородство духа показать г. Шевыревъ, неприличіе и неимѣніе высокихъ чувствъ, упрекая насъ въ томъ, что мы трудимся для денегъ, тогда какъ» и проч... Это обыкновенная политика петербургскихъ журналовъ и газетъ. Какъ только кто-нибудь сдѣлаетъ имъ упрекъ въ корыстолюбіи и въ бездѣйствіи, они всегда жалуются публикѣ на неприличіе выраженій и неблагородство духа своихъ противниковъ; говорятъ, что статья эта писана съ цѣлію только поддѣть публику и забрать отъ читателей деньги, что они почитаютъ съ своей стороны священнымъ долгомъ предупредить публику.

Итакъ, выходка «Московского Наблюдателя» скользнула по «Библіотекѣ для Чтенія», какъ пуля по толстой кожѣ носорога, отъ которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, «Московскій Наблюдатель» замолчалъ, — доказательство, что онъ не начерталъ для себя обдуманнаго плана дѣйствій и что рѣшительно не зналъ, какъ и съ чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постояннымъ дѣйствіемъ могъ «Наблюдатель» дать себѣ ходъ и сдѣлать имя свое извѣстнымъ публикѣ, какъ сдѣлалъ его извѣстнымъ «Телеграфъ», дѣйствуя такимъ же образомъ и почти при такихъ же обстоятельствахъ. «Наблюдатель» выпустилъ вслѣдъ за тѣмъ нѣсколько нумеровъ, но ни въ одномъ изъ нихъ не сказалъ ничего въ защиту и подкрѣпленіе своихъ мнѣній. Черезъ нѣсколько нумеровъ показалась, наконецъ, статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной въ «Библіотекѣ» статьи, подъ именемъ: «Брамбеусъ и юная словесность», въ которой Брамбеусъ назвалъ самъ себя законодателемъ какой-то новой школы и вводителемъ новой эпохи въ русской литературѣ.

Это въ самомъ дѣлѣ было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваляли самихъ себя, или подъ именемъ друзей своихъ, или даже сами отъ себя, но все же съ нѣкоторою застычивостью, и послѣ сами старались все это какъ-нибудь загрести собственными руками, чувствуя, что нѣсколько провинились. Но никогда еще авторъ не хвалилъ себя такъ свободно и непринужденно, какъ баронъ Брамбеусъ. Эта оригинальная статья слишкомъ была ярка, чтобы не быть замѣченною. Ею занялся и «Телескопъ» и потрунилъ надъ нею довольно забавно, только вскользь; съ обыкновенною смѣтливостью о ней намекнулъ и г. Воейковъ; она возродила статью и въ «Московскомъ Наблюдателѣ». Цѣль этой статьи была доказать, откуда баронъ Брамбеусъ почерпнулъ талантъ свой и знаменитость, какими твореніями чужихъ хозяевъ пользовался, какъ своимъ; другими словами: изъ какихъ доскутовъ баронъ Брамбеусъ сшилъ себѣ халатъ. Нѣсколько безгласныхъ книжекъ, выходявшихъ вслѣдъ за тѣмъ, совершенно погрузили «М. Наблюдателя» въ забвеніе. Даже самая «Библіотека для Чтенія» перестала, наконецъ, упоминать о немъ, какъ о безсильномъ противникѣ, продолжала шутить надъ важнымъ и неважнымъ и говорить все то, что первое попадалось подъ перо ея.

Вотъ каковы были дѣйствія нашихъ журналовъ. Изложивъ ихъ, разсмотримъ теперь, что сдѣлали они въ эти два года такого, которое должно вписаться въ исторію нашей литературы, оставить въ ней свою оригинальную черту, — какія мнѣнія, какіе толки они утвердили, что опредѣлили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значить. Извѣщеніе о томъ, что критика будетъ благонамѣренная, чуждая личностей и партій, тоже не показываетъ цѣли. Она должна быть необходимымъ условіемъ всякаго журнала. Даже множество помѣщенныхъ въ журналѣ статей ничего не значить, если журналъ не имѣетъ своего мнѣнія и не оказывается въ немъ напра-

вление, хотя даже одностороннее, къ какой-нибудь цѣли. «Телеграфъ» издавался, кажется, съ тѣмъ, чтобы ниспровергнуть обветшалыя, заматорѣлыя, почти машинальныя мысли тогдашнихъ нашихъ старожилловъ, классиковъ; «Московский Вѣстникъ», одинъ изъ лучшихъ журналовъ, не смотря на то, что въ немъ не много было современнаго движенія, издавался съ тѣмъ, чтобы познакомить публику съ замѣчательнѣйшими созданіями Европы, раздвинуть кругъ нашей литературы, доставить намъ свѣжія идеи о писателяхъ всѣхъ временъ и народовъ. Здѣсь не мѣсто говорить, въ какой степени оба сіи журнала выполнили цѣль свою; по крайней мѣрѣ, стремленіе къ ней было чувствуемо въ нихъ читателями. Но рассмотрите внимательно издававшіеся въ послѣдніе два года журналы; уловите главную нить каждаго изъ нихъ: сей-то нити и не сыщите. Развернувши ихъ, будете поражены мелкостью предметовъ, вызвавшихъ толки ихъ. Подумаете, что рѣшительно ни одного важнаго событія не произошло въ литературномъ мірѣ. А между тѣмъ:

1) Умеръ знаменитый шотландецъ, великій дѣписатель сердца, природы и жизни, полнѣйшій, обширнѣйшій геній XIX вѣка.

2) Въ литературѣ всей Европы распространился безпкойный, волнующійся вкусъ. Являлись опрометчивыя, безсвязныя, младенческія творенія, но часто восторженныя, пламенныя—слѣдствіе политическихъ волненій той страны, гдѣ рождались. Странная, мятежная какъ комета, неорганизованная какъ она, эта литература волновала Европу, быстро облетѣла всѣ углы читающаго міра. Пусть эти явленія будутъ всемірно-европейскія, хотя они отражались и въ Россіи; рассмотримъ литературныя событія чисто-русскія.

3) Распространилось въ большой степени чтеніе романовъ, холодныхъ, скучныхъ повѣстей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушіе къ повѣзи.

4) Вышли новыми изданіями Державинъ, Карамзинъ, гласно требовавшіе своего опредѣленія и настоящей, вѣрной

оцѣнки такъ, какъ и всѣ прочіе старыя писатели наши, ибо въ литературномъ мірѣ нѣтъ смерти, и мертвецы такъ же вмѣшиваются въ дѣла наши и дѣйствуютъ вмѣстѣ съ нами, какъ и живые. Они требовали возвращенія того, что дѣйствительно имъ слѣдуетъ; они требовали уничтоженія неправаго обвиненія, неправаго опредѣленія, бессмысленно повтореннаго въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ и повторяемаго донынѣ.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгимъ размышленіемъ, что такое былъ Вальтеръ-Скоттъ, въ чемъ состояло вліяніе его, что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводомъ неправильнаго уклоненія вкуса и въ чемъ состоялъ ея характеръ? Отчего поэзія замѣнилась прозаическими сочиненіями? На какой степени образованія стоитъ русская публика и что такое русская публика? Въ чемъ состоитъ оригинальность и свойство нашихъ писателей?

Напрасно въ этомъ отношеніи читатель станетъ искать въ нихъ новыхъ мыслей или какихъ-нибудь слѣдовъ глубокаго, добросовѣстнаго изученія. Вальтеръ-Скотта у насъ только побранили. Французскую литературу одни приняли съ дѣтскимъ энтузіазмомъ, утверждали, что модные писатели проникли тайны сердца человѣческаго, дотолѣ сокровенныя для Сервантеса, для Шекспира.... другіе безотчетно поносили ее, а между тѣмъ сами писали во вкусѣ той же школы еще съ большими несообразностями. Вопросомъ, отчего у насъ въ большомъ ходу водяные романы и повѣсти, вовсе не занялись, а вмѣсто того вдобавокъ напустили и своихъ еще собственныхъ. О нашей публикѣ сказывали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на всѣ журналы и разныя изданія, ибо ихъ можетъ читать и отецъ семейства, и кулець, и воинъ, и литераторъ; о Державинѣ, Карамзинѣ и Крыловѣ ничего не сказали или сказали то, что говорить увѣздный учитель своему ученику, и отдѣлались пошлыми фразами.

О чемъ же говорили наши журналисты? Они говорили о

ближайшихъ и любимѣйшихъ предметахъ: они говорили о себѣ, они хвалили въ своихъ журналахъ собственныя свои сочиненія; они рѣшительно были заняты только собою, на все другое они обращали какое-то холодное, безстрастное вниманіе. Великое и замѣчательное было какъ будто невидимо. Ихъ равнодушная критика обращена была на тѣ предметы, которые почти не заслуживали вниманія.

Въ чемъ же состоялъ главный характеръ этой критики? Въ ней очень явственно было замѣтно:

1) Пренебреженіе къ собственному мнѣнію. Почти никогда не было замѣтно, чтобы критикъ считалъ свое дѣло важнымъ и принимался за него съ благоговѣніемъ и предварительнымъ размышленіемъ, чтобы, водя перомъ своимъ, думалъ о небольшомъ числѣ возвышенно-образованныхъ современниковъ, передъ которыми онъ долженъ дать отвѣтъ въ каждомъ своемъ словѣ. Журнальная критика по большей части была какимъ-то гаерствомъ. Какъ хвалили книгу покровительствуемаго автора? Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна вниманія въ такомъ-то и въ такомъ-то отношеніи, совсѣмъ нѣтъ. «Это книга», говорили рецензенты, «удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси; продается по пятнадцати рублей; авторъ выше Вальтеръ-Скотта, Гумбольта, Гёте, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте въ бібліотеку вашу; также и второе изданіе купите и поставьте въ бібліотеку: хорошаго не мѣшаетъ имѣть и по два экземпляра».

Большая часть книгъ была расхвалена безъ всякаго разбора и совершенно безотчетно. Если счесть всѣ тѣ, которыя попали въ первоклассныя, то иной подумаетъ, что нѣтъ въ мірѣ богаче русской литературы, и только черезъ нѣсколько времени противоположныя толки тѣхъ же самыхъ рецензентовъ о тѣхъ же самыхъ книгахъ, заставятъ его задуматься и приведутъ въ недоумѣніе. Та же самая неуимѣренность являлась въ упрекахъ сочиненіямъ писателей, противъ которыхъ рецензентъ питалъ ненависть или неблаго-

расположеніе! Такъ же безотчетно изливаль онъ гнѣвъ свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безвѣріе и литературное невѣжество. Эти два свойства особенно распространились въ послѣднее время у насъ въ литературѣ. Нигдѣ не встрѣтишь, чтобы упоминались имена уже окончившихъ поприще писателей нашихъ, которые глядятъ на насъ, въ лучахъ славы, съ вышины своей. Ни одинъ изъ критиковъ не подымае благоговѣнно глазъ своихъ, чтобы ихъ примѣтить. Никогда почти не стоятъ на журнальныхъ страницахъ имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о вліяніи ихъ, еще остающемся, еще замѣтномъ. Никогда они даже не брались въ сравненіе съ нынѣшнюю эпохой, такъ что наша эпоха кажется какъ будто отрублена отъ своего корня, какъ будто у насъ вовсе нѣтъ начала, какъ будто исторія прошедшаго для насъ не существуетъ. Это литературное невѣжество распространяется особенно между молодыми рецензентами, такъ что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успѣеть пройти годъ-другой, какъ толки, вначалѣ довольно громкіе, —уже безгласные, неслышныя, какъ звукъ безъ отголоска, какъ фразы, сказанныя на вчерашнемъ балѣ. Имена писателей, уже упрочившихъ свою славу, и писателей, еще требующихъ ея, сдѣлались совершенною игрушкою. Одинъ рецензентъ роняетъ тѣхъ, которыхъ подымае его противникъ, и все это дѣлается безъ всякаго разбора, безъ всякой идеи. Иное имя бываетъ обязано славою своею ссорѣ двухъ рецензентовъ. Не говоря о писателяхъ отечественныхъ, рецензентъ, о какой бы пустѣйшей книгѣ ни говорилъ, непременно начнетъ Шекспиромъ, котораго онъ вовсе не читалъ. Но о Шекспирѣ пошло въ моду говорить — и такъ, подавай намъ Шекспира! Говоритъ онъ: «Съ сей точки начнемъ мы теперь разбирать открытую передъ нами книгу. Посмотримъ, какъ авторъ нашъ соотвѣтствовалъ Шекспиру», а между тѣмъ разбираемая книга — чепуха, писанная вовсе безъ всякихъ притязаній на сопер-

ничество съ Шекспиромъ, и сходствуетъ развѣ только съ духомъ и образомъ выражений самого рецензента.

3) Отсутствіе чистаго эстетическаго наслажденія и вкуса. Еще въ московскихъ журналахъ видишь иногда какой-нибудь вкусъ, что-нибудь похожее на любовь къ искусству; напротивъ того, критики журналовъ петербургскихъ, особенно такъ-называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемыя сочиненія превозносятся выше Байрона, Гёте и проч.! Но нигдѣ не видитъ читатель, чтобы это было признакомъ чувства, признакомъ пониманія, истекло изъ глубины признательной, растроганной души. Слогъ ихъ, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышитъ мертвящею холодностью. Въ немъ видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензентъ задѣтъ за живое и когда дѣло относится къ его собственному достоинству. Справедливость требуетъ упомянуть о критикахъ Шевырева, какъ объ утѣшительномъ исключеніи. Онъ передаетъ намъ впечатлѣнія въ томъ видѣ, какъ приняла ихъ душа его. Въ статьяхъ его вездѣ замѣтенъ мыслящій человекъ, иногда увлекающійся первымъ впечатлѣніемъ.

4) Мелочное въ мысляхъ и мелочное щегольство. Мы уже видѣли, что критика не занималась вопросомъ важнымъ. Вниманіе рецензій было устремлено на цѣлую шеренгу пустыхъ книгъ и вовсе не съ тѣмъ, чтобы разбирать ихъ, но чтобы блеснуть любезностью, заставить читателя разсмѣяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видѣли изъ знаменитаго процесса о двухъ бѣдныхъ мѣстоименіяхъ: *сей* и *оний*. Вотъ до чего дошла, наконецъ, русская критика!

Кто же были тѣ, которые у насъ говорили о литературѣ? Въ это время не сказалъ своихъ мнѣній ни Жуковский, ни Крыловъ, ни князь Вяземскій, ни даже тѣ, которые еще не такъ давно издавали журналы, имѣвшіе свой голосъ и показавшіе въ статьяхъ свой вкусъ и знаніе: нужно ли послѣ этого удивляться такому состоянію нашей литературы?

Отчего же не говорили сіи писатели, показавшіе въ тво-

реніяхъ своихъ глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низкимъ спуститься на журнальную сферу, гдѣ обыкновенно бойцы всякаго рода заводятъ свой шумный бой? Мы не имѣемъ права рѣшить этого. Мы должны только замѣтить, что критика, основанная на глубокомъ вкусѣ и умѣ, критика высокаго таланта, имѣетъ равное достоинство со всякимъ оригинальнымъ твореніемъ: въ ней виденъ разбираемый писатель, въ ней виденъ еще болѣе самъ разбирающій. Критика, начертанная талантомъ, переживаетъ эфемерность журнальнаго существованія. Для исторіи литературы она неоцѣнима. Наша словесность молода. Корифеевъ ея было немного; но для критика мыслящаго она представляетъ цѣлое поле, работу на цѣлые годы. Писатели наши отлились совершенно въ особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражанія, они заключаютъ въ себѣ чисто - русскіе элементы: и подражаніе наше носить совершенно сѣверообразный характеръ, представляетъ явленіе, замѣчательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заклучимъ искреннимъ желаніемъ, чтобы съ текущимъ годомъ болѣе показалось дѣятельности и, при большемъ количествѣ журналовъ, явилось бы болѣе независимости отъ монополіи, а черезъ то болѣе соревнованія у всѣхъ соответствовать своей цѣли. По крайней мѣрѣ, замѣтно какое-то утѣшительное стремленіе уже и въ томъ, что нѣкоторые журналы съ будущимъ годомъ обѣщаютъ издаваться съ большимъ противу прежняго раченіемъ. Издатели «Сына Отечества», издатель «Телескопа» заговорили объ улучшеніяхъ. Нельзя и сомнѣваться, чтобы при большемъ стараніи не возможно было сдѣлать большаго. По крайней мѣрѣ, со всѣмъ чистосердечіемъ и теплою молитвою излагаемъ желаніе наше: да наградятся старанія всѣхъ и cadaго сторипцею, и чѣмъ безкорыстнѣе и добросовѣстнѣе будутъ труды его, тѣмъ болѣе да будетъ онъ почтенъ заслуженнымъ вниманіемъ и благодарностью.



ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗАПИСКИ

1836 года.

I.

...Въ самомъ дѣлѣ, куда забросило русскую столицу—на край свѣта! Странный народъ русскій: была столица въ Кіевѣ—здѣсь слишкомъ тепло, мало холоду; переѣхала русская столица въ Москву — вѣтъ, и тутъ мало холода: подавай Богъ Петербургъ! Зато какая дичь между матушкою и сыномъ! Чтò это за виды, чтò за природа! Воздухъ прoderнуть туманомъ; на блѣдной, сѣрозеленой землѣ обгорѣлые пни, сосны, ельникъ, кочки... Хорошо еще, что стрѣлою летящее шоссе да русскія поющія и звенящія тройки духомъ пронесутъ мимо. А какая разницца, какая разницца между ими двумя! Она еще до сихъ поръ русская борода, а онъ уже ловкій европеецъ. Какъ раскинулась, какъ расширилась старая Москва! Какъ сдвинулся, какъ вытянулся въ струнку щеголь-Петербургъ! Передъ нимъ со всѣхъ сторонъ зеркала: тамъ Нева, тамъ Финскій заливъ. Ему есть куда поглядѣться. Какъ только замѣтитъ онъ на себѣ перышко или пушокъ, ту-жъ минуту его прочь. Москва—старая домосѣдка, печетъ блины, глядитъ издали и слушаетъ рассказъ, не подымаясь съ кресель, о томъ, чтò дѣлается въ свѣтѣ; Петербургъ—разбитной малый, никогда не сидитъ дома, всегда одѣтъ и, охорашиваясь передъ Европою, раскланивается съ заморскимъ людомъ.

Петербургъ весь шевелится, отъ погребовъ до чердака; съ полночи начинается печь французскіе хлѣбы, которые на завтра всѣ съѣстъ разноплеменный народъ, и во всю

ночь то одинъ глазъ его свѣтится, до другой; Москва ночью вся спитъ, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на всѣ четыре стороны, выѣзжаетъ съ калачами на рынокъ. Москва женскаго рода, Петербургъ мужскаго. Въ Москвѣ все невѣсты, въ Петербургѣ все женихи. Петербургъ наблюдаетъ большое приличіе въ своей одеждѣ; не любитъ пестрыхъ цвѣтовъ и никакихъ рѣзкихъ и дерзкихъ отступленій отъ моды; зато Москва требуетъ, если ужъ пошло на моду, то чтобы во всей формѣ была мода: если талія длинна, то она пускаетъ ее еще длиннѣе; если отвороты фрака велики, то у ней—какъ сарайныя двери. Петербургъ—аккуратный человекъ, совершенный нѣмецъ, на все глядитъ съ расчетомъ и прежде, нежели задумаетъ дать вечеринку, посмотреть въ карманъ; Москва—русскій дворянинъ и если ужъ веселится, то веселится до упаду и не заботится о томъ, что уже хватаетъ больше того, сколько находится въ карманѣ: она не любитъ середины. Въ Москвѣ всѣ журналы, какъ бы учены ни были, но всегда къ концу книжки оканчиваются картинкою моды; петербургскіе рѣдко прилагаютъ картинки, если же приложить, то съ непривычки взглянувшій можетъ перепугаться. Московскіе журналы говорятъ о Кантѣ, Шеллингѣ и проч., и проч.; въ петербургскихъ журналахъ говорятъ только о публикѣ и благонамѣренности... Въ Москвѣ журналы идутъ на ряду съ вѣкомъ, но опаздываютъ книжками; въ Петербургѣ журналы не идутъ наравнѣ съ вѣкомъ, но выходятъ аккуратно, въ положенное время. Въ Москвѣ литераторы проживаются, въ Петербургѣ наживаются. Москва всегда ѣдетъ, завернувшись въ медвѣжью шубу, и большею частію на обѣдъ; Петербургъ, въ байковомъ сюртукѣ, заложивъ обѣ руки въ карманъ, летитъ во всю прыть на биржу или «въ должность». Москва гуляетъ до четырехъ часовъ ночи и на другой день не подымется съ постели раньше второго часа; Петербургъ тоже гуляетъ до четырехъ часовъ, но на другой день, какъ ни въ чемъ не бывало, въ девять часовъ спѣшитъ, въ своемъ байковомъ сюртукѣ, въ присутствіе. Въ Москву та-

пится Русь съ деньгами въ карманѣ и возвращается налегкѣ; въ Петербургъ ѣдутъ люди безденежныя и разбѣзжаются во всѣ стороны свѣта съ изряднымъ капиталомъ. Въ Москву тащится Русь въ зимнихъ кибиткахъ, по зимнимъ ухабамъ, сбывать и закупать; въ Петербургъ идетъ русскій народъ пѣшкомъ лѣтнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливаетъ тюки да вьюки, на мелкаго продавца и смотрѣть не хочетъ; Петербургъ весь расточился по кусочкамъ, раздѣлился, разложился на лавочки и магазины и ловить мелкихъ покупателей. Москва говоритъ: «коли нужно покупщику—сыщеть»; Петербургъ суетъ вывѣску подъ самый носъ, подкапывается подъ вашъ полъ съ «Ренскимъ погребомъ» и ставитъ извозчицью биржу въ самыя двери вашего дома. Москва не глядитъ на своихъ жителей, а шлетъ товары во всю Русь; Петербургъ продаетъ галстуки и перчатки своимъ чиновникамъ. Москва — большой гостинный дворъ; Петербургъ — свѣтлый магазинъ. Москва нужна для Россіи, для Петербурга нужна Россія. Въ Москвѣ рѣдко встрѣтишь гербовую пуговицу на фракѣ; въ Петербургѣ нѣтъ фрака безъ гербовыхъ пуговицъ. Петербургъ любитъ подтрунить надъ Москвою, надъ ея неловкостью и безвкусіемъ; Москва кольнетъ Петербургъ тѣмъ, что онъ не умѣетъ говорить по-русски. Въ Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, гуляютъ въ два часа люди, какъ будто сошедшіе съ журнальныхъ модныхъ картинокъ, выставленныхъ въ окна, даже старухи съ такими узенькими таліями, что дѣлается смѣшно; на гуляньяхъ въ Москвѣ всегда упадетъ, въ самой серединѣ модной толпы, какая-нибудь матушка съ платкомъ на головѣ и уже совершенно безъ всякой таліи. Сказалъ бы еще кое-что, но—

«Дистанція огромнаго размѣра!...»

II.

Трудно схватить общее выраженіе Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонію: такъ же мало коренной національности и такъ же много иностран-

наго смѣшенія, еще не сливагося въ плотную массу. Сколько въ немъ разныхъ націй, столько и разныхъ слоевъ обществъ. Эти общества совершенно отдѣльны: аристократы, служащіе чиновники, ремесленники, англичане, нѣмцы, купцы—все составляютъ совершенно отдѣльные круги, рѣдко сливающіеся между собою, больше живущіе, веселящіеся невидимо для другихъ.

И каждый изъ этихъ классовъ, если присмотрѣться ближе, составленъ изъ множества другихъ маленькихъ кружковъ, тоже неслитыхъ между собой. Напримѣръ, возьмите чиновниковъ. Молоденькіе помощники сталоначальниковъ составляютъ свой кругъ, въ который ни за что не опустится начальникъ отдѣленія. Столоначальникъ, съ своей стороны, подымаетъ свою прическу нѣсколько повыше въ присутствіи канцелярскаго чиновника. Нѣмцы-мастеровые и нѣмцы служащіе тоже составляютъ два отдѣльные круга. Учителя составляютъ свой кругъ, актеры свой кругъ; даже литераторъ, являющійся до сихъ поръ двусмысленнымъ и сомнительнымъ лицомъ, стоитъ совершенно отдѣльно. Словомъ, какъ будто бы пріѣхалъ въ трактиръ огромный дилижансъ, въ которомъ каждый пассажиръ сидѣлъ во всю дорогу закрывшись и вошелъ въ общую залу потому только, что не было другого мѣста. Попытка на заведеніе публичныхъ обществъ доселѣ не имѣетъ успѣха. Въ клубъ петербургскій житель идетъ для того только, чтобы пообѣдать, а не провести время. Что Петербургъ не сдѣлался до сихъ поръ гостинницею, этому виною какая-то внутренняя стихія русскаго человѣка, до сихъ поръ глядящая оригинальностью даже въ вѣчной шлифовкѣ съ иностранцами. Чтобы говорить о каждомъ изъ этихъ круговъ и замѣтить жизнь, текущую между нихъ съ ея веселостями, часлаженіями, надеждами, печалями, нужно быть однимъ изъ тѣхъ, которые вовсе ничего не ищутъ, потому что у этихъ господъ, въ награду за ихъ дѣятельность, рѣшительно нѣтъ времени. Итакъ, мимо балы и вечеринки! Обращусь къ тѣмъ увеселеніямъ, послѣ которыхъ долѣе остается воспоминаніе и

которыя приемяются всѣми классами. Театръ, концертъ— вотъ тѣ пункты, гдѣ сталкиваются классы петербургскихъ обществъ и имѣютъ время вдоволь насмотрѣться другъ на друга. Балетъ и опера—царь и царица петербургскаго театра. Они явились блестящѣе, шумнѣе, восторженнѣе прежнихъ годовъ, и упоенные зрители позабыли, что существуетъ величавая трагедія, вдыхающая невольнo высокія ощущенія въ согласныя сердца сей безмолвно слушающей толпы; что есть комедія, вѣрный списокъ общества, движущагося предъ нами, комедія, строго обдуманная, производящая глубиностью своей ироніи смѣхъ,—не тотъ смѣхъ, который порождается легкими впечатлѣніями, бѣглою острою, ка-ламбуромъ, не тотъ также смѣхъ, который движетъ грубою толпою общества, для котораго нужны конвульсіи и карикатурныя гримасы природы, но тотъ электрическій, живительный смѣхъ, который исторгается невольнo, свободно и неожиданно, прямо отъ души, пораженной ослѣпительнымъ блескомъ ума, рождается изъ спокойнаго наслажденія и производится только высокимъ умомъ. Зрители правы, что были упоены балетомъ и оперой... На драматической сценѣ являлись мелодрама и водевиль, заѣзжіе гости, которые были хозяевами во французскомъ театрѣ, а на русскомъ играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русскіе актеры нѣсколько странны, когда представляютъ маркизовъ, виконтовъ и бароновъ, какъ, вѣроятно, были бы смѣшны французы, вздумавъ поддѣлаться подъ русскихъ мужиковъ; а сцены баловъ, вечеровъ и модныхъ раутовъ являющихся въ русскихъ пьесахъ—каковы онѣ? А водевили?... Давно уже пролѣзли водевили на русскую сцену, тѣшатъ народъ средней руки, благо смѣшили. Кто бы могъ думать, что водевиль будетъ не только переводный на русской сценѣ, но даже и оригинальный? Русскій водевиль! право, немножко странно—странно потому, что эта легкая, безцвѣтная игрушка могла родиться только у французовъ, нація, не имѣющей въ характерѣ своемъ глубокой, неподвижной физиогноміи; но когда русскій, еще нѣсколько су-

ровый, тяжелый характер заставляют вертѣться петиметромъ... мнѣ такъ и представляется, что нашъ тучный и смѣтливый купецъ съ широкою бородою, не зная на ногѣ своей ничего другого, кромѣ тяжелаго сапога, надѣлъ вмѣсто него узенькій башмачокъ и чулки à jour, а другую ногу свою оставилъ просто въ сапогѣ и сталъ такимъ образомъ въ первую пару во французскомъ кадрилѣ.

Уже лѣтъ пять, какъ мелодрамы и водевили завладѣли театрами всего свѣта. Какое обезьянство! Даже нѣмцы—ну, кто бы могъ подумать, что нѣмцы, этотъ основательный, этотъ склонный къ глубокому эстетическому наслажденію народъ,—нѣмцы теперь играютъ и пишутъ водевили, передѣлываютъ и клеятъ надутыя и холодныя мелодрамы! И пусть бы еще повѣтріе это занесено было могуществомъ мановенія гения! Когда весь міръ ладилъ подѣ лиру Байрона, это не было смѣшно; въ этомъ стремленіи было даже что-то утѣшительное. Но Дюма, Дюканжъ и другіе стали всемірными законодателями!.. Клянусь, XIX вѣкъ будетъ стыдиться за эти пять лѣтъ. О, Мольеръ, великій Мольеръ! ты, который такъ обширно и въ такой полнотѣ развивалъ свои характеры, такъ глубоко слѣдилъ всѣ тѣни ихъ, ты, строгій, осмотрительный Лессингъ, и ты, благородный, пламенный Шиллеръ, въ такомъ поэтическомъ свѣтѣ выказавшій достоинство человѣка! взгляните, что дѣлается послѣ васъ на нашей сценѣ; посмотрите, какое странное чудовище, подѣ видомъ мелодрамы, забралось между насъ! Гдѣ же жизнь наша? гдѣ мы со всѣми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отраженіе ея видѣли мы въ нашей мелодрамѣ! Но жгетъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ наша мелодрама...

Непостижимое явленіе: то, что вседневно окружаетъ насъ, что неразлучно съ нами, что обыкновенно, то можетъ замѣчать одинъ только глубокій, великій, необыкновенный талантъ. Но то, что случается рѣдко, что составляетъ исключенія, что останавливаетъ насъ своимъ безобразіемъ, нестройностью среди стройности, за то схватывается обѣими

руками посредственность. И вотъ жизнь глубокаго таланта течетъ во всемъ своемъ разливѣ, со всею стройностью, чистая какъ зеркало, отражая съ одинаковою ясностью и темныя, и свѣтлыя облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни яснаго, ни темнаго.

Странное сдѣлалось сюжетомъ нынѣшней драмы. Все дѣло въ томъ, чтобы разказать какое-нибудь происшествіе, непременно новое, непременно странное, дотолѣ неслыханное и невиданное: убійство, пожары, самыя дикія страсти, которыхъ нѣтъ и въ поминѣ въ теперешнихъ обществахъ! Какъ будто въ наши европейскіе фраки переодѣлись сыны палачей Африки! Палачи, яды—эффектъ, вѣчный эффектъ, и ни одно лицо не возбуждаетъ никакого участія! Никогда еще не выходилъ изъ театра зритель растроганный, въ слезахъ; напротивъ того, въ какомъ-то тревожномъ состояніи торопливо садился онъ въ карету и долго не могъ собрать и сообразить своихъ мыслей. И среди нашего утонченнаго, образованнаго общества такой родъ зрѣлища! Невольно передвигаются передъ глазами тѣ кровавыя ристалища, на которыя собирався смотрѣть весь Римъ въ эпоху величайшаго владычества своего и пригнупленнаго пресыщенія. Но, слава Богу, мы еще не римляне и не на закатѣ существованія, но только на зарѣ его! Если собрать всѣ мелодрамы, какія были даны въ наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, въ которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы, или, лучше — календарь, въ которомъ записаны, съ календарною холодностью, всѣ странныя происшествія, гдѣ противъ каждаго числа выставлено: сегодня было въ такомъ-то мѣстѣ такое-то мошенничество; сегодня отрубили головы такимъ-то разбойникамъ и зажитателямъ; такой-то ремесленникъ зарѣзалъ тогда-то жену свою... и тому подобное. Я воображаю, въ какомъ странномъ недоумѣніи будетъ потомокъ нашъ, вздумавшій искать нашего общества въ нашихъ мелодрамахъ.

Не удивительно, что балетъ и опера утѣшительнѣе и слушать отдохновеніемъ: въ нихъ наслажденіе спокойно. —

Опера принимается у насъ очень жадно. До сихъ поръ не прошелъ тотъ энтузіазмъ, съ какимъ бросился весь Петербургъ на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адскимъ наслажденіемъ, музыку «Роберта». «Семирамида», на которую за пять лѣтъ передъ симъ равнодушно глядѣла публика, «Семирамида» въ нынѣшнее время, когда музыка Россини почти анахронизмъ, приводитъ въ совершенный восторгъ ту же самую публику. Объ энтузіазмѣ, произведенномъ оперою «Жизнь за Царя», и говорить нечего: онъ понятенъ и извѣстенъ уже цѣлой Россіи. Объ этой оперѣ надобно говорить много, или ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыкѣ, ни о пѣвнн. Мнѣ кажется, что всѣ музыкальные трактаты и рецензіи должны быть скучны для самихъ музыкантовъ: въ музыкѣ огромнѣйшая часть ея невыразима и безотчетна. Музыкальные страсти — не житейскія страсти; музыка иногда только выражаетъ, или, лучше сказать, поддѣлывается подъ голосъ нашихъ страстей, для того, чтобы, опершись на нихъ, устремиться брызжущимъ и поющимъ фонтаномъ другихъ страстей въ другую сферу. Замѣчу только, что меломанія болѣе и болѣе распространяется. Люди такіе, которыхъ никто не подозрѣвалъ въ музыкальномъ образѣ мыслей, сидятъ неотлучно въ «Жизни за Царя», «Робертѣ», «Нормѣ», «Фенеллѣ» и «Семирамидѣ». Оперы даются почти два раза каждую недѣлю, выдерживаютъ несчетное множество представленій, и все-таки иногда трудно достать билетъ. Ужъ не наша ли славянская пѣвучая природа такъ дѣйствуетъ? И не есть ли это возвратъ къ нашей старинѣ послѣ путешествія по чужой землѣ европейскаго просвѣщенія, гдѣ около насъ говорили все непонятнымъ языкомъ и мелькали все незнакомые люди, — возвратъ на русской тройкѣ, съ заливающимся колокольчикомъ, съ которымъ мы, привставъ на бѣгу и помахивая шляпой, говоримъ: «Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше!»

Какую оперу можно составить изъ нашихъ національныхъ мотивовъ! Покажите мнѣ народъ, у котораго бы больше

было пѣсень. Наша Украина звенить пѣснями. По Волгѣ, отъ верховья до моря, на всей вереницѣ влекущихся барокъ заливаются бурлацкія пѣсни. Подъ пѣсни рубятся изъ сосновыхъ бревенъ избы по всей Руси. Подъ пѣсни мечутся изъ рукъ въ руки кирпичи, и какъ грибы вырастаютъ города. Подъ пѣсни бабъ пеленается, женится и хоронится русскій человѣкъ. Все дорожное, дворянство и недворянство, летитъ подъ пѣсни ямщиковъ. У Чернаго моря безбородый, смуглый, съ смолистыми усами козакъ, заряжая пищаль свою, поетъ старинную пѣсню; а тамъ, на другомъ концѣ, верхомъ на плывущей льдинѣ, русскій промышленникъ бьетъ острой кита, затагивая пѣсню. У насъ ли не изъ чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Онъ счастливо умѣлъ слить въ своемъ твореніи двѣ славянскія музыки; слышишь, гдѣ говоритъ русскій и гдѣ полякъ: у одного дышитъ раздольный мотивъ русской пѣсни, у другого опрометчивый мотивъ польской мазурки.

Петербургскіе балеты блестятъ. Кстати о балетахъ вообще. Постановка балетовъ въ Парижѣ, Петербургѣ и Берлинѣ ушла очень далеко; но надо замѣтить, что совершенствуется въ нихъ только богатство костюмовъ и богатство декораций; самая же сущность балета, изобрѣтеніе его, нейдетъ въ рядъ съ его постановкой; балетные композиторы очень мало новаго показываютъ въ танцахъ. До сихъ поръ мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются въ разныхъ углахъ міра: испанецъ пляшетъ не такъ, какъ швейцарецъ, шотландецъ, какъ тенберовскій нѣмецъ, русскій не такъ, какъ французъ, какъ азiateцъ. Даже въ провинціяхъ одного и того же государства измѣняется танецъ. Сѣверный руссъ не такъ пляшетъ, какъ малороссіянинъ, какъ славянинъ южный, какъ полякъ, какъ финнъ: у одного танецъ говорящій, у другого безчувственный; у одного бѣшеный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкій, воздушный. Откуда родилось такое разнообразіе танцевъ? Оно родилось изъ

характера народа, его жизни и образа занятій. Народъ, проведенный горделивою и бранною жизнью, выражаетъ ту же гордость въ своемъ танцѣ; у народа безпечнаго и вольнаго та же безграничная воля и поэтическое самозабвеніе отражаются въ танцахъ; народъ климата пламеннаго оставилъ въ своемъ національномъ танцѣ ту же нѣгу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостью, творецъ балета можетъ брать изъ нихъ, сколько хочетъ, для опредѣленія характеровъ пляшущихъ своихъ героевъ. Само собою разумѣется, что, схвативши въ нихъ первую стихію, онъ можетъ развить ее и улетѣть несравненно выше своего оригинала, какъ музыкальный геній изъ простой, услышанной на улицѣ, пѣсни создаетъ цѣлую поэмю. По крайней мѣрѣ, танцы будутъ имѣть тогда болѣе смысла, и такимъ образомъ можетъ болѣе образнообразиться этотъ легкій, воздушный и пламенный языкъ, доселѣ еще нѣсколько стѣсненный и сжатый.

Петербургъ—большой охотникъ до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту въ свѣжее морозное утро, во время котораго небо золотисто-розоваго цвѣта перемежается сквозными облаками подымающагося изъ трубъ дыма, зайдите въ это время въ сѣни Александринскаго театра: вы будете поражены упорнымъ терпѣніемъ, съ которымъ собравшійся народъ осаждаеть грудью раздавателя билетовъ, высовывающаго одну руку свою изъ окошка. Сколько толпится тамъ лакеевъ всякаго рода, начиная отъ того, который пришелъ въ сѣрой шинели и въ шелковомъ цвѣтномъ галстукѣ, но безъ шапки, до того, у котораго трехэтажный воротникъ ливрейной шинели похожъ на пеструю суконную бабочку для вытиранія перьевъ. Тутъ протираются и тѣ чиновники, которымъ чистятъ сапоги кухарки и которымъ некого послать за билетомъ. Тутъ увидите, какъ прямо-русскій герой, потерявъ, наконецъ, терпѣніе, доходитъ, къ необыкновенному изумленію, по плечамъ всей толпы къ окошку и получаетъ билетъ. Тогда только вы узнаете, въ какой степени видна у насъ любовь

къ театру. И что же дается на нашихъ театрахъ? — какія-нибудь мелодрамы и водевилл!... Сердить я на мелодрамы и водевилл.

Положеніе русскихъ актеровъ жалко. Передъ ними трепещеть и кипитъ свѣжее народонаселеніе, а имъ даютъ лица, которыхъ они и въ глаза не видали. Что имъ дѣлать съ этими странными героями, которые ни французы, ни нѣмцы, но какіе-то взбалмошные люди, не имѣющіе рѣшительно никакой опредѣленной страсти и рѣзкой фізіономіи? гдѣ в... азаться? на чемъ развиться таланту? Ради Бога, дайте намъ русскихъ характеровъ, насъ самихъ дайте намъ, нашихъ плутовъ, нашихъ чудаковъ! на сцену ихъ, на смѣхъ всѣмъ! Смѣхъ—великое дѣло: онъ не отнимаетъ ни жизни, ни имѣнія, но передъ нимъ виновный — какъ связанный заяцъ... Мы такъ приглядѣлись къ французскимъ безцвѣтнымъ пьесамъ, что намъ уже боязливо видѣть свое. Если намъ представляютъ какой-нибудь живой характеръ, то мы уже думаемъ, не личность ли это, потому что представляемое лицо совсѣмъ не похоже на какого-нибудь пейзажа, театральнаго тирана, рюмоплета, судью и тому подобныя обношенныя лица, которыхъ таскаютъ беззубые авторы въ свои пьесы, какъ таскаютъ на сцену вѣчныхъ фигурантовъ, отплясывающихъ предъ зрителями, съ тою же улыбкою, свое лихо вытверженное, въ продолженіе сорока лѣтъ, па. Если, напримѣръ, сказать, что въ одномъ городѣ одинъ надворный совѣтникъ нетрезваго поведенія, то всѣ надворные совѣтники обидятся, а иной, совершенно другой совѣтникъ, даже скажетъ: «Какъ же это? у меня есть родственникъ надворный совѣтникъ, прекрасный человекъ! Какъ же можно сказать, что есть надворный совѣтникъ нетрезваго поведенія!» Какъ будто одинъ можетъ порочить все сословіе! И такая раздражительность у насъ рѣшительно распространена на всѣ классы. Нужны ли примѣры? Вспомните «Ревизора»...

Досадно. Право, пора знать уже, что одно только вѣрное изображеніе характеровъ, не въ общихъ вытверженныхъ чертахъ, но въ ихъ національно-вылившейся формѣ, пора-

жающей насъ живостью, такъ что мы говоримъ: «Да это, кажется, знакомый человѣкъ», — только такое изображеніе приноситъ существенную пользу. Изъ театра мы сдѣлали игрушку въ родѣ тѣхъ побрякушекъ, которыми заманиваютъ дѣтей, позабывши, что это такая каеэдра, съ которой читается разомъ цѣлой толпѣ живой урокъ, гдѣ, при торжественномъ блескѣ освѣщенія, при громѣ музыки, при единодушномъ смѣхѣ, показывается знакомый, прячущійся порокъ и, при тайномъ голосѣ всеобщаго участія, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство...

Но довольно о театрѣ. Я заговорился о немъ. Его зимній карнавалъ замыкаетъ шумная недѣля Петербурга, когда онъ одною половиною своего народонаселенія летаетъ на качеляхъ, мчится какъ вихоръ съ ледяныхъ горъ, а другою превращается въ длинную цѣпь каретъ и едва движется, равняемый жандармами, когда спектакли даются и днемъ, и вечеромъ, и вся Адмиралтейская площадь засѣяна скорлупами орѣховъ...

Спокоенъ и грозенъ Великій постъ. Кажется, слышенъ голосъ: «Стой, христіанинъ; оглянись на жизнь свою». На улицахъ пусто. Каретъ нѣтъ. Въ лицѣ прохожаго видно размышленіе. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнѣе, обдуманнѣе потекутъ мои мысли. Весь пустой и ничтожный народъ, вѣрно, пролежитъ заспанный и утомленный и позабудетъ зайти потревожить меня пошлымъ разговоромъ о вистѣ, о литературѣ, о наградахъ, о театрѣ.

Постъ въ Петербургѣ есть праздникъ музыкантовъ. Въ это время они съѣзжаются изъ разныхъ сторонъ Европы. Огромный концертъ въ пользу инвалидовъ всегда бываетъ величественъ: четыреста музыкантовъ! это что-то могущественное. Когда согласный ропотъ четырехсотъ звуковъ раздается подъ дрожащими сводами, тогда, мнѣ кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновеннымъ содроганіемъ.

Въ продолженіе поста въ петербургскую атмосферу заглядываетъ солнце. Западная сторона съ моря дѣлается

яснѣ. Сѣверъ глядитъ съ меньшею суровостью изъ своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улицѣ и высаживаютъ на тротуаръ гуляющихъ. Съ 1836 года Невскій проспектъ, этотъ шумный, вѣчно шевелящійся, хлопотливый и толкающій Невскій проспектъ, упалъ совершенно: гулянье перенесено на Англійскую набережную. Покойный императоръ любилъ Англійскую набережную. Она, точно, прекрасна. Но тогда только, когда начались гулянья, замѣтилъ я, что она немного коротка. Но гуляющіе все въ выигрышѣ, потому что половину Невского проспекта всегда почти занималъ народъ мастеровой и должностной, и оттого на немъ можно было получить толчокъ цѣлою третью больше, нежели гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ...

Къ чему такъ быстро летитъ ничѣмъ незамѣнимое наше время? Кто его кличетъ къ себѣ? Великій постъ — какой спокойный, какой уединенный его отрывокъ! Чего нельзя сдѣлать въ эти семь недѣль? Теперь, наконецъ, займусь я основательно трудомъ своимъ. Теперь совершу я, наконецъ, то, чего не дали совершить мнѣ шумъ и всеобщее волненіе. Но вотъ уже на исходѣ первая недѣля; не успѣлъ начать я, уже летитъ за нею вторая, уже середина третьей, уже четвертая, уже ярмарка въ Гостиномъ дворѣ, и цѣлая галерея вербъ съ восковыми фруктами и цвѣтами зацвѣла подъ темными его арками. Когда я проходилъ мимо этой пестрой аллеи, подъ тѣнью которой были навалены топорныя дѣтскія игрушки, мнѣ сдѣлалось досадно. Я сердился и на краснощекихъ нянекъ, шатавшихся толпами, и на дѣтей, радостно останавливавшихся передъ кучами приятнаго для нихъ сора, и на черномазаго, приземстаго и уса-таго грека, титуловавшаго себя молдаванскимъ кондитеромъ, съ его сомнительными и неопредѣленными вареньями. Ложавшія на столикахъ сапожныя щетки, оловянныя обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькія зеркальца мнѣ казались противны. Народъ все такъ же пестрится, тѣснится; тѣ же чувства выражаются на лицѣ его; съ тѣмъ же любопытствомъ глядитъ онъ, съ какимъ глядѣлъ и годъ тому на-

заль, два и три, и нѣсколько лѣтъ;— а я, и каждый чело-
вѣкъ изъ этого народа уже не тотъ: уже другія въ немъ чув-
ства, нежели были за годъ предъ симъ; уже суровѣ мысли
его; менѣе улыбается на устахъ душа его, и что-нибудь да
отпадаетъ съ каждымъ днемъ отъ прежней его живости.

Нева вскрылась рано. Лды, не тревоженные вѣтрами,
успѣли истаять почти до вскрытiя, неслись уже рыхлые и
разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои
почти въ одно время. Столица вдругъ измѣнилась. И спиць
Петропавловской колокольни, и крѣпость, и Васильевскiй
островъ, и Выборгская сторона, и Англiйская набережная —
все получило картинный видъ. Дымясь влетѣлъ первый
пароходъ. Первыя лодки съ чиновниками, солдатами, ста-
рухами-няньками, англiйскими конторщиками понеслись съ
Васильевского и на Васильевскiй. Давно не помню я такой
тихой и свѣтлой погоды. Когда взошелъ я на Адмиралтей-
скiй бульваръ, — это было наканунѣ Свѣтлаго Воскресенiя
вечеромъ, — когда Адмиралтейскимъ бульваромъ достигъ я
пристани, передъ которою блестятъ двѣ яшмовыя вазы,
когда открылась передо мною Нева, когда розовый цвѣтъ
неба дымился съ Выборгской стороны голубымъ туманомъ,
строенiя стороны Петербургской одѣлись почти лиловымъ
цвѣтомъ, скрывшимъ ихъ неказистую наружность, когда
церкви, у которыхъ туманъ одноцвѣтнымъ покровомъ своимъ
скрылъ всѣ выпуклости, казались нарисованными или на-
клеенными на розовой матерiи, и въ этой лилово-голубой
мглѣ блестялъ одинъ только спиць Петропавловской коло-
кольни, отражаясь въ безконечномъ зеркалѣ Невы, — мнѣ
казалось, будто я былъ не въ Петербургѣ: мнѣ казалось,
будто я переѣхалъ въ какой-нибудь другой городъ, гдѣ уже
я бывалъ, гдѣ все знаю, и гдѣ то, чего нѣтъ въ Петер-
бургѣ... Вонъ и знакомый гребецъ, съ которымъ я не ви-
дался болѣе полугода, болтается со своимъ яликомъ у бе-
рега, и знакомыя раздаются рѣчи, и вода, и лѣто, кото-
рыхъ не было въ Петербургѣ.

Сильно люблю весну. Даже здѣсь, на этомъ дикомъ Сѣ-

верѣ, она моя. Мнѣ кажется, никто въ мірѣ не любитъ ее такъ, какъ я. Съ нею приходитъ ко мнѣ моя юность; съ ней мое прошедшее болѣе чѣмъ воспоминаніе: оно передъ моими глазами и готово брызнуть слезою изъ моихъ глазъ. Я такъ былъ упоенъ ясными, свѣтлыми днями Христова Воскресенія, что не замѣчалъ вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видѣлъ только издали, какъ качели уносили на воздухъ какого-то молодца, сидѣвшаго объ руку съ какой-то дамой въ щегольской шляпкѣ; мелькнула въ глаза выѣска на угльномъ балаганѣ, на которомъ нарисованъ былъ пребольшой рыжій чортъ съ топоромъ въ рукѣ. Больше я ничего не видѣлъ.

Свѣтлымъ Воскресеніемъ, кажется, какъ будто оканчивается столица. Кажется, что все, что ни видимъ на улицѣ, укладывается въ дорогу. Спектакли, балы послѣ Свѣтлаго Воскресенія — больше ничего, какъ оставшіеся хвосты отъ тѣхъ, которые были передъ Великимъ постомъ или, лучше сказать, гости, которые расходятся позже другихъ и проговариваютъ у камина еще нѣсколько словъ, прикрывая одною рукою зѣвающій ротъ свой. Городъ весь высушился, тротуары сухи. Петербургскіе джентльмены, въ однихъ сюртучкахъ, съ разными палками; вмѣсто громоздкой кареты, несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются лѣнивѣе. Уже въ окна магазиновъ, вмѣсто шерстяныхъ чулковъ, глядятъ кое-гдѣ лѣтнія фуражки и хлыстики. Словомъ, Петербургъ, во весь апрѣль мѣсяцъ, кажется на подлетѣ. Весело презрѣть сидячую жизнь и постоянство и помышлять о дальней дорогѣ подъ другія небеса, въ южныя зеленныя рощи, въ страны новаго и свѣжаго воздуха. Весело тому, у кого въ концѣ петербургской улицы рисуются подоблачныя горы Кавказа, или озера Швейцаріи, или увѣнчанная анемономъ и лавромъ Италія, или прекрасная и въ пустынности своей Греція... Но стой, мысль моя: еще съ обѣихъ сторонъ около меня громоздятся петербургскіе дома...



РЕЦЕНЗИИ,

помѣщенные въ

„СОВРЕМЕННОИЪ“ А. С. ПУШКИНА.

Историческіе афоризмы Михайла Погодина. Москва. Универс. тип. 1836 (8). VIII и 128 стр.

Г. Погодинъ во многихъ отношеніяхъ есть лицо примѣчательное въ нашей литературѣ. Онъ уединенно стоитъ среди писателей нашихъ, не привлекая благорасположенія большинства. Но изъ всѣхъ, посвятившихъ себя исторіи, онъ болѣе всего останавливаетъ на себѣ вниманіе. Онъ первый у насъ сказалъ, что «Исторія должна изъ всего рода человѣческаго сотворить одну единицу, одного человѣка, и представить біографію этого человѣка во всѣхъ степеняхъ его возраста; что многочисленныя народы, жившіе и дѣйствовавшіе въ продолженіе тысячелѣтій, доставятъ въ такую біографію, можетъ-быть, по одной чертѣ. Черту сію узнаютъ великіе историки». Онъ первый говорилъ о великихъ писателяхъ, указавшихъ въ твореніяхъ своихъ на истинное значеніе исторіи. Онъ переводилъ изъ нихъ отрывки для своего журнала; наконецъ, онъ многихъ изъ нихъ перевелъ вполнѣ, почти не заботясь о томъ, что важность ихъ еще мало у насъ чувствовали. Вотъ реестръ изданныхъ имъ сочиненій:

Изслѣдованіе о Кириллѣ и Меѳодіи, Іосифа Добровскаго.

О жилищахъ древнихъ руссовъ, собственное сочиненіе.

Критическія изслѣдованія, Эверса.

Начертаніе древней географіи, собств. соч.

Лекціи по Герену.

Начертаніе всеобщей исторіи, Бетигера.

Введеніе въ исторію для дѣтвей, А. Шлёцера.

Русская история для училищъ.

Карты Европы, Риттера.

Гецъ фонъ-Берлихингенъ, соч. Гёте.

Марѳа Посадница, драма.

Димитрій Самозванецъ, исторія въ лицахъ.

Славянская грамматика, Добровскаго, переведенная
вмѣстѣ съ г. Шевыревымъ.

Кромѣ того издавалъ онъ:

Московский Вѣстникъ за 1827, 1828, 1829 и 1830 г.
Уранію, альманахъ на 1826.

Въ его историческихъ критикахъ видно много ума, обдуманная умѣренность, иногда юношескій порывъ вслѣдъ за собственной мыслию.

Изданная нынѣ книжка заключаетъ отдѣльныя мысли и замѣчанія, записанныя имъ въ разное время. Эти мысли помѣщены безъ всякаго порядка; выражены не всегда ясно. Но въ нихъ ощутительно стремленіе къ общимъ идеямъ. Границы, имъ начертанныя для исторіи, обширны. Онъ заключаетъ ее не въ однихъ явленіяхъ политическихъ; онъ видитъ ее въ торговлѣ, въ литературѣ, въ религіи, въ художественномъ развитіи, во всѣхъ многообразныхъ явленіяхъ, въ какихъ оказывается человѣчество. Вотъ его мысли объ исторіи вообще:

«Каждый человѣкъ дѣйствуетъ для себя, по своему плану, а выходитъ общее дѣйствіе, исполняется другой высшій планъ, и изъ суровыхъ, тонкихъ, гнилыхъ нитей біографическихъ сплетается каменная ткань исторіи».

«Исторія для насъ есть поэма на иностранномъ языкѣ, котораго мы не понимаемъ, и только примѣчаемъ значеніе нѣкоторыхъ словъ, много-много эпизодовъ. А сколько мѣстъ искаженныхъ въ нашей рукописи отъ невѣжества, ограниченности переписчиковъ! Исторію надо возстановлять (restaurare), какъ статую, найденную въ развалинахъ Аѳинъ, какъ текстъ Виргиліевъ въ монастырскомъ спискѣ».

«Представьте себѣ (я требую возможнаго только въ во-

ображеніи), что человекъ, не имѣющій понятія о музыкѣ, но одаренный отъ природы всѣми способностями, чтобъ чувствовать и понимать ея, получаетъ партитуру какой-нибудь огромной ораторіи и всѣ музыкальные инструменты, на коихъ она можетъ быть разыграна, съ голымъ извѣстіемъ, что условными знаками, имъ видимыми (нотами), означаются разные звуки, производимые на данныхъ инструментахъ. Онъ хочетъ по симъ двумъ даннымъ представить себѣ исполненіе (exécution) сего великаго музыкальнаго произведенія. Ему должно, во-первыхъ, испытать всѣ инструменты и узнать всѣ ихъ возможные звуки, перемѣтить ихъ и привести въ порядокъ свои новыя ноты, отыскать посредствомъ соображеній, опытовъ, отношеніе своихъ нотъ къ даннымъ (какъ бы посредствомъ фальшиваго ариметическаго правила), узнать такимъ образомъ, какой звукъ и на какомъ инструментѣ тою или другою данною нотою изображается, разыграть партитуры по частямъ и проч., и проч. Сколько усилій ума потребно, чтобы попасть на сіи средства, сколько потребно труда, чтобы воспользоваться сими средствами! Цѣлыя поколѣнія пройдутъ, пока, наконецъ, внуку внуковъ удастся достигнуть отдаленной цѣли прародителя и насладиться божественною гармоніею.

«Труднѣйшая задача задается историку: онъ самъ долженъ ловить всѣ звуки (дѣтописи, Несторы, Григоріи Турскіе), отличить фальшивые отъ вѣрныхъ (историческая критика, Шлѣцеры, Круги), незначительные отъ важныхъ, сложить въ одну кучу (исторія, собранія дѣяній, Роллени), разобрать сіи кучи по родамъ исторіи (частныя исторіи религіи, торговли, Герены), провидѣть, что въ сей кучѣ и кучахъ должна быть система, какой-нибудь порядокъ, гармонія (Шлѣцеры, Гердеры, Шиллеры), доказать это положительно а priori (Шеллинги), дѣлать опыты, какъ найти сію систему (Асты, Штуцманы), наконецъ, найти ее и прочесть исторію такъ, какъ глухой Бетховенъ читалъ партитуры».

Въ имперіи византійской г. Погодинъ видитъ продолженіе исторіи древней Греціи. Геній Платона, Аристотеля воскресаетъ въ Іоаннъ Златоустъ и Григоріи Назіанзинъ.

Францію онъ полагаетъ родникомъ всего общественнаго, гражданскаго и политическаго,—землей, гдѣ совершается вѣчный опытъ. Подведенныя въ подтвержденіе событія доказываютъ большую наблюдательность. У франковъ, говоритъ онъ, прежде всего была принята христіанская католическая религія и раньше сдѣлалась государственною; у франковъ прежде началась и развилась феодальная система; коронованный франкъ Карлъ Великій первый возвысилъ папу; отозвавши папу въ Авиньонъ, Франція была отчасти виною его паденія; во Франціи были первыя попытки противъ папской власти (альбійцы); рыцарство развилось блистательнѣе во Франціи; крестовый походъ былъ подвинутъ французомъ, аміенскимъ пустынникомъ; разрушенный феодализмъ прежде всего организованъ въ самодержавіе во Франціи; постоянныя войска начались во Франціи; постоянные налоги и королевскій судъ во Франціи; идея о равновѣсіи истекла изъ войнъ итальянскихъ, порожденныхъ Франціей; учрежденіе посольствъ, политическіе журналы, кофейные дома, энциклопедія, языкъ, мода, карты—все родилось во Франціи. Общественное мнѣніе нигдѣ такъ не сильно, какъ во Франціи; Франція остановила революціи своимъ ужаснымъ примѣромъ; виною нынѣшняго тѣснаго соединенія европейскихъ державъ между собою есть Франція и ея Наполеонъ.

Многіе афоризмы суть только сближенія сходныхъ и противоположныхъ происшествій, совершившихся въ разныхъ углахъ міра или на одной и той же землѣ; сближеніе отдаленной, почти сокровенной причины съ ея колоссальными слѣдствіями, отозвавшимися чрезъ нѣсколько вѣковъ, всегда разительно. Другіе афоризмы суть только вопросы на вопросы. Вездѣ видишь челоуѣка, обладаемаго величіемъ своего предмета. Это благоговѣйное изумленіе дышитъ на каждой страницѣ. Иногда, по-

раженный безконечностью науки, онъ какъ будто чувствуетъ безсиліе духа и восклицаетъ: «какъ мудрено распознать, отъ чего что происходитъ, что къ чему клонится! Какъ переплетаются причины и слѣдствія! Повторяю вопросъ: можно ли представить исторію? Гдѣ формы для нея? Исторію вполнѣ можно только чувствовать».

Читатель обыкновенный небрежно и разсѣянно взглянетъ на эту книгу и, отыскавъ двѣ-три незначительныя мысли, дурно выраженные, можетъ-быть, посмѣется надъ нею съ дѣтскимъ легкомысліемъ; но читатель, въ душѣ котораго горитъ пламень любви къ наукѣ, а мысль постигаетъ глубокое значеніе ея, прочтетъ эти страницы съ соучастіемъ, проникнется благодарностью за оживленныя въ душѣ его размышленія, и скажетъ: этотъ человѣкъ видѣлъ и чувствовалъ въ исторіи то, что не всякому дано видѣть и чувствовать.

Плаваніе по Бѣлому морю въ Соловецкій монастырь, сочиненіе Я. Озерецковскаго. С.-П.-бургъ, 1836, въ тип. Н. Греча, въ 12 д. л., 54 стр.

Нѣсколько занимательныхъ замѣчаній о сѣверной природѣ. Желательно было бы слышать болѣе о семь угрюмомъ и знаменитомъ въ нашихъ лѣтописяхъ монастырѣ, гдѣ древле томились въ заточеніи наши опальные патриархи и святители.

Походныя записки артиллериста, съ 1812 по 1816 г., артиллеріи полковника И. Р... Москва, 1835—1836 г., въ 8 д. Четыре части. Стр. 296—348—354—375.

Когда возвратились наши войска изъ славнаго путешествія въ Парижъ, каждый офицеръ принесъ запасъ воспоминаній. Ихъ рассказы всѣ безъ исключенія были занимательны; все наблюдаемо было свѣжими и любопытными чувствами новичка; даже постой русскаго офицера на нѣмецкой квартирѣ составлялъ уже романъ. Донинѣ, если бывшій въ Парижѣ офицеръ, уже ветеранъ, уже во фракѣ, уже съ просѣдою на головѣ, станетъ рассказывать о прошедшихъ походахъ, то около него собирается лю-

бопытный кружокъ. Но ни одинъ изъ нашихъ офицеровъ до сихъ поръ не вздумалъ записать свои рассказы въ той истинѣ и простотѣ, въ какой они изливаются изустно. То, что случалось съ ними, какъ съ людьми частными, почитаютъ они слишкомъ неважнымъ, и очень ошибаются. Ихъ простые рассказы иногда вносятъ такую черту въ исторію, какой нигдѣ не дороешься. Возьмите, напримѣръ, эту книгу: она не отличается блестящимъ слогомъ и замашками опытнаго писателя; но все въ ней живо и вездѣ слышенъ очевидецъ. Ее прочтутъ и тѣ, которые читаютъ только для развлечения, и тѣ, которые изъ книгъ извлекаютъ новое богатство для ума.

Письма леди Рондо, супруги англійскаго министра при руссійскомъ дворѣ въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны. Перевелъ съ англійскаго М. К. С.-П.-бургъ, въ тип. III отдѣленія Собственной Е. И. В. канцеляріи, 1836, въ 8, стр. 128.

Книжка замѣчательная. Леди Рондо пишетъ къ пріятельницѣ своей о себѣ, о своихъ чувствахъ, о томъ, что занимательно для нея одной, но мимоходомъ задѣваетъ и исторію. Нѣсколько бѣглыхъ словъ о Петрѣ II, объ императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ, о Биронѣ, прибавляютъ новыя черты къ ихъ портретамъ.

Путешествіе вокругъ свѣта, составленное изъ путешествій и открытій Магеллана, Гасмана, Дампьера, Ансона, Байрона, Валлиса, Картере, Бугенвиля, Кука, Лаперуза, Влейга, Ванкувера, Дантркасто, Вильсона, Бодена, Флиндерса, Крузенштерна, Головнина, Партера, Коцебу, Фрейсине, Беллинсгаузена, Галля, Деперре, Польдинга, Вичи, Дюмонъ-Дюрвиля, Литке, Диллона, Лапласа, Мореля и пр., издано подъ руководствомъ Дюмонъ-Дюрвиля, капитана французскаго королевскаго флота, съ картами и многочисленнымъ собраніемъ изображеній, гравированныхъ на мѣди, съ рисунковъ извѣстнаго г. Сенсона, рисовальщика, совершившаго путешествіе съ Дюмонъ-Дюрвилемъ. Изданіе А. Плюшара. Часть первая, С.-П.-бургъ, 1836, въ тип. А. Плюшара, въ 4.

Есть книги, пишущіяся для того общества, которое пужно, какъ дѣтей, заохочивать и принуждать къ чтенію. Въ этомъ случаѣ безкорыстнѣе дѣйствовали англичане, которые, при всей народной гордости, отличаются своею филантропіей, составляютъ общества для распространенія нравственности, воздержанія и проч., издають и распускають по свѣту безденежно, или по чрезвычайно низкой цѣнѣ, множество полезныхъ книгъ для народа. Что изобрѣтетъ англичанинъ, то углубить, расширить и разнесетъ по всему свѣту французъ. Едва появилось во Франціи одно дешевое изданіе, какъ уже на другой годъ нахлынулъ потопъ дешевыхъ изданій. Еще не успѣетъ Европа получить одно, какъ является другое. Къ числу множества такихъ изданій принадлежитъ и вышеозначенное. Оно замѣчательнѣе другихъ потому, что полезнѣе. Это сводъ всѣхъ путешествій, изображеніе всего міра въ его нынѣшнемъ географическомъ, статистическомъ и физическомъ состояніи, словомъ, книга, болѣе всего находящая себѣ читателей, потому что путешествіе и рассказы путешествій болѣе всего дѣйствуютъ на развивающійся умъ. Свѣдѣнія, принесенныя новѣйшими путешественниками, въ этой книгѣ вложены въ уста одного. Быть-можетъ, слишкомъ взыскательному читателю станетъ досадно при мысли, что все это рассказываетъ ему человѣкъ не существующій: свѣжесть впечатлѣній, сохраняемыхъ очевидцемъ, ничѣмъ незамѣнима. Языкъ перевода ясенъ и живъ. Картинки очень хороши. Въ мѣсяць выходитъ довольно большая тетрадь въ 4, печатанная въ два столбца. Въ Москвѣ это же самое сочиненіе началъ переводить г. Полевой. Онъ выдалъ уже одинъ томъ; если выйдутъ остальные пять, то и его изданіе будетъ дешевое.

Атласъ космографіи, изд. Ободовскимъ. СПб. 1836, ть 2, XVI чертежей.

Атласъ этотъ принадлежитъ къ вышедшей за два года предъ симъ космографіи г. Ободовскаго.

Мое новоселье. Альманахъ на 1836 годъ, В. Крыловскаго. СПБ., въ тип. издателя, 296 стр.

Это альманахъ! Какое странное чувство находить, когда глядимъ на него: кажется, какъ будто на крышѣ опустѣлаго дома, гдѣ когда-то было весело и шумно, видимъ передъ собою тощаго мяукающаго кота. Альманахъ! Когда-то Дельвигъ издавалъ благоуханный свой альманахъ! Въ немъ цвѣли имена Жуковскаго, князя Вяземскаго, Баратынскаго, Языкова, Плетнева, Туманскаго, Козлова. Теперь все новое, никого не узнаешь: другіе люди, другія лица. Въ оглавленіи, приложенномъ къ началу, стоятъ имена гг. Куруты, Варгасова, Крыловскаго, Грена; кромѣ того написали еще стихи буква С., буква Ш., буква Щ. Читаемъ стихи—подобные стихи бывали и въ прежнее время; по крайней мѣрѣ въ нихъ все было ровнѣе, текучѣе, сочинители лепетали вслѣдъ за талантами. Грустно по старымъ временамъ!..

Сорокъ одна повѣсть лучшихъ иностранныхъ писателей (Бальзака, Бальоль, Блюменбаха, доктора Гаррисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. Жанена, Ваш. Ирвинга, Кинда, Крузе, И. Мока, Сентина, Тика, Цюке, Ф. Шаля и другихъ); изданы Николаемъ Надеждинымъ. Москва, въ типогр. Степанова, 1836, въ 12, двѣнадцать частей, стр. 287—261—259—287—275—276—262—263—227—246—251—236.

Повѣсти, печатанныя въ разныхъ номерахъ «Телескопа». Издатель, выбравъ ихъ оттуда, выпустилъ отдѣльными книжками и хорошо сдѣлалъ. Здѣсь имъ лучше, нежели тамъ. Собравшись вмѣстѣ, онѣ представляютъ дѣйствительно что-то разнообразное. Ихъ развезутъ по первой зимней дорогѣ русскіе разносчики во всѣ отдаленные города и деревни; онѣ пріятно займутъ въ долгіе вечера и ночи нашихъ уѣздныхъ барышень, по крайней мѣрѣ, пріятнѣе, нежели наши самодѣльные романы.



НОЧИ НА ВИЛЛѢ.

Ночь 1-я.

Онѣ были сладки и томительны, эти бессонныя ночи. Онѣ сидѣлъ больной въ креслахъ. Я при немъ. Сонъ не смѣлъ касаться очей моихъ. Онѣ безмолвно и невольно, казалось, уважалъ святыню ночного бдѣнія. Мнѣ было такъ сладко сидѣть возлѣ него, глядѣть на него. Уже двѣ ночи, какъ мы говорили другъ другу *ты*. Какъ ближе послѣ этого онѣ сталъ ко мнѣ! Онѣ сидѣлъ все тотъ же кроткій, тихій покорный. Боже! съ какою радостью, съ какимъ бы веселіемъ я принялъ бы на себя его болѣзнь! И если-бъ моя смерть могла возвратитъ его къ здоровью, съ какою готовностью я бы кинулся тогда къ ней!

Я не былъ у него эту ночь. Я рѣшился, наконецъ, заснуть ея у себя. О! какъ пошла, какъ подла была эта ночь вмѣстѣ съ моимъ презрѣннымъ сномъ! Я дурно спалъ ея, несмотря на то, что всю недѣлю проводилъ ночи безъ сна. Меня терзали мысли о немъ. Мнѣ онѣ представлялся молящій, упрекающій. Я видѣлъ его глазами души. Я послѣшилъ на другой день поутру и шелъ къ нему, какъ преступникъ. Онѣ увидѣлъ меня, лежащій въ постели. Онѣ усмѣхнулся тѣмъ же смѣхомъ ангела, которымъ привыкъ усмѣхаться. Онѣ далъ мнѣ руку. Пожалъ ея любовно. «Измѣнникъ!» сказалъ онѣ мнѣ: «ты измѣнилъ мнѣ». — «Ангель мой!» сказалъ я ему: «прости меня. Я страдалъ самъ твоимъ страданіемъ. Я терзался эту ночь. Нѣ спокойствіе былъ мой отдыхъ: прости меня!» Кроткій! онѣ по-

жалъ мою руку! Какъ я былъ полно вознагражденъ тогда за страданія, нанесенныя мнѣ моею глупо проведенною ночью!—«Голова моя тяжела», сказалъ онъ. Я сталъ его обмахивать вѣткою лавра. «Ахъ! какъ свѣжо и хорошо!» говорилъ онъ. Его слова были тогда... что они были!.. Что бы я далъ тогда, какихъ бы благъ земныхъ, презрѣнныхъ, этихъ подлыхъ, этихъ гадкихъ благъ... нѣтъ! о нихъ не стоитъ говорить! Ты, кому попадутся,—если только попадутся,—въ руки эти нестройныя, слабыя строки, блѣдныя выраженія моихъ чувствъ,—ты поймешь меня. Иначе они не попадутся тебѣ. Ты поймешь, какъ гадка вся грудка сокровищъ и почестей, эта звенящая приманка деревянныхъ куколъ, названныхъ людьми. О, какъ бы тогда весело, съ какою-бъ злостью растопталъ и подавилъ все, что сыплется отъ могучаго скиптра полночнаго царя, если-бъ только зналъ, что за это куплю усмѣшку, знаменующую тихое облегченіе, на лицѣ его!

«Что ты приготовилъ для меня такой дурной май?» сказалъ онъ мнѣ, проснувшись, сидя въ креслахъ, услышавъ шумѣвшій за стеклами оконъ вѣтеръ, срывавшій благовопія съ цвѣтшихъ дикихъ жасминовъ и бѣлыхъ акацій и клубившій ихъ вмѣстѣ съ листьями розъ.

Въ 10 часовъ я сошелъ къ нему. Я его оставилъ за 3 часа до этого времени, чтобъ отдохнуть немного и приготовить ему, чтобъ доставить какое-нибудь разнообразіе, чтобы мой приходъ потомъ былъ ему пріятнѣе. Я сошелъ къ нему въ 10 часовъ. Онъ уже болѣе часу сидѣлъ одинъ. Гости, бывшіе у него, давно ушли. Онъ сидѣлъ одинъ. Томленіе скуки выразалось на лицѣ его. Онъ меня увидѣлъ. Слегка махнулъ рукой. «Спаситель ты мой!» сказалъ онъ мнѣ. Они еще донныя раздаются въ ушахъ моихъ, эти слова. «Ангель ты мой! ты скучалъ?» — «О, какъ скучалъ!» отвѣчалъ онъ мнѣ. Я поцѣловалъ его въ плечо. Онъ мнѣ подставилъ свою щеку. Мы поцѣловались; онъ все еще жалъ мою руку.

Ночь 8-я.

Онъ не любилъ и не ложился почти вовсе въ постель. Онъ предпочиталъ свои кресла и то же свое сидячее положеніе. Въ ту ночь ему докторъ велѣлъ отдохнуть. Онъ приподнялся неохотно и, опираясь на мое плечо, шелъ къ своей постели. Душенька мой! Его уставшій взглядъ, его теплый пестрый сюртукъ, медленное движеніе шаговъ его—все это я вижу, все это передо мною. Онъ сказалъ мнѣ на ухо, прислонившись къ плечу и взглянувши на постель: «Теперь я пропавшій человѣкъ».—«Мы всего только полчаса останемся въ постели», сказалъ я ему: «потомъ перейдемъ вновь въ твои кресла». Я глядѣлъ на тебя, мой милый нѣжный цвѣтъ! Во все то время, какъ ты спалъ или только дремалъ на постели и въ креслахъ, я слѣдилъ твои движенія и твои мгновенья, прикованный непостижимою къ тебѣ силою.

Какъ странно-нова была тогда моя жизнь и какъ вмѣстѣ съ тѣмъ я читалъ въ ней повтореніе чего-то отдаленнаго, когда-то давно бывшаго! Но, мнѣ кажется, трудно дать идею о ней: ко мнѣ возвратился летучій, свѣжій отрывокъ моего юношескаго времени, когда молодая душа ищетъ дружбы и братства между молодыми своими сверстниками и дружбы рѣшительно юношеской, полной милыхъ, почти младенческихъ, мелочей и наперерывъ оказываемыхъ знаковъ нѣжной привязанности; когда сладко смотрѣть очами въ очи, когда весь готовъ на пожертвованія, часто даже вовсе ненужныя. И всѣ эти чувства, сладкія, молодыя, свѣжія,—увы! жители невозвратимаго міра,— всѣ эти чувства возвратились ко мнѣ. Боже! зачѣмъ? Я глядѣлъ на тебя, милый мой молодой цвѣтъ. Зачѣмъ ли пахнуло на меня вдругъ это свѣжее дуновеніе молодости, чтобы потомъ вдругъ и разомъ я погрузился еще въ большую мертвящую остылость чувствъ, чтобы я вдругъ сталъ старѣе цѣлымъ десяткомъ, чтобы отчаяннѣе и безнадежнѣе я увидѣлъ исчезающую мою жизнь? Такъ угаснувшій огонь еще посылаетъ на воздухъ послѣднее пламя, озарившее трепетно мрачныя стѣны, чтобы потомъ скрыться навѣки.

НАБРОСКИ, ВЫПИСКИ, ОТРЫВКИ.

I.

Какъ нужно создать эту драму.

Облечь ее въ мѣсячную чудную ночь и ея серебряное сіяніе и въ (теплое) роскошное дыханіе Юга.

(Освѣтить) Облить ее сверкающимъ потопомъ солнечныхъ яркихъ лучей, и да исполнится она вся нестерпимаго блеска!

Освѣтить ее всю минувшимъ и вызваннымъ изъ строя удалившихся вѣковъ, полнымъ старины временемъ, обвить разгуломъ, козачкомъ и всѣмъ раздольемъ воли.

И въ потопъ рѣчей неугасаемой страсти, и въ рѣшительный, отрывистый лаконизмъ силы и свободы, и въ ужасный, дышавшій дикимъ мщеніемъ порывъ, и въ грубыя, суровыя добродѣтели, и въ желѣзные немягченныя пороки, и въ самоотверженіе неслыханное, дикое и нечеловѣчески-великодушное.

И въ безпечность забубенныхъ вѣковъ.

Отвѣчаетъ сравн[еніемъ], иносказательно: «Правда, случается, что волъ падалъ, издыхалъ, но подъ рукою человѣка, которому Богъ далъ умъ на то, чтобы сдѣлать ножъ; но никогда еще не случилось, чтобы быкъ погибалъ отъ свиньи».

Дѣлаетъ распоряженія о продажѣ рыбы, о запасѣ на зиму, именнo на такое-то время, потому что тогда хлопцы пьянствуютъ, о покункѣ соли, о баштанахъ, хлѣбахъ, о порохѣ, ружьяхъ, кунтушахъ для солдатъ.—«Войны, кажется, ожидать не нужно, потому что мужицкая и козацкая сноровка бунтовать—такъ, чтобы не побунтовать, не можетъ прогля-

тѣй народъ: такъ вотъ у него рука чешется; дармоѣдничаетъ да повѣсничаетъ по шинкамъ да по улицамъ».

Разсказываютъ про клады и сокровища запорожцевъ: «Уйду на Запорожье, здѣсь всякой чортъ тебя колотить».

Монахинямъ такого-то монастыря купить вытганные и шитые утиральники.

Демьянъ превращается въ кашевара, Самко въ.....

Мужики.

Разговоръ между мужиками. «Вздорожало все, дорого. За землю, ей Богу, не длиннѣе вотъ этого пальца—20 четвериковъ, 4 пары цыплятъ, къ Духову дню да къ Пасхѣ—пару гусей, да 10 съ каждой свиньи, съ меду, да и послѣ каждыхъ трехъ лѣтъ третьяго вола».

Улицы древней Варшавы.

Въ Старомъ мѣстѣ было домовъ 39.

Улица Новомейская домовъ 12.

На Кривомъ Колѣ 18.

Улица S. Яна 6.

Гродская.

Рыцарскіе.

Не поединки, а раздѣлываются драками; набравши съ собою, сколько можно больше, слугъ и выѣхавши на поле, нападаетъ на своихъ противниковъ.

Вдохновенная, небесно ухающая, чудесная ночь! любишь ли ты меня? Попржнему ли ты глядишь на своего любимца, не измѣнившагося ни годами, ни тратами, и горишь, и блещешь ему въ очи, и цѣлуешь его въ уста и лобъ? Ты такъ же ли; попрежнему ли смѣешься, мѣсячный свѣтъ? О Боже, Боже, Боже! Такіе ли звуки, такіе снуются и дрожатъ въ тебѣ? (Я) Клянусь, я слышалъ эти звуки, я слышалъ ихъ одинъ

въ то время, когда я передъ окномъ: на груди рубашка раздернута и грудь, и шея моя — навстрѣчу освѣтительному ночному вѣтру. Какой божественный, какой чудесный и обновляющій, утомительный, дышащій нѣгой и благовоніемъ, рай и небеса — вѣтеръ ночной, дышащій радостнымъ холодомъ вѣтеръ урывками обнималъ меня и обхватывалъ своими объятіями и убѣгалъ, и вновь возвращался обнимать меня, а черныя, угрюмыя массы лѣса, нагнувшись, издали глядѣли и... стояли торжественно несмущенный воздухъ. И вдругъ соловей... О, небеса! Какъ загорѣлось все! какъ вспыхнуло! У, какой громъ!... А мѣсяцъ, мѣсяцъ!... Отдайте, возвратите мнѣ, возвратите юность мою, молодую крѣпость силъ моихъ, меня, меня свѣжаго, того, который былъ! О, невозвратно все, что ни есть въ свѣтѣ!

Сказавши монологъ, долго кричить. Выходитъ мать. «Дочь, у тебя болитъ голова», и прочее.

«Нѣтъ, не голова. Болѣю я вся: болятъ мои руки, болятъ мои..., болятъ грудь моя, болятъ моя душа, болятъ мое сердце. Огонь во мнѣ. Воды, мать моя, матушка, мамуся! Дай такой воды, чтобы загасила жгущее меня пламя. О, проклята моя злодѣйка, и проклять родъ твой, и прокляты тѣ сво, что кричали! Мать моя, матушка! зачѣмъ ты меня породила такую несчастную? Ты, видно, не ходила въ церковь; ты, видно, не молилась Богу; ты, видно, въ нечистой водѣ искупала[сь], въ ядовитомъ зельѣ, на которомъ проползла гадина.

Входятъ, возвѣщаютъ и совѣтуютъ бѣжать. «Бѣгите и спасайтесь, жены и бабы! Ляхи за нами, и грабятъ и жгутъ». Въ этомъ положеніи находя... Укладывается старушка, плачетъ, разставаясь съ прежнимъ жилищемъ, гдѣ столько пробыла и откуда никуда не выходила.

«Внутри рветъ меня, все немило мнѣ: ни земля, ни небо, ни все, что вокругъ меня».

Отреченіе отъ міра совершенное. А между тѣмъ рисуется прежнее счастье и богатство, которое могло. Прощаніе слезное съ молодыми лѣтами, съ молодыми радостями, со всѣмъ и строгое покореніе судьбѣ. Обѣты, и какъ будетъ молиться, какъ припадать къ иконѣ: «и все буду плакать, и ничего, никакой пищи бѣдному сердцу, не порадую его никакимъ воспоминаніемъ».

И вдругъ... Здѣсь встрѣча съ соперницей въ униженномъ состояніи, и все вспыхиваетъ вновь во всемъ огнѣ и силѣ. Потоки упрековъ и злобная радость. Потомъ опомнивается и вспоминаетъ объ обѣтахъ, бросается на колѣни и просить прощенія.

Выдумать, какъ запала мысль въ голову молодому дворянину. Чисто-козацкое изобрѣтеніе, какъ подговорить. Лукашъ говорить, что онъ ничего не значить, что нужно склонить полковниковъ. Народъ обступаетъ ихъ дома и вынуждаютъ... И сказать, какимъ же образомъ...

II.

Отрывокъ изъ неоконченной повѣсти.

Дѣвицы Чабловы, дочери бѣдныхъ родителей, вышли вмѣстѣ изъ института въ одно время и вдругъ очутились среди свѣта, огромнаго, великаго, со страхомъ и робостью въ душѣ. Онѣ были умны. Какимъ образомъ онѣ сдѣлались умны, никто не зналъ. Можетъ-быть, это было внушено имъ отъ рожденія, какъ инстинктъ, или, можетъ-быть, онѣ умѣли извлечь крупницы опытности и здраваго сужденія изъ книгъ, которыя имъ удавалось читать, изъ которыхъ не всякій умѣетъ извлекать что-либо. Дѣло въ томъ, что онѣ задумались о своемъ существованіи и,—въ то время, когда

вѣтрѣнная и малодушная бросается на свѣтъ безъ разсмотрѣнія, какъ бабочка на свѣчу,—онѣ уже захотѣли сдѣлать для себя планъ жизни и предначертать заранѣе для самихъ себя правила, въ законахъ которыхъ обращалась бы ихъ жизнь, — вещь, совершенно необыкновенная въ двѣдцатѣ осмнадцатилѣтнихъ.

III.

Начало неоконченной повѣсти.

Можно биться объ закладъ, что читатель, если ему случится только проѣзжать заштатный городишко Погарь, увидитъ, что изъ окна одного деревяннаго, весьма крѣпкаго, дома съ высокою крышею и двумя бѣлыми трубами, глядитъ весьма полное и безъ всякихъ рябинъ лицо, цвѣтомъ нѣсколько похожее на свѣжую, еще не поношенную подошву. Это—Семень Семеновичъ Батюшекъ, помѣщикъ, дворянинъ, губернской секретарь. Онъ завелъ обыкновеніе глядѣть изъ окна рѣшительно на все, что ни есть на улицѣ. Ѣдетъ ли проѣзжій какой-нибудь дворянинъ, можетъ-быть, тоже губернской секретарь, а можетъ-быть и повыше, въ коляскѣ покойной, глубокой какъ арбузъ, изъ которой смотрятъ хлѣбъ, няньки, подушки, или просто жидь-извозчикъ на облучкѣ рогожаной..... *), съ узкою длинной бородой, въ которой оставили весьма немного волосъ разные господа, одѣтые въ военные и партикулярныя платья; или пронесется вихремъ на тройкѣ разбойникъ и б...унъ ремонтеръ,—онъ все это рассмотреть. Если-жъ и никто не проѣдетъ—ничего: это не бѣда,—Семеновичъ посмотритъ и на курицу, и на гусыню, которая пробѣжитъ передъ окномъ,—и весьма внимательно,—отъ головы до хвоста. Когда столкнутся два воза, онъ изъ окна, тутъ же, подастъ благоразумные совѣты: кому податься впередъ, кому [назадъ], и первому проходящему прикажетъ помочь. Если одинъ изъ очень быстрыхъ его глазъ завидитъ, что мальчишка лѣзетъ

*) Пропущено какое-то слово, вѣроятно: «кибиткѣ».

через заборъ въ чужой огородъ или начкаетъ углемъ на стѣнѣ неприличную фигуру, онъ подзываетъ очень ласковымъ голосомъ къ себѣ, велитъ потомъ подвинуться ему ближе къ окну, потомъ еще ближе, потомъ, протянувши руку, хватъ его за ухо и отдеретъ этого бѣднаго такимъ образомъ за ухо, что тотъ унесетъ его домой висящее на одной ниточкѣ, какъ нерадиво пришитая пуговица къ сюртуку. Если подерутся два мужика, то онъ сію-жъ минуту, тутъ же изъ окна, надъ ними судъ: допросить, чьи они, велитъ позвать Петрушку и Павлушку,—повара и комнатнаго лакея въ узкой сѣрой курткѣ, неизвѣстно по какой причинѣ съ военнымъ воротникомъ,—и тутъ же высѣчетъ обоихъ мужиковъ, а другимъ еще прикажетъ придерживать: ему нѣтъ нужды, что не его люди.

Только на два часа въ день прячется это лицо. Это случается во время и послѣ обѣда, когда онъ имѣетъ обыкновеніе отдыхать. Но и тутъ, случись только какое-нибудь происшествіе на улицѣ, Семеновичъ, какъ паукъ, къ которому попадается въ паутину муха, вдругъ выбѣжитъ изъ своего угла, и уже такъ знакомое заштатному городишкѣ лицо, цвѣта еще не ношенной подошвы, торчитъ у окна.



НАЧАЛО РЕЦЕНЗИИ,

НАПЕЧАТАННОЙ ВЪ „МОСКВИТАНИИ“.

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ, альманахъ на 1842 г., изданный В. Владиславлевымъ. С.-Петербургъ. Въ типогр. III отдѣленія Собств. Е. И. В. канцеляріи. 1842 г., въ 16-ю, 369 стр.

Альманахъ украшенъ семью портретами. Портретъ ея императорскаго высочества великой княгини Маріи Александровны занимаетъ первое мѣсто. Выраженіемъ и мыслью сквозятъ черты ея, и вѣрно русскій накануне Нового года всмотрится въ нихъ внимательно, какъ во что-то свѣтлое, пророческое. И всѣ прочіе портреты прекрасны; не безъ тайной внутренней гордости разсматриваешь ихъ, видя, что едва ли красавицы Сѣвера не возьмутъ верхъ надъ красавицами, украшающими европейскіе кипсеки. Портретъ графини Елены Михайловны Завадской блещетъ всею роскошью ея неувядаемой красоты. Свѣтлая ясность простоты отражается въ лицѣ графини Софьи Александровны Бенкендорфъ. Южной полнотою взгляда озарено лицо баронессы Екатерины Николаевны Менгденъ. Наконецъ, типъ чисто-славянскій красоты виденъ въ профилѣ княжны Маріи Ивановны Барятинской. Помѣщеніе портретовъ сияющихъ нашихъ современницъ есть у насъ дѣло еще новое. Ихъ будетъ разсматривать съ жадностью житель отдаленнаго угла Россіи, куда едва доходятъ слухи о столицѣ, и не одинъ, одаренный высокимъ художественнымъ вкусомъ, полюбуется ими,

Благоговѣя богомольно

Передъ святыней красоты,

какъ сказалъ Пушкинъ. И всякій на этотъ текущій годъ будетъ еще радостнѣй дарить или получать «Утреннюю Зарю».

Жаль подвергнуть это блестящее издѣліе строгому перу суровой критики. Она предъ нимъ остановится, какъ предъ вѣжнымъ мотылькомъ или цвѣткомъ, боясь дуновѣніемъ своимъ лишить его свѣжести. Содержаніе его вполне соответствуетъ своему значенію. Это легкое будуарное чтеніе красавицы. Свѣтскій слогъ, гладкость языка, строгое приличіе во многихъ повѣстяхъ и легкая граціозность нѣкоторыхъ стиховъ, словомъ—это сіяющая игрушка.



ВВЕДЕНІЕ ВЪ ДРЕВНЮЮ ИСТОРИЮ.

[Отрывокъ].

Всеобщая исторія есть полное изображеніе жизни человѣчества во всѣ времена, во всѣхъ концахъ земли, отъ первоначальнаго его младенчества до нашихъ временъ.

Болѣе семи тысячъ лѣтъ прошло отъ созданія первыхъ двухъ человѣковъ и около половины этихъ лѣтъ совершенно потеряно для исторіи. Только съ появленіемъ первыхъ обществъ (слишкомъ за 2000 до Р. Х.) получаютъ начальныя свѣдѣнія о человѣчествѣ.

Исторія его заключается вся въ двухъ великихъ отдѣленіяхъ: въ первомъ—мѣръ древній, во второмъ—новый.

Оба они имѣли свое младенчество и полное развитіе. Для древняго міра младенчествомъ была эпоха восточнаго человѣчества, а зрѣлостью—собственно древній мѣръ, т. е. мѣръ грековъ и римлянъ. Для новаго младенчествомъ были времена рыцарства (иначе среднія), а зрѣлостью собственно новый мѣръ, т. е. три послѣднія столѣтія.

Новый мѣръ имѣетъ разительное отличіе отъ древняго:

другая религія, другіе законы, другіе нравы, другіе народы,—все это отдѣляетъ его совершенно отъ древняго.

Древній міръ даже и во время совершеннаго образованія своего не стигнулъ того просвѣщенія, до котораго достигнулъ новый.

Народы древняго міра всё помѣщались вокругъ Средиземнаго моря; имъ извѣстна была только половина Европы, пятая часть Азіи и едва ли четвертая—Африки; а народы новаго міра наполняютъ теперь весь земной шаръ и владѣютъ землею въ двадцать разъ болѣе извѣстной прежде древнимъ народамъ.

Всю исторію древняго міра можно представить въ пяти періодахъ.

Въ первомъ помѣщается предъисторія или разсмотрѣніе міра до первыхъ обществъ; второй заключаетъ въ себѣ самыя древнія восточныя царства до установленія во всемъ древнемъ мірѣ первой всемірной монархіи—персидской; третій отъ первой всемірной монархіи персидской до второй всемірной монархіи—македонской; четвертый отъ второй всемірной монархіи до третьей всемірной монархіи—римской; пятый отъ установленія третьей всемірной монархіи—римской до паденія западной ея части и нашествія новыхъ, еще дикихъ народовъ.



ПРИМЪЧАНІЯ РЕДАКТОРА.

I.

Юношескіе опыты.

Непогода. Подъ этимъ стихотвореніемъ, ниже подписи автора: «Н. Г—ль», помѣшена слѣдующая замѣтка А. С. Данилевскаго, лицейскаго товарища Гоголя: «Я нашелъ эти стихи, къ сожалѣнію, разорванными; они еще писаны въ Нѣжинѣ, на школьной скамейкѣ. Средина стихотворенія дѣйствительно вырвана. Мѣсто утраченныхъ 8—9 стиховъ означено выше точками.

Гансъ Кюхельгартенъ. Идиллія эта написана въ 1827 г.; напечатана отдѣльною книжкою въ 1829 г.; цензурное разрѣшеніе помѣчено: «7 мая 1829 года».

Италія. Это стихотвореніе напечатано въ № 12 «Сына Отечества и Сѣвернаго Архива» 1829 г., вышедшемъ 23 марта.

Классныя сочиненія. Написаны въ первой половинѣ 1828 г.

Двѣ главы изъ малороссійской повѣсти «Страшный кабанъ». Первая глава напечатана была въ первый разъ въ первомъ номерѣ «Литературной Газеты» 1831 г., вышедшемъ 1 января; вторая глава—въ номерѣ 17-мъ той же газеты, вышедшемъ 22 марта 1831 г.

Женщина. Эта статья напечатана въ четвертомъ номерѣ «Литературной Газеты» 1831 г., вышедшемъ 16 января.

Борисъ Годуновъ. Статья написана въ концѣ 1830 года.

Нѣсколько главъ изъ неоконченной повѣсти—написаны въ 1831—2 годахъ.

Отрывки из начатых повстей. Набросаны в течение 1831—1833 годов.

Отрывок из утраченной драмы. Набросан, вероятно, в 1833 году. 1834. Написано накануне 1834 года.

Объявление об издании истории малороссийских казаков—появилось 30 января 1834 г., в № 21 «Северной Пчелы».

II.

Арабески.

Вышли в свет в первой половине января 1835 года; цензурное разрешение помечено «10 ноября 1834 года».

часть первая.

Скульптура, живопись и музыка. Статья набросана в 1831 г.; отдана для печати в 1834 г.

О средних вѣнахъ. Эта вступительная лекция написана в августъ 1834 года.

Глава из исторического романа. Напечатана в первый раз в альманахѣ «Северные цветы на 1831 годъ», цензурное разрешение котораго помечено: «18 декабря 1830 года».

О преподаваніи всеобщей исторіи. Статья написана в декабрь 1833 г.; исправлена в началѣ 1834 г. и появилась в февральской книжкѣ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія» на 1834 г.

Портретъ. Повѣсть набросана и отдана для печати в теченіе 1834 года.

Взгляд на составленіе Малороссіи. Первые наброски этой статьи относятся къ 1833 году; обработана для печати в февраль или мартѣ 1834 года; напечатана в первый раз в апрѣльской книжкѣ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія» на 1834 годъ, подъ заглавіемъ: «Отрывокъ из исторіи Малороссіи». Томъ I. Книга I. Глава I.

Нѣсколько словъ о Пушкинѣ. Статья отдана для печати в 1834 г.; первые наброски мы относимъ къ 1832 году.

Объ архитектурѣ нынѣшняго времени. Статья начата во второй половинѣ 1833 года; отдана для печати в 1834 году.

Ал-Мамунъ. Написано в октябрѣ 1834 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Жизнь. Отдѣлано въ 1834 году; наброски относятся къ 1832 году.

Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ. Первые наброски сдѣланы въ 1832 году; статья кончена въ 1834 году.

Невскій проспектъ. Повѣсть начата въ концѣ 1833 или въ началѣ 1834 года; отдѣлана для печати въ октябрѣ 1834 г. При печатаніи получило новую редакцію слѣдующее мѣсто рукописнаго текста: «Если бы Пироговъ былъ въ полной формѣ, то, вѣроятно, — навѣрное, почтеніе къ его чину и званію остановило бы буйныхъ тевтоновъ, но онъ прибылъ совершенно какъ частный, приватный человекъ — въ сюртучкѣ и безъ эпюлетъ. Нѣмцы съ величайшимъ неистовствомъ сорвали съ него все платье; Гофманъ всей тяжестью своей сѣлъ ему на ноги, Кунцъ схватилъ за голову, а Шиллеръ схватилъ въ руку пучокъ прутьевъ, служившихъ метлою. Я долженъ съ прискорбіемъ признаться, что поручикъ Пироговъ былъ очень больно высѣченъ».

О малороссійскихъ пѣсняхъ. Статья эта написана въ мартѣ 1834 года; появилась въ апрѣльской книжкѣ «Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія» на 1834 г.

Мысли о географіи. Первая *печатная* редакція этой статьи появилась въ первомъ № «Литературной Газеты» 1831 года (1 января), подъ заглавіемъ: «Нѣсколько мыслей о преподаваніи дѣтямъ географіи». Вторая редакція, напечатанная въ «Арабескахъ», выработана въ 1834 году.

Послѣдній день Помпеи. Написано въ августѣ 1834 года.

Плѣнникъ. Написано въ 1830 году.

О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка. Написано, вѣроятно, въ сентябрѣ 1834 года.

Записки сумасшедшаго. Написаны въ 1834 г.

III.

Произведенія, не вошедшія въ первое издание „Сочиненій Гоголя“.

Альфредъ. Набросано въ первой половинѣ 1835 года.

О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 году. Статья начата въ февралѣ 1836 г.; появилась въ обработанномъ видѣ въ первомъ томѣ «Современника» Пушкина, въ апрѣлѣ 1836 года.

Петербургскія записки 1836 года. Состоятъ изъ двухъ частей: первая написана въ концѣ 1835 года, вторая въ апрѣль и маѣ 1836 года. Напечатаны были въ первый разъ въ «Современникѣ» Пушкина, изданномъ по смерти его, въ шестомъ томѣ, цензурное разрѣшеніе котораго помѣчено: «2 мая 1837 г.»

Рецензіи, помѣщенные въ «Современникѣ» Пушкина. Начаты и кончены въ февралѣ—мартѣ 1836 года.

Ночи на виллѣ. Набросано въ маѣ 1839 года.

Наброски, выписки, отрывки—относятся къ 1839 году.

Отрывокъ изъ неоконченной повѣсти. Время написанія неизвѣстно.

Начало рецензіи, напечатанной въ «Москвитиниѣ» 1842 года, относится къ началу этого года.

ОГЛАВЛЕНИЕ ПЕРВАГО ТОМА.

I.

Юношескіе опыты.

	СТРАН.
*Непогода	3
Ганць Кюхельгартенъ (идиллія въ картинахъ)	5
Италія (стихотвореніе).	49
*Классныя сочиненія	51
Двѣ главы изъ малороссійской повѣсти «Страшный кабанъ»	53
Женщина	67
*Борись Годуновъ. Поэма Пушкина	72
Нѣсколько главъ изъ неоконченной повѣсти	78
*Отрывки изъ начатыхъ повѣстей	104
*Отрывокъ изъ утраченной драмы	111
*1834	114
Объ изданіи исторіи малороссійскихъ козаковъ	116

II.

Арабески.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Предисловіе	118
Скульптура, живопись и музыка	119
О среднихъ вѣкахъ	124
Глава изъ историческаго романа	138
О преподаваніи всеобщей исторіи	150
Портретъ (повѣсть)	166
Взглядъ на составленіе Малороссіи	214
Нѣсколько словъ о Пушкинѣ	225
Объ архитектурѣ нынѣшняго времени	232
Ал-Мамунъ (историческая характеристика)	255

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Жизнь	264
Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ	267
Невскій проспектъ (повѣсть)	273
О малороссійскихъ пѣсняхъ	313
Мысли о географіи (для дѣтскаго возраста)	322
Послѣдній день Помпеи (картина Брюлова)	332
Плѣнникъ (отрывокъ изъ историческаго романа)	341
О движеніи народовъ въ концѣ V вѣка	347
Записки сумасшедшаго	377

III.

Произведенія, не вошедшія въ первое изданіе „Сочиненій Гоголя“:

*Альфредъ (начало трагедіи изъ англійской исторіи)	402
О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 году	424
Петербургскія записки 1836 года	448
Рецензіи, помѣщенныя въ «Современникъ» А. С. Пушкина	463
*Ночи на виллѣ	471
*Наброски, выписки, отрывки	474
Начало рецензіи, напечатанной въ «Москвитиниѣ»	480
*Введеніе въ древнюю исторію (отрывокъ)	481

Примѣчанія редактора	483
--------------------------------	-----



